

Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 6 ДЕКАБРЬ 2004 • ИЕРУСАЛИМ

- Д. РУБИНА. Рассказы
- А. МЕЛИХОВ. В долине блаженных, или Вечный Жид
- М. АМУСИН. Город-текст и текст города
- А. ЛИБЕРМАН. «Все дело в нас самих»
- А. ИОШУА. Сионистская революция
- «КРУГЛЫЙ СТОЛ»: Русские евреи в Германии
- А. КИУРУ; Е. МОРОЗ. Россия и ислам







Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№6

ДЕКАБРЬ 2004
ИЕРУСАЛИМ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- 3** Дина Рубина. На исходе августа. Школа света
33 Александр Мелихов. В долине блаженных, или Вечный Жид
99 Алексей Устименко. Не Казанова, но Великий князь
117 Владимир Магарик. Когда это... В широкой дубраве

НАД ТЕКСТОМ...

- 121** Марк Амусин. Город-текст и текст города
137 Михаил Хейфец. Три еврея и КГБ в довеске

ИЗРАИЛЬ: ИНОЙ РАКУРС

- 153** Авигдор Либерман: «Все дело в нас самих»
162 Авраам Б. Иошуа. Сионистская революция: есть ли у нее продолжение?
174 **«КРУГЛЫЙ СТОЛ»:** РУССКИЕ ЕВРЕИ В ГЕРМАНИИ
Б. Хазанов, В. Порудоминский, С. Гурарий, Е. Молчановский, А. Волохонский

NON FICTION

- 202** Владимир Прибыловский, Юрий Фельштинский. Подавление СМИ

РОССИЯ И ИСЛАМ

- 225** Антеро Киуру. И на обломках православья...
241 Евгений Мороз. «Ислам – наше будущее»!

ДАЛЕКОЕ–БЛИЗКОЕ

- 259** Игорь Ефимов. «Она наш свет животворила»
262 Александр Борин. Пессимистом быть пошло

СЮЖЕТЫ ИСТОРИИ

- 273** Грета Ионкис. «Спор о еврейских книгах» как пролог к Реформации

ЛЮДИ И ВРЕМЯ

- 291** Юрий Колкер. Диссидент по-британски. Святой из Дженкинтауна

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА... (дайджест)

- 303** Асар Эппель. NESTORIA
306 Хольм ван Зайчик. Агарь, Агарь!..
329 Вячеслав Рыбаков. Ах, эта страшная идеократия!..
346 Денис Драгунский. Терроризм как инструмент политической консолидации

ISSN 1565-5318



Дина Рубина

НА ИСХОДЕ АВГУСТА*

На исходе августа 2003-го я отбыла свой срок – три года строгого режима в одной израильской организации, базирующейся в Москве.

Я неплохо держалась все эти три года, носила пиджаки, обувь на высоких каблуках, переживала налеты бесконечных комиссий, разъезжала по городам России, улыбалась разнообразным посетителям, ворочала во рту каменные слова, каких сроду не произносил мой язык, – «проект», «презентация», «координационный совет»; бесконечно выступала перед публикой и... короче, проделывала еще множество подобных штук, о которых и не думала прежде у себя, там... то есть здесь, в Иудейской пустыне. Ну, и вот, столкнулась, вызубрила на зубок или, как говорит моя мама, – «насобачилась»...

Три года, три полных года без тридцати я крепилась, истово исполняя свои обязанности, недосыпала от беспокойства и усердия, а на излете своей службы сильно радовалась грядущей воле.

Но, видно, так уж устроен человеческий организм, во всяком случае, мой организм: вернувшись к своим пустынным ветрам, сменив каблуки на сандалии и пиджаки на просторные балахоны, раскинувшись, наконец, на своей холмистой свободе, я немедленно жестоко заболела – внезапно и вся.

* Рассказы из сборника «Из новой книги». Они запланированы для публикации в следующем году в журнале «Новый мир».

Дина Рубина – автор более 40 книг, переведенных на 15 языков, лауреат литературных премий (израильских и французской), персоналий многих словарей и энциклопедий, в том числе и Большой Британской энциклопедии. Член международного ПЕН-клуба. Живет в Израиле.

Меня покинули силы, просто до смешного: я валялась на диване с утра до ночи, покрываясь холодной испариной всякий раз, когда мне надо было подняться и доползти до ванной. Невропатолог поставил мне странный диагноз, в который при других обстоятельствах я ни за что не поверила бы. Звучал он элегично: *синдром хронической усталости*. Другой, ортопед, сказал, что позвоночник мой в бедственном состоянии, так что он и не удивится, если в самом скором времени я вовсе обездвижу. Кардиолог навесил на меня суточные вериги: ребристый тяжелый прибор, фиксирующий малейшие изменения работы сердца, и последовавший за этим послушанием диагноз потряс меня своей образностью: *нервное сердце*. И, наконец, специалист-маммограф продемонстрировал снимок моих собственных, таких привычных грудей, которые, словно глубоководные раковины, коварно копили в себе жемчужные россыпи.

Провалившись дохлой рыбой несколько тягостных недель, я решила потащиться в Тель-Авив к своему гомеопату – старой и мудрой женщине, издавна, как голубя, подкармливающей меня белыми сладкими шариками. Она лечила меня от самых разных болезней, а вернее, от разнообразных ощущений, которые всегда сводились к одному: разгулявшимся нервишкам. Она ссыпала в меня пригоршни белых шариков, встряхивала меня, вздергивала, иронически поглядывая поверх очков...

Словом, в один из дней, преодолевая сердцебиение, слабость и дурноту, я повлеклась в Тель-Авив.

...И, пока сидела на вытертой кушетке в знакомой притемненной ставнями комнате, устремляя лицо к приветливо кивающему вентилятору, пока мой старый доктор Тала, похмыкивая, смотрела снимки и результаты анализов, я постепенно и ощутимо не то что приходила в себя, но поверила, что приду.

Наконец, мне было объяснено, что все – вздор, все – разгулявшиеся нервишки. Попить вот это и поклевать вот это... А главное – поезжайте-ка дней на пять куда-нибудь в Хоф-Дор, и босиком, босиком – по горячему песку, по кромке воды...

– Да что вы, в конце концов! – сказала она. – Ведь в ваших руках главное лекарство, недоступное другим: сядьте и выпишите всю горечь и соль, и отраву этих трех лет. Мне ли вас учить!

Тут же она позвонила в старую гомеопатическую аптеку Альтмана, что на углу Алленби и Кинг Джордж, минут пять говорила с каким-то Габи, толкувая тому *дозы и разведение*, и велела мне прямиком ехать туда, забрать все эти капли, сладкие пастилки и, конечно же, столь любимые мною белые крошки, чтобы клевать их по утрам на голодный желудок.

Я расцеловала ее на прощание, вызвала такси и уже минут через десять закупала волшебные снадобья. У всех у них, кстати, были имена сказочных принцесс – Мелисса... Анджелика... Стафисагрия...

Габи оказался лучезарным инвалидом. У него был великолепный профиль справа: римское сочетание горделивого носа с крутым подбородком.

Слева же – убогий, робкий, сплюснутый, как у рыбы камбалы, будто искаженный *ужасом*. Словно затеяв лепить это прекрасное лицо и неудачным движением божественного пальца запоров какую-то деталь, природа в сердцах смяла образец, как сминают податливый ком сырой глины.

Кроме того, на правой руке у него недоставало двух пальцев – среднего и безымянного.

К посетителям аптеки Габи всегда был обернут своим прекрасным профилем и неизменно улыбался.

– Прими вот это и это прямо сейчас, – посоветовал он после того, как в третий раз пускался в объяснения – когда и как принимать мне лекарства, а я смотрела на него вежливо и бессильно. – Прими сейчас, на тебе лица нет. Сядь, посиди вот здесь.

Я опустила в старое кожаное кресло, вдвинутое в уютную нишу в стене, и долго сидела, заторможено рассматривая покупателей.

И все время Габи зорко поглядывал на меня, обращая ко мне победный римский профиль с проникновенным карим глазом.

– Ты не мог бы вызвать такси? – попросила я, наконец, когда аптека опустела – подошел обеденный перерыв.

– Я могу вызвать такси, – сказал он. – Такси не проблема... Где это ты так развинтилась, что стряслось с тобой? Постой, я накапаю доброй старой валерьяны, подкручу тебе гайки.

Он ушел внутрь помещения и сразу вышел, протягивая через прилавок маленькую круглую чашку, которую как-то ловко поддерживал тремя оставшимися пальцами. Я взяла ее и опрокинула в рот мятно-горькое со-держимое.

Почему-то вид этой его руки, в которую, как в треногу, я вставила обратно чашку, привел меня в знакомое сильное волнение, вызвал странную дрожь сердца, спазм в горле и прилив обжигающей, невыносимой любви не к человеку даже, а ко всему, окружающему меня в этот миг пространства. Словно детские штанишки на балконе дома напротив и замызганная тряпица бело-голубого флага, которые с вялым равнодушием полощет морской ветерок, а заодно и грузная старуха на табурете у дверей подъезда – не что иное, как последняя, дарованная мне судьбой милость, с которой невозможно расстаться.

Я стыдилась раньше это описывать, потому что не знаю – как сладить с этим чувством, недостойным писателя, человека мастерового, должного хладнокровно и чутко обозначать предметы, явления и состояния.

Я вставила чашку в изуродованную ладонь Габи и обнаружила вдруг, что дурнота, одолевавшая меня последние недели, куда-то испарилась. Еще не веря себе, я попрощалась и, забыв о такси, вышла на улицу, побрела вниз, вниз, дошла до какой-то забегаловки, где в мягкой полутьме за стойкой медленно крутился наклепленный на вертикальный шампур бочонок индюшачьей шуармы.

Кафе было совершенно пусто и отсюда, с улицы, залитой полуденным

средиземноморским солнцем, напоминало пустую сцену перед началом спектакля – то ли потому, что огромный платан у входа затенял и делал укромным пространство внутри, то ли потому, что прямо из середины зала несколько ступеней поднимались на небольшой подиум с тремя столами...

Бокастый бочонок томящейся над огнем шуармы уже приобрел тот золотистый цвет старого янтаря, каким наливаются изнутри хорошо прожаренное, тонко нарезанное мясо... Запах жареной индюшатины выкатывался волнами из полутьмы кафе, смешиваясь с запахом бензина и порывами соленого ветра с моря.

Я вошла и сказала парню за стойкой:

– Ужасно хочется есть!

– Садись вон там, у окна, – отозвался он. – Будешь видеть улицу...

Я, однако, поднялась по ступеням на подиум и села за самый уютный, у стены, испещренный царапинами и пятнами, пластиковый стол, затрапезней которого вряд ли можно было найти во всем этом городе. Сняла шляпу, сумку с плеча, бросила на соседний стул... Здесь работал кондиционер и тихо звучало радио.

Хозяин вышел из-за стойки, взбежал по ступеням и разложил передо мной большой картонный поднос с немудреным прибором. Это был хороший знак, наверняка, здесь вкусно готовили: когда хозяин не находит нужным тратить на посуду и обстановку, это означает, что народ к нему и так валом валит.

Вдруг что-то изменилось в пространстве: сломалось, сдвинулось, обвалилось.

Радио оборвало вдруг мирное бормотание-напевание и неразборчиво, но жестко и отрывисто заговорил мужской голос.

Хозяин бросился к маленькому приемнику на стойке, крутанул ручку, увеличивая звук, и – по первой же интонации в голосе диктора мы сразу поняли, что...

Он еще прибавил громкости, качая головой. Через мгновение все уже было ясно: полчаса назад в центре Иерусалима, на Яффо, взорвался четырнадцатый автобус, кстати, тот, в котором я ездила недавно на очередной рентген.

Хозяин оставил радио включенным и, качая головой, все приговаривал: «До каких пор, а, до каких пор?..»

– Принеси хумус, – попросила я, набирая на мобильном иерусалимский номер – два-три слова, удостовериться, что и те на месте, и эти – в порядке... Еще номер... – И что-нибудь жареное... Что у тебя сегодня?

– Есть курица, рыба... Ох, какая форель! Такая форель, что ты такую нигде не ела!

– Шуарму, – сказала я между несколькими словами в мобильный, – и салат...

Он ушел срезать с крутящегося бочонка кусочки шуармы длинным тонким ножом, и, пока я уговаривала обезумевшую от беспокойства подругу,

что дочь просто отключила мобильник, шляется где-нибудь – не психуй, перестань, не плачь... – сгребал их в железный широкий совок, а потом ссыпал в тарелку точным сильным гребком.

– Семеро убитых, десять раненых! – крикнул он кому-то в кухню. Оттуда ему ответил что-то женский голос.

– Срезай потоньше! – сказала я

– Не волнуйся, не первый день режу мясо.

– И без жира...

Я вдруг подумала, что море должно быть где-то недалеко. Мне захотелось немедленно войти по колени в воду, шевеля пальцами и приподнимая юбку.

Хозяин принес тарелку, доверху наполненную кусочками индюшатины с янтарной кромкой жира, и впервые за несколько недель я набросилась на еду, обжигаясь, хватая ртом куски, бурно, рывками, дыша, во рту уже остужая вкуснейшее мясо...

– Что пить будешь? Кофе?

– Чай... зеленый, с наной...

Мне нравилось, как взбегают он по ступеням, в этом тоже было что-то игровое, театральное. И сама я сверху, как из ложи, наблюдала за семенящими мимо окон кафе забавными, стриженными под ежик старухами в свободно болтающихся шароварах ярких расцветок и смешными голенастыми стариками в просторных шортах, с седыми косичками на затылках.

Почему-то все тельавивцы кажутся мне смешными. Слишком они обжили свой город, слишком не замечают его, а заодно уж не замечают и гостей, как жильцы коммуналки не обращают внимания – кто там шагает по коридорам замызганной общей квартиры. Мы-то, в Иерусалиме, ходим по струнке – поди не замети этот город! – нас-то в строгости держат...

Парень принес на маленьком круглом подносе высокий стакан, в котором таинственно и глубоководно волновалась темно-зеленая веточка мяты – поздешнему «наны», придающей чаю ни с чем не сравнимый, успокоительный вкус. В стакане стояла ложка с высокой, жгутом закрученной ручкой.

Я быстро насытилась, но продолжала есть, растягивая удовольствие, отрывая от питы кусочки, кроша их в тарелку и вываливая в горчичном соусе. И, когда они размякали, я нанизывала на вилку кусочки мяса, укутывала их в пропитанные соусом лоскуты лепешки и медленно отправляла в рот.

Мне так не хотелось отсюда уходить...

– Вкусно? – спросил от стойки хозяин.

Я молча закатила глаза к потолку. Он довольно усмехнулся.

...И даже когда поела и отодвинула тарелку, я все еще продолжала сидеть, как сидят в убежище, в уютной пещере на берегу моря, куда загнала тебя морская буря.

– Уже десять убитых, – сказал хозяин, убирая тарелку и выкладывая на стол плоскую кожаную книжку со счетом. – И девятнадцать раненых.

– Маршрут такой... четырнадцатый... – отозвалась я, – ходит редко, народу всегда битком...

Положила деньги на стол, с чаевыми... Выходит, пока я ела шуарму, умерло трое... Три жизни погасли, пока я обстоятельно смаковала золотистые кусочки нежной индюшачьей плоти.

Наконец, я поднялась, постояла, невзначай проверяя и с удовольствием обнаруживая, что неплохо стою на ногах...

Тут в забегаловку ввалилось сразу несколько человек, по-свойски приветствуя хозяина, – очевидно, служащие из соседних учреждений явились обедать.

Я попрощалась, и хозяин, несмотря на то, что был занят новыми заказами, бросил мне вслед:

– Ты не ошиблась, что заглянула сюда, а?

– Не ошиблась, – сказала я. Надела шляпу и вышла...

У входа в банк «Апоалим» стоял совсем молодой и очень мрачный охраннык. Не двигаясь, не разнимая рук за спиной, он внимательно следил, как я к нему приближаюсь.

– Не подскажешь – в какой стороне у вас море? – спросила я.

– Что это значит? – осведомился он. – Море всегда на западе. Где ты училась?

– В консерватории, – сказала я.

– Это не беда, – отозвался он. – Повернешь сейчас за угол и спускайся по этой улице до конца. Упрешься в море.

– Видишь ли, просто я – из Иерусалима.

– И это не беда, – сказал он. И в спину мне: «Ты уже слышала?..»

– Слышала... – ответила я не оборачиваясь.

И пошла вниз мимо приморских кофеен под грязноватыми тентами, мимо лавок с давно немывыми витринами, мимо фалафельных с вынесенными на улицу тремя пластиковыми столами, за которыми на старых табуретах сидели люди в майках и резиновых шлепанцах. Под один из этих тентов я заглянула – купить бутылку минеральной воды.

– ...и он сказал, этот миллионер, этот богач – «в тот день, когда моя дочь выйдет замуж, – точно такую свадьбу, в том же зале я играю для бедной сироты!»

Один из сидящих за столом – могучий, эллинского типа мужчина в кудряшках переговаривался через мою голову с хозяином кофейни. Сквозь натянутый синий тент солнце падало голубовато-синими рефlekсами на стол, на лысину хозяина, на плечи и лица сидящих, на мясистое ухо кудрявого с одинокой длинной серьгой, дрожащей и вспыхивающей дешевым синим огоньком. В контраст к этому весь пейзаж за пределами тента был залит ярким оранжевым светом. И столкновение этих двух цветов давало такую насыщенную гармонию мира, как будто две необходимые друг другу субстанции дополняли друг друга. Как будто мощная радостная стихия разделилась когда-то, чтобы сливаться и сливаться вновь в неутомимом празднике бытия.

– ...Ну и?..

— ...и в шикарном зале, с оркестром, с морем цветов, с такими винами, что тебе и присниться не могут, были сыграны две свадьбы: для его родной дочери и для бедной сироты...

— Ска-а-зки...

— ...слушай, болван, моя тетя Ципора сшила два одинаковых свадебных платья! Она шила их три недели и три недели плакала от счастья!

— У тебя найдется два тридцать? — спросил меня хозяин. — Чего эт она плакала?

— А потому, болван ты бесчувственный, что из-за таких вот праведников, как этот миллионер, наш народ еще жив...

— В Иерусалиме теракт, — сказал хозяин, выкладывая мне медную сдачу на пластиковое блюдо с эмблемой кока-колы. — Одиннадцать убитых, двадцать раненых... Так, выходит, твоя тетка неплохо заработала на этих платьях?

Все здесь было густо перемешано, как рефлексы синего и оранжевого света. И ничто не могло поколебать этой босой приморской жизни, продуманной соленым бризом.

Я обернулась от прилавка и поняла — почему хмурый юноша-охранник сказал «упрешься в море»: внизу я увидела широкую ровную стену Средиземного моря, на вид металлическую и холодную, с кипящими иглами густых перламутровых бликов.

Я прибавила шаг, как-то странно ощущая робкую еще власть над ногами, которые, как выяснялось, вполне подчинялись моей воле. Спокойно, сказала я себе, спокойно, вот и море... иди, получай свое море...

...И минуты через три, скинув сандалии, уже вступала в блаженство соленой стихии, крепкой мужской ладонью схватившей меня за щиколотки.

Я приподняла подол юбки и, отгребая ногами длинные кудри водорослей, вошла в воду по колени, напрягая икры и ощущая это упругое, почти интимное оглаживание...

Вдруг в воде кто-то клюнул меня в икру. Я вздрогнула, дернула ногой, наклонилась и всмотрелась в воду. Табун юрких маленьких рыб окружил мои ноги, и то одна, то другая нападали со всех сторон, довольно чувствительно поклеывая икры. Вот! Вот еще! Вот! Ах! Черт!

Я громко засмеялась...

Две немолодые женщины в открытых купальниках, из которых олаждая вываливались пережаренные животы и груди, выразительно переглянулись, приподнявшись на своих лежаках...

Отважные рыбки нападали все настойчивей, я отбрыкивалась, лягала их, они уворачивались, я вскрикивала в голос, хохотала... Наконец, в отместку отпустила подол юбки, который заколыхался в воде вокруг моих ног тяжелым занавесом. Влажный соленый воздух, пропитанный морскими брызгами, вливался в меня щедрыми глотками, белый диск внутри палящего шара сползал по небу к необъятному водопою, выкатив от горизонта по

водной глади дорожку, вспухающую пузырями света. Три яхты – две с белым, одна с желтым парусом – парили между стихиями невесомо, как стрекозы.

У берега плескалась пожилая женщина в панамке. И вокруг нее кругами стелилась черная собака, такая огромная, что спина ее, а главное длинный лохматый хвост в воде казались отдельным от небольшой головы телом, принадлежащим какому-нибудь дракону из античного мифа. Мощными кругами собака носилась вокруг женщины, выталкивая, выгоняя ее на берег, вероятно, беспокоясь за хозяйку. А та заливалась смехом и кричала: «Тино-о-к, перестань, Тинок! Ну, дай же поплавать!»

На берегу двое юношей, один постарше, другой совсем юнец, тонкий и ломкий, как резная африканская фигурка из дерева, укладывали снасти на лодке, похожей скорее на плот. Вдвоем они столкнули ее в воду. Один встал на корме с длинным двулопастным веслом, другой – по грудь в воде – сначала вел ее между голов и плеч купальщиков, потом взобрался на нос, уселся там по-турецки, и они заскользили в слепящем свете низкого солнца на парящей узкой ладье – черные силуэты в сверкающем золоте волн. Тот, что стоял на корме, отгребал веслом то справа, то слева от борта, поочередно взмахивая то одной, то другой его красной лопастью, словно ткал невидимую сеть, бесконечную водяную пряжу, оплетающую веретено лодки...

И снова море, и три яхты на слепящем небе вдали, и черная собака со своей надоедливой преданностью, и двое рыбаков на лодке – весь этот радостный мир – подкатили мне к горлу таким тяжелым, как мокрый подол, горьким счастьем, такой подвывающей любовью, что я дважды крикнула в даль сильным, долгим голосом в шуме бухающих в песок волн...

Наконец я вышла на берег, крепко отжала подол юбки и медленно, увязая в песке, испещренном перламутровыми ноготками мелких ракушек, побрела к лежаку. Рядом, на соседних, близко сдвинутых, уже не лежали, а сидели и беседовали две женщины, растирая руки и груди каким-то кремом.

Я распростерлась на лежаке, накрыла лицо шляпой и сквозь ее густую черную вязку стала смотреть в небо, пытаясь представить себе первые минуты, те самые первые минуты, когда осиротевшая душа в смятении оглядывается окрест, еще не зная, куда лететь, еще не веря, что не привязана больше к этой земле, к этому морю, этим старым домам и деревьям...

– ...ну и отдайте уже им этот их Восточный Иерусалим, ради Бога, – говорила по-русски одна из женщин. – Не понимаю: люди гибнут чуть не каждый день...

– А Миша говорит: им только отдай одно, они тебя самого захотят слопать... мусульмане же... У них же совсем другие ценности. Ты вот, пошлешь своего Володьку кого-то взрывать?..

– Свет, разотри мне спину хорошенько, а?..

Сквозь сеточку шляпы я изучала небо, пытаясь различить невидимую дорогу, по которой сейчас отправлялись ввысь души нескольких иерусалимцев...

Мало-помалу мое тело размякло, отяжелело, душа закружилась в медленном хороводе, устремилась ввысь, разогналась...

Наверное, я продремала минут двадцать. Проснувшись под ленивый разговор все тех же теток – судя по звукам, они собирались уходить...

– Лен, слышь... – говорила одна, шелестя газетой и пакетами, – а эти старички, ну, прям как дети... Один вчера подходит ко мне после ужина и говорит: «Светочка, я совершенно одинок, болен и стар. По мне некому плакать, меня некому жалеть. Я это к тому, – говорит, – что если вам нужно кого-то убить, вы можете располагать мною полностью...»

Ее подруга рассмеялась и что-то ответила – уже неразличимо... Они уходили все дальше... Время от времени кто-то шлепал по воде, перебрасываясь словами... Двое подростков, судя по ломким голосам, остановились на минуту, горячо что-то доказывая друг другу на иврите.

– ...Ты не понимаешь! Слушай, это такой материал, из натуральных клеток, что выращиваются в пробирках, мне папа объяснял: из области высоких биотехнологий – за ним вообще будущее!

Я все лежала, не в силах расстаться с шумом прибоя, с быстро и цепко охватывающей берег прохладой... ощущая глубокий безмолвный покой, представляя, как позже в полутемной комнате мой пес – моя бессловесная душа – вспрыгнет на кровать и привалится к боку, вслушиваясь в биение моего нервного сердца.

Наконец, стало совсем прохладно. Я стянула шляпу и села на лежаке.

Солнечный диск продолжал опускаться, наливаясь пунцовым, море вытягивало из глубин к поверхности синие и фиолетовые тени; откуда-то набежали ребристые длинные облака и, напоровшись на раскаленный шар солнца, вдруг выхлестнул в небо длинный язык огня...

Непомерно огромное солнце опускалось в море. Оно уже коснулось сизых волн и даже слегка огрузло. Несколько мгновений казалось, что этот посторонний предмет на горизонте не имеет отношения ни к небу, ни к морю, ни к людям, ни к тому, что происходит на этой планете. В страшном одиночестве солнце несколько мгновений выпукло стояло на воде... и сразу же неудержимо, обреченно стало тонуть, выплескивая в облака кипящие алые отсветы, как бы взывая о помощи, помощи и поща...

...утонуло... И минут пять еще облака медленно тлели над темно-фиолетовой бездной.

Наступившие сумерки уже дрожали в небе птичьими клевками первых слабых звезд. Подол моей юбки давно просох... И на берегу не осталось ни души...

Наконец, я поднялась, тщательно ладонью отряхнула от песка ступни, надела сандалии и стала подниматься по ступеням к набережной.

Вдруг ливанул дождь – короткий и шумный, почти небывалый для этого времени года.

Я выбралась к шоссе, подняла руку и довольно быстро поймала такси, легко сговорившись с водителем за четвертак – до Центральной автобусной станции.

По пути он свернул на улицу Алленби, где уже зажглись фонари, и, когда мы остановились на светофоре, я увидела Габи, запирающего аптеку и одновременно беседующего с последним посетителем.

Таксист вдруг выглянул в окно и заорал: «Габи, что слышно, Габи?» – вопрос, на который здесь подробно не отвечают, возможно потому, что в каждую следующую минуту слышно что-нибудь новенькое.

Продолжая улыбаться последнему за день клиенту прекрасной стороной своего лица, Габи обернул к нам другую, искореженную *ужасом*, помахал рукой, что-то хотел сказать, но тут выпал зеленый, и мы рванули дальше.

– Мой армейский друг, – сказал таксист. – Видела, как отделали его в Ливане? И вот, усмешка судьбы, что ты скажешь: Габи на войне выжил, а девушка его, такая славная девушка, взяла и умерла.

– От чего? – спросила я.

– Так, просто... – сказал он, – какая-то болезнь...

И повернул на Левински. Слева рискованно вынырнули и обогнали нас два головастика на мотоцикле: девушка – невероятно тонкая, с полуголой спиной, гибкими руками оплетала своего друга, и на блестящем ее, точном плече таинственным тавром чернела замысловатая татуировка.

– Сумасшедшие... – сказал таксист. – Смотри, что они делают, эти сумасшедшие. Жизнь им недорого. Тут и так не знаешь – когда взлетишь на воздух. Слышала сегодня – в Иерусалиме?

Он прибавил скорости и нагнал парочку. И с минуту они мчались перед нами, чуть справа, так что я видела ее гибкую спину с шаром шлема на голове.

Мое нервное сердце билось свободно и покойно.

В желтом свете фонарей все было омыто недавним коротким дождем – шоссе, мотоцикл, их шлемы. И ее смуглое плечо с паутиной татуировки блестело так же, как и эта дорога, шлемы и мотоцикл и, казалось, было произведено из какого-то нового высокотехнологичного материала, за который, конечно же, будущее.



ШКОЛА СВЕТА

Во влажной тьме аэродрома поливальная машина металлическим прутом воды сбивала наледь с крыла самолета.

Мартовской ночью вылетали в Амстердам, любимый нами город.

Когда-то, лет десять назад, мы впервые оказались за границей – в Амстердаме. Вышли из здания вокзала и увидели ряд старых домов над каналом – строй забулдыг, отбывающих 15 суток за мелкое хулиганство. Особо старые дома кренились набок, приваливаясь плечом к соседу, и – как похмельные – норовили выпасть из строя мордой об мостовую.

Словом, мы влюбились навсегда в эти огромные окна, жадно ловящие скудный северный свет, в тревожную дрожь отражений в водах каналов, в выплывающие из окуляров удвоенных в воде мостов кораблики и лодки; мы влюбились в свою первую заграничную свободу, в свое безденежное безумие дорогих кофеен на улице Дамрак и с тех пор хранили верность нашему странствию номер один, заруливая – по пути ли, семь верст ли киселя хлебать – в этот город при первой же возможности.

На сей раз возможность подвалила вполне рабочая: Ляйденский университет пригласил меня выступить перед студентами факультета славистики.

Как тут не упасть – хотя б украдкой, на день-другой – в объятия любимого города?

...И вот знакомые утки утюжками разглаживают зеленую кисельную воду канала. Велосипедисты подкрадываются незаметно, как хищники из породы кошачьих; степень неожиданности их появления такова, что кажется – они слетают откуда-то сверху, выпархивают из-под твоей подмышки и мчат вперед не оглядываясь со стрекозым стрекотом спиц.

Пугаешься. Иногда вслед хочется запустить лаконичным и емким словом. А ведь напрасно: именно с переосмысления этого слова следует начинать общение с голландцами.

«һуй морген!» – приветствует меня утром хозяин нашей маленькой гостиницы. Я вежливо отвечаю: «Морген һуй!»

Степень моей музыкальности и умения внедряться в новую среду, приобретая окраску местной фауны и флоры таковы, что я немедленно начинаю отлично говорить на языке той страны, где оказываюсь. То есть, я, конечно, не имею в виду действительное знание языков – в этом я абсолютно и даже торжествующе бездарна. Я имею в виду интонационный рисунок, артикуляцию, чередование пауз, ритмические волны вдоха-выдоха, присущие речи коренного населения.

При этом вставляю во фразу любые слова, которые придут даже не в голову... – не знаю, как назвать то место, куда они приходят, оно помещается где-то между кончиком языка и уздечкой...

И меня понимают!

Я утверждаю, что способна вести беседу на любом языке; но для этого мне необходимо оказаться в той местности, которая данный язык породила.

Возьмем нынешний приезд в Голландию.

Мы гуляем по набережной вдоль канала и решаем, что неплохо бы перекусить, скажем, какой-нибудь рыбой... Заходим в ближайшее кафе, и, родственно улыбаясь официанту, я произношу что-нибудь вроде: «ду-ю-грахтнин меню-у-э-фишн-блю-удн?» – распевно-гортанно, с удовольствием.

Тут главное улыбаться и совершать полужаметные жесты, как бы рисующие в воздухе рыбку. Официант слышит во фразе международное слово «фиш», ухо его цепляет знакомые слоги, жесты накладываются на звуки голоса... мгновение! – и смысл всей фразы вспыхивает в его мозгу безотнositельно к смыслу каждого слова.

Мама говорит, что в детстве я часами могла щебетать на какой-то тарбаршине, уверяя, что это итальянский или испанский. Если я читала «Трех мушкетеров», то с утра до вечера отвечала на любой вопрос домашних «по-французски» – полной ахинеей, говорит мама, птичий посвист, имена улиц и площадей вперемешку с именами и титулами главных героев – но поразительно похоже по звучанию. Чужие пугались этого внезапного полиглотства.

Помню первое утро в Иерусалиме: яркое солнце, вишневая накипь бугенвиллей на желтой крупнозернистой кладке стены во внутреннем дворике квартиры брата, куда накануне ночью в проливной дождь доставило нас из аэропорта маршрутное такси. Итак, утро, я одна в доме, ошалевшая и ослепленная – после ноябрьской слякоти Шереметьева – избыточной благодатью Средиземноморья, синевой, желтизной, буйной окраской невиданных кустов прямо в доме... Звонок в дверь. Меня забыли предупредить о вызванном накануне электрике. Он стоит в дверях и пытается что-то объяснить мне. Я улыбаюсь. Он повторяет, еще раз, показывает на плоский чемоданчик с инструментами в руках. Наконец, я вспоминаю единственную фразу, выуженную моей безалаберной памятью из трех уроков иврита, на которые мне удалось попасть в Москве.

– Я не говорю на иврите, – произношу я, по-прежнему přátельски ему улыбаясь.

Он молча смотрит на меня несколько мгновений и, наконец, мрачно произносит:

– Ты ДА говоришь на иврите, сукина дочь!

...В первое же утро – приятное знакомство: голландская мышь в кофейне на улице Дамрак, в центре Амстердама. Мы сидели недалеко от входной двери, вдруг в углу под деревянными панелями увидели ее – любопытную, спокойную и доверчивую. Она просеменила к нам под стол, уперлась розовыми ручками о задник Бороного ботинка, поднялась на лапки и долго обстоятельно обнюхивала кожу с видом дегустатора, от которого ждут произведения сорта винограда и года выпуска драгоценного напитка. Борис

сидел, не шелохнувшись. Наконец, она опустилась и покатила под столиками, деловито снуя меж ботинками, сапогами, кроссовками.

– Не соблазнилась... – сказал Борис чуть ли не с сожалением.

– А я тебе говорила: не покупай дешевку!

Огромные окна парадных, или, как говорят здесь, «красивых», комнат голландцы не занавешивают: «нам нечего скрывать».

Наши приятели, супружеская пара из России, снимавшая в Ляйдене квартиру, рассказывали, как однажды, уйдя на работу, забыли раздвинуть занавески на окне. Удивленная и шокированная этим обстоятельством соседка позвонила хозяйке дома, та ринулась разыскивать своих жильцов на работе, а разыскав, долго распекала по телефону: как, мол, посмели не раздернуть шторы? Что люди могли подумать – что там, в квартире, происходит?!

– Да что, что могло там происходить?! – обескураженно отбивался наш приятель. – Притон у нас, что ли, станок, печатающий фальшивые деньги?! Укрывательство трупа?!

– Порядочным людям скрывать нечего! – оборвала его хозяйка.

И, отпросившись с работы, виновник помчался домой – отдергивать занавеску.

Сначала, проходя по тротуару впритык к высоким окнам, заглатывающим просторный кусок набережной канала, я, по своему писательскому любопытству, воровато косила глазом внутрь комнат, пока не поняла, что эти хладнокровные голландцы не только не против того, чтоб их разглядывали в те минуты, когда они читают в кресле, смотрят телевизор, говорят по телефону или даже валяются на диване с кошкой или собакой, но и сами тебя с удовольствием разглядывают – мол, ну-ка, ну-ка, посмотрим, правильно ли ты идешь.

Я, со своей страстью к «театру жизни», и без того всегда глазею в окна, а тут еще уютный нарядный быт так привлекательно распахнут перед вами. В этом есть все же некоторое желание покрасоваться. Нация, посвятившая века обустройству своего очага, крепкого прочного дома, очеловечиванию холодного неприветливого пространства, по праву гордится своими руками и хозяйской сметкой. Своим умением достойно жить.

– Однако... не слишком-то удобна эта ежеминутная демонстрация своей чистой совести, ты не находишь? – заметила я после очередной уютной комнаты с рядом высоких китайских ваз, где на диване валялся молодой человек, одной рукой листая журнал, другой задумчиво исследуя лабиринты собственного носа. – Есть ведь ситуации, когда хочется спокойно наорать на кого-то из домашних, дать по уху собаке или сыну... Не говоря уже о внезапном порыве... хм-хм... любви, когда дети отвалят, наконец, из дому?!

– Вопрос не в приличиях, – отозвался Борис. – Это температура тела такая. Они не могут, как мы, совершать резких движений...

...В этот приезд мы, наконец, решили заглянуть в музей, на который раньше времени не оставалось.

Входишь в фойе Еврейского музея Амстердама и как-то теряешься: ты попал в странный лес лиц. Небольшие – 30 на 30, на высоких металлических подставках портреты выдающихся евреев всех времен и народов расставлены в алфавитном порядке по группкам... Не Бог весть как намалеванные маслом на холсте, но вполне узнаваемые...

– Во кому-то халтурка обломилась! – заметил мой художник.

На каждую букву алфавита теснился небольшой, но плотный отряд великих евреев. Неизвестно – по какому принципу отбирались кандидаты. Ицхак Рабин стоял на подставке, потупив глаза, Шимон Перес бодро смотрел вдаль. Ариэля Шарона, однако, в пантеон не пустили. Да что там Шарона – Спинозы не было! – моего личного великого предка – все еще держали его, отлученного, за оградой синагоги, высокомерные евреи... Зато белозубо скалилась Симона Синьоре... Элвис Пресли запрокинул голову с роскошной молодой шевелюрой, Альберт Эйнштейн был срисован с чинной канонической фотографии (не с той, с которой он дразнит Вселенную высунутым языком относительности).

Но доконал меня портрет одного парня на букву «J». Внешность – мне издали казалось – страшно знакомая, хипповатая такая, неопрятная, с гривой спутанных волос... Я надела очки, подошла ближе: «Jesus». И для тех, вероятно, кому это имя ни о чем не говорит, пояснение буквами помельче: «Сыграл значительную роль в становлении христианства».

Мы еще погуляли немного запутанными тропинками этого дремучего, в каком-то смысле, леса. Ни Моисея, ни пророка Илии, ни родоначальника евреев – праотца Авраама не отыскалось среди избранного шоу-народа.

– Может, не нашли сносных фотографий... – примирительно заметил Борис.



Еще до приезда мы намеревались, отчитав лекцию перед славистами, через Гаагу проследовать в Брюгге и там бросить якорь дня на три. Когда-то проездом мы провели несколько часов в этом игрушечном раю, были совершенно очарованы миниатюрными площадями, кукольными домиками Кая и Герды, косматыми битюгами, впряженными в опереточные экипажи, и сейчас жаждали отрешиться от всего в этой сказочной благодати.

– Отрешиться? – уточнила наша приятельница Лера, та, что, собственно, организовывала мою лекцию. – Да на черта вам в тот же день гнать из Гааги в Брюгге, что за срочность? Путь не такой уж близкий. И в Гааге не догуляете и устанете, и в Брюгге приедете только к ночи. Заночуйте в Дельфте, это по дороге. Я знаю одну гостиницу шестнадцатого века, с кондитерской на первом этаже – совершенно волшебную. Говорят, в ней Вермеер писал свою знаменитую «Девушку, читающую письмо у окна».

Может, даже это здание и было его домом, они ведь с женой содержали постоялый двор... Там комнаты так и называются: «Питер де Хоох»... «Карел Фабрициус»... «Ян Вермеер»... Я закажу вам номер, ладно? Отрешитесь на все сто! А поутру и тронете в Брюгге, по холодку.

«По холодку» – это верно было замечено. Несмотря на солнечные дни, мартовский холодный ветер нагло обшаривал куртки, трепал заледеневшие уши, вышибал из носа слезу. Я представила себе теплый голландский дом к вечеру, камин, а лучше печку-голландку со старинными изразцами... уютную кондитерскую на нижнем этаже... И мы согласились.

И наутро двинули в Гаагу, зеленый приветливый город, более мягкий, более устойчивый, более округлый, чем Амстердам. Собственно, нашей единственной целью на этот раз был Маурицхейс – королевский дворец с его картинной галереей.

– Кстати, о Дельфте... – говорил Борис, поднимаясь по лестнице на второй этаж королевского дворца. – Где-то здесь должен висеть вермееровский «Вид Дельфта».

В небольшом зале с полуопущенными шторами на высоких прямоугольных окнах плавал зеленовато-оливковый свет. Он обволакивал глаз, насыщал его, сливался со струящимися от картин золотисто-коричневыми тонами... Великолепные полотна голландских мастеров окружали нас: Герард Терборх, Герард Хаугест... Якоб ван Рейнсдаль... Натюрморты... Пейзажи... Интерьеры соборов и церквей...

– Подожди... – сказал Борис, придерживая мои плечи. – Стой так, не оборачивайся. Обрати внимание: все напоено этой излюбленной кирпично-оливковой гаммой малых голландцев. Видишь, вся живопись, весь цветовой арсенал художника зажат между двумя полюсами, заданными определенной гаммой. Немного пурпура, немного густой зелени, но в основном – это устрично-приглушенное спокойствие тона, устойчивая бюргерская жизнь цвета... А теперь смотри! – и он с силой развернул меня за плечи в ту сторону, куда распахивались двери в анфиладу нескольких залов и со стены последнего шло безудержное сияние. Я даже не сразу поняла, что это и есть – картина. Мне почудилось – это вид в окне: в синем просторе тяжело шевелились облака – над шпилями церквей, над багряной черепицей крыш, над башнями, лодками, мостами, над колыханием бликов в воде, над желтой песчаной косой на переднем плане.

– Что это? – спросила я ошеломленно. Как будто вдруг очистилось зрение, будто содрали темные шторы с окна или сняли катаракту, что заглушывала мир тенями, и мы взглянули вокруг ясным, полноцветным, без затемненной оптики взглядом. Картина была навечно установившимся бытием. – Какое все... другое!

– Да! – сказал он торжествующим тоном, будто сам только что отложил кисть и отошел от мольберта, чтобы взглянуть на холст с нужного расстояния.

– Это Вермеер.

Мы медленно пошли туда, где продолжалась, длилась на полотне жизнь, более реальная, более наполненная просторным дыханием вечности, чем пейзаж сегодняшней Гааги за окнами дворца. И пока шли, Борис говорил о том, как четко художник разрабатывает фактуру: рыхло написанные облака, вода, дома; о точно найденном соотношении затемненных и освещенных частей, о пуантелистической – задолго до пуантелистов! – технике, которая создает некоторую вибрацию атмосферы и отражений в воде.

– ...все взвешено, рассчитано, найдены заполнения пустот, – бормотал он почти влюбленно, то приближая лицо к самому холсту, так что в явной тревоге привставала со стула старушка в дверях зала, то отпрянув назад, словно собирался бежать отсюда без оглядки ... – Видишь, суть его искусства в математически точных соотношениях тональных масс, цветов, светотеней. Собственно, всю эту «материальность, вещественность» мира мы видим и у других голландцев, но тайна мастерства Вермеера в том, что, несмотря на точную, фотографическую передачу действительности, он заставляет нас не просто смотреть на это, а переживать состояние медитации. Поэтому его живопись – ошеломляет.

Я не вслушивалась, я вообще быстро устаю от наукообразности... Просто стояла и смотрела на освещенную солнцем колокольню Ньиве керк и на ослепительный ряд черепичных крыш за ней, над которыми сейчас, сию минуту всегда громоздились пузатые, самодовольные бургерские облака.

– Слушай, а почему, собственно, его живопись настолько отличается от других голландцев? Откуда он взялся такой... неожиданный? – спросила я.

Мы уже сидели над озером за королевским дворцом. Солнечная пелена пара поднималась от поверхности воды. Две уточки-чонки, черные, с белыми кепками, сигали туда-сюда. Одна все купалась, прихорашивалась; другая – а может, другой? – без устали трудилась: глубоко ныряла, потешно выставив зад, выныривала с какой-нибудь тряпкой, щепочкой, ветошью... оттаскивала это в клюве куда-то к своему тайнику и вновь выплывала на охоту...

– Он ведь, кажется, и родился в Дельфте, и прожил там жизнь?..

– Родился, прожил жизнь, торговал картинами... Наверное, и шелком торговал, как отец... вполне был трезвым человеком, коммерсантом. Очень мало картин написал – десятка три-четыре... Но в Дельфте его почитали, выбирали в правление гильдии святого Луки... Просто в середине семнадцатого века в Дельфте появился Фабрициус, вероятно, искал заказов при дворе принца Оранского – он ведь и настенной живописью занимался.

– А разве Фабрициус в те годы не был учеником Рембрандта?

– Был, одним из лучших. И отлично ему подражал... И вдруг взбунтовался. Причем так, что уехал из Амстердама и до самой смерти с учителем не общался.

– А в чем была причина ссоры?

– Дело не в ссоре... Он восстал против палитры Рембрандта. Против темной, охристой, тяжелой палитры... против глубокой рембрандтовской тени... Приехал в Дельфт и создал свою школу, которую можно бы назвать Школой

света. Так вот, считается, что Вермеер был учеником Фабрициуса, возможно потому, что и тот и другой проявляли интерес к оптическим эффектам и перспективе. Кстати, тот же «Вид Дельфта» выстроен Вермеером как фриз. Ты обратила внимание? – он «сдвинул» здания, мосты, башни, лодки – в один ряд. Вероятно, пользовался камерой-обскурой... Словом, и Фабрициус, и Вермеер работали с широкоугольными линзами и выпуклыми зеркалами. У Фабрициуса есть свой «Вид Дельфта с лавкой музыкальных инструментов». Там он намеренно создает эффект оптического искажения, для большей выразительности. В семнадцатом-то веке! Представляешь? Впечатление странное, смещенное, фантастическое... Как будто эта церковь, Ньиве керк, ему привиделась... Сидит себе такой господин в широкополой шляпе, мало похожий на лавочника, тут же и лютюня, и виолончель... И такое странное у господина лицо, словно он размышляет: а не послать ли всю эту жизнь к такой-то матери, да не повеситься ли мне, не отходя от лавки... А вдали, за переплетением каналов – смещенная, будто сплюснутая Ньиве керк со своей иллюзорной колокольней. И шпиль гаснет в облаке такого жемчужного сияния...

– И... он прожил в Дельфте до конца жизни?

– До конца-то было рукой подать, – Борис усмехнулся. – Он погиб буквально через несколько лет при взрыве порохового склада. Половина Дельфта взлетела на воздух...

– О, Господи... представляю этот салют... – пробормотала я. – Вершина пути, ослепительная вспышка... Последний экзамен в Школе света...

...Белый лоскут одинокой чайки пронесся над озером, плеснул в воздухе и скрылся за башенками на высоченном скате черепичной крыши Маурицхёрса.



В Дельфте очутились под вечер. От вокзала к городу шли пешком, ориентируясь на уже знакомую – по Вермееру – колокольню Ньиве керк, напротив которой, судя по рисованному плану Леры, и стояла та гостиница, где для нас заказан был номер.

Весь Дельфт оказался простеган каналами и, как корзинка, переплетен горбатыми мостками, на которые легко взлетали вездесущие велосипедисты. Город – эскиз Амстердама, но уже каналы и набережные, ниже дома и фонари... Однако чувствовалась в нем та провинциальная безмятежность, отдохновение странника, которые напрочь отсутствуют в оживленной пештоте амстердамских улиц.

Солнце еще лежало на треугольных – ступеньками – фронтонах домов, на темно-красной черепице крыш.

Мы миновали два подъемных моста. Один – разводной; мы постояли, дожидаясь, пока грузовая баржа протащится по каналу, и, едва дирижерские палочки шлагбаума стали медленно подниматься, под них нетерпеливо поднырнул мальчик на велосипеде.

Второй мост – отводной, действовал как бы на кронштейне. Целиком отворачивался на одной ноге; вытянулся вдоль берега, пропуская судно. Когда, подрагивая, он вернулся на место, велосипедисты первыми стремительно бросились вперед.

Наша гостиница, трехэтажное старинное здание, фасадом обращенное к Ньиве керк, была похожа на все голландские дома: большие окна, высокие скаты черепичной крыши, и герань, герань... Герань – повсюду.

В крошечном фойе, отделенном высоким барьером от зала кондитерской, где на широком подоконнике спала в кустах красной герани рыжая кошка, за старомодной почтенной конторкой стоял высокий мужчина лет шестидесяти – курчавые седые волосы, горбоносое смуглое лицо... Вероятно, портье. А нам велено было искать хозяина, господина Сэмюэля Ван-Лоу...

На мой вопрос он ответил:

– Это я.

– Нам здесь заказан номер, – сказала я, не подав виду, что удивилась такому контрасту средиземноморского типа внешности и голландского имени хозяина.

– Смотри, – Борис кивнул куда-то в сторону зальца кондитерской, где сидели две пожилые дамы, пили кофе с рогалями. Я недоуменно взглянула на мужа: что примечательного увидел он в милых голландских старушках?

– На стене... какое совпадение...

Я перевела взгляд. Да, совпадение забавное – над столиком висела копия той самой картины Вермеера, «Вид Дельфта», перед которой мы стояли сегодня битый час в Маурицхейсе.

Пока я заполняла бланк анкеты и получала ключи, Борис, невежливо нависнув над божьими одуванчиками, изучал копию картины...

Я окликнула его, и, взвалив на себя сумки, мы потащили их – о, крутизна винтовых лестниц-скважин в голландских домах семнадцатого века! – на второй этаж, пыхтя и проклиная свое пристрастие к старине.

На дубовой двери нашей комнаты была привинчена табличка: «Карел Фабрициус».

– Очень мило...

– Все по теме, – сказал Боря, вставляя массивный ключ в замок. Я подумала: слишком уж по теме. Мой писательский нос с утра уже чувствовал, что – словно охотничий пес – был натаскан годами: еле слышимый аромат витавшего в воздухе сюжета.

Дверь открылась, и мы остановились на пороге. Люблю этот первый взгляд на новое мимолетное пристанище. Первый шаг в гостеванное пространство, которое хочется сразу обжить, хоть на сутки, хоть на ночь заполнить собой, превратить в свое убежище. В этой небольшой комнате было все, что так нравится мне в европейской старине: почерневшие, разошедшиеся балки потолка, криво подпирающие скошенный потолок, неровные беленые стены, большое окно, из которого выглянешь – привычное напла-

ствование черепицы, вымытый булыжник внутреннего дворика, старый фонарь и – волны герани, белой и розовой...

Борис свалил сумки на пол и рухнул на постель.

– А копия-то странная, – сказал он, – там, на стене...

Я с ожидаемым, надо сказать, удовольствием обнаружила электрический чайник на столе и в корзинке – пакетики с чаем и кофе, две булочки, запаянные в целлофан, сахар, круглые плоски с джемом. Место было приличным, ничего не скажешь.

Я налила в чайник воды и включила его.

– Чем это странная?

– Понимаешь... С одной стороны, очень недурное исполнение. С другой стороны – весьма приблизительные цвета... Как будто художник писал не с картины, а с какой-то случайной репродукции... К тому же она потемнела от времени. Надо бы тому парню за стойкой сказать, чтобы протер холст луковым соком.

– Вот и скажи! – мстительно заметила я. Не владея ни одним языком, мой муж, как все мои близкие, был уверен, что я могу, если захочу, поговорить с любым иностранцем на любую тему...

После вечерней прогулки по городу ужинали в одном из ресторанов на Маркт – большой, веками обжитой площади, уютно обставленной старинными комодами-домами. В головах площади плыла, словно флотилию вела, Ньиве керк, усыпальница королевской фамилии. На высоком круглом постаменте перед ней – огромный, сутулый и несуразный, в плаще до пят – высился над площадью кто-то из принцев Оранских, выставив вперед острую бронзовую бородку, держа в руках огромный фолиант. Под фонарем блестела бронзовая пряжка на туфле танцевального фасона.

Ресторан, куда мы зашли поужинать, помещался в полуподвале одного из домов. За густыми переплетами окна, буквально на уровне нашего стола, у моего локтя плескалась вода узкого канала, в котором – в свете фонарей – утомленно плавали сонные утки.

Столы были накрыты коврами, как на картинах Вермеера, и тоже продолжались за окном, смутно волнуясь ворсистым ложем в колеблющейся воде.

– А знаешь... – вдруг сказала я, – неохота уезжать отсюда...

На столе перед нами в плошке горела желтая свеча, она тоже отражалась в окне, в плотной воде канала дрожащим теплым огоньком. Вся улочка с запертыми на ночь магазинами, кондитерскими, аптекой казалась от этого обжитой и уютной...

– А как же Брюгге?

– Ну давай раз в жизни поменяем планы...

– Да ты уже завтра заскучаешь! Мы за три часа обошли весь городок... Здесь ни музея, ни...

Он посмотрел на меня, пожал плечами.

– ...Как хочешь...

Вернувшись после ужина на площадь, мы наткнулись там на крытые брезентом фуры с включенными огнями. В свете фонарей и фар молодые люди сгружали на землю длинные алюминиевые штанги.

– Что-то завтра здесь будет, – предположила я. – Надо бы в отеле спросить.

Перед сном мы еще заложили крюк подальше... Тихие пустынные набережные, скудное освещение, белые перила мостов – ряд вытянутых шахматных пешек – над тяжело мерцающей водой каналов...

На противоположной стороне улицы мы обратили внимание на спрятанное в маленьком дворе здание совсем не голландской, а скорее греческой архитектуры с треугольным портиком и голубыми – в свете луны – колоннами. Мне вдруг почудились на фронте знакомые буквы...

– Смотри, иврит!

– Откуда здесь иврит? Какая-нибудь греческая церковь...

Мы перешли по мосту на противоположный берег канала, и Борис взбежал по ступеням здания к запертым массивным дверям.

– Ты не поверишь! – крикнул он оттуда. – Это синагога. Судя по архитектуре – конец восемнадцатого, начало девятнадцатого...

– А почему бы и нет?... Вероятно, до войны здесь была приличная община... как везде в Европе...

...За конторкой в гостинице стояла и писала что-то высокая старуха с суровым лицом, как бы собранным из нескольких стертых плоскостей. Вот уж в ее голландском происхождении сомнений не возникало...

Я поздоровалась, назвала номер комнаты. Она молча сняла с гвоздика ключ и передала мне.

– Госпожа... Мы хотим... – несколько радостных гримас и обнимающе-пригласительные движения рук. – Циммер-грахтн-хотэл-три-дейс?.. Это – да?

Знакомая оторопь на лице и столь же знакомый как бы щелчок включения смысла.

– Это – да.

– Скажи ей про картину, – подсказывает Борис рядом, – чтобы протерла луковым соком.

– Отстань! – огрызаюсь я.

– Ну почему? Ну что тебе стоит?

– Потому что я не знаю, как по-голландски будет «луковый сок»!



Утром проснулись от богатейшего перезвона колоколов на колокольне Ниве керк. Высокие звуки будто окунались в вязкую воздушную среду и гасли там, как спички гаснут в блюде с песком. Низкие тянулись, ползли, утробно выдыхали в небо гуды, как аллегорические щекастые ветра на картинах старых мастеров выдувают брендспойтовые струи воздуха.

Во внутреннем дворике, куда выходило наше окно, стоял холодный пар утреннего тумана...

– Послушай, что играют, – спросонья пробормотал мой муж. Я прислушалась: вот это да! Колокола вызванивали «Ob-La-Di, Ob-La-Da...» – песенку нашей юности, исполняемую когда-то «битлами»...

– Это – в усыпальнице-то королевской фамилии, а? Между прочим, принцев Оранских... – он потянулся. – Хороший город!

– У вас сегодня так весело! – сказала я хозяину, на своем, разумеется, птичьим наречии. Он сам подавал завтрак: плетеная корзинка с круассанами и булками с маком, масло, джем, полный кофейник горячего кофе. Высокий голубой молочник с надбитым носиком.

– Воскресенье, – отозвался он по-английски. Его внешность по-прежнему интриговала меня: нездешние южные черты лица и голландская сдержанность в мимике. – Сегодня на Маркт – воскресный рынок, – добавил он.

...Над Дельфтом курился туман, легкий, воздушный, какой-то зефирный. Шпиль Нйве керк таял, таял – петушок поблескивал в молоке облачков.

Воскресный рынок на Маркт уже обустроивался, складывался в самостоятельный городок. По периметру площади и вдоль домов расставлялись рядами столы, крытые поверху полосатыми и темно-зелеными навесами. Из открытых спозаранку кафе и ресторанов официанты выносили, позевывая, на улицу столы и стулья.

С колокольни безудержно катились звоны, концерт все длился, Баха сменял Букстехуде, за ними – не смущаясь – запряженное тройкой малых колоколов, выплывало какое-нибудь известное танго и совершало шикарный танцевальный круг над черепицей, сизой от нежной туманной мороси.

Часа через полтора туман рассеялся, рынок загалдел, зашумел, мягкое солнце затопило старинную площадь...

Ропот великого торгового возношения к шпилям и колоколам.

Вот тут являла себя нынешняя разноплеменность Европы: китайцы, вьетнамцы, тайландцы, арабы со своим поистине международным барахлом, столь привычным сейчас на рынках разных стран, вершили счет носкам, трусам, темным очкам, брелкам и чашкам... Отдельным рядом тянулись столы со старьем и среди прочего – великолепная и дорогая керамика Нидерландов потертыми, иногда склеенными голубыми боками ловила мягкие солнечные блики.

В съестных рядах торговали сырами, медом и сладостями – круглыми пористыми бельгийскими вафлями, меж слоями которых намазывали шоколадный крем, сгущенное молоко, джем – в зависимости от того, насколько рот отваживался ухватить это многоэтажное великолепие.

Мы к тому времени успели уже выпить кофе, совершить очередной круг по маленькому центру Дельфта и решили вернуться на площадь, с которой доносился разбитной и жалостный одновременно звук шарманки.

Из глубокой тени кирпичного ущелья меж двух высоких домов, мы, как в раме, увидели в прямоугольном просвете, рассеченном вверху надвое навесным фонарем, высокий дом на Маркт, выбеленный солнцем, с заплатами бордовых ставней. И фонарь, и тренога, вынесенная перед рестораном, и маленький синий «фольксваген», и полосатые навесы, и фургон с лошадкой – все было залито прямым ликующим светом...

Лошадка была рыжей, с золотисто-промытой, как у старательной пятиклассницы, гривой. На платформе-колеснице, в которую она была впряжена, воздвигнут был... теперь надо как-то описать, как-то назвать это сооружение... Балаган-шарманка, вот как я это назову!

Итак, сама шарманка была вставлена в вырезанный из дерева и ярмарочно раскрашенный театр величиной с небольшую карету. В окне кареты, за которым виднелись нисходящие по высоте трубы органчика, стояли фигуры трех кавалеров елисаветинской эпохи – в цветных панталонах, в чулках, в туфлях с пряжками и главное – в треуголках на буклях пудренных париков.

И чего только не было на барочном фронте данного произведения кондитерского искусства; кондитерского – потому, что оно напоминало огромный торг: там были гроздья винограда, выпуклые листья причудливых растений, портреты обольстительных дам и даже – обрамленный листьями и плодами – пейзаж с оливковыми деревьями в голубой долине... Музыку это заведение выдавало совершенно трактирную, карусельную, площадную... Словом, шарманочную.

Вокруг повозки толпилась восхищенная публика. Дети старались потрогать бисквитные на вид красоты райского экипажа, кто-то кормил лошадку орехами, а сверху, с колокольни, все лились секвенции баховских прелюдий, не смешиваясь с механической гармоникой ярмарочного передвижного балагана вниз.

Я не сразу услышала сигнал мобильного телефона, а включив его, не сразу поняла – кто говорит. И только выбравшись из толпы, различила голос нашей приятельницы.

Ну, как вы там, в нашем Дельфте, кричала она в третий раз, вот, собираюсь подскочить к вам сегодня, пообедать.

(Она жила в маленьком городке между Дельфтом и Ляйденом, минутах в сорока езды от нас – вполне «европейский перегон, человеческое расстояние», как говорит один мой американский друг, так и не приспособившийся к дистанциям тамошних хайвеев...)



Мы встретились с ней ближе к вечеру у высокой бронзовой тумбы с памятником таинственному незнакомцу в танцевальной обуви. Ярмарочное веселье уже сворачивалось, разнималось на шесты, столы и ящики, скатывалось в брезентовые штуки, грузилось на фуры... И пока мы обедали все

в том же полуподвале с таинственно и уютно плещущей водой канала за переплетами окна, почти у самого локтя... фуры уехали, и площадь была убрана, как гостиная после ухода шумной и нетрезвой компании.

Мы немного еще погуляли троим вдоль каналов. Нас обгоняли одинокие велосипедисты; промчалась старуха в элегантном плаще, азартно крутящая педали, следом покатили четверо мушкетеров стайкой – три мальчика и девочка лет 16. Она-то как раз и походила на д'Артаньяна. Сидели на высоких седлах, спины держали прямо, только некоторая неподвижность бедер, вернее, механистичность их движений, отличала велосипедистов от наездников...

И, как бывает неяркой холодной весной ближе к закату, ощущалось особое состояние воздуха, освещения – когда мягкое солнце, задерживаясь на черепице и цепляясь за верхние уголки ставен, кажется – по контрасту с глубокими синими тенями на земле – таким нестерпимо ликующим, а отражение в водах канала – потаенным и особенно проникновенным. Так кисть художника, окунувшись в воду, трогает вихри голых ветвей на листе, волнующиеся в воде канала отражения домов, печных труб, высоких большеголовых фонарей у мостов и главное – небо, небо, полное милосердного смысла, цветом более даже настоящее, чем эмалево-плоское небо вверху... И вода стекает кривыми дорожками по листу, добавляя в акварель воздух и свет.

В такое время года попали мы в Дельфт, маленький старинный город Голландии, в котором некогда, довольно короткое, впрочем, время, два-три художника пытались поймать в широкоугольные зеркала и линзы грани этого ускользающего мира, рассмотреть в камере-обскуре этот трепет теней, блик на жемчужной серьге в атласной мочке юного ушка и блеск серверного неба с торжественной поступью тяжелых облаков...

– Вот... – сказал Борис, останавливаясь на мосту у антикварной лавки, увешанной медной посудой, лампами, каким-то милым барахлом. – Вот, глядите: отсюда Фабрициус писал Ньиве керк. Здесь, на этом месте, и стояла лавка музыкальных инструментов, сидел задумчивый господин в черной шляпе...

– ...именем которого названа наша комната в гостинице.

– Кстати! – встрепенулась наша приятельница. – Мне бы надо зайти, поприветствовать Марию и Сэмюэля, не видала их целый год...

– А ты с ними хорошо знакома?

Она рассмеялась:

– Лучше некуда – по судебным нуждам. Я как переводчик вела несколько дел в здешнем суде. А они судились с одним клиентом, из наших... И... не помню уж деталей... как-то разговорились, познакомились, а потом подружились. Если заседания тянулись долго, они оставляли меня ночевать. Особенно зимой и ранней весной, когда дороги скользкие, а туристов не густо...

– Он несколько угрюм, ты не находишь?

– Нет, что ты, он порядочный и милый человек. А то, что не лыбится ежесекундно, так это ж тебе не Америка. Истинно голландская сдержанность.

– М-м-м... да?

– Вообще, семья у них удивительная! – продолжала она. – Во время не-

мецкой оккупации Мария с отцом прятали в подвале шестерых евреев, из дельфтской общины, тут недалеко у них синагога была... Причем один из них был местным раввином, и старик Ван-Лоу, истый христианин, протестант – каждый вечер спускался в подвал, чтобы вести с тем религиозные диспуты. Мария говорит: оба горячие, так спорили, так бились, дело чуть до драки не доходило! Просто крестовые походы какие-то... Она ужасно боялась, что кто-то услышит...

– Странно... у нее такое замкнутое лицо... – сказала я, – ни за что не подумаешь...

– Ну, она тогда девчонкой была и, между прочим, под страхом смерти воровала в комендатуре продовольственные карточки. Надо же было всех этих нахлебников как-то кормить...

– И... эти люди остались живы?

– Кроме одного, художника... Он был очень молод и очень болен, не помню – чем... прямо там, в подвале, и умер... Это мне даже не Мария рассказывала – она не любит говорить на эту тему, а ее сын, да и то как-то мельком...

Она привычным жестом потянула на себя входную дверь гостиницы и с порога кинулась обнимать госпожу Ван-Лоу, быстро, радостно что-то приговаривая по-голландски. Та улыбалась в ответ, явно была рада встрече. Из задней комнаты на зов матери вышел и хозяин – снова улыбки, возгласы... стихия чужого языка: отрывистые, рубленые звуки – хруст корабельных мачт, стук топоров, харканье усталых плотников, пересыпанные воздушным, вполне цензурным здесь выдохом: «хуй».

Мы уселись за стол, хозяин принес кофейник и молочник, расставил чашки... И присел рядом. Некоторое время они с Лерой оживленно переговаривались. Вдруг та спохватилась, стала о нас ему рассказывать – мол, путешествующие писатель и художник из Израиля...

– Вот и отлично, вот и переведи ему, – сказал Борис, наконец дорвавшийся до темы, – чтобы освежил ту копию Вермеера. Она потемнела от времени... Это просто: выжимается луковый сок...

Она подробно перевела. Хозяин кивал, внимательно слушал... Потом что-то сказал.

– Он говорит, что уже беспокоился и даже показывал картину реставраторам. Дело в том, что она была написана в подвале, во время войны... Сэмми, кем написана, почему – в подвале?

Хозяин, все с тем же невозмутимым выражением на лице, объяснял что-то минуты две. Наша приятельница ахала, восклицала что-то, издавала губами пыхающие и харкающие звуки.

– Представьте: копия написана при свете свечей тем самым молодым художником, о котором я только что вам рассказывала. Репродукцию добыла для него Мария. А у того в этюднике каких-то красок не хватало... но он все равно не мог не писать... Работал до самой смерти. Это единственная о нем память...

Снова она повернулась к хозяину, что-то уточняя.

– Скажи ему, что в Израиле есть музей памяти Шести миллионов погибших. И тем, кто спасал евреев во время войны, присуждают звание Праведников мира... Мы можем сообщить о его матери, ее вызовут, оплатят проезд, она посадит дерево в Аллее Праведников... Это очень трогательная церемония...

Она перевела.

– Скажите ей сами, – коротко ответил он, извинился, поднялся и направился к конторке: в отворившуюся дверь отеля чета пожилых туристов проталкивала чемодан на колесах размером едва ли не с конторку.

Минут через пять к нам вышла хозяйка, и повторилась церемония представления – писатель и художник из Израиля... и так далее... Госпожа Ван-Лоу поднимала брови, благосклонно кивала. Я попыталась представить ее молодой, совсем девчонкой, ворующей в комендатуре продовольственные карточки для шестерых опасных нахлебников в подвале... А ведь она не только карточки для них воровала, подумала я, она за ними и ведро выносила...

– Дорогая госпожа Ван-Лоу, – сказала я по-английски. Дальше переводила Лера, и я видела, как с каждым словом лицо старухи замыкается, словно где-то в тайниках задвигаются ящички, запираются на замок и ключ упадет на дно колодца.

– Нет! – наконец проговорила она. – Я знаю, есть люди, которые обеими ногами становятся на давнее свое добро, чтобы казаться чуток повыше... Я не из таких. Та история – мое личное дело, моя судьба. Я не хочу награды за судьбу.

– А тот парень, художник, – встрял опять Боря, – спроси-ка ее: он только копию Вермеера успел написать? Бывает, когда нет натуры, художник пишет автопортрет...

– Там было темно. В подвале-то... – ответила госпожа Ван-Лоу сухо. – И он вскоре заболел.

– А фотографии не осталось? – вдруг спросила я, имея в виду все тот же музей, собирающий по крохам наследие нашего неохватного, неподъемного горя. И осеклась, и пожалела сразу, что задала этот вопрос, словно в нем таился произвольный, невесомый как вздох, смысл, который лишь подразумевался в этих стенах.

Она покачала головой, вдруг улыбнулась едва заметно и властно и подняла глаза туда, где за конторкой вписывал что-то в анкеты и выдавал клиентам ключи от комнат ее немолодой сын – высокий, с курчавыми седыми волосами, горбоносый нездешним профилем... Я проследила за ее взглядом и обернулась к мужу, который – как это часто с нами бывает – смотрел в ту же сторону, что и я.

Мы встретились глазами и тихо, одними губами он приказал мне: «Молчи!»

А Лера обняла госпожу Ван-Лоу, чмокнула в щеку, и затем прозвучали две фразы, вопрос и ответ, которые я поняла без перевода:

– Как же его звали, беднягу?

— Какая разница... — отозвалась старуха отрешенно. — Его звали Сэмми. Сэмюэль...

Мы провожали нашу приятельницу в глубоких сумерках. Долго искали площадь, на которой она оставила свою машину, наконец, нашли. Странно: исходив вдоль и поперек крошечный Дельфт и выучив его за два дня чуть не наизусть, в последний вечер мы вдруг открыли эту чудесную, правильной четырехугольной формы площадь, которая словно пряталась от нас.

В центре ее стоял памятник корове. На колонне, раскрашенной под черно-белую коровью масть, четырьмя ногами на перевернутых ведрах стояла буренка, щедро размеченная по линиям разделки туши и раскрашенная синим и желтым и красным цветом. Склонив рогатую голову набок, она вот-вот готова была пуститься отчебучивать копытами по ведрам отчаянный степ. Это была веселая корова, провозвестница нового искусства новых голландских мастеров.

По периметру всей площади, приютившей группки молодежи, мягко светились окна баров и ресторанов. И окна вторых этажей были освещены приглушенным светом ламп, почти везде — красных.

— Если уж вы не поехали в Брюгге и так хотите вернуться в Амстердам, — говорила наша приятельница, усаживаясь в машину, — давайте, по крайней мере, заглянем по дороге в Шхевенингер... Там чудно, там такой вид на море!.. Завтра в девять чтоб сидели внизу, на своих котомках...

...В одном из угловых домов — возможно, это был бордель — потолок в комнате на втором этаже был затянут алым полотнищем и провисал, как парус в воде. И весь дом от этого сочился изнутри алым, пунцовым светом, таинственным светом ночной мистерии изливался он на людей внизу, даря предвосхищение праздника, и вся укромная площадь в центре Дельфта, вместе с пляшущей на ведрах коровой, казалась и праздничной, и таинственной, и греховой...

Утром мы простились с Дельфтом и поехали в Шхевенингер, на побережье, недалеко от Гааги.

Но при въезде в Гаагу на нас вдруг опять опустился вязкий туман, так что Лера с трудом вела машину и дважды останавливалась свериться по карте. А в Шхевенингере вообще не оказалось моря. Оно утонуло в плотной белесой пелене. И знаменитое здание курзала, величественное, огромное, тоже было упаковано в туман, как гигантская посылка перед отправкой неведомому космическому адресату.

Наша приятельница сокрушенно вздыхала — не повезло! Она так хотела, чтобы мы посмотрели на Северное море.

Мы пытались успокоить ее, говорили, что уж нам-то, живущим в стране трех морей и еще одного, Галилейского, — не больно приспичило пляться в очередные морские дали. Подумаешь!

Все-таки спустились по величественной лестнице Курзала на почти пустынный пляж, сели за столик кафе и заказали харинг, местную знаменитую селедку, нежную и сырую, как туман, и совершенно не соленую, почти сладкую, как взбитые сливки...

Неожиданно Лера заговорила о судебном деле, в котором сейчас принимала участие как переводчик. Судили сына, который помог безнадежно больной и страдающей матери покинуть этот мир. Мы заговорили об эвтаназии.

– Сейчас в европейском обществе постоянно обсуждают этот вопрос – о добровольном уходе из жизни... Я читала, что изобретен такой аппарат, для комфортного самоубийства или умерщвления безнадежно больного. Он надевается на голову, внутрь пускается какой-то газ, и человек медленно засыпает... И ничего не чувствует. Ровным счетом ничего... Просто меркнет свет, вот и все... – Она повторила задумчиво, размешивая ложкой сахар в чае: – Просто меркнет свет... И вроде скоро этот аппарат поступит в продажу в аптеки.

– И что, каждому желающему его продадут? – спросила я.

– Нет, – предположил Боря, – только по рецепту врача...

Мы заказали еще по порции харинга...

– Ну, надо же – как не повезло! – опять вздохнула она. – Так и не увидите моря. А ведь в двух шагах!

Море действительно расстиралось в нескольких десятках метров от нас. Из-под тяжелой завесы тумана виден был только гребень ближайшей волны, крученым канатом бьющей о мокрый песок. Так прачки отбивают тяжелый жгут пододеяльника...

А в центре этого тяжелого занавеса светился меловой круг, словно там, позади него, кто-то держал лампаду и медленно поднимал ее все выше.

Вдруг из стены тумана выехали три всадника. Вернее, они плыли в тумане вдоль кромки волны. Две лошади шли голова к голове, третья опережала их на полкорпуса.

Я не удержалась и совершила то, чего стараюсь никогда не делать в присутствии посторонних, за беседой или в гостях, – достала блокнот и, пока наша приятельница разделялась со второй порцией харинга, воровато вписала в него быстрыми закорючками: «Жемчужный день – туман – три всадника из моря – широкая полоса песка, как у Вермеера в "Дельфте"... – Разговор об эвтаназии... – девочка и молодой художник... – Как и когда успели они... – голландская сдержанность в горбоносом лице их сына – (продумать)»

И торопливо опустила блокнот в карман куртки, как украденный коржик...

Уже поднявшись по широкой лестнице к Курзалу и напоследок обернувшись к морю, мы увидели: плотные кулисы тумана, похожие на традиционный занавес в картинах малых голландцев, стали медленно и величественно раздвигаться. Вероятно, солнце поднялось настолько, что его лучи, направленные сверху, прожгли толщу ватной влаги, пронизали и высушили воздух...

Такого я еще не видела никогда: медленно разъезжались кулисы тумана, и на авансцену моря обрушился торжествующий свет, под которым вспых-

нула гигантская морская линза, вселенская камера-обскура, кладовая сле-
пящего северного света...



И вновь стаи летучих велосипедных голландцев бесшумно выпархи-
вают по трое, по пятеро откуда-то из твоей подмышки и сигают туда и об-
ратно поперек трамвайных путей, как летучие мыши.

Стрекот велосипедных спиц, крики чаек, крикание уток.

Дом, острым плечом разрезающий небо в переулке...

На сей раз наша приятельница сняла нам комнату в квартире, которую
занимала некая колоритная особа – писательница и художница.

– Вам будет интересно. Она забавная... И, к тому же, творческий человек...

Хозяйку квартиры звали как-то диковинно – не то Хамурапи, не то Ма-
буту... Происходила она с острова Ява, и весь антураж фантастически, как-
то специально неудобной ее квартиры навевал сны о Яве или еще каком-
нибудь экзотическом острове.

Дверь в квартиру прямо с улицы открывалась в крошечную, размером с
большой таз, прихожую, из которой высоко вверх, как мачта, поднималась
совершенно вертикальная лестница со ступеньками, настолько узкими, что
ногу на них надо было ставить не боком даже, но на ребро ступни.

Вся квартира была увешана масками, уставлена фигурками африканских
деревянных божков, повсюду висели какие-то бусы из зубов, подозрительно
смаживающих на человеческие, связки иссиня-черных и седых скальпов...

Когда мы втащили по корабельной этой лесенке свои чемоданы наверх,
Боря присел на шаткую раскладушку, на которой нам предстояло провести
две последние ночи, оглядел стены, полки и сказал:

– Черт-те что! Глянь-ка: дверь в этом сэттльменте запирается?

Она горячо хотела с нами общаться, на каком угодно языке: голландс-
ком, испанском, ее родном наречии... Тогда на английском – что, тоже нет?

Немедленно продемонстрировала экспонаты своей выставки, которая
вот-вот должна была открыться в одной из галерей: она помещала в неболь-
шие рамки под стеклом свои, сбереженные матерью, детские трусики и маеч-
ки; мать шила их из материи, которой обивались посылки, прибывающие на
Яву из Европы... На старой коричневой, выбеленной ярким светом фотогра-
фии мать – красивая белая женщина испанских, так по виду, кровей – сидит
на террасе в шезлонге. За ней – пальмы, песчаная коса, жемчужное кружево
лагуны. В разговорах хозяйки о детстве на острове Ява – по тому, что улови-
ла я даже не слухом, а наитием – проскальзывало что-то надрывное.

Она говорила по-английски быстро, горячо и гладко. Не сомневаюсь,
что так же быстро, горячо и гладко она бы говорила на любом из предло-
женных языков. (Что это сотворили с нами в нашем детстве, что родной

наш язык обернулся драконом из сказки, охраняющим вход в пещеру разноречивых сокровищ...)

Потом она продемонстрировала свою книгу, изданную на голландском. Все те же воспоминания о детстве на острове Ява – видно, что это камертон всей жизни, источник, ее питающий, изначальный свет.

Я сказала, что тоже пишу книги, но по-русски. Она, кажется, не поверила, во всяком случае, я бы на ее месте не поверила, потому что сдуру я ляпнула правду – что у меня вышло больше сорока книг.

Она простодушно сказала: «Смотри, как интересно: я не могу прочесть то, что пишешь ты, а ты не можешь прочесть то, что пишу я...»

Наконец, нам удалось укрыться в своей комнатке. Когда мой религиозный муж надел для молитвы *талес* и *тфиллин*, хозяйка вновь вознамерилась пообщаться. На ее стук я приоткрыла дверь, и она увидела Бориса в странной белой накидке, с черной коробочкой во лбу, с голой левой рукой, перевязанной кожаными ремешками...

Я приложила палец к губам и сказала ей:

– Мой муж... – тут я, конечно, забыла слово «мóлится». – ...Мой муж разговаривает с Богом!

Ее лицо вытянулось, на нем отразилась целая гамма чувств: благоговение, смятение на грани легкого ужаса и понимание: чужой шаман приступил к камланию, мешать опасно.

Думаю, на ночь и она от нас запиралась. Кажется, и она, и мы опасались, что съедем друг друга.



Утром, в день нашего отъезда, она постучала и вошла в комнату – в плаще, в ботинках...

– Надо идти! – сказала торжественно.

– Но... еще рано, – пробормотала я, продолжая судорожно расчесывать волосы на затылке. – Такси заказано на 9.30.

– Одевайтесь! – повторила она настойчиво. Тон был приподнятый, как у пионервожатой перед первомайским парадом.

– Слушай, она совершенно чокнутая! – сказал Борис куда-то в сторону окна. Он только что намазал джем на булочку и еще не успел ни глотка отхлебнуть из чашки.

Абсолютно не понимая, зачем надо выходить на улицу в девять, когда такси заказано на 9.30, мы, недоумевая, подчинились.

Она нахлобучила на голову вязаную шапочку швом наперед, и под грузом чемоданов мы сверзились вниз, в прихожую, по корабельной мачте, которую она считала лестницей.

Раннее утро не в самом респектабельном районе Амстердама после бурных ночных гулянок: мусорные, не убранные мостовые, спущенные жалю-

зи и решетки на витринах магазинов, отчего улица, и без того не слишком приглядная, имела какой-то полуслепой вид. Мабуту... или как там ее звали... Харакири?... целеустремленно шагала по тротуару куда-то прочь от дома. Мы поспевали следом...

Я нервничала и, мило улыбаясь, пыталась выяснить на своем английском – зачем и куда мы идем... Она отвечала что-то невнятное с мечтательным выражением на лице... Иногда притормаживала и поводила рукой в сторону рассветного неба.

Тут еще надо учесть нашу с Борей деликатность и стремление быть приятными с чужими людьми.

– Куда, черт возьми, она нас тащит?! – с приветливым выражением на лице спросил мой муж. – Не сдать ли ее полиции?

– Сдай, – заинтересованно кивая в ответ на длинную ее тираду, предложила я.

Вдруг на середине бесконечной этой улицы она рывкнула: «Стоп!» – совершила резкий полукруг и повернула обратно. И точно так же, абсолютно ничего не понимая, мы потащились назад, к дверям ее квартиры, где нас уже ждало такси.

– Это прощание с Амстердамом! – сказала она, с улыбкой глядя, как записываем мы в багажник наши сумки. – ...Я хотела, чтобы вы имели удовольствие от утренней прогулки. Здесь по утрам так много света!



В самолете в креслах позади нас сидели двое молодых и, по-видимому, очень успешных российских бизнесменов. В полете они изрядно выпили; возможно, поэтому беседа их вскоре приобрела характер размышлений о жизни вслух... Один был настроен критически, другой его как-то уравнивал, призывал к согласию и мудрому смирению перед жизнью.

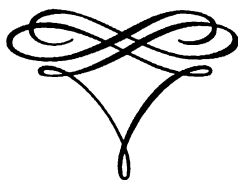
– ...Лепят мне байки о каких-то польских князьях в роду... – бормотал тот, в чьем голосе чувствовалась горечь. – А я говорю: гониво это, гониво!.. Вот смотри, все эти три дня здесь я наблюдал, Сеня, я наблюда-а-ал! Вот этот, который, допустим, какой-нибудь Ван Хантер-Биндер... Он здесь живет, да, и все знают, что он здесь веками жил, что он сын и внук тех самых Ван Хантер-Биндеров... Чистокровность, Сеня, достоинство, непрерывность... ой, извини! – рода... А мы, Сеня, мы же свою родословную не знаем. Вот кто я, кто?!

Другой ему терпеливо отвечал:

– Ну-у... что ты не всасываешь эти вещи? Нас же там, типа, уничтожали, народ наш, конкретно уничтожали...

И не умолкали они до самой посадки.

Мы же молчали всю дорогу, весь путь в высоте, иногда только поглядывая в иллюминатор, где под высоким солнцем плавились и таяли облака – бесконечная, лучезарная школа света.



Александр Мелихов

В ДОЛИНЕ БЛАЖЕННЫХ, ИЛИ ВЕЧНЫЙ ЖИД*

Что делает нас счастливыми и что ввергает в отчаяние? Слова, слова, слова. Нет ничего важнее слов. Нет ничего выше слов высоких, и нет ничего ниже слов низких. И весь секрет человеческого счастья заключается в том, чтобы всегда говорить о своих несчастьях высокими красивыми словами. Увы, нынешняя свинская культура это просто запрещает. А выстоять в одиночку...

Еще недавно я доходил до того, что, принимая душ, страшился опустить глаза на свое обливающееся слезами поникшее мужское достоинство (всякий знает, в чем заключается истинное достоинство). «Импотент» – этот плевок в чью угодно сторону заставлял окаменеть и меня; строгая пара «сексуальный невротик» уже позволяла мне перевести дыхание и осторожно покоситься по сторонам; а уж незатейливая строчка «мужчина, уставший от женщин» дарила мне некую даже расслабленную барственность.

Я обрел покой лишь тогда, когда хорошенько затвердил, что физическое общение с женщинами я прекратил по собственному желанию: довольно я

* Повесть «В долине блаженных, или Вечный Жид» анонсирована на 2005 год журналом «Новый мир».

Александр Мелихов – кандидат физико-математических наук, прозаик («События и открытия», «Так говорил Сабуров», «Дары нищего», «Изгнание из Эдема. Исповедь еврея», «Роман с простатитом» и др.), публицист и литературный критик. Член российского отделения ПЕН-клуба, зам. гл. редактора журнала «Нева». Живет в России.

им служил, больше я им ничего не должен. С той минуты, когда я в это поверил, я снова обрел силу бестрепетно смотреть им в глаза. Более чем бестрепетно – благодушно. Отчасти даже растроганно. Они и, правда, невестрогательно трогательные существа, когда перестаешь их бояться.

Я никогда не «обладал» ими, я всегда только служил. Служил их тайной грезе. Встречая женщину с неутоленной грезой, я начинал различать некое сияние, некий ореол, пронизывающий ее прическу – иногда алый, иногда аквамариновый, иногда янтарный, серебристый, бесхитростно голубенький, словно весенний небосвод, в котором не хватает только жаворонка...

Я сам еще не понимал, к чему они меня призывают, но что-то во мне уже тянулось им навстречу. Моя грудная клетка расправлялась или съеживалась, я становился то стройным, то сутулым, делался то выше, то ниже, в угоду их грезе менялись даже черты лица, и было невозможно угадать, кем я окажусь на этот раз – просмоленным морским волком или интеллигентным хлюпиком в пучеглазых стрекозиных очках. Внешность женщины не имела значения – я превращался в ее сказку, а она в мою (ведь мы всегда любим только собственные фантомы): в красавицах открывалась глубина, в дурнушках – трогательность. Помню, в огромном библиотечном зале я часами не мог оторвать взгляда от скромной девушки, выкладывавшей книги на стойку: стыдясь своего легкого косоглазия, она старалась не поднимать глаз на тех, кого обслуживала, и я гипнотизировал, гипнотизировал ее, изнемогая от нежности и сострадания: забудь, забудь об этом пустяке, он делает тебя лишь еще более прелестной и трогательной, лишь еще более трогательной и таинственной. А, подходя к ней, я уже и сам был трогательным недотепой, просыпал из подмышки стопку книг, кинувшись их собирать, едва не шлепнулся... И, благоговейно сопроводив ее до подъезда, снова споткнулся о наглую кроссовку, протянутую с темной скамейки каким-то блатарем, и на этот раз уже окончательно растянулся, и под хохот плохо различимой шпаны долго хлопал ладонями по песку, вылавливая отлетевшие очки.

Забавно, что по иронии судьбы практически в такой же ситуации и даже почти в том же самом дворе я когда-то столкнулся со шпаной, пребывая в облике морского волка: мгновенно засекши протянутую ногу, я так врезал подонку каблуком по голени, что тот матерно взвыл, а я стремительно обернулся к темному хору с такой убедительностью, что он замер. «Ну, кому жить надоело? Кто хочет всю жизнь на лекарства работать?» И вразвалочку зашагал прочь, покачивая увесистыми плечами, на которых синие русалки переплетались с зелеными якорями.

Вот так – мужчин создают женщины, а женщин мужчины. Интересно, во что мы все превратимся, когда феминизм победит в мировом масштабе?

Любопытно, что, воплощаясь в новую грезу, я обретал и новые хвори – или, наоборот, избавлялся от прежних. Помню, как одна моя возлюбленная с желтым цыплячьим пухом вокруг детской головки, любившая загадочно приближать ко мне свои горестно распахнутые блекло-голубые глаза, постоянно мучилась радикулитом, и я, неизменно здоровый как жеребец, веч-

но чем-нибудь дальневосточным растирал ее поясницу, а потом укутывал в клетчатый плед, заботливо подтыкая его со всех сторон... Зато у другой, огненной креолки, меня самого каждый раз приходилось растирать вьетнамскими пахучими мазями и укутывать в точно такой же клетчатый плед – так я и перебирался от пледа к пледу.

Я много чего перепробовал на своем веку и, похоже, изведаль почти все земные наслаждения, начиная от тех, что считаются низкими, и кончая теми, что почитаются неисчерпаемыми: наслаждался я и супружеством, и отцовством, и творчеством, и причитающимися каждому пятнадцатью минутами славы – но ничто не дарило мне такого счастья, как любовь. Я не в одиночку купался в счастье, сколько мог, я изливал его и на своих возлюбленных, но они всегда понимали счастье любви как упоение друг другом, а я – как упоение мирозданием. Любовь как будто открывала форточку в высокое и бессмертное, и я не собираюсь просить прощения за эти высокие слова – довольно я их стыдился! Я начинал ощущать свою причастность к грандиозной сверхшекспировской трагедии, именуемой История Человечества, – и утрачивал страх перед миром. Главный страх, терзающий меня, – не страх смерти или страх боли, а страх ничтожности. Когда я переставал ощущать себя ничтожным, я бестрепетно открывал грудь сверкающему ланцету хирурга и, посвистывая, скользил по мокрому тросу над беснующейся горной речкой: «Над ревушей бездной!» – перекрывая ее грохот, пело у меня в ушах. Зато когда я утрачиваю дар думать о себе высокими словами – в какую раздавленную дрожащую тварь я тогда обращаюсь!.. Но – высокими и бессмертными бывают лишь бессмертные грезы, лишь они способны воодушевить и утешить нас, и чудодейственная сила любви заключается в том, что она подключает нас к неясной, но оттого не менее реальной сверхчеловеческой грезе, незримо окутывающей мир, в котором мы живем, – и который погибнет, когда перестанет грезить.

Как это ей, любви, удастся, не знаю, не знаю, в какую еще более высокую сказку мы ее вплели, но по ее ниточке мы каким-то чудом проникаем в иной мир, вернее, тот же самый, но предстающий нам как высокий и бессмертный.

То есть такой, в котором и погибнуть не обидно. Не унижительно. Не оскорбительно.

Я целые годы не уставал и не устаю поражаться: насколько же мы с нашими жалкими мужскими и женскими кучерявыми достоинствами неизмеримо мизернее того, что открывается нам нашей любовью! Как величественна и прекрасна – не она, вселенная, открывающаяся через ее узенькую форточку! Любовь, действительно, чудо, если, такая маленькая, она ухитряется раскрывать нам такую огромность.

Зато и охлаждение всегда начиналось не с охлаждения, а, наоборот, с кульминации нежности – когда мы замыкались друг на друга, когда нам больше ничего становилось не нужно. И уж так мне каждый раз бывало невыносимо грустно, когда ореол, нежно сиявший сквозь любимые волосы,

начинал меркнуть, когда чарующую грезу потихоньку начинали утилизировать. Не подумайте, я всегда был готов, если это было в моих силах, растереть поясницу, доставить картошку или утереть слезинку; но меня ужасало, когда этого требовали именем любви. «Если ты меня любишь, почему не делаешь того-то и того-то?» Если ты водопад, почему не стираешь пододеяльник? Если ты солнце, почему не жаришь омлет? Если ты симфония, почему не разгоняешь комаров?

Нет, любовь предназначена для мироздания, а не для нас с вами, для входа в огромное и бессмертное, а не для обслуживания бранных созданий, таких крошечных и таких скоротечных.



Однажды, набравшись надменности, я отправился в аптеку за чудодейственной виагрой. Женщина в белом, к счастью, почти неразличимая сквозь блики стеклянной перегородки, сочувственно, могу поклясться, подвинула мне под арокку глянцевый рекламный листок: «Либи́до ваше – эрекция наша!» И я понял, что никакая виагра мне не поможет. Ибо у меня нет ни проблеска либи́до. И самое главное – никогда и не было. То есть желание избавиться от избытка разных будоражащих жидкостей меня, разумеется, преследовало не раз, не два и не тысячу; но освободиться от них проще всего было своею собственной рукой, не вовлекая хороших знакомых, – не втягиваем же мы их в свои сортирные нужды.

Даже в самые юные годы, когда я незримо клокотал от переизбытка любовных напитков, влюбляясь, я просто-напросто забывал, что существует такая нелепость, как «это дело». Что еще за бред?.. Мне хотелось лишь красиво погибнуть на глазах своей возлюбленной – но не ради нее, ради чего-то огромного и прекрасного! Когда я сделался старше и мудрее, мне хотелось уже не погибать, а жить, но по-прежнему не ради любимой – ради чего-то неизмеримо более высокого, чем мы оба вместе взятые. Временами меня даже начинало терзать ощущение постыдной мелкости всего, чем я занимаюсь, в сравнении с огромностью того, что мне открывается. Но гораздо чаще самые будничные дела обретали тайный высокий смысл.

Плотские соития такого смысла, правда, и тогда не обретали, мне удавалось разве что слегка прикрывать от себя их нелепость и некрасивость, мысленно обдалбываясь напыщенными клише: «ее упругие бедра», «ее мраморная грудь», «его бронзовое тело», «сплетаясь в страстном объятии»...

Нет-нет, я целиком за высокий стиль, но отчего же для возвышенного изображения совокуплений наша культура так и не сумела взрастить ничего, кроме пошлостей?

Чуяла, видно, людскую склонность подменять великие цели убогими техническими средствами, а потому старалась их, средства, и не поэтизировать, держать их в черном теле – держать животных в узде. Не тут-то было – животные давно поднялись на борьбу за права человека. И почти по-

бедили, низкому почти удалось представить все высокое смешным и фальшивым.

Мой первый «любовный» опыт (кавычками я пытаюсь напомнить, что любовь на самом деле бывает одна – платоническая, тяга смертного к бессмертному). Всей компашкой, лет нам по двенадцать-тринадцать, мы у подножия господствующей над местностью лесопилки пристроились тощими задницами на шипах все глубже и глубже уходящего в опилки невесть чьего забора, получившего с моей легкой руки имя Гребень (ящера), а перед нами, неутомимо скособоچась, соседская Танька таскает воду для поливания морковки. Морковка теснится на грядках, любовно сформованных из глубоких, наиболее плодородных слоев перепревших опилок (весь наш поселок стоит на опилках), а вода настаивается в неиссякаемой лужице, поднимаясь все выше и выше вместе с уровнем опилок. В лужице затаились лягушки, все как одна горькие пьяницы, спившиеся от того, что постоянно допивали водку из бутылок, которые по вечерам швыряли в воду бражничающие парни, и Танька сама кажется мне кем-то вроде жизне-радного лягушонка. На ней, как и на нас, если мне не изменяет память, только трусики и маечка. Она не сердится на наши подначки, а все таскает и таскает. А на меня что-то все находит и находит.

Наконец «что-то» побеждает – я внезапно схожу с Гребня и начинаю ей помогать. Пацаны принимаются веселиться вдвойне, но мы, словно сговорившись, не обращаем на них ни малейшего внимания, а все таскаем и таскаем своими мятыми ведрами кофейную воду, а рыжие опилки все всасывают ее и всасывают. Постепенно подавленные нашей неуязвимостью, пацаны разбрелись кто куда, смутно догадываясь, что их не впустили во что-то важное, а мы, натаскавшись досыта, зачем-то забрались в тарантас, на котором Танькин отец, печальный двугорбый горбун, покорно носивший свой вытянутый подбородок на переднем, грудном, горбе, колесил по необъятным пространствам нашего леспромхоза. Он был высокий горбун, выше моего папы, вот что было удивительно – до каких же высот он мог бы дотянуться, если бы столько материала не было потрачено впустую?..

Так вот, мы с Танькой забрались в его тарантас и даже затянулись клеенчатым фартуком. Зачем-то. Чтобы оказаться еще больше вдвоем. Тарантасный мрак, почему-то источающий пронзительный запах отсутствовавшей в тот момент кобылы, со всех сторон светился щелями и дырками, и я окончательно ошалел, когда Танька жарко продышала мне в ухо: «Давай е...ся!». «Ты с ума сошла!» – ошеломленно прошептал я и выбрался наружу. Убрался подальше.

При свете дня я немедленно понял, что ничего этого не было и быть не могло, девочка, даже такая свойская, как Танька, не могла сделать столь ужасное предложение и даже просто произнести столь ужасное слово – к тому же ничего и не означающее: люди не могут заниматься такой бессмысленной гадостью, какую им приписывают разные мерзкие выдумщики. И все равно сделалось как-то небывало грустно – как будто нам приот-

крыли что-то хорошее-хорошее, а мы его испортили. Я долго бродил за лесопилкой, пружиня по спрессованным опилкам, и сквозь вой циркулярок безнадежно мычал разные грустные песни, слов которых по причине застарелой сифилитичности всех наших репродукторов я, на свое счастье, до конца пока еще не знал.

Однако в ближайшие дни меня поджидал новый удар. Более всего из всех моих полумычаний-полубормотаний меня трогала (наворачивались слезы, чего я тогда по угодничеству перед низким очень стыдился) простенькая песенка, в которой в конце каждого куплета повторялся грустный вопрос: веришь, не веришь? Поезд на-на-на дымок (или гудок?) в дальние скрылся края, лишь на-на-на огонек, словно улыбка твоя. Как тянулась душа к той неведомой красоте, что открывалась за неведомо чьей улыбкой, мелькнувшей, словно огонек поезда, – тем более что и поезд для меня был предметом нездешним, до нас они не добирались.

И вдруг в «Книжном» я увидел песенник! Папа пожал плечами, но все-таки вынул из хромового бумажника рубль тридцать – какая-никакая, это была, однако, духовная потребность. Не разбирая дороги, я разыскал в книге волшебную песенку – и уж так в ней оказалось все просто и ясно!..

Так просто и ясно – и так убого...

Без поэзии нет жизни, без тайны нет поэзии. Если в песне ясно, про что она, то к чему она? Если в грезе ясно, зачем она, то зачем она? Если греза служит реальности – высшее служит низшему, – она уже не греза. А пропаганда. Марксизм был гениальнейшим мошенничеством всех времен и народов: он преподнес миру сказку под маской науки – вместо огненных глаз и громовых речей пророк облачился в личину ученого зануды и тем победил.

А обтекаемый голубенький ромбик с обрезком «гра» на жестяном обороте прозрачной упаковки так и валяется в моем столе без употребления: мне уже давно ничего такого не хочется. И химические друзья всех «влюбленных» лишь помогли мне осознать это.

Теперь мне уже кажется, что я чуть ли не всю жизнь занимался этим делом из одной только жалости. Когда – гром среди ясного неба – внезапно умерла Танькина мать, я с другими соседями, обмирая, тоже проник в Танькину халупу, которая в ту пору представлялась мне внушительным щитовым сооружением (вагонка вместо горбыля!), и обомлел перед невероятной пышностью поставленного на табуретки гроба: не знаю почему (такой бесполезности, как цветы, у нас в леспромхозе было днем с огнем не сыскать), но гроб напомнил мне ту единственную в моей жизни клумбу, которую я предыдущим летом видел перед величественными колоннами райкома, когда мне удалось упросить папу прихватить и меня в райцентр на попутном дирижабле. Вокруг клумбы сидело несколько человек, но мне бросилась в глаза только Танька.

Она цепенела с совершенно круглыми от ужаса глазами, как бы наготове держа за уголок совершенно нетронутый, отглаженный носовой платок, – и я словно ошпаренный вылетел вон.

С тех пор она проходила мимо с таким раз и навсегда оцепенелым лицом, что я никак не мог решиться сказать ей что-нибудь до боли нежное и проникновенное. А вскоре она и вовсе исчезла неведомо куда вместе со своим печальным двугорбым отцом и нашим мимолетным гнездышком – тарантасом. И мы с пацанами так ни разу и не решились забраться в их заколоченный щитовой домишко.

А потом и его замело опилками.

«Веришь, не веришь? Стало в поселке темней» – безнадежно звучал у меня в ушах мой прекрасный внутренний голос.

Который, конечно же, никогда не имел в виду никакую реальную Таньку, он всегда пел о какой-то грезе.

И мне так и не удалось сказать моей перепуганной подружке: прости, что я тебя оттолкнул, я был неправ – давай е...ся!



Зато сколько раз я потом произносил эти слова – разумеется, другими словами, а то и вовсе без слов – в конце концов, человек, по общему и даже по моему собственному мнению, довольно порядочный, я сделался как-то тривиальным донжуаном.

Служителем чужих фантазий.

А собственной грезе я служил только однажды. Да и что это была за служба – так, вздор... Впрочем, что я говорю, – греза не бывает вздором. Вздором бывают лишь попытки ее развенчать.



Греза носила имя Женя. И если слово «женственность» я до сих пор ощущаю поэтическим, то исключительно потому, что в нем все еще звучит ее имя. Я когда-то сразу понял, откуда истекает целительная сила корня женьшень – ведь в нем столько Жень! Да что – Жене удалось смягчить даже грубое слово «жена». Когда чуть ли не на самом первом уроке учительница первая моя торжественно спросила: «А вы знаете, кем приходится Владимиру Ильичу Ленину Надежда Константиновна Крупская?» – я, внутри своей грезы звонкий первый ученик, немедленно оттарабанил: «Она его сестра». И я прямо вздрогнул, когда ссыльная чеченка Досхоева, уже успевшая заполучить прозвище, как вы, конечно, догадались, Доска, хрипло меня поправила: «Она его жена». Хотя мои тогдашние представления о супружеских отношениях были самые поверхностные, я все-таки прекрасно понимал, что жена – это что-то из области подштанников, в Кремле таким не место. И каково же было мое ошеломление, когда в ответ на святотатство Наталья Андреевна одобрительно склонила голову: «Правильно».

Только когда я увидел это слово написанным, я осознал, из каких нежных звуков оно состоит.

Раз в два года с началом навигации, когда разросшиеся по берегам линейчатые горы бревен с адским грохотом обрушивались в реку, папа выписывал себе отпускные плюс морозные плюс буранные плюс отдаленные и, приглядев бревнище понадежнее, оседлывал его и пускался вскачь по порогам до самого Киева, о котором я только и знал, что туда доведет язык. Впрочем, нет, еще я знал, что Киев – самый красивый город в нашем государстве, а следовательно, и в мироздании, и что Москва и Ленинград совершенно впустую ведут борьбу за первое место – уже давным-давно занятое его настоящим хозяином. («Правильно», – и на этот раз одобрительно склонила подбородок Наталья Андреевна, чьи пращуры в царствование Александра-миротворца были высланы в наши края из Киевской губернии за участие в холерных волнениях.) И, разумеется, я знал, что в Киеве живет вечный папин друг дядя Сюня с его вечной тетей Клавой и – Женей.

Сюня, Клава, Клава, Сюня, дудел папа по возвращении вечную взрослую нудоту, но имя Жени он произносил, как-то по-особенному почтительно понижая голос, чего он никогда не делал, если даже речь заходила о начальстве – вернее, о начальстве тем более (хотя и пренебрежительно о леспромхозовских боссах он тоже не отзывался, полагая, что это отдает лакейской). И я каждый раз в каком-то смутном беспокойстве отправлялся бродить по пружинящим опилкам, зачарованно повторяя одним языком: Женя, Женя, Женя, Женя...

Циркулярки заходились истерическим воем, а мой язык все выговаривал и выговаривал ее беззвучное имя. Страшно подумать, какой позор меня ожидал, если бы кто-то мог меня подслушать. Девчачий пастух – ни одна нашлапка не прищепывалась со сплевыванием столь презрительным. Не понимаю даже, ради чего нужно было это дело столько веков так усердно оплевывать... Чтобы сделать его хоть чуточку менее соблазнительным, так что ли? Что ж, тогда хвала плевам: именно они произвели на свет истинную – платоническую любовь! Ибо понадобилась греза неимоверной мощи, чтобы воспарить и одолеть заплыванные пространства.

Впервые я увидел Женю, когда уже был мальчишкой, воображающим, что он уже не мальчишка. Она оказалась до оторопи конкретной. Мне грезились что-то серебристо-воздушное с распущенными голубыми волосами, а у нее оказался чеканный орлиный профилек, как у Досхоевой, и гофрированные черные волосы, сверкающие, словно надраенные хромовые сапоги. Брови же ее в первый миг буквально обтянули меня гусиной кожей – они показались мне двумя черными гусеницами. Но, к счастью, я об этом тут же забыл.

Сквозь восторженный чад, в котором я тогда плыл, не могу теперь разглядеть ни тогдашнего дядю Сюню, ни тогдашнюю тетю Клаву, ни тогдашнего Города, каким я его впоследствии увидел сквозь булгаковскую грезу. Подручные типовые грезки у меня сыскались только для тети Клавы – «статная русская красавица» – и для сталинского Хрещатика – «получше Москвы». (Хотя в Москве в то время я еще не бывал: папа считал, что не

надо протискиваться туда, где тебя не хотят видеть, нужно обживать собственный угол. А также не нужно куда стремиться только потому, что туда стремятся все; поэтому у нас была и своя Швейцария, и своя Ривьера, и свой сибирский Париж. Насмешила меня середь имперских пышностей только вывеска «Речи напрокат» – я решил, что это для ораторов, а оказалось, речи были просто вещи. Я еще не понимал всей глубины этого сближения (слова – главные вещи), тем более что украинский язык самим провидением был предназначен для потехи; даже у нас в леспромхозе было известно, что «самопер попер до мордописца» означает «автомобиль поехал к фотографу».)

Но для дяди Сюни в моем арсенальчике никаких приятных слов не сыскалось. «Юморной» – нет, здесь дело было явно позаковыристей. «Добряк» – тоже не то чтобы, люди в его байках отнюдь не выглядели ангелами. Но – он умел посмеиваться там, где папа откровенно расстраивался, а я лез на стену. Поэтому перед Женей я только хорохорился, а оболстить старался именно его. Сначала, впрочем, я и перед ним попробовал поерепениться – стоя над зелеными днепровскими кручами, удивительно кучерявыми после наших стрелчатых таежных безбрежий, я преувеличенно возмущался недостаточной шириной Днепра: редкая-де птица долетит до середины его – да любой воробей, любая ворона... «При всем желании не могу сделать его шире», – со сдержанной улыбкой сказал дядя Сюня, и я озадаченно смолк. Ирония – эта в еврейских кругах отнюдь не редкая птица – никогда не долетала до нашего леспромхоза. И уж так меня пленил ее остренький клювик под невинным оперением: и отбрил, и обошелся без хамства!.. Которое у же тогда в моих глазах утрачивало последние остатки поэзии.

Папа хамства тоже никогда не допускал, но дядя Сюня показался мне куда завлекательнее. Папа, как я теперь догадываюсь, старался быть всего лишь таежным джентльменом, а вот дядя Сюня – мудрецом. Да не простым, а еврейским – «что вы хотите – это так по-человечески», «так что же – прикажете плакать?»... Если папина подтянутость отзывалась словом «выправка», то за дядисюниным безразличием ко всяческой бравости таилась какая-то новая красота. Я млел от восхищения, когда дядя Сюня, воротясь от портного, сообщал, что талия у него оказалась подмышками. И я хохотал даже еще чуточку более восторженно и беззаботно, чем мне хотелось, когда в музее захидного та схидного мистецтва дядя Сюня показывал на китайского божка довольства – колотящего в бубен живота жизнерадостного лакированного прищуренного толстяка: «Это я».

Когда я начинал склочным голосом качать права, папины губы принимали брезгливое выражение; но если что-то подобное заводила Женя, дядя Сюня, цитируя какую-то юмореску, начинал бубнить голосом унылого оратора: «Своим капитальным трудом товарищ Нудник...» – и Женя не выдерживала, прыскала. Правда, когда она однажды задержалась из гостей, дядя Сюня, словно обыкновенный смертный, явно не находил себе места. Зато когда папа начал его успокаивать, он сдержанно улыбнулся: «Детей много, что ли?»

«Весельчак»? Вот уж нет, он никогда не хохотал, только посмеивался. И даже сейчас мне кажется, посмеивался искренне, когда две поругавшиеся бабы в гастрономе стали швырять друг в друга яйцами и угодили в него. Папа бы впал в меланхолию, я бы полез на стенку, а он радовался, словно радушный хозяин, демонстрирующий гостям свой паноптикум. И я уже тогда почуял мощь этого еврейского оборонительного оружия – представлять своих насильников уморительными идиотами. Я не сумел овладеть этим оружием только потому, что так и не научился не замечать, на чьих все-таки очках повис яичный желток.

Но в то упоительное лето мне был никто не страшен – ни победоносный хам, ни победоносная власть, с ее тюрьмами и лагерями, с ее шахтами и лесоповалами, где и папа, и дядя Сюня сделали выдающуюся карьеру: из задиристых комсомольцев-добровольцев и звезд исторического факультета – дядя Сюня по русской истории, папа по западной – обратившись в толковых бухгалтеров. Дядю Сюню бухгалтерство прямо-таки вытащило из братской могилы: с его хилостью и отрешенностью от всего земного его наверняка прибило бы, самое большее, пятнадцатой лиственницей; папа же, мужик на все руки, более спокойно «вырос» от рядового шахтера-лесоруба до нарядчика, а там уж и до бухгалтерии было рукой подать. В бухгалтериях оба осели и на гражданке. Тем не менее на нашем общем фото (мы родились в очках, в очередной раз привел меня в восторг ответ дяди Сюни придиричивому фотографу) они с папой смотрят и смотрятся совершенно по-разному.

Папа выглядит царским офицером, оказавшимся на службе в прелетарской армии, а дядя Сюня гарвардским профессором on holidays где-нибудь на Гавайях. В идиллическом, как впоследствии выяснилось, тридцать шестом для папы в тюрьме самым тягостным оказалась необходимость постоянно поддерживать штаны, и он дал себе клятву, что, если ему вернут брючный ремень, он больше никогда ничего у судьбы не попросит. И слово свое сдержал. Выйдя на волю, он остался работать в том же самом леспромхозе и даже чуть ли не на той же самой должности, женился на чалдонке, моей маме, и произвел на свет двух маленьких чалдонят, меня и мою сестру. Ни на что серьезное мы повлиять не можем, вынес он урок из краха всех своих надежд, в нашей власти лишь по мере сил оставаться джентльменами. И этой нескромной задаче он остался верен – каждый день с чертежной точностью подбрасывал прямоугольнички усиков, ни в мороз, ни в жару не вылезал из галстука, был неизменно ровен с высшими и предупредителен с низшими, а особенно с бывшими и будущими зэками, которыми кишел наш леспромхоз, не считаясь с ценой, набивал наш щитовой домишко всеми книгами, в которых ощущал какой-то благородный тон, и целенаправленно избегал участия в какой бы то ни было социальной борьбе, представляя ее себе как презренную борьбу за материальные блага, чины и звания. И в самом отдаленном, никому не ведомом уголке мира можно вести достойную и счастливую жизнь, приказал он себе, и приказ, как он всегда уверял, исполнил.

Чудновский же – я, кажется, забыл упомянуть, что дядя Сюня носил фамилию Чудновский, Израиль Моисеевич Чудновский, – попал в тюремную молотилку в каноническом тридцать седьмом, там от пуза вкусил всех радостей внезапно обострившейся классовой борьбы и, когда его со всего маху стали усаживать копчиком на угол письменного стола, согласился подписать, что в контрреволюционную террористическую организацию его вовлек мой папа. Папа к тому времени уже трудился в забое, и никаких последствий для него чистосердечное признание друга не имело, однако дядя Сюня при первой же их встрече с первых же слов покался в своем предательстве; папа, разумеется, поспешил закрыть ему рот – все забыто и списано с баланса. И впоследствии из всей своей пыточной эпопеи дядя Сюня вспоминал лишь один эпизод: измолоченный, он пускает носом пузыри в луже собственной крови, пока следователь набирается новых сил за письменным столом, оружием труда и оружием пытки. И тут за ним, за следователем, заходит его супруга: ты что же, мой цыпленочек, нам пора, у нас же билеты на последний сеанс! Какие тут сеансы, мой котеночек, горестно вздыхает супруг, видишь, с троцкистом работаю – никак не хочет, сволочь, разоружиться! Расстроенная супруга дробно процокала каблукчиками и несколько раз со слезами неумело ткнула лежачего троцкиста носиком туфельки в спину: когда вас наконец всех расстреляют, не даете порядочным людям жить!

До этого у меня была последняя надежда, посмеивался над своей наивностью дядя Сюня: нам больно, зато им стыдно. А оказалось, что стыдно должно быть нам. Что на их стороне не только сила, но и правота, они же еще и негодуют. И значит, рассчитывать в этом мире больше не на что. Злодеи так же правы, как и мы. Для себя они порядочные.

Нет, не соглашался папа, даже у последнего негодяя где-то на донышке души теплится уважение и зависть к истинно порядочным людям. А потому единственное, что порядочные люди могут сделать, это достойно вести себя даже тогда, когда это кажется абсолютно бесполезным. И тогда люди непорядочные, рано или поздно, устыдятся своей низости. «Ты видел, – торжествуя спрашивал папа, – как все захлопали, когда Эзоп воскликнул: где ваша пропасть для свободных людей?» – мы возвращались с одурманивающего спектакля «Лиса и виноград». «Только такие дураки, как ты, верят, что это что-то значит», – с нежностью усмехался дядя Сюня, и мне тоже казалось, что грезе недостаточно быть просто грезой. Но папа стоял на своем: «Только такие дураки, как ты, не понимают, что о свободе мечтают все», – и я изнывал от зависти к их героическому прошлому, к их манере становиться друг с другом совершенно неузнаваемыми: «Дурак». – «От дурака слышу».

Дядя Сюня с семейством занимал комнату в безбрежной коммуналке, но соседи в моей памяти совершенно померкли в соседстве с его сиянием. Повидаться с папой каждый день приходили более второстепенные друзья, все как один евреи, все как один невероятно умные и юморные, все как один отсидевшие, все как один все про все знающие, и я с приятным изум-

лением обнаруживал, что быть евреем – это классно, что сидеть в тюрьме – это классно, что смотреть на мир со стороны и немного свысока – это более чем классно. Все, чем полагалось восхищаться, было смехотворно, все, что полагалось не замечать, – только оно и имело значение. Главное в социальной борьбе не состязание реальных сил, а состязание грез, и советская власть начала проигрывать уже тогда: греза тех, кого она отвергла и растоптала, была не в пример обаятельнее. Папины друзья смотрелись победителями, и должно было пройти невообразимое количество упущенных лет, прежде чем я осознал, что, отказываясь от участия в борьбе за презренные чины и звания, отказываясь сотрудничать с тупым государством, они отказывались и от самого драгоценного – от бессмертия.

Ибо единственная возможная форма бессмертия – наследуемость, и самое значительное, что есть в мире – коллективные грезы, – наследуется только через учреждения социального мира. И, позволив устранить себя из этого мира, да еще с упоением отдавшись упоительной грезе «зелен виноград» – как будто где-то их ждал другой, истекающий спелостью, – кумиры моего первого взрослого лета обрекли свою сказку на бездетность.

Да и была ли у них собственная сказка? Когда греза коммунизма их отвергла и всячески оскандалилась, они остались при голом скепсисе, а это было хотя и круто, но бесплодно, ибо плоды приносят лишь коллективные фантазии – плоды как восхитительные, так и ужасающие. Но искорки позитива в речах моих новых богов даже для меня тогдашнего были слишком тривиальны, чтобы я мог себе позволить обратить на них внимание на том нескончаемом пиру победителей; зато в жизни моей я больше никогда не едал таких вкуснящих вареников с вишней и путри с молоком. Мою скромную маму я совершенно не помню – за столом царствовала тетя Клава. Тетя Клава готовила на убой и угощала на убой. Соппротивление бесполезно, сочувственно убеждал дядя Сюня, когда кто-то из гостей отказывался от добавки, и в мире не было ничего страшного. Дядя Сюня неплохо зарабатывал писанием кандидатских и докторских диссертаций разным русским и украинским болванам, и только последнее ничтожество после этого могло серьезно отнестись к ученым степеням и званиям. За столом дядя Сюня препотешно рассказывал, как его арестовывали на трамвайной остановке по дороге на лекцию с томом Ленина подмышкой. На месте (тюрьма?) ему дали на подпись протокол, где говорилось, что при аресте он оказал сопротивление. Он запротестовал, и следователь ленинским томом изо всей силы хватил его по морде. «И я понял, что это мне поделом, – посмеиваясь завершал рассказ дядя Сюня. – Чем согрешил, от того и потерпел».

Однако лишь после его смерти Женя мне поведала, что пока дядя Сюня делал лагерную карьеру, немцы в Бабьем Яре расстреляли его отца, мать, жену и маленькую дочку, – папа говорил, что очень на меня была похожа, с грустной гордостью прибавила Женя, и я с пониманием потупился, словно это сходство было какой-то особенной личной ее трагедией. Принцип «не драматизировать, жизнь слишком ужасна» дался ему, оказывается, да-

леко не сразу: после лагеря в каком-то вологодском захолустье он был близок к самоубийству, когда ниспосланная ему судьбой статная русская красавица что-то разглядела в раздавленном жизнью еврейском очкарике. А отправившись за ним в пожизненную ссылку в деревню Лапино на таежную речку Бирюсу, она спасла его и от голодной смерти: завела огород, развела картошку – перебирая которую в подполе под песню «На радость нам живет товарищ Сталин», дядя Сюня и встретил радостное известие о кончине отца народов (в этом месте папина улыбка делалась принужденной: ему казалось, что это не по-джентльменски – открыто радоваться смерти даже тирана из тиранов: мы не должны им уподобляться).

Даже завидно было, до чего весело им жилось в этом Лапине! Ходили в гости в соседнюю деревню Долгий Мост к какому-то манящему Маркману, хоть это было и небезопасно, всегда могли пришить антисоветский заговор – но так даже интереснее! Дядя Сюня, посмеиваясь, рассказывал, как к одному ссыльному немцу, не желавшему подписываться на облигации внутреннего займа, распространители явились домой, вломили ему колотушек – он и подписался в патриотическом порыве. Тетя Клава с невинным видом рассказывала, как двухгодовалая Женя выходила на улицу, стаскивала трусики («Мама!!!» – отчаянно кричала Женя и пулей вылетала из комнаты) и в таком виде брела по деревенской пыли. Я, с горящей физиономией, тоже пытался смеяться снисходительно, как взрослый, но после этого мы встречались с Женей взглядами, словно с Танькой после тарантаса – как будто между нами возникло что-то такое, чего на самом деле нет и быть не может.

Зато в тот день я впервые заметил, что на ней надето – розовая юбка, каким-то чудом стоящая в виде колокола, и папа почтительно дул на нее, испытывая на прочность, а Женя сквозь невольный смех негодуяще кричала: «Ну дядя Мотя!..» – папу звали Матвеем Соломоновичем. И мне было ужасно завидно, что я-то никогда на такое не решусь...

А в день отъезда хладеющий ветер сорвал с дяди Сюни соломенную шляпу и забросил ее точно под колесо троллейбуса, за что тетя Клава от всего сердца назвала дядю Сюню чертом. И в груди у меня снова заняло от тоскливого предчувствия, что я-то от Жени никогда не услышу ничего хотя бы вполтину столь же нежного. Она и впрямь на прощание лишь загадала мне загадку: «А, И, Бэ сидели на трубе, – подчеркнув голосом, что сидели именно трое. – А уехал за границу, Бэ простыл и лег в больницу – кто остался на трубе?» «И», – вызывая к ее сердцу, сказал я. «Нет, – показала она мне самый кончик хитренького розового язычка. – А уехал за границу, Бэ простыл, И лег в больницу. Значит, остался Бэ. Простыл, но все-таки остался».

Ну, обнимитесь, обнимитесь, потормошила нас тетя Клава, но мы гордо пропустили эту пошлость мимо ушей. Мы были выше этого.

«Почему все всегда кончается так быстро?» – огорченно обратилась Женя к дяде Сюне, и он легко пожал плечами: «Почему, почему... Почему я должен был родиться в этой несчастной стране и пятнадцать лет просидеть в тюрьме?..»

Как это «несчастной»?.. Я и эти слова поспешно пропустил мимо ушей, чтобы не испортить грезу «мы победители, нам море по колено».

Ба, заслушавшись былых победных фанфар, я даже упустил из виду дя-дисюнин инфаркт, из-за которого он на каждую ступеньку их разворачи-вающейся в марше лестницы должен был подниматься отдельно. Притом что я, гордясь собой, деликатно, но требовательно напоминал ему еще и на каждой площадке: «Давайте-ка постоим». По-моему, это его трогало. Хотя, если всерьез, я считал эти предостережения чистой игрой – чтобы наше торжество не казалось слишком уж безоблачным.



Ты где-то в небе, в необъятном небе, самозабвенно распевал мой чудный внутренний голос, и я сквозь заплаканный иллюминатор дирижабля собственными глазами убеждался, что наш леспромхоз несколько не хуже Женино-го Лапина и даже Долгого Моста. Одни только пупырчатые пространства солнечных пеньков могли покрыть двадцать Бельгий и полторы Франции! В сиянии грез наша лесопилка пела и стонала от счастья, и я заныривал в книги уже по-новому: не просто упивался волшебным дурманом, но еще и выгребал в какой-то приоткрывшийся мне мир, коего я хотел сделаться достойным. Не наслаждение, но предвкушение – вот вершина человеческого счастья!

Спешить было некуда – впереди простиралась вечность, и можно было после школы брякнуться набок и с любого места отправиться с неунывающим тощим Уленшпигелем и потешным пузатым Ламме бродить по дорогам милой Фландрии и барабанного Брабанта, упиваясь сладкой музыкой нездешних имен – Дамме, Брюгге, Гент, Антверпен... Вальядолид, Эстремадура...

Это было офигенно – шататься по свету, славить все доброе и прекрасное, а над глупостью хохотать до упаду. Не избегая при случае навернуть петушьих гребешков, телячьих желез, бычьих хвостов, утопающих в соусах и подливах с луком, перцем, *звездикой*, *мускатом* (никогда не нюхивал!)... *А каплуны, а пулярки!*.. *А бекасы, а жаворонки!*.. *А ландграфы и маркграфы, а Эгмонт и Горн!* *А рейнвейн и глентвейн!* *А лувенское, бургонское, андалусское, орлеанское!* *А мальвазия!* *А флорины, потары и лиары, ландскнехты и рейтары!* *А фальконеты, аркебузы, мортиры, кулеврины, серпантины!* Нет ничего аппетитнее слов!

А можно и подзадержаться у какой-нибудь добросердечной вдовушки, пока верная кроткая Неле с грустью вглядывается вдаль, тоскуя о своем беспутном возлюбленном. Это ничего – то любовь, а то забава, одно другому не помеха. Да, на свете вроде бы попадаетея не только достойная смеха глупость, но еще и муки, ужасы, кровь, слезы, костры, виселицы. И все-таки... Все-таки пытки, казни – это несерьезно, это *так* – чтоб было чем поднять и объединить благородных храбрецов, чтобы их (наша!) победа просияла еще ослепительнее!

Хотя... Хотя посиживать в каком-то киевском уголке, как дядя Сюня,

мудро посмеиваться, все понимать, ко всему снисходить, ничего особенно хорошего не ждать от мира, но и не делать из этого трагедии, — это не менее круто. Или... Или, наоборот, — служить миру несгибаемым примером несгибаемого достоинства, как папа, в ожидании, что теплящаяся где-то под гнетом народная совесть когда-нибудь все-таки прорвется наружу. В почечном санатории папу однажды поселили с каким-то маленьким начальником, и если папе случалось возвращаться, когда тот спал, папа, разумеется, пробирался к своей постели на цыпочках, не зажигая света. Тогда как сосед в подобных случаях и свет зажигал, и топал как хотел. И что же? Не прошло и двух недель, как сосед вдруг однажды улегся потихоньку, не зажигая света! Даже жалко, что папе было уже пора уезжать, чтобы и дальше служить примером в нашем леспромхозе.

Да, собственно говоря, не все ли равно, где служить примером — в столице или каком-нибудь медвежьем углу, ведь это тоже красиво звучит: медвежий угол. А видит тебя примерно столько же народу, что здесь, что там.

И вдруг в подвернувшейся «Правде» я увидел фотографию киевского стадиона, который, беломраморный, был виден из Жениного окна, — на снимке он был серый, блеклый, смазанный, но *тот же самый!* Пропечатанный на всю страну, от Москвы до самых до окраин! И я до боли в кончиках пальцев ощутил, что нет, далеко не все равно, где служить примером, мир до ужаса не одинаков — в нем есть равнины, на которых человека не видно уже с трех километров, есть леса, где еще что-то можно разглядеть разве что с десяти шагов, есть расщелины, в которые вообще никто никогда не заглядывает, — и есть вершины, которые видны со всех концов земли. Вот Женин стадион сейчас видят повсюду — от тайги до британских морей — ведь и там наверняка хоть немножко да читают советские газеты; а вот мою лесопилку никто, кроме нас, никогда не увидит...

Не скажу, что я уже тогда понял, что бывают вещи частные и преходящие, а бывают всеобщие и бессмертные, живущие в преданиях, в наследуемых грезах, но я ощутил совершенно новый, еще не испытанный мертвенный холод в груди, которого не испытывал даже под сомкнувшимися над моей головой крутящимися бревнами, по которым я пытался перебежать на другой берег, — это был страх ничтожности, ибо лишь бессмертное не бывает ничтожным. И лишь грезы бывают бессмертными.

Но причаститься бессмертию можно лишь в тех центрах, где творятся и откуда разлетаются всемирные грезы... В захолустье бессмертия не бывает, и наше влечение ко всему центральному, доминирующему есть не что иное, как тяга к бессмертию. Поэтому сейчас я уже не стыжусь той радости, с которой я вступал в комсомол. И в тот судьбоносный вечер я смотрел в газету на Женин стадион, словно это был мой собственный некролог.

Даже кино меня не утешило, а наоборот — добило: меж черных голов нашего клубного барака взмог Медный всадник в направленных на него прожекторных лучах — словно это были горящие глаза мира, устремленные к сердцу вселенной, на которое сейчас и в самом деле взирали тысячи и ты-

сячи глаз в тысячах и тысячах клубов на тысячах и тысячах верст нашей необъятной родины. И я понял, что, если я когда-нибудь не оседлаю этого красавца-коня, застывшего на гребне каменной волны, мне конец.

И я его оседлал.

И на этом звонкоскачущем коне я прискакал к ее новому терему в пятиэтажной хрущевке, утопающей в каких-то украинских купях, земля под которыми всегда дышала жаркой сыростью. Купы уходили за таинственный косогор, откуда каждый день попеременно доносились то вой реактивного истребителя, то аккорды похоронного оркестра – там располагался испытательный аэродром знаменитых АНов. Но я так ни разу и не заглянул за этот перевал – не все ли равно, в какую сторону шагать, если в мире все и везде одинаково офигенно и обалденно! Что за счастье было соскочить с седла у какой-нибудь речушки, о которой ты никогда не слыхал ни до, ни после, и выстирать в ней носки, а потом растянуть их сушиться на поваленном дереве! А муравьи, а комары! Это чтобы ты не подумал, будто вся эта несказанность тебе только снится.

Я спрыгнул с седла у Жениного крылечка не кем-нибудь – многократной звездой. Звездой науки, как обычной, так и науки страсти нежной, звездой игр, как спортивных, так и любовных, и каждую новую победу – у доски, на площадке, в койке – я посвящал ей, Жене, тайно гордясь, что порядочных девушек я позволяю себе, самое большее, пятнать засосами выше пояса. Да, она могла мною гордиться!

Мы с Женей наперебой рассказывали друг другу что-то восхитительное, уморительное, возмутительное, не замечая, что смеемся просто оттого, что смотрим друг на друга, и я краешком сознания продолжал обольщать и дядю Сюню, с гордостью убеждаясь, что он своей седеющей интеллигентностью утрет нос любому нашему профессору. А тетя Клава, даже сидя, остается статной русской красавицей и откровенно любит меня мною. А уж Женья – самая настоящая прекрасная черкешенка.

Но перескакивающая ее болтовня потихоньку обдавала и обдавала меня холодком – что-то больно уж много новых любимчиков у нее развелось: какой-то Пекуровский, будущая театральная звезда с бархатым баритоном, какой-то Рыжий, силач, весельчак и отчаюга... Мне захотелось показать, что и я не лаптем щи хлебаю, – я чуточку посвободнее развалился на новеньком диване, чуточку добавил в свой голос пресыщенности и развязности: как-то мы с мужиками завалились в кабак...

– Что-что? – вдруг заинтересовался дядя Сюня. – С мужиками? В кабак? Это какое-то неопереводимое...

И все услышали явственное шипение – это из прокола выходила моя столичная надменность, а я услышал под окном тяжелоозвонкое скаканье – мой бронзовый скакун, покинув меня в ничтожности, отправился обратно на пьедестал.

Я постарался незаметно стянуть на груди слишком уж вольно распахнувшуюся ковбойку, но лишь привлек внимание к другому своему проколу.

— Что это у тебя? — как бы не веря своим глазам, наклонился вперед дядя Сюня. — Это крест, что ли?

У меня на шее действительно болтался дюралевый крестик, очень эффектно смотревшийся на моей бронзовой мускулистой груди.

— Так ты бы уж прямо свастику повесил, — хмыкнул дядя Сюня.

Я обмер. Никаких христианских и уж тем более церковных поползновений мой крестик не выражал, я раздобыл его и нацепил по той единственной причине, что это не поощрялось, почти запрещалось. Ну а как же не поиграть в сравнительно безопасное фрондерство? Особенно если это так потрясающе смотрится. Но не мог же я в этом признаться! Вдобавок в присутствии Жени. А погнать какую-нибудь пургу насчет того, что христианство религия любви, несть ни еллина, ни иудея, да вы же и сами когда-то называли разрушение Михайловского, что ли, Златоверхого монастыря преступлением, — до такой демагогии я никогда не мог опуститься (возвыситься). Не потому, что это была неправда, а потому, что крестик я повесил исключительно для того, чтобы повыпендриваться. Но главное — главное, что повергло меня в оцепенение, было страшное подозрение, что я, может быть, совсем не понимаю, с кем имею дело. Мне казалось, главной дяди-сюниной чертой была юмористическая терпимость, а тут ни юмором, ни терпимостью на меня отнюдь не повеяло...

Я и сейчас не понимаю, что это из него сверкнуло, — комсомольское воинствующее безбожничество или еврейская память о кострах и погромах, не знаю. Мне так и не пришлось с ним поговорить, когда я немножко поумнел. А в тот раз женщины поспешили все заговорить, замести под диван, ну, а наутро я уже вышел к завтраку без крестика. Квартирка у них была двухкомнатная, но мне как гостю выделили отдельную каморку. Может, правда, не хотели меня укладывать в соседстве с Женей? Тогда напрасно, мне бы и разделительный меч не потребовался.



Мы не шли и даже не парили, а чудодейственным образом оказывались то на площади какой-то Перемоги, то в полутемной щели перед расцветшими сказочной каменной растительностью воротами — *брамой Заборовского*, то среди белоснежных златоверхих храмов, то перед киевским Медным всадником — Богданом Хмельницким, осадившим скакуна перед... Он должен был попить поверженного еврея, поведала мне Женя, но евреи скинулись и откупились.

Меня это только смешит — я ощущаю евреев неуязвимыми: пример наших отцов показал, что евреи из любых испытаний могут выйти победоносными счетоводами. Себя евреем я отнюдь не чувствую, но уже готов из гордости принять эту кличку, чтобы возвести ее в почетное звание, как это сде-

ляли гёзы. Правда, мои еврейские ровесники, с которыми меня впервые свела судьба в Ленинграде, слабо годились на роль этих гордых смельчаков: одни открыто делали карьеру, не гнушаясь всякой комсомольской мутью, другие были слишком уж насмешливы. Строго говоря, они слегка походили на дядю Сюню, но без его героического прошлого это было совсем не круто: я смутно чувствовал, что, пока ты не бит, не ломан, достойнее быть романтиком, служителем грез. Посмеиваться, не перемучившись, это дешево.

В Киеве меня ждала еще одна мини-грезочка – поработать *грузчиком на Днепре*. Как папа. И, потолкавшись по божественно душным околопортовым конторам, всюду смеха ради ссылаясь на конституцию, я добрался до восхитительно унылого вислогубого еврея по фамилии Затуловский, который предложил мне поработать на другом берегу Днепра в дачном поселке – Выурушчина, повторял он, но я сумел освоить это слово, лишь когда увидел его написанным: Вигуровщина.

До Вигуровщины, она же «пляж Черторой», ходил речной трамвайчик, который меня как персону особой хозяйственной важности подбрасывал бесплатно: без меня не мог работать единственный фанерный ларек, вечно стиснутый толпой изнывающих на солнцепеке дачников. При советской власти полагалось каждую горсточку сахара и каждую корочку хлеба добывать с мучениями. Я уж не говорю о такой султанской роскоши, как второй ларек, но даже и первый почему-то нельзя было перенести под сень пышных зеленых крон, под которыми зияли откинутыми пологам временные брезентовые шатры «отдыхающих». Хотя лично меня это мало касалось – лично я с центнером вожделеемого ими «песку» на плечах был вхож в ларек с черного хода, – но я все равно давал себе ликующую клятву навеки отказаться от сладкого, если платить за него придется горечью унижения. Лучше я буду обливаемой потом ломовой скотиной, чем сочащимся потом просителем. Клясться было тем легче, оттого что дерюжный груз на плечах лишь дарил мне ощущение собственной силы. Правда, от семенящей ходьбы по раскаленному песку начинало сводить икры, но даже и это, как почти и всякое телесное ощущение, в ту пору только позволяло мне еще острее чувствовать, сколь безупречно функционируют все мои системы и подсистемы. Весь свой неполный рабочий день я проводил в одних плавках, торгуя фигурой, как это тогда называлось, и моя буфетчица, гарна дивчина, каждый раз, когда я плюхал мешок или грохал ящик с лимонадом, норовила ущипнуть меня за шоколадную спину – «ты чернуший, як цыган!»; но я всегда успевал слегка напрячь мышцы, вызывая ее удовлетворенную досаду: «Чисто каменный, чертяка, хрэн вщипнэшь!»

Забив пустоты в подсобке и перетаскав обратно на катер перезванивающиеся ящики с пустыми бутылками, я наворачивал дармовой цилиндр потной вареной колбасы с огромными, как тыквы, горячими помидорами и с разбегу врезался в прохладные днепровские струи, до изнеможения рубился с neodолгим течением и после этого становился уже окончательно свободен.

Мы с Женей, каждый раз вспыхивая от радостной неожиданности, об-

ретали друг друга на упоительно пыльном и горячем Подоле (я даже забывал потщеславиться перед публикой, что меня ждет такая красавица: я никого, кроме нее, не замечал) – и тут же начинали обнаруживать себя то в каких-то тенистых ущельях, то на каких-то солнечных бульварах, то в мерцающих пещерах, то на непролазных кручах, но ни на миг не смолкающий наш разговор выделявал прыжки даже еще более причудливые, хотя время от времени мне все же удавалось вспомнить, что я должен обрисовать ей картину современной физики: я проскочил два класса за один год, а Женья только сейчас собиралась *поступить*.

Институтишко ее был совершенно занюханный, а Женья, естественно, была золотая медалистка, под ее овальным фото в выпускном альбоме передовая литераторша написала «большому кораблю – большое плавание», но... Чудновской Евгении Израилевне нечего было и соваться в университет. Хорошо, в ихний, киевский, затрющенный. Но есть еще Москва, Ленинград – я с трудом скрывал удивление их выбором: институт народного хозяйства – как можно вообще вспомнить про такую скуку, не отзывающуюся даже самой захудалой сказочкой! Зачем тогда было писать какие-то выдающиеся сочинения, переписывать в блокнот Цветаеву и Гумилева – но, как я теперь догадываюсь, дядя Сюня решил не повторять своих ошибок, а с самого начала готовить любимую единственную дочь к каторге и ссылке, чтобы она могла там не только закончить, но и начать свою карьеру сразу с бухгалтерской должности.

Это решение было судьбоносным: преданные родители обеспечили Женью мусором – *специальностью* и отняли главное – связь с какой-нибудь долговечной грезой. Один я напоследок забрасывал ей ниточку за ниточкой из мира великих грез, стараясь как можно более заумно, то есть таинственно изобразить ей основные понятия современной физики. Женья была девушка смышленная: «Как это электрон может обладать сразу свойствами и волны, и частицы?» – и я с наслаждением отвечал, что никакого дурацкого «понимания» и не требуется, вполне достаточно делать вычисления, позволяющие предсказывать ход событий. Если отбросить рисовку, я, пожалуй, хотел этим сказать, что модель мира не обязана быть эмоционально значимой, с нее довольно быть прогностически точной.

Сегодня я думаю иначе. Я думаю, наше сознание не может творить ничего, кроме грез. И грезы первого типа, предназначенные для предсказания событий, мы именуем наукой. Грезы же второго типа, предназначенные для нейтрализации ужаса, вызванного грезами первого типа (а заодно для заполнения пустот), мы называем религией, мифологией, искусством – по степени снижения эффективности. Перед людьми всегда стояли две взаимоисключающие задачи – задача предвидения и задача воодушевления, ибо результаты предвидения всегда слишком ужасны. Узнать правду и забыть правду – две важнейшие задачи, от начала времен стоявшие перед человеком.

Рядом с Женей я не страшился знания и не нуждался в воодушевлении, мне не нужен был ни бог, ни живописавшие его Врубель с Нестеровым –

они были всего только гениальными фрагментиками в моей личной грезе. Я был пьян ею до такой степени, что не мог даже читать – с первых же фраз соскальзывал в собственный мир и подолгу плавал там среди туманной обольстительной дури. Свалка, на которой мы оказались после Врубеля, была задумана ничуть не менее гениально, и я даже не ощутил особого трагического взлета, когда Женя со смесью сдержанной скорби и презрения обронила: «Вот это и есть Бабий Яр». Разумеется, я изобразил трагическое понимание, но в глубине души я отлично сознавал, что все это чепуха, что все это *так*, для красоты: чтобы настоящих, живых людей гнали пинками, косили из пулемета – такого НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. Мы-то, конечно, должны делать вид, будто принимаем это всерьез, но невозможно же не знать, что такого, выходящего за все мыслимые пределы, ужаса просто не бывает. Другое дело, те сволочи, которые не хотят установить здесь памятник: они-то ведь думают, что все это и на самом деле было, – значит, они и на самом деле какие-то запредельные подлецы и мерзавцы. Перед лицом такого кошмара помнить о каких-то мелочных разборках... Но нам-то, разумеется, на это начхать, им до нас все равно не достать.

Я, действительно, не испытывал к «ним» никаких чувств, кроме спокойного величественного презрения. Не замечая, что уже думаю о евреях: «мы», «нас».

Мимоходом мы оказались у какого-то невиданного силомера: багровые парни по очереди пытались свести вместе две рукоятки так, чтобы индикаторная стрелка скакнула за красную насечку. Я спокойно сдвинул рукоятки сколько мог без кряхтения и побагровения, и за моей спиной у кого-то вырвался невольный возглас: «Ого!»

Я-то остался снисходительно спокоен, но Женя даже в метро со счастливым смехом продолжала передразнивать: «Ого! Ого!» «Наступина зупынка (или «станция»?) – завод "Бильшовик"», – провозгласил вкрадчивый голос нашу волшебную станцию, расшитую рушниками.

Божественные купы, божественный дух горячей сырой земли, и вот мы уже перебираем ветхие машинописные листочки – оказалось, таинственный Маркман из деревни Долгий Мост еще и писал стихи.

От звериных лап царапины
Далеко уводят за погост.
Оттого ль зовут деревню Лапино?
Бездорожье – Долгий Мост.

Чем меня особенно пробили эти звуки – *оплаченностью*. Оплаканностью.

Где-то плачет безутешно маленький,
Колыши, не колыши.
Кто-то ходит тихо, будто в валенках,
По дремучей, по лесной глуши.

Маркман умер в день освобождения. От заворота кишок – врачей в Долгом Мосту не водилось. Я с пониманием потупился: что ж, не каждому выпадает удача пасть от сабельного удара или уж хотя бы от разрыва сердца... Но мы должны с достоинством сносить даже издевки судьбы!

Его квартирная хозяйка, простая из простых тетка, в каленый мороз добрела до Лапина, чтобы спросить у дяди Сюни, по какому обряду хоронить новопреставленного еврея: мож, вы хотите как-то по-своему? У нас нет ничего своего, ответил дядя Сюня.

Белый снег летит лопатами,
Колыши, не колыши.
Стороной прошла судьба горбатая,
За окошком, по лесной глуши.

Но это же надо напечатать, всполошился я: людям – это ужасно, но что поделаешь! – и полагается умирать. Но стихи-то должны жить! Что ты как маленький, грустно улыбнулась Женя: Маркман – лагерник, кто это напечатает!.. И до меня с величайшим скрипом начало доходить, что *они* таки могут достать *нас*. И даже отнять самое драгоценное – шанс на посмертное существование. И я поскукнел, поскукнел...

Поскукнел.



Однако дурь, то есть любовь и молодость, за день-другой свое отвоевали. Во мне вновь налилось и окрепло убеждение, что талант и благородство бессмертны и недосягаемы для тупиц и негодяев (коими, как мне почти без слов внушили папа и дядя Сюня, только и могут быть антисемиты, и я долго блаженствовал в этой еврейской сказке, пока не сделал грустного открытия, что и антисемитская сказка может овладевать сколь угодно талантливыми и бескорыстными людьми). И когда я, настойчиво постукивая, пересекал днепровские стремнины по направлению к ридной неньке Вигуровщине, я уже вновь бессознательно приглядывался к утренним пассажирам, какой бы мимолетной выдумкой подгримировать каждого из них. Однако уже от четвертой своей клиентки я не смог оторваться: по-девичьи тоненькая, с девичьей перебираемой ветерком стрижкой, в девичьем цветастом сарафанчике и девичьих очках в форме наивной стеклянной бабочки, но вместе с тем явно вошедшая в тот возраст, который для моего воображения был наглухо отгорожен забором почтительности, она с едва различимой улыбкой просветленно смотрела навстречу утренней заре поверх собравшихся у борта голов. Она была так интеллигентна и поэтична, что я решил считать ее переводчицей... переводчицей французской поэзии, ибо, произведи я ее прямым в поэтессы, робость немедленно положила бы конец всякому грезотворчеству: по Жениным рукописно-бисерным блокно-

там я уже познакомился с творчеством Ахматовой и понял, что в ее глазах я мог бы оказаться, самое большее, старательным плебеєм. «Перо задело за верх экипажа»... «Свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду»... Сплошные ананасы в шампанском, или, как говаривала попавшаяся на моем пути вдова знаменитого имажиниста, изыск – обосраться!

Но вот с переводчицей я сам решил быть изысканным: в изысканных выражениях попросил разрешения ей помочь, изысканным движением подхватил две тяжеленные сумки, всячески показывая, что влеку их играючи, только что не покручивая на пальце, словно ключи от роллс-ройса, попутно занимая спутницу изысканной беседой... но, когда она пропустила меня вперед под плащ-палаточные своды дачного шатра, меня – в уже начавшей настаиваться дневной духоте – обдало морозом: с раскладушки мне навстречу поднялось какое-то ужасное существо – человек, это-то и было ужасно!

Синдром Дауна – я еще не слышал таких слов. И от зрелищ, подобных представшему, судьба меня как-то до тех пор оберегала. Одутловатое лицо существа было совершенно белое, словно застывший жир на сковородке, и каким-то непостижимым образом казалось одновременно и злобно-крючконосным, и вздернуто-пороссячим, заплывшие раскосые глазки смотрели на меня недоверчиво и злобно – «с монгольской дикою ордою», внезапно пронеслось в моей голове. «Женя, познакомься с молодым человеком», – ласково и просветленно подсказала переводчица из-за моего плеча, и существо протянуло мне налитую водой маленькую резиновую перчатку с плохо прорезанными пальцами – и что-то старательно профыркало. Бог мой – это была еще и девушка: в безымянную сосисочку был погружен перстенок с малиновым камешком!.. Ответно представляясь, я постарался возвысить свою изысканность до заоблачной куртуазности.

Переводчица самым милым манером усадила меня завтракать, но в присутствии новой Жени я был не в состоянии проглотить ни куска. Я понимал, что нельзя на нее смотреть, но то и дело ловил свой взгляд на ее расплюснутых о табуретку непропеченных бедрах, налитых, казалось, не кровью, а сывороткой. Края еще редких в те времена защитных шортиков тоже пальца на три врезались в водянистую... субстанцию. Но я не мог почувствовать сострадание к ней – оно без остатка было устремлено к ее матери, на которую я, напротив, не смел и взглянуть. И все же видел, что она играет роль радушной хозяйки с удвоенной непринужденностью и просветленностью.

«Фы не куфаеф», – вдруг обратилась ко мне новая Женя, и я вздрогнул, увидев у своих губ протянутый ею бутерброд с плавящимся маслом. И лед моего ужаса тоже был немедленно растоплен жаром стыда. Рассыпавшись в поклонах и благодарностях, я принялся усердно жевать этот дар чистого сердца, но – проглотить все-таки не мог. Я лишь жевал, жевал и жевал, стараясь хотя бы по наперсточку, по наперсточку...

– О, кажется, катер!.. – вдруг додумался я выбежать наружу, где молниеносным движением ввинтил недоеденный бутерброд в песок, а затем вернул-ся под брезентовые своды, со счастливым облегчением отряхивая пальцы.

Я был переполнен нежностью и к переводчице, и к ее несчастной дочке, и, когда переводчица, раздвинув занавес, открыла на задах своего шатра утопающую в зарослях секретную для совконтроля морковную плантацию, я, не забывая, правда, приторговывать фигурой, принялся сквозь шатер играючи таскать днепровскую воду для поливки с такой быстротой и в таких количествах, что не дал моим дамам даже дотронуться до их леек: еще немного, и все их грядки превратились бы в болото. Мне казалось, я снова попал в Танькин огород и даже, казалось, слышал завывания какой-то небесной лесопилки. Я нарочно заставлял себя смотреть на всевозможные Женины вдавленности, стараясь себя уверить, что не вижу в них ничего безобразного: ну подумаешь, пружинка от раскладушки на целый день впечаталась в ее голубую ляжку, словно в пластилин, — ну так и что? И все же в глубине души я страшно радовался, что поблизости не видно никаких тарантасов. Назвать Женю-два Женей язык у меня не поворачивался, но в остальном я расточал ей королевские почести; в какой-то момент я даже решил было поцеловать ей руку, но, остановленный немедленным внутренним содроганием, притворился, будто опасаясь сделать ее смешной.

Зато руку ее матери я поднес к губам буквально с благоговением, когда в интимном полумраке мы вдвоем сели ужинать. Правда, до этого я играючи заглотил пару переполненных стаканов фессалийского, черного с розовой пеной, без коего мне казалось неприличным явиться в гости к дамам, одной из которых, как выяснилось, алкоголь был вообще противопоказан, а другая ограничивалась изящным пригубливанием. После моего молодецкого порыва фессалийского осталось так мало, что я счел необходимым, невзирая на ласковые протесты переводчицы и неопределенное пофыркивание Жени-два, сбегать к закрывающейся Одарке за бутылочкой лувенского. На этот раз я постарался быть более воздержанным и шумную вакхову влагу смешивать с трезвой струей воды, с мудрой и возвышенной беседой. Я целовал матери-героине ее изящные кисти и называл ее святой, я говорил, что именно она, а не какая-нибудь там Сикстинская мадонна является подлинным символом материнской любви, ибо любить не то что даже будущего бога, но и обычного ребенка-ангелочка и дураку доступно, а вот испытывать столько нежности к такой, как Женя... Впрочем, что я болтаю — она по-своему прекрасна, нужно только взглядеться, в ней столько кротости, грации, понес я, теряя последние тормоза и только чувствуя, что первая же попытка зацепиться хоть за какие-то признаки правдоподобия погубит меня окончательно.

Внезапно оказалось темно. Грациозным движением, поигрывая своей безупречной трезвостью, я поднялся с табурета и шагнул наружу — лунная ночь на Днепре была фантастически прекрасна. Каганец, при трепетном свете которого Женя-два расстилала мне на брезенте коричневое махровое полотенце длиной в человеческий рост, тоже был невероятно поэтичен, словно лампада перед ликом новой мадонны. Я попытался это изъяснить, но образ оказался слишком сложен для переполнявших меня чувств. Хотя

я был полон здравого смысла: аккуратно раздевшись в темноте, я уложил свои хабэшные защитные джинсы и ковбойку так, чтобы сразу на них наткнуться, если ночью понадобится выйти. И укрывался я другим махровым полотенцем тоже с необыкновенной тщательностью. А затем пожелал своим дамам сердца спокойной ночи с такой проникновенностью, что даже сам был растроган.

Я проснулся от того, что под моим полотенцем оказался еще кто-то. Женя, обдало меня морозом, но обнимавшая меня днепровская русалка была тоненькая, худенькая, да и слова, которые она мне страстно шептала, были совершенно нормальные, хотя и бредовые: спасибо тебе, спасибо, ты первый отнесся к ней как к женщине, ею даже родной отец брезговал, спасибо, спасибо... Она лихорадочно целовала меня во что придется, но явно искала мои губы. Я поспешил их ей предоставить, опасаясь, правда, что от меня разит перегаром, и тоже начал ее ласкать, спускаясь все ниже и ниже.

Я был уверен, что у таких интеллигентных женщин в очках там ничего нет, однако все оказалось на месте. Но – Женя-два продолжала стоять у меня перед глазами, и пред лицом ее ничто иное устоять не могло. Пытаясь доставить побольше свободы моему впервые отказавшемуся выполнять свой долг мужскому достоинству, я освободился от плавок, но оказалось, что подлинному, нестигаемому достоинству не требуется свобода, чтобы себя показать.

Женя может услышать, прошептал я в невидимое ухо, стараясь, подобно всем плохим танцорам, взвалить вину на обстоятельства. Она никогда не просыпается, не думай о ней, нежно продышала русалка, проникновенно глядя мою грудь, деликатно, впрочем, останавливаясь где-то на уровне пупка; но, видно, сообразив что-то, зашептала с горячечной нежностью: успокойся, ничего не нужно, я просто тебе *очень, очень* благодарна, давай просто так положим, я сейчас уйду...

Нет-нет, зачем же, облегченно зашептал я, и мы, обнявшись, затихли. А потом, от невыносимого желания вот-вот готовый лопнуть, я тщетно тыкался, отыскивая вход в райский сад... И вдруг нашел. И проснулся, пронзенный совершенно запредельным наслаждением.

Я лежал один на животе под своим махровым полотенцем, ощущая под собой липкую лужицу. В палатке было совсем светло. С добрым утром, как ни в чем не бывало просветленно приветствовала меня хозяйка шатра, и Женя-два тоже профыркала что-то заботливое. Похоже, они обе были давно на ногах.

Чтобы не всколыхнуть головную боль, и без того достаточно жуткую, но явно дающую понять, что это еще цветочки, я осторожно повернул голову и увидел у своего лица голубенький комочек – стянувшиеся в клубок мои синтетические плавки. Поймав мой взгляд, милосердная русалка с просветленной хлопотливостью увела Женю наружу.

Когда они вернулись, я был уже одет, но мокрое пятно на махровом полотенце так быстро высохнуть не могло. Почему я не догадался хотя бы его скомкать, это чертово полотенце?.. Слишком меня мутило, что ли? Вид у

меня был, наверно, до того бледный и несчастный, что мать сострадательно погладила меня по щеке, а дочь зашла еще дальше: приложила к тому же месту свой безжизненный мокрый рот.

И меня только чудом не вывернуло прямо на брезент. Правда, и от палатки я не успел сделать больше двух-трех шагов. Я мотал разрывающейся от боли головой, отплеывался клейкой слюною, но спазмы продолжали меня скрючивать, хотя уже давно выжали из моих недр все возможное. Наконец я утер залитое слезами лицо, не оборачиваясь, задними лапами забросал свой позор песком и, по-прежнему не оборачиваясь, с разбега бултыхнулся в Днепр и вынырнул лишь на станиции «Завод "Бильшовик"».

Больше я на Вигуровщине не появлялся.

Благодарение богу, Киев был слишком большим городом, чтобы требовалось бежать и из него тоже.



Душевное здоровье я измеряю умением тут же отдаваться новой выдумке, чуть только разоблачилась предыдущая, и перенесенный мною позор показал, что душевное здоровье мое пребывало в отменном порядке. Я начал чураться самонадеянных претензий на изысканность, но зато почувствовал себя искренним, простым и надежным. Это было тем более необходимо, что Женя встретила меня с трагическим лицом (дядя Сюня и тетя Клава были на работе): они всю ночь не спали, ездили на опознание всевозможных утопленников и удушенных и тому подобное. «Мама-то простит, – скорбно завершила она, глядя на меня как на обреченного. – А папа – нет».

У меня глаза полезли на лоб: ну, надрался, ну, заночевал у бабы – в вольной студенческой жизни я уже привык считать такие вещи делом пустячным. Хотя, конечно, вчера я действительно подзабыл, где нахожусь, и это нехорошо, – но к чему такая стотонная артиллерия – ПРОСТИТ! НЕ ПРОСТИТ! Какие слова тогда останутся для настоящих подлостей, для предательств, убийств? Растерянность почти заглушила стыд: я чувствовал, что и вправду целые годы, видимо, не понимал, с кем имею дело.

Поэтому я теперь держался как пропахший порохом окопный волк, который, что говорить, слегка набедокурил здесь, в тылу, но завтра, в бою, он навеки смоем кровью всю эту лабуду. Солдат такой, солдат сякой, но он свой помнит долг, и, если пули засвистят, в огонь уходит полк. И занимался я с Женей уже без всякого выпендрежа предметами первой необходимости. Единственное, из-за чего я до сих пор горю от стыда, – мне ни разу не пришлось в голову что-нибудь купить к столу: я же знал, что, если понадобится, я сниму последнюю рубаху – чего же боле? Как истинный романтик я ценил чувство наравне с поступком. Какие могут быть счеты между друзьями: когда дядя Сюня был в ссылке, папа через маму посылал ему деньги, под видом отдачи долга, чтобы не пришили антисоветский заговор. А когда-нибудь, бог даст, в ссылке окажется Женя, вот тогда и я приду на помощь.

Однажды наши учебные препирательства прервал звонок, и невидимый гость приветствовал открывшую ему Женю великолепным баритоном: «Фигаро здесь, Фигаро там...» Он вроде как валял дурака, но на самом деле красовался – мне эти кунштюки были известны до тонкостей.

Это был тот самый Пекуровский. Вот уж кто был изыскан так изыскан. Вольная поза на стуле, словно в мягчайшем кресле, смоляные кудри, орлиный нос, резные язвительные губы, черные глазищи, горящие умом и сарказмом... Мне оставалось лишь замкнуться в своем бесхитростном солдатском мужестве. Я не паркетный шаркун, надменно думал я, глядя на лакированный паркет, о котором тетя Клава с гордостью говорила: «По моему полу («Мама!» – заранее кричала Женя) нельзя без трусов ходить – все видно». Однако слушать, как Женя счастливо, да еще с опережением заливается над совершенно неостроумными шутками этой будущей звезды рампы, было все равно невыносимо. Но ничего, мы в окопах и не такое выдерживали.

Не обращая на эту тыловую парочку внимания, я перебрал и смазал свой десантный автомат, наточил штык-нож, а потом лениво потянулся так, чтобы из-под закатанных рукавов приоткрылись стальные бицепсы, и поделился как бы сам с собой: пойду погуляю. Походкой Юла Бриннера из «Великолепной семерки» прошелся на балкон и, едва коснувшись рукой перил, махнул вниз без парашюта. С одиннадцатого этажа. Или сто одиннадцатого, неважно. Важно, что я ушел в плодородную украинскую землю примерно по... Это было еще круче, чем море по колено.

– Ты что, с ума сошел?! – перевесившись, кричала Женя, и меня обдало невыразимым счастьем: она была белая, как Женя-два, только брови угольно чернели – в этом было даже что-то клоунское.

Но что было еще приятнее, физиономия перевесившегося с нею рядом Пекуровского теперь уже не выражала ничего, кроме самой что ни на есть глуповатой обалделости. Вот так-то! Пускай я буду дурак, но зато герой!

А наутро дядя Сюня, словно самый обыкновенный паникерствующий папаша, откровенно не находил себе места: Жене было пора на экзамен, но не могла же она появиться в институте народного хозяйства с немойтой головой! Затем она сушила свои роскошные волосы цвета грачиного крыла над газовой плитой, дядя Сюня пил корвалол, а тетя Клава, гневно раздувая царственные ноздри, следила, чтобы волосы хотя бы не вспыхнули.

Я предложил Жене пойти вместе с ней – я бы спустился с крыши по канату и в подзорную трубу высмотрел ее задание, – но она презрительно отказалась. И уже через полчаса снова была дома: задачки оказались совсем плевые. Однако, на досуге о них поразмыслив, она начала мрачнеть, мрачнеть...

Чтобы до следующего года оказаться совершенно свободной.

Помнится, я нисколько не сочувствовал ни ей, ни дяде Сюне с тетей Клавой: присутствие в названии института слова «хозяйство» делало его учреждением заведомо презренным. Уж такая-то дрянь никуда не денется!

Так мы оказались на приднепровской даче у Жениной одноклассницы, носившей фамилию Сорока, – хрупкой, хорошенькой, с распадающимися

реденькими беленькими волосиками. При Сороке состоял поступавший на архитектурный другой Женин одноклассник по фамилии Вайнштейн, а по прозвищу Ванька, пухленький младенец, не снимая даже на ночь, носивший на безволосом личике выражение надменной обиды: Сорока не платила ему взаимностью. Ванька с Сорокой готовились к экзаменам, а мы с Женей неизвестно от чего отдыхали, так что вчетвером мы ходили купаться лишь с утра. Бледная Ванькина пухлость особенно подчеркивала мой эфиопский атлетизм.

– Сразу видно – грузчик, – пытался принизить мои достижения Ванька.

– Ты атлет, – наставительно говорила Женя, чтобы я и не думал спорить. – Ты сильнее Рыжего. У него, правда, сзади шея тоже здоровая.

Слава богу, и второй любимец был повержен, а следовательно, и весь мир лежал у моих ног: женщины живут мерками микромира. Чтобы окончательно утвердить свой успех, я демонстрировал Жене, что могу поднять ее над головой одной рукой, – моя ладонь и сейчас ощущает солнечный жар ее шелкового упругого животика с едва заметным темным пушком, избегающим по ореховому загару к ювелирному пупку из-под вязаного зеленого купальника (он и теперь стоит у меня перед глазами): я выбросил ее на прямую правую, а потом поймал на руки.

На Днепр мы почти что не ходили – какой-то он был слишком уж мощный, нагой и суровый, – а бродили и плавали по бесконечной, усеянной кувшинками протоке, утопавшей в polegших на ласковую воду ивах и непролазных кустах, внезапно открывавших золотые мини-пляжики, где, кроме нас, никогда никого не было, и все разговаривали, разговаривали, плескались, возились, я показывал ей разные акробатические трюки и ни разу не то что не поцеловал ее, но даже и не помыслил о чем-либо подобном. Просто было невероятно легко и прекрасно. На душе было так же горячо, солнечно и бесконечно, как в мире, который нам принадлежал.

Теперь я даже и не знаю, хорошо ли это, что мы были так целомудренны. Только из сегодняшнего бесцветного дня мне удастся по-настоящему разглядеть, какие мы были юные, здоровые и красивые, и, уж конечно, мы сумели бы доставить друг другу бездну удовольствия. Но... Она бы, разумеется, залетела, я как честный солдат, разумеется, покрыл бы грех венцом – и, может быть, все даже и пошло бы «нормально» (б-р-р – как меня тогда ужасало это слово!), – и все же... Греза бы погибла. Она погибла бы от любого воплощения, от любой конкретизации, хоть в браке, хоть в безбрачии. А так она жива и по нынешний день. Лишь она и питает мои воспоминания, без нее их бы давно замело той же самой бесцветной пылью, которая покрыла сотни таких же сверкающих дней и десятки шелковых животов с избегающим пушком: они оказались погребенными пылью будней именно потому, что я позволил себе их утилизировать.

Но, к счастью, я настолько не понимал своих чувств, меня настолько влекло все, к чему прикасалась Женя, что я почти так же, как ей самой, радовался Сороке, когда она на зимние каникулы приехала в Ленинград: мы

шатались по дивному, утопающему в барашковом инее городу под ручку – это тоже казалось большой вольностью, и к моей спутнице в ушанке с опущенным на лоб меховым козырьком не имела ни малейшего отношения нечаянно подсмотренная летом картинка. Я в одних плавках читал, лежа на полу, на матрасе, а Сорока в одном купальнике тоже что-то читала на кровати. И вдруг, случайно поднявши взгляд, я обнаружил, что ее лифчик сполз, открыв робкую грудь. Я поспешно опустил глаза и, уже только делая вид, что читаю, лихорадочно придумывал, как бы поделикатнее намекнуть... Но тут Сорока наконец сама заметила свой конфуз и поспешно натянула цветастую чашечку на розовый бутончик. И долго испытующе в меня вглядывалась – но я был сама поглощенность. Хотя и видел в книге исключительно фигу.

Вторжение в интимность другого человека – уничтожение тайны, уничтожение грез о нем. И я бессознательно хранил свою грезу о Жене.

Высокие чувства мы испытываем тогда, когда ощущаем сходство собственной жизни с бессмертными образцами, и в наш последний вечер переполнявшие меня чувства уносились куда выше бездонного ночного неба. Мы сидели на перевернутой лунной шлюпке, а переливающийся лунный Днепр неумоимо катил для нас свои могучие лунные воды. Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут... Ой, Днипро, Днипро, ты широк, могуч...

Ну, обнимитесь, обнимитесь, слышал я подначки тети Клавы и уносился еще выше, страхась спугнуть то безмерно высокое и чарующее, куда мы оказались допущены. Женин профиль в лунном свете сиял совершенно неземною красой, и все-таки даже он был только входом во что-то еще неизмеримо более прекрасное. Она тоже молчала, оберегая высоту этого мгновения, этой ночи, этой жизни.

И вдруг ее голос прозвучал самой обыкновенной грустью:

– Почему все всегда кончается так быстро?..

– Почему кончается – ничего не кончается и никогда не кончится, – затопился я, еще не зная, что женщинам бывает мало прекрасных грез, что своих любимых они желают видеть в пределах досягаемости. А если те нуждаются в этом в меньшей степени, начинают испытывать сомнения в их любви.

Я искал и не находил слов, которые были бы достаточно возвышенными и вместе с тем не чрезмерно определенными, то есть сужающими и снижающими. И пока я мысленно путался в каких-то туманностях, Женья вдруг обронила неслыханно скрипучим унылым голосом:

– Скучно...

В тот миг я уже не был простым и надежным старым солдатом, а потому вместо того чтобы едва заметно горько усмехнуться, дернулся, словно меня ожгли плетью. Я резко повернулся к ней – и застыл: когда она только успела превратиться в такую понурую армянскую старушку?.. И тут мне впервые пришло в голову, что кто-то из киевлян может и не быть в восторге от ее ярко выраженной семитской внешности.

– Что, по Пекуровскому скучаешь? – все-таки не удержался я, чтобы не излить остатки вскипевшего яда.

– Никогда ни по кому не скучала, – со скрипучим высокомерием отmelda она. И, подумав, прибавила: – Но, кажется, сейчас начала.

И я понял, что мне здесь больше нечего делать. Если ей Пекуровский дороже... Меня? Нет – того ослепительного простора, куда мы ни за что не попали бы поодиночке!

Так пусть и сидит в своем чуланчике, в тесноте и в темноте, со своим Пекуровским.

Но в кустах оказалась тоже непроглядная темень. И поистине ужасающая теснота. Прикрывая локтем глаза, я продирался неведомо куда, лишь бы подальше, и с каждым шагом съеживался из безмерности в ничтожность, а когда до меня дошло, что за мной продирается еще кто-то, я окончательно превратился в студенистую дрожащую тварь. Умом я, конечно, понимал, что это не мог быть медведь, но треск от него стоял именно, как от Топтыгина, – тигр, текущий и бесшумный, не мог бы так ломиться. Задыхаясь, с колотящимся в горле сердцем, я уже почти бежал, но время от времени у меня все-таки хватало мужества остановиться и прислушаться. Однако и преследователь тут же замирал. Хотя и на мгновение позже, чем я.

Я уже и не мечтал ни о чем другом, как только вырваться на простор, и, когда у меня перед глазами внезапно вспыхнул лунный Днепр, я уже не помнил ни о Пекуровском, ни о своем унижении – жив остался, и слава богу, а прочие пышности мне были теперь слишком уж не по карману.

Женина согбенная фигурка в расклешенных брючках, именуемых «чарли», голубела на прежнем лунном днище. Я скромно присел рядом. «Убег?» – кротко и ласково спросила она. «Угу», – кротко кивнул я. «Прибег?» – так же кротко и ласково продолжила она. «Прибег», – подтвердил я.

И мы устало смолкли. Но красота и высота понемножку снова начали возвращаться в мир. И меня уже слегка обдало холодком, когда Женя еле слышно проговорила, словно сама себе не веря: «Я и правда ни по ком никогда не скучала. А теперь, кажется, буду. По тебе». Я замер в страхе, что сейчас повторится история с Танькой, что она сейчас скажет что-то лишнее, что-то слишком определенное и спугнет то неясное и волшебное, что нам приоткрылось.

Но Женя оказалась на высоте.

И больше ничего не сказала.



Не знаю, скучала ли она по мне, но я-то по ней точно не скучал. Ибо ни на миг с нею не расставался. Хотя первый материальный знак от нее получил лишь через пять лет. В тот год я подрядился поставить на ноги некий теоретический курс, за который не решился взяться ни один из многочисленных родственников и добрых знакомых луноликого ректора высокорен-

табельного институтишки, затерявшегося в каракумских песках, и в сердце моем пропели ликующие фанфары, когда в октябрьскую жару меня призывали на телефонные переговоры с Киевом. Однако на том конце провода так никто и не произнес ни слова.

Женя хотела узнать, не могу ли я пристроить хотя бы за Каспием сына громкого украинского диссидента, однако дядя Сюня, прознавши, пресек нашу связь: «За тебя я отсидел». Я потом жалел, когда узнал: уж я бы непременно попробовал.

Как средневековый жонглер свои кувыркания посвящал мадонне, так и я свои самые гордые и нелепые выходки обращал к ней, незримой, но всевидящей. Верхом благородства мне в ту пору казалась готовность в любой миг швырнуть все нажитое в костер и уйти не оглядываясь. С улыбкой д'Артаньяна в ковбойских сапогах. Ощущая на себе ее укоризненный и восхищенный взгляд. А поскольку от еврея требовалась тройная расчетливость и осторожность, я старался быть втройне беспечным и своенравным. Меня не останавливало – ну, скажем, лишь изредка останавливало то обстоятельство, что я уже был женат (отчасти на черкешенке) и имел дочку и сына: мне казалось, если я регулярно высылаю им приличные суммы, а временами даже подолгу задерживаюсь с ними под одной крышей (в остальное время служа невидимым примером, воспитующей грезой), то мой долг отца и супруга исполнен. Тем более что в постели я всегда развивал такую бурную деятельность, что день моего домашнего пребывания можно было смело зачесть за три.

Я и свою женитьбу с гордостью посвятил незримой Жене, ибо даже недруги мои были бы вынуждены признать, что это был поступок благородного человека. Следуя заветам отца, я тоже положил за правило не протискиваться туда, куда меня не пускают: как-то, срубив серьезные бабки, я подал заявление на поездку в Германию (советской абракадабры «гедезр», способной разрушить любую грезу, я брезгливо сторонился), но в ответ получил разрешение попроситься зимой в Болгарию. После этого я надменно стер с карты своих фантазий святые камни Европы, отправив их в мир совсем уж нездешний, и пил запоями музыку имен, ничуть не менее сладостных: Кара-Богаз-Гол, Копет-Даг, Усть-Урт, Тянь-Шань, Ямал, Таймыр, горы Бырранга, плато Путорана, море Лаптевых, хребет Черского, мыс Дежнева...

В тот раз я прилетел по радиограмме на двух вертолетах и одном Яке из Нового Уренгоя, где кормил мошку и отсасывал черную кровь земли в качестве помбура: жена просигналила, что в Ленинграде проездом из Киева задержался мой отец, что Чудновский очень плох, а отец совершенно убит и страшно хочет меня видеть. Высказать свое желание вслух – это было настолько не похоже на отца, что я переполошился и за него тоже. Но оказалось, что страстное желание жена прочла у него в глазах; на мой же взгляд, он был, как всегда, подтянут и даже, по леспромхозовским меркам, элегантен, седеющие прямоугольнички усов были безупречны, а в глазах можно было прочесть лишь одно, неизменное: не дождетесь. Он настолько неукос-

нительно придерживался пункта первого своего кодекса – «джентльмен никогда не вмешивается в чужие дела», – что мне ни разу в жизни не пришлось в голову задуматься, а так ли он доволен мною, своим сыном, подававшим столь блестящие надежды и теперь ведущим такой странный образ жизни.

Чисто информативно отец изложил: у Сюни рак прямой кишки (Маркман, почему-то больно ударило у меня в висках), он исхудал, как колымский доходяга, повидать почти никого больше не удалось, Сюня каждый раз спрашивает, когда вернешься, а, возвращаясь, всегда видишь его в окне...

А когда начали прощаться, дядя Сюня вдруг сказал: я помогал у нас в местечке закрывать синагогу – это мне кара, вся моя жизнь была карой.

Я с грустным пониманием улыбнулся: больной, мол, замученный человек, что с него возьмешь – но отец почему-то не ответил на мою улыбку, и я с удивлением разглядел, что лицо у него небывало торжественное. Он что, тоже считает, что закрытие синагоги может вызвать какие-то реальные последствия? Но отец был так печально торжествен, что спросить я не решился.

Наконец, словно бы очнувшись, он со вздохом посетовал, что Женя постоянно ссорится с тетей Клавой (Клава же такая властная!..), а дядя Сюня их бессильно укоряет: у нас такое несчастье, а вы...

Но обсуждать Женины поступки было для меня святотатством.

Когда почтовый голубь с дымчатых морозных небес обронил мне весточку о смерти дяди Сюни, я зачем-то рванулся, скатился на заднице с Верхоянского хребта, поскользнулся на Подкаменной Тунгуске и, споткнувшись об Урал, расквасил нос в Казани. Где понял, что спешить уже некуда.

Дома я снова застал отца, после похорон заехавшего повидаться с внуками. Он одетый спал на диване, совершенно по-детски свернувшись калачиком. И я долго стоял над ним, изнемогая от жалости и страшая его пробуждения: что я скажу о том, о чем сказать нечего? Но он, проснувшись, просиял такой детской радостью... Сынок, сынок, не веря своим – уж таким беззащитным без привычных очков – глазам, повторял он.

Обветренный, бородатый – и все-таки сынок... Невероятно стойкая греза!



А на киевском кладбище уже вовсю кипела весенняя страда, и женщины в соседней оградке, захлебываясь слезами, повторяла: ну где же лопата, я же ее вот сюда спрятала!.. Господи, из-за лопаты, минут через десять наконец не выдержал я, и Женя грустно улыбнулась мне как маленькому: не из-за лопаты, из-за мужа... И я готов был провалиться к дяде Сюне от стыда за свою тупость.

«Амулз, – показала Женя на отдаленное сгущение народа. – К папе мы тоже его звали». Я понял так, что амулз – это человек, а оказалось, обряд. Или все-таки человек? Давно дело было. Но изумление свое отлично помню: какие там еще амулз? Что за пережитки среди умных людей, полжизни посвятивших осмеянию чужих выдумок?

Неожиданно острой для такого интеллигентного семейства лопатой я резал дерн из неведомо среди чего расположившейся окружающей среды и обкладывал им, словно панцирем, могильную грядку. Дядя Сюня под стеклом был седой как лунь, страдальчески изможденный – какой уж там божок довольства, это был падший ангел мудрости и скорби. Я бы, пожалуй, даже позавидовал такому концу, если бы не ощущал твердой уверенности в своем бессмертии. Женья и бессмертие были слишком нераздельны, а Женья была вот она. Хотя и ненамного ближе, чем всегда, но тем не менее. Мы обращались друг к другу с подчеркнутой нежностью и простотой, нам были не нужны лишние слова.

Нестеровская, грустно улыбнулся я ей, закрепив дышащей сыростью землей тоненькую березку в изголовье дядисюниной могилы, и Женья ответила мне понимающей улыбкой. Что мы оба понимали? Что еврей, а вот же и его могилу готова осенять березка, да не какая-нибудь, а нестеровская? Или что не думали, не гадали, трепетно погружаясь в видение отроку Варфоломею, что снова увидимся с этой березкой при таких вот обстоятельствах? Не знаю, но иллюзия понимания была полная, а только такую иллюзию мы и зовем пониманием.

Зато с тетей Клавой никаких иллюзий не возникло – мое почтительное недоумение лишь нарастало по мере того, как она выкладывала на стол телеграмму за телеграммой и со скорбным торжеством зачитывала пустые слова соболезнования. Пустыми они мне казались не потому, что были неискренними, а потому, что – какие тут вообще могут быть слова?.. Я еще не понимал, насколько в сегодняшнем мире людям, словно неощутимых витаминов, не хватает высоких слов, не хватает возможности ощущать себя героями высокой бессмертной трагедии.

– А Гриша Бердичевский, – просветленно повествовала тетя Клава, не поседевшая, но, наоборот, порыжевшая подпалинами, – прислал из Москвы специальной машиной венок. С надписью: погубленному гению. Гриша в конце войны приезжал к Сюне в лагерь – полковник инженерных войск, в форме... Ты не представляешь, что это тогда значило!

Я лишь проникновенно кивал, опасаясь оказаться не на высоте минуты.

Зато тетя Клава внезапно съехала с высоты.

– Я, когда одна остаюсь, сижу и вою. С утра до вечера себе твержу: ну за что с ним так, он же в жизни на копейку зла никому не сделал!..

А я почему-то вдруг вспомнил закрытую им синагогу – не в качестве причиненного дядей Сюней зла, а снова в качестве удивительной чепухи, которая может, оказывается, приходиться в голову людям, если их достаточно долго пытаться.



Мы бродили по булгаковскому Киеву – по Малой Подвальной, по Андреевскому спуску мимо дома Турбиных – словно в былые времена. Хотя в

наш кубок было влито много, очень много горечи, дурман его почему-то становился едва ли не еще более сладостным. Внезапно мы оказались перед белокаменной резьбой брамы Заборовского. Мы понимающе переглянулись и с улыбкой покивали друг другу. «А как Ванька?» – по архитектурной ассоциации спросил я, и она проводила меня к его последнему дизайнерскому достижению – кафе «Пид лыпою». Плетни, рушники, глечики – оказалось, и наше поколение способно создавать пошлость.

Женя тоже закончила свой институт народного хозяйства и теперь работала на пивзаводе, с умильным знанием дела высказываясь о всевозможных пивных достоинствах и недостатках. Джон Ячменное Зерно, попытался я впрыснуть капельку поэзии – капельку выдумки в прозаическое жигулевское, но Женя, похоже, даже не поняла, что здесь забавного: пиво – это была ферментация, сбраживание, стойкость пены, плотность суслу, план, начальство... Нет, пиву было не просочиться в мир ее фантазий, где термоядерная звезда Цветаевой превращала в пар и гораздо более жароустойчивые предметы, – лишь Солженицыну удалось перевести Марину Ивановну в звезды второй величины. Теперь Женино сердце пылало страстью развенчать ту ложь, в которой нас держала власть, теперь уже она, сдержанно сияя, раскладывала передо мной затрепанные папки с самиздатом, выпущенным из подполья смертью дяди Сюни.

Уж с какой жадностью и торжеством я проглатывал «Раковый корпус»: чем ужаснее изображать мир, в котором мы живем, тем неотразимее будет удар по тем, кто ответственен за него, удар по той грезе, в которой они нас пытаются удержать. Чтобы сокрушить врага, нужно прежде всего разрушить его грезу. Коммунисты били по богу, царю и отечеству, мы – по коммунизму, наши противники – по бескорыстию. Чья же греза в конце концов воцарится на этих многослойных руинах?.. Какие тараканы наследуют землю?..

Я думал тогда, что Солженицын жаждет исключительно правды, но он был не так глуп, как я, он сажил правдой исключительно по чужим сказкам. Это только я желал все испытывать правдой – как будто хоть одна сказка способна выдержать такое испытание! И как будто хоть один человек на земле способен выжить без сказки! Но я в ту пору жил наимозумнейшей из утопий – верой, что можно построить мир исключительно на правде. И – уж вовсе безумство из безумств – не сомневался, что в таком мире можно будет жить. Да и до будущей ли жизни мне было – главное, ни в чем не походить на своих врагов: *они* пускай лгут, а вот *мы* – не будем. Думал ли я тогда, что главная борьба в мире ведется не за комфорт и материальные ресурсы, а за грезы, высшая цель человека – внушить миру грезу, в которой он велик, прекрасен и бессмертен. Я же не только разоружился сам, но и требовал, чтобы и другие сложили оружие, отказались от того, что составляет высший смысл и высшую радость человеческого бытия. Из-за чего люди ссорятся, ненавидят, убивают? Из-за денег? Хрен там, из-за сказок. Каждый хочет навязать свою.

Было это в романе или мне пригрезилось? В босяцкой шинели, прошед-

шей фронт и лагерь, сам только что, почти без шансов на жизнь, вышедший из онкологического ада, но все равно несломленный, я подходил к домику, где жила девушка, которую я любил. И увидел постельное белье, которое она проветривала на солнце...

— Ему стало противно, и он ушел, — разъяснила мне Женя, когда я осторожно попытался обсудить с нею эту сцену.

— Как это может быть противно, это трогательно, — не соглашался я, пряча глаза, потому что имел в виду ее. — У птицы есть гнездо, у женщины есть дом — это же нежность, а не брезгливость.

Я почувствовал, что неудержимо наливаю жаром, и поспешил перевести разговор на виртуозно вычерченного тушью оскаленного пирата на норовившем свернуться обратно в трубку листе ватмана на обоях.

— Откуда, кстати, у тебя эта рожа? — с деланной небрежностью спросил я, и она ответила с небрежностью неподдельной: «Знакомый художник подарил».

Господи, то у нее артист, теперь художник!.. Пекуровского дядя Сюня с непередаваемым сарказмом называл не иначе как «актер» — умный был человек! Жалко, не удастся услышать, как он произнес бы: *живописец*. Пекуровский-то, правда, остепенился — бросил свои театральные замашки, женился, работает счетоводом... Даст бог, и художник последует его примеру.

В тот свой приезд я настолько густо сорил деньгами, что всю обратную дорогу в общем вагоне ел одни только тетиклавины яйца вкрутую, по два яйца в день: признаться, что я все растряс, было выше моих сил. Тете Клаве я, может, еще и доверился бы, но Жене...



Когда она вышла замуж, мне пришлось-таки сделать усилие, чтобы взять себя в руки. Но это была не ревность, разве что в самой микроскопической дозе — нет, ледяным холодом в груди я ощутил страх, что не смогу отнестись к ее браку с достаточным благоговением: ее избранник должен был оказаться заоблачно высок, чтобы не возникло обиды и разочарования — на что, мол, она променяла... Наше Неведомо Что. На тот счет, что и я ее на что-то променял и промениваю, у меня и проблеска мысли не было: странствующему рыцарю дозволено нечто иное, чем его Прекрасной Даме, Уленшпигель и не должен уподобляться кроткой Неле.

Кинорежиссер, борода, отстраненно перечислял папа, более всего опасаящийся, как бы нечаянно не выдать какой-нибудь домысел за факт. Клава от него в восторге, он так красиво ухаживал: «Я пришел просить руки вашей дочери», с огромным букетом роз...

Мне представилась некая помесь Хемингуэя с Бондарчуком, утопающая в океане алых роз, — но я, старый окопный волк, только хмыкнул: изыск, мол, — обосраться, посмотрим, как эти паркетные шаркуны покажут себя в рукопашной. И хотя каждая его снижающая черта роняла и Женю, мне бы-

ло все же необыкновенно приятно узнать, что фильмы ее супруг ставит документальные, типа «Как правильно держать зубило» – для профессионально-технических училищ – и «Партийное руководство колхозным строительством на Полтавщине» – для того чтобы мы слишком много о себе не воображали. Правда, за один фильм он получил какой-то приз в Будапеште. Да к тому же еще сочинял пьесы. Правда, их никто не ставил. Но зато он писал стихи, Женя показывала папе его машинописный сборник сонетов (папа не знал выражения «венки сонетов»). Правда, их никто не хотел печатать – но здесь злорадствовать у меня уже не хватало совести.

Наверняка он, этот Михаил Редько, чего-то стоил, полным фуфлом Женю было бы не обольстить. Тем более что он был все-таки наполовину еврей, по матери, Блюме Соломоновне, а совершенно бездарных евреев мне встречать не приходилось, поскольку я тогда умел различать лишь одну разновидность бездарности – казенную. Ограждавшую нас от потока имитаций, имитаций интеллектуальности и утонченности, нахлынувших на нас лишь вместе со свободой.

Во время следующих своих сибирско-украинских турне папа доносил до меня, что Клава Жениным супругом до крайности недовольна: он является к жене лишь по четным понедельникам, а в остальное время занимается творчеством на территории «Блюмы», как именует ее Женя; тем не менее ему удалось произвести на свет погодков, мальчика и девочку – равно как и мне, только в обратном порядке, – но я-то, уж если был в Ленинграде, то и жил дома, такое поведение представлялось мне намного более добропорядочным. Этих, с цветами, нужно сразу гнать в шею, пронизательно усмехался я, умом сочувствуя Жене, а сердцем торжествуя. Женины дети – сквозь папину неукоснительную корректность впервые проглянуло что-то вроде ужаса – сказать, что они избалованы, значит, ничего не сказать, он, папа, бежал отсюда на второй же день, а чтобы заставить папу бежать, требовались средства поистине экстраординарные.



Это и впрямь был какой-то обезьянник, несмотря на покорбившие меня чрезмерным еврейским напором имена ее... чуть не сказал: детенышей. А именно – Амос (Моська, что ли?) и Эсфирь (Фира?): *мы*, я считал, не должны ничего выпячивать, не делать для *них* ровно ничего – ни в угоду, ни в пику. В обвисающих на комариных ножках розовых колготках чернявый Амос, джигитенок с горящими миндалевидными глазенками, с неправдоподобным проворством взлетал по занавеске, мчался по потолку, вспрыгивал, спрыгивал, рвал, метал, а златовласая носатенькая Эсфирь с невыразимым восторгом следила за ним своими кукольно распахнутыми блекло-голубыми глазищами (я обомлел, столкнувшись с ними на лице моей радикулитной возлюбленной) – пока, наконец, он мимолетом не шлепнул ее по лбу, и она отчаянно не заревела, продолжая, однако, вниматель-

нейшим образом наблюдать за прыжками и кувырканиями своего восхитительного братца. «Не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку», – внезапно отозвалось у меня в ушах его переходящее в ультразвук верещание.

Тетя Клава сидела с презрительно-отрешенным видом, но царственные ее ноздри выражали гневное: «Вот, полюбуйся!» Зато Женя на весь этот бред реагировала совершенно механически, как на погоду: били – уворачивалась, визжали – пережидала, обливали – раскрывала зонтик. Но все равно оставалась как в воду опущенной. А когда Амосик стремительной лапкой выхватил у меня из чая лимон и попытался приклепнуть его мне на лоб вместо кокарды и я погрозил ему пальцем, стараясь, однако, показать, что шучу, Женя грустно сказала: «А вот дядя Мотя нашел с ними общий язык».

Бежать от них быстрее лани. И я со страхом почувствовал, что начинаю испытывать к ней – невозможно выговорить – презрение.

Тетя Клава поднялась с места и демонстративно покинула кухню – где, казалось, так еще недавно мы все вместе были заодно. А Женя, воспользовавшись секундной передышкой, подтянула Мосе колготки и, с нежностью потрепав его по тощей заднице, удовлетворенно констатировала: «Попа». Сказали бы мне на перевернутой лунной лодке, что она когда-нибудь сумеет опроститься до такой степени!

Чтобы хоть чуть-чуть прийти в себя, то есть вернуться в привычную грезу, я выбрался из этой иррациональности в соседнюю комнату. Но там под безнадежным взглядом белоснежного дяди Сюни и злобным оскалом так и не сумевшего свернуться в трубку пирата на меня накинута тетя Клава, вдовствующая королева в изгнании, окончательно порывшая пламенеющими протуберанцами: «Ну, что? Ну не сволочь?!» Я окончательно ошалел: мальчонка, конечно, не из самых обаятельных, но все же так рубануть про ребенка, внука... Да-а, тетя Клава не зря всегда славилась прямотой...

Но оказалось, она имела в виду не самого Амоса, а его папу.

– Он же запрещает их наказывать, он хочет сделать из них зверенышей! О, такого демагога и в политбюро не сыщешь! Сам говорит, что два непоротых поколения породили декабристов, а сам их держит в таком страхе, что они его за квартал обходят! А об нее ноги вытирают! Ты скажи, у женщины должно быть достоинство или нет?!

Сложным движением бровей я постарался выразить, что вопрос не столь однозначен, чтобы на него можно было ответить односложно. В чужом – Женином! – доме я ничего не смел осуждать. Тем более что я уже тогда понимал: человек способен быть захваченным любой дурью; единственное, чего я не терпел, – отрицания очевидностей. И в этом отношении, как я ни старался не понимать того, что вижу, Женино поведение казалось мне постыдным. Постыдным было именно то, что она не чувствует стыда.

Но назавтра в гастрономе, где разъяренные тетки когда-то забрасывали яйцами дядю Сюню, Мося, даже не дожидаясь отказа, набросился с кулачками сначала на Женю, потом, плюхнувшись на пол, на затоптанный кафель, требуя – сей же миг! – распечатать только что купленное печенье.

«Нехорошо так весты себя, – наставительно склонилась к нему серебряная армянская бабуся (благородная – такой теперь Жене не бывать...), когда он, наконец, набил печеньем свой остервенелый ротик. – А то маме будет стыдно». «Маме уже давно ничего не стыдно», – безнадежным голосом едва слышно произнесла Женя, и мое сердце припрыгнуло от благодарности: значит, она все-таки видит, во что она превратилась! Зато Амос, прожегши черными глазенками непрошеную воспитательницу, сунул пальчики в ротик, зачерпнул разжеванного печенья и ляпнул бабусе на пальто (была осень) – вышло похоже, как будто ее забрызгали поносом.

Та обомлела, а Эсфирь, наблюдавшая за сценой с невыразимым счастьем на носатеньком ангельском личике, с величайшей заинтересованностью спросила: «Тетя, а почему у вас борода?» Обгаженная старушка, чистеньким носовым платочком ошеломленно оттиравшая пальто от желтой жижи, подняла голову и растерянно обратилась к окружающим: «Правда, у этой девочки слишком большой нос?»

А Женя стояла поникшая и намного более состарившаяся, чем обдранная пенсионерка. И ее стройность, красота и элегантность только сильнее высвечивали ее поруганность.



Вечером же, наконец, состоялось явление супруга и повелителя.

Он был украшен подернутой проседью коротко остриженной заостренной бородой кинозлодея и напоминал сильно окарикатуренного и чем-то раз и навсегда оскорбленного актера (все-таки актера!) Михаила Козакова.

Кухонный обезьянник смолк так внезапно, словно выключили звук. А властитель произвел общий сдержанный кивок и удалился; Женя с выражением побитой, но довольной собачонки последовала за ним; Амос и Эсфирь с серьезностью, неотличимой от испуга, тоже рассеялись как дым, и тетя Клава снова потребовала: «Скажи – ну не сука?.. У нас гость, старинный друг дома – в какое положение он ее ставит? Он же ее ни в грош не ставит! Она делала аборт – он бровью не повел, говорит, об этом женщина должна заботиться... Я помню, твоя мама делала аборт, так Мотя плакал! Этот железный мужик!»

Мне потребовалась неимоверная изощренность, чтобы уголками губ выразить грустное понимание, а бровями призвать к снисходительности. Стараясь при этом не съежиться от обнажения стольких нагот разом.

А мысли тети Клавы тем временем переместились в более приятное русло.

– Сюня мне рассказывал, что Мотя в молодости был страшным донжуаном, перед ним ни одна не могла устоять...

Папе всегда была настолько чужда сама малейшая эротическая игривость, что я позволил себе легкую скептическую гримасу.

– Нет-нет, – с озорной мечтательностью оттринула тетя Клава. – Он имел всех!

(Что за глупости, смущенно пожал плечами папа, меня тогда интересовали только две вещи – наука и мировая революция.)

– А этот... – царственный лик тети Клавы снова принял выражение гневного презрения. – Хоть бы здоровый мужик был... Помню, зайдешь к тебе в комнату, ты раскинешься – роскошная мускулатура – какого парня моя дуреха упустила!.. Кстати, почему ты так похудел?.. Ты можешь сказать, чем он ее взял? Что он ей дал?..

Но я могу ответить на эти вопросы только сейчас: что дал, тем и взял. Чем брали все пророки от начала времен – он дал ей грезу. Которой можно было служить и чувствовать себя причастной великому и бессмертному (впрочем, это синонимы). Мы занимались только разрушением чужих, враждебных грез и не имели ничего своего. А г-н Редько ей преподнес *свое*. С миллионом, миллионом, миллионом алых роз. И взял за это всего лишь рассудок и достоинство. А я, хотя ничего и не отнимал, зато ничего и не давал.

За ужином Миша почему-то сменил гнев на милость, но Амос и Эсфирь оставались кроткими, как два ягненок, один чернорунный, другой золоторунный, и тетя Клава по-прежнему восседала во главе стола самой настоящей Снежной королевой. А Женя – Женя сдержанно сияла. Сияла отраженным светом своего ослепительного супруга, который напористо выпытывал у меня, каким именно образом Лейбниц додумался до дифференциального исчисления. Он задавал один пронзительный вопрос и, прежде чем я успевал на него ответить, отвечал сам либо задавал следующий. Вообще-то я и сейчас не вполне понимаю, зачем что-то спрашивать, если ответ тебя не интересует. Ослеплять пронизательностью? Навязывать грезу о себе? Добиваться насилием того, что приятно получать лишь по любви? Потому-то люди с сильной волей и не бывают сильными мыслителями – они стремятся подчинять, а истина требует уступать: ведь только греза коллективная, открытая для всех, не требующая насилия над несогласными, – только она и может претендовать на звание истины.

До меня с большим опозданием дошло, к чему он клонит – к тому, что дифференциальное исчисление было открыто не ради его практических применений, а ради служения Богу. Теперь-то я и сам считаю, что никакая практическая нужда ничего путного не породит, если не сделается частью какой-то чарующей сказки, – но уж не Мише Редько было до такого додуматься. Он рассуждал просто: вы говорите, бога нет? Так я буду говорить, что он есть! И ничего вы мне не докажете! Потом-то мне встречались целые россыпи самовлюбленных гордецов, утверждавших на божье свое превосходство над миром, но Миша был первый среди равных и оттого немного меня удивил: вера тогда мне казалась плодом простодушия и кротости, а не апломба и упрямства.

Миша верит в бога, с горделивым взглядом подтвердила Женя, когда мы каким-то чудом оказались вдвоем. Ты что, думаешь, в дедушку с бородой, со снисходительной улыбкой прочла она те, разумеется, примитивные мысли, которые только и могли быть у меня на этот счет. Ее презрение меня ца-

рапнуло, но я уклонился от обсуждения, предчувствуя, какая фальшь поведет из этого сосуда Пандоры и как трудно мне будет забыть этот тяжелый дух, если мне хоть однажды придется вдохнуть его.

С поистине материнской гордостью, с какой она не угощала меня ни Цветаевой, ни Солженицыным, она распутывала тесемки на канцелярской папке с Мишиными пьесами и венком сонетов, посвященным Иуде Искарриоту. Пьесы были в духе Шварца и вроде даже недурные: «Обратитесь к Кашею, он сноб, эстет, бонвиван, но юрист первоклассный». Иуда же был горд, смел и уходил куда-то сквозь дикий терновник – ни хрена было не понять, но высоко было, высоко, куда повыше устриц во льду, свежо и остро пахнувших морем.

– Здорово!.. Да-а!.. – ответственно супясь, восторгался я, а Женя была настолько ослеплена и оглушена своей грезой, что не слышала натянутости.

Я изо всех сил старался – хотя бы через Женю – дать Мише понять, что я на его авторитет не покушаюсь, а то он в первый же наш ужин с Лейбницем сдержанно, но довольно отчетливо сказал мне: «Вы не находите, в этом доме культ Израиля Моисеевича?» – даже его «вы» было не знаком уважения, но профилактической ледяной перегородкой для предотвращения возможной фамильярности. Я ответил сложным мимическим аккордом, выражающим, что хотя Израиль Моисеевич действительно был замечательным человеком, некоторые излишества в почитании его памяти все-таки возможны, однако заслуживают снисхождения. Тем не менее Миша понял, что я не поддерживаю его безусловно, и снова замкнулся в надменной оскорбленности шаржированного Педро Зуриты из фильма «Человек-амфибия». И даже Лейбница предоставил его исторической судьбе.

Он правильно понимал, откуда исходит главная опасность для его власти: главная опасность для любой грезы не испытание реальностью, а другая греза. Но я – я, когда Женя из борца за правду сделалась служанкой выдумки, почувствовал такую обиду, словно какой-то друг моей нищей романтической юности, с которым мы в холодной мансарде мечтали о бескорыстном служении истине, разбогател на мошеннических спекуляциях. И чем крупнее была выдумка, тем непростительнее было мошенничество.

То, что она боготворила Мишу, было детским невинным жульничеством. То, что она боготворила бога, было мошенничеством, осуществленным в особо крупных размерах, с особой дерзостью и цинизмом. Ее неожиданно обнаружившаяся преданность идеям сионизма на этом фоне уже показалась мне частичным возвращением к честной трудовой жизни: все-таки эта была преданность чему-то существующему и, следовательно, ложь меньшего масштаба.

Но все же – какой сионизм, что за глупость – из огромного открытого мира перебираться в какое-то захолустье: движение от единства с миром всех благородных людей к единству с одной только небольшой частью – это движение если уж и не совсем от богатства к бедности, то, во всяком случае, от роскоши к умеренности. Для того ли я стремился из леспромхо-

за к Медному всаднику, а она от... От чего к чему? К институту народного хозяйства? Я ведь понятия не имел, чем она грезит, – вполне могло стать-ся, что единение с еврейством для нее как раз и было выходом из тесноты на простор, движением от заурядного к высокому, – несмотря на то, что для меня оно означало ровно обратное.

Но должна же она хотя бы видеть, что такие, как ее Миша, способны служить только себе? И если они вдруг перед чем-то преклонились, можно быть уверенным, что это лишь кому-то назло. Впрочем, Миша был защищен какой-то базовой грезой.

Она, Женя, уже общалась с неким американским миссионером – по-видимому, тем самым агентом мирового сионизма; с той же улыбкой сдерживаемого торжества она передала мне его слова, вырвавшиеся якобы от изумления после долгой и подпольной беседы с компанией еврейских интеллектуалов: мне (агенту) показалось, что я из огромного открытого мира попал в какое-то захолустье, – это он о советской жизни. Меня покорила и улыбка, и слова – уж прямо-таки захолустье наша шестая часть суши с университетами, Эрмитажем и Публичной библиотекой, Таллином и Самаркандом... Ну да, святые камни Европы *они* от нас отрезали, но главная-то человеческая жизнь протекает в фантазиях, а уж они-то для нас открыты на все четыре стороны; Бетховен, Кафка, Моне – ведь это же все наши люди, неизвестно еще, для кого они более свои, кто в них погружен глубже – я или этот американский обрезанный хрен...

И тут мы снова очутились в Бабьем Яре. Теперь здесь громоздился многофигурный памятник – ужасно советский, банальный, иллюстративный, но все-таки... Все-таки наша взяла! А может, и у *них* проснулась совесть? «Какая совесть? Ты видишь, кто стоит на первом плане? Боец в шинели! А на самом деле первыми расстреливали обыкновенных людей, обыкновенных евреев!...» – «Но в конце концов расстреливали же не одних евреев... Какие-нибудь татары тоже могут претендовать...» – «Могут. Но лишь одних евреев расстреливали только за то, что они евреи!» – «Это верно... Но как это выразить в скульптуре? И потом, в коллективных памятниках лучше и не пробовать как-то выражать свою особость, обязательно кто-нибудь обидится. А *мы* ведь должны всегда думать не о своем, а о чем-то всеобщем...»

Я почувствовал жар на лице: я уже не доверял ей и вполне ждал в ответ на мою искренность новой порции торжествующей снисходительности. Но она ответила гневно – по-человечески: «Хватит, мы достаточно боролись за всеобщее, пора подумать и о своем. И хватит беспокоиться, как бы кого не обидеть – лучше подумаем, как сделать, чтобы нас не обижали. Надо, наконец, обрести свой дом и ставить там памятники кому захотим! И как захотим!»

Она сделалась пугающе прекрасной – такой я ее еще не видел. Если с Солженицыным она была саркастической обличительницей, а с Мишей гордящейся матерью, то сейчас она была богиней мести и печали в антрацитовом ореоле перебираемых ветром волос. Прекрасная... Но слово «еврейка» (а тем более – «еврей») на русском языке не может звучать красиво.

И я не нашелся, что возразить. Хотя еще и смутно, я почувствовал, что даже благородным людям, которые живут бессмертным, все-таки есть что делить. Даже в бессмертном, всеобщем у каждого есть что-то свое, самое дорогое. И продлить ему жизнь можно не иначе, как чуточку потеснив что-то чужое, – нечего делить только тем, кто не имеет ничего своего.

Внезапно оказавшись у брамы Заборовского, мы, вместо того чтобы переглянуться, как по команде отвели глаза. Между нами наклонился самый непреодолимый из конфликтов – конфликт непримиримых грез.

Но я готов был признать: если говорить не «мы, люди», а «мы, евреи», то, пожалуй, единственное, чем мы обойдены, это собственной струйкой бессмертия во всемирной Амазонке, собственными красивыми словами – в остальном-то каждый из нас по отдельности может прожить преотлично, я доказывал это изо дня в день. В жизни нет ничего страшного и ничего унижительного, если смотреть на нее, как на азартное и потешное приключение: этим ты даже своих недругов заставляешь играть роль в твоей пьесе.

Смеха ради я решил получить ученую степень в главном логове антисемитов – в Киеве. Я изучил оборону противника и быстро нашел в ней слабое место. Действительный член АН УССР Пыхтенко со своей школой штамповал монографию за монографией и редактировал сборник «Кибернетику – на службу коммунизму!», и тем паролем, по которому там опознавали своих, были словосочетания «переменная структура» и «адаптивная система». Недели две серьезно поразмыслив, я отправил на службу коммунизму статью, в которой доказывал, что решительно все мировые проблемы являются частными случаями одной проблемы-прародительницы, которую можно назвать обобщенной задачей Пыхтенко. Тем самым переменные структуры и адаптивные системы в принципе позволяют дать ответ на все настоящие, прошлые и будущие вопросы, а отец структур и систем Пыхтенко представлял чем-то средним между Винером и Эйлером.

Я понимал, что мою статью посмеют скрыть от босса лишь в том случае, если в редакции засели его тайные завистники, – и не ошибся. Статья была принята, а я получил приглашение выступить перед лицом самого главного редактора в институте кибернетики, что на Лысой горе, – меня особенно тешило, что на Лысой, в соседстве с ведьмами и гениальной музыкой Мусоргского.

Но Пыхтенко оказался таким седым, пухлым, доброжелательным и добросовестным, что я с первой же минуты почувствовал себя последней сволочью. Он совершенно не тянул одеяло на свои переменные структуры, он действительно хотел понять, какие перспективы открывает мое пере-

формулирование. И я раскололся – признался, что ни одного нового результата получить не удалось, поскольку всеми частными проблемами, которые я свел воедино, занимались какие-никакие, но классики, и если они чего-то не сделали, значит, это очень трудно. Словом, мне только удалось показать, что все их ухищрения являются приближенными решениями обобщенной проблемы Пыхтенко.

Я был так чистосердечен, что сам же Пыхтенко начал меня утешать: ничего, систематизация – это тоже очень важно, – и прибавил застенчиво: «Это ваша докторская?» Нет, что вы, засуетился я, уже готовый от всего отвлечься и вслед за ведьмами взвиться в тусклое осеннее небо, – но все-таки защита была назначена и при отеческом попечении Пыхтенко прошла как нельзя более гладко.

Я пересказывал Жене свою махинацию как дурацкую препотешную историю, она радостно хохотала, но когда я закончил, вдруг строго припечатала:

– Ты гений.

И я почувствовал себя окончательным шарлатаном из шарлатанов. Тем более что слово «гений» и вообще-то характеризует не достижения, а социальный статус: гений тот, кого считают гением. Но я не понимал, что в этом и заключается сила женщин – не ждать результатов и подтверждений, а поверить и служить. И в ту минуту ее готовность произносить высокие слова, не считаясь с фактами, только увеличила мое отчуждение. Я больше не мог ею грезить.



Бог мой, до чего же тусклой и пресной сделалась моя жизнь, когда ее стало некому показывать. Ведь реальные предметы не бывают прекрасными и волнующими, прекрасными могут быть только рассказы о предметах. Лишившись возможности мысленно рассказывать ей обо всем, что попадалось на моем пути, я утратил свой дар на каждом шагу видеть восхитительное или забавное. Я начинал жить лишь тогда, когда на время становился чьей-то грезой.

Но все-таки я ждал, что рано или поздно она меня позовет. И увидит, кто паркетный шаркун и салонный пророк, а кто простой и надежный верный друг.



И она меня позвала.

Ударившим в глаза бисерным почерком Ахматовой, Гумилева и Цветаевой Женя просила меня поискать какое-то дефицитное лекарство для Блюмы. С легким задыханием счастья я обегал весь город и, наконец, на улице Подводника Шкапина разыскал нужный выводок черных флакончиков – до сих пор щекочет пальцы та нежность, с которой я перекладывал флакончи-

ки ватой и, расточая предупредительность, отстаивал очередь в почтовом отделении.

В благодарственном письме Женя спрашивала, во что мне обошлось посылание сердца моего, поскольку Миша считает неприличным принимать такие подарки. В ледяном бешенстве я настроил аристократически корректный ответ: друзьям подобные услуги я оказываю бесплатно, а те, кто не желает оказаться у меня в долгу, могут обращаться в бюро бытовых услуг, у меня же другая профессия.

Женин ответ я перечитывал дома, на работе (тайно), в автобусе, в метро (открыто) и каждый раз ощущал на лице невольную улыбку счастья. Ты что, обиделся, глупыш, писала она своим единственным в мире почерком трех поэтов – разумеется, если бы речь шла о лекарстве для мамы, я бы и не подумала заикаться о деньгах, но я не хотела, чтобы ты тратил время на Блюму, да еще и бесплатно.

Глупыш! Значит, я ей все-таки небезразличен!

Этой дозы хватило примерно на полгода.



А во плоти я увидел ее, только когда тетя Клава после инсульта вышла из больницы. Мы с Женей сидели все на той же кухоньке, где когда-то так самозабвенно чесали языки, и грустно смотрели сквозь прозрачную тень дяди Сюни на пока еще различимую тень тети Клавы, которая, помогая себе скрюченной рукой, непримиримо пекла нам оладьи. Она наконец-то посела с отливом в холодную сталь и, по-больничному коротко остриженная, напоминала вдовствующую королеву в изгнании, вынужденную маскироваться под рабфаковку (зато поникший уголок губ придавал ей сходство с Бодлером). «Я вот пеку, а чего мне это стоит, никто не знает», – время от времени с горечью укоряла она газовую плиту, и я каждый раз начинал умолять ее прекратить, наконец, эту пытку. «Бесполезно, – пощекотала мне ухо своим дыханием Женя. – Она хочет себя добить».

Я посмотрел на Женю повнимательнее. Эта была мудрая благородная женщина с заметными серебряными нитями ранней седины в рояльно сверкающих волосах. Брови, правда, чуточку излишне размохнатылись, но все равно она была красива, как... Грузинская княгиня? Или еврейская – кто? Да никто, слово «еврейская» стащит с пьедестала кого угодно. У нас нет красивых слов для самоназывания – и это единственная серьезная форма нашей дискриминации. Да, да, приходилось признать: мы в России можем иметь почти все – кроме главного: возможности спокойно и просветленно говорить о себе красивыми словами. Но без этого пустячка никакой народ выжить не может, пресловутая народная «почва» – это красивые слова, величественные грезы.

Миша по-прежнему руководил воспитанием детей по телефону. С Эсфирью, все такой же златовласой и носатенькой, это, по-видимому, удава-

лось, она училась на круглые пятерки, зато огненноглазый крючконосый Амос докатился аж до украинской школы, куда брали даже окончательных изгоев из-за хронической недостачи половины учеников. Зато у нас все родители – «митьци» (работники культуры), утешала Женю директриса. «Вин размовляе, – раздраженно передразнивала Женя в телефон жалобы классной руководительницы – и вдруг передала мне трубку: – Поговори с Мишей», – она все еще пребывала во власти грезы, будто два гения могут подружиться. Однако единственной более или менее теплой ноткой оказался его вопрос: «Вы заметили, что Клавдия Васильевна произносит "и́нсульт", а не "инсу́льт"?» «Наверно, профессиональный жаргон», – как бы простодушно ответил я на буквальный смысл вопроса, игнорируя подтекст, намекающий на некоторую ее склонность к театральности. Да, она любит со скорбным торжеством говорить о себе: «Я тяжело больной человек» – ну так и что? Она все равно редкостная женщина.

Перед ее – все равно героическим – угасанием мы с Женей держались друг с другом как самые что ни на есть родные люди: с грустной нежностью и чуточку даже умышленной простотой. Но когда она начала раскладывать передо мной подпольные документы об убийстве Михоэлса и со скорбным торжеством назвала его гениальным, меня снова передернуло: мы же его не видели!.. Это *они* могут ругать Пастернака, не читавши его, а *мы* не должны восторгаться Михоэлсом, его не выдавши. *Мы* ничего не должны повторять как попки. (Как будто хоть какое-то «мы» способно собраться без принятия на веру объединяющих иллюзий!)

И уезжал я снова убитый, но все-таки чужой.



Радиограмма о смерти тети Клавы настигла меня в море Лаптевых, когда я с азартом и отвращением, перевесившись через борт, наблюдал, как старпом и стармех, «дед», на катере преследовали мужественно рассекавшего черные полярные воды белого медведя. Медведь тяжело выбрался на сверкающую льдину и припустил с неправдоподобной быстротой, но они легли в вираж и вышли точнехонько ему навстречу. Вскинули карабины – и тут радист подал мне расшифровку: «Семьи Чудновских больше нет. Женя». И в тот же миг грянул жидкий воинский салют. Медведь рухнул. (Мясо оказалось – один трясучий жир, зря загубили животную. Хотя нет, шкура ведь осталась.)

Выбраться из рейса было невозможно, и я лишь специальной моторкой отправил путем из варяг в греки венок из игольчатых водорослей с надписью «Настоящей русской женщине». Это были не просто красивые слова: среди русских женщин этот возвышенный тип и в самом деле настолько распространен – был, по крайней мере, – что любой еврей с мало-мальски стоящей сказкой всегда мог обрести русскую возлюбленную, готовую идти за ним – за сказкой – на край света, против всего света.

Я был абсолютно искренен. Но ведь слов «настоящая еврейская женщина» мой язык не сумел бы выговорить. Потому что немедленно взбаламутил бы целое облако вредоносных ассоциаций и внутренних пикировок, с которыми благоговение несовместимо. Приходилось смириться: каждый народ создает свою культуру для облагораживания и возвеличивания себя самого. Чужакам же в лучшем случае достаются объедки. А в худшем – оскорбления.

Смерть все смыла. При следующей встрече мы впервые в жизни обнялись.

Мы не помнили, что у нас уже почти взрослые дети, хотя мне и бросился в глаза темный пушок на ее щеках, напоминающий тот, что когда-то едва заметной дорожкой взбегал из-под ее зеленого шерстяного купальника, а угольные брови уже явственно напоминали мохнатую печную сажу. Изысканной седины тоже прибавилось. И все-таки мы снова шли неведомо куда, ног под собою не чуя, и говорили, говорили, говорили, говорили... Вдруг неизвестно как обнаружив себя перед расцветшим белым камнем брамы Заборовского. И так пронзительно посмотрели друг другу в глаза, что оба зарделись, словно юнцы, и поспешно оборвали наш полет.

Теперь дядисюнина квартира пустовала, а Женя проживала на Рейтарской, у той самой Блюмы, о которой я столько слышал. Блюма обитала в полутемных ветвящихся катакомбах, она оказалась коренастой, мясистой и вульгарной – что, впрочем, ничуть не мешало ей сочинять идеологически выдержанные стихи в духе «зовет на подвиги советские народы коммунистическая партия страны».

Амос и Эсфирь в жилище небесного отца были скромны и даже застенчивы. Эсфирь, хотя и оставаясь носатенькой, превратилась в почти красавицу, этакая еврейская Лорелея; Амосу не хватало только черески, чтобы проджигитовать в составе Дикой дивизии, – пока же его все еще соглашалась видеть в своих рядах вечерняя школа рабочей молодежи. Они быстро затерялись за бесчисленными поворотами, а мы в какой-то тупиковой продолговатой комнате легли спать в отдаленных ее концах и половину ночи в темноте никак не могли уговориться, словно на Сорокиной даче двадцать лет назад.

Неужели двадцать?.. Какой ужас!.. Двадцать лет спустя...

Утром, невыспавшиеся, но оттого еще более радостные, по-прежнему ни на минуту не умолкая, мы отправились на вокзал встречать Мишу: он ездил снимать каких-то карпатских передовиков.

Он ждал нас у вагона, однобоко подбоченясь, вызываясь отставив ногу, – еще более напоминающий оскорбленного Михаила Козакова, изображенного еще более недоброжелательным карикатуристом. Едва кивнув, он взял на себя самый ответственный груз – стеклянные банки с темным кар-

патским медом; я был рад подхватить что-то разросшееся и громоздкое, и мы в каменном молчании двинулись по перрону под нежным октябрьским солнышком – я и сейчас прямо-таки со стереоскопической четкостью вижу, как мрачно блестят наши лысины.

Я попытался умаслить его своей щедростью, но очередь на такси была столь же многолюдной, как и толпа на трамвайной остановке. Втиснуться нам удалось только в разные двери, поскольку он оберегал банки, а я Женю. Нас приплющили друг к другу с такой силой, что я изнемогал от стыда за то, что вынужден существовать с таким жестким и угловатым телом.

Билетов я взял только два, привыкнув в экспедициях, что каждая изолированная группа должна самообеспечиваться собственными силами. В результате к тому моменту, когда давление в трамвае несколько снизилось, разразившийся скандал можно было не только слышать, но и видеть.

– Прежде чем требовать билеты, вы должны обеспечить комфортабельные условия проезда! – надменно чеканил Миша; унылое же личико контролера выражало ту глубоко верную мысль, что в устах зайца красивые слова абсолютно неуместны.

На Женю я не смел взглянуть и все-таки видел, что она стоит совершенно белая, как тогда на балконе, только брови чернеют еще более по-клоунски.

Я протолкался к контролеру и сунул ему в руку рубль, он принялся невозмутимо заполнять квитанцию, Миша же был так ошеломлен моим жестом, что даже сорвался на что-то искреннее:

– Ты что, заплатил?... Ну и зря!

В последнем восклицании прозвучало даже сострадание ко мне: эх, мол, простота!..

Дома, правда, он снова перешел на вы, но зато пригласил меня позавтракать вместе. Закусывал он с аппетитом и очень стильно – полстакана домашнего вина, бутерброд с маслом и брынзой, – даже завидно немножко сделалось.

Но еще более стильным было то, чего он не ел. О самых обыкновенных блюдах он вдруг начинал со злобным торжеством рассуждать, кошер они или не кошер; я горел от стыда за него, но Женя, казалось, не чувствовала ни малейшей фальши. И в моей душе снова начинало копиться презрение к ней. Она же, ничего не замечая, с гордостью пояснила мне, что брынза у них своя, а потому – кошерная.

А Миша постепенно расслабился даже до того, что позволил себе приоткрыть причину (одну, впрочем, из многих) своей особенной суровости: это было *неправильно*, что мы с Женей спали в одной комнате (как я понял, он узнал это от Блюмы по телефону). Тогда как квартира Чудновских стояла пустой. Если бы я хотел переспать с твоей женой, чесался мой язык, я сделал бы это двадцать лет назад. Но сказать я решил правду, не всю, но правду:

– Я боялся там оказаться один.

– Серьезно?... – в его голосе вместе с недоверием послышалось что-то вроде сочувствия.

– Серьезно. Там было когда-то так хорошо, и вот никого не осталось...

– Ну-у...

Он с сомнением покрутил головой, но, кажется, понял, что я не так страшен, как меня малюют.

Он надменно заговорил о том, что пора, наконец, отряхнуть с себя прах этой страны (я тогда впервые услышал это выражение), но пусть уж Амос сначала получит аттестат, ему с его непоротым характером будет трудно адаптироваться в израильской школе. Эсфирь же всюду уживется, у нее ангельский характер, но в *этой стране* она все равно жить не хочет. В прошлом году она заняла первое место на конкурсе по английскому языку, а когда победителей стали отправлять в Англию, вместо нее включили другую девочку, русскую.

– И она этого не простила стране, – строго завершил Миша и с удовольствием уточнил: – И правильно сделала, что не простила.

Пообщаться со мной (приобщиться ко мне) Женя привела благовоспитанных подростков – огненноглазого Амоса и златовласую Эсфирь. Чтобы подать Жене весточку из утраченного ею мира поэзии, я начал рассказывать об отпевании Ахматовой, которое мне недавно живописала уже упоминавшаяся вдова имажиниста. Женя слушала в приподнятом просветлении, Амос и Эсфирь выжидательно переводили глаза с меня на папу и обратно, и Миша наконец решил показать, кто здесь хозяин.

– Значит, получилась отпетая Ахматова? – уточнил он, и Амос и Эсфирь прыснули, Женя поникла.

Именно за это и ведется по всему миру самая непримиримая тайная война – за право определять, что достойно, а что недостойно торжественного тона.



Я не лгал, когда говорил, что боюсь остаться наедине с тенями дяди Сюни и тети Клавы. Однако пришлось.

Страх и тоска стиснули мою грудь, еще когда только вспыхнула расштитая рушниками наступна зупынка завод «Бильшовик». Хорошо еще, что была осень, и тьма под деревьями не дышала всегдашней своей жаркой сыростью.

Страшна была прихожая, страшен был запущенный паркет, по которому теперь можно было сколько угодно ходить без трусов, невыносим был замученный всевидящий взгляд пожелтевшего дяди Сюни со стены по соседству с верхней половинкой оскаленного пирата, которому наконец-то почти удалось свернуться в трубку, ужасны были полусъеденные временем ножи в кухонном столике, ирреальны голубые языки – увы, тоже не вечно-го! – огня на *той же самой* газовой плите...

Всю ночь промаявшись с призраками, я назавтра уехал из Киева. Навсегда.



Потом уехала и Женя со своим семейством. И я понимал, что это тоже навсегда. Теперь нам предстояло свидеться разве что где-нибудь в райских кущах, в долине блаженных.

Было больно, но выносимо. Как привычная хроническая болезнь. Которая иногда даже на время отступает, но никогда не уходит совсем. Невыносимо становилось лишь тогда, когда мне случалось вдохнуть запах влажной горячей земли, наткнуться на каменную резьбу либо заметить где-нибудь на пляже нежный зеленый купальник. От зрелища же лунной перевернутой лодки милосердная судьба меня оберегала. Да я и отвык шататься по ночам.

Событиями, впрочем, она меня не обходила – хватало и радостей, и ужасов, не хватало только поэзии. Которой никогда не бывает в событиях, которая живет только в рассказах.

А жизнь тем временем шла своим чередом, и до меня, наконец, во всей чудовищной ясности дошло, что, устроив из своей жизни захватывающее приключение беспечного гордого странника, я отнял у себя единственное, ради чего стоит жить – шанс на бессмертие.

Но – уже вовсю гремела перестройка, и о подобных вещах вполне можно было говорить вслух. Если, конечно, кто-то захочет слушать на фоне боев с привилегиями и разоблачений уже тысячи раз разоблаченного режима. Разоблаченного, разумеется, лишь для тех, кто хотел знать правду, а не беречь комфортабельную грезу.

Однако тем, у кого еще осталась совесть, уберечь свою слепоту не удалось. Все помнят, какие стоны неслись от Балтики до Охотского моря – «мы потерпели поражение», «мы жили напрасно», «нам незачем жить»...

И я начал проповедовать.

Я проповедовал, что мир живет не корыстью, а бессмертными грезами, и если в какое-то историческое мгновение какую-то прекрасную сказку присвоили упростили и убийцы, это все равно ничего не меняет ни в ее, ни в нашей судьбе, ибо у всех у нас в запасе вечность. Меня слушали мало – одним гораздо сильнее хотелось отплатить старой сказке, чем сотворить новую, другие оберегали наихудший из вымыслов, уверявших мир, что он наконец-то покончил с вымыслами и что человеку довольно его практических нужд: сам хер Фрейд тому порукой, что человек алчное и злобное животное, а потому все должно служить человеку.

Но – меня все-таки слушали, я даже немножко прославился. Случалось, меня приглашали аж в само министерство правоты – на телевидение, и мне даже иной раз удавалось по кусочкам, по кусочкам кое-что высказать на ту мою излюбленную тему, что человеку жизненно необходимо ощущать себя причастным чему-то прекрасному и бессмертному. Необходимо не только избранным аристократам духа, но и людям самым обыкновенным, хотя они этого почти и не замечают: так человек голод чувствует очень остро, а нехватку витаминов совсем не ощущает – только шатаются и выпадают зубы, расплозятся язвы, мучает понос, одышка, барахлит сердце, изводит

непонятное беспокойство, липнет любая зараза... А всего вроде бы вволю – шкафы трещат, столы ломаются...

Вот так и многовековое истребление высших мнимостей, бессмертных фантомов породило всеобщий духовный авитаминоз, бессознательно спасаясь от которого, люди принялись грызть штукатурку, жевать траву, отдаваться на милость сектантским пророкам, выкрутасничать с какими-нибудь восточными ахинеями – словом, уничтожив собственные грезы, они пытаются примазаться к чужим. По-прежнему не давая подняться собственным. Если культура есть система коллективных иллюзий, то антикультура – вовсе не дикость, но прагматизм. Если способность человека жить грезами вознесла его неизмеримо выше животного мира, то отказ от этого дара низводит его гораздо ниже. Нет, не в том даже смысле, что человек делается хуже всякого животного, – нет, он просто не выживет, он не сумеет прокормиться, обогреться, не сможет завязать шнурки и почистить зубы, он погибнет от скуки и тоски среди всевозможных яств и всяческих зрелищ.



В конце концов я и сам обзавелся чем-то вроде секты. Меня начали приглашать в Новгород, Тверь, Орел, Курск, Тамбов, Пензу, Екатеринбург, Красноярск, почтительно встречали на гулком вокзале или в гудящем аэропорту и везли сквозь советскую унылость в какой-нибудь красный уголок, а то и в Дом культуры, где собирались молодые и старые, нищие и процветающие, красивые и безобразные люди, томящиеся эстетической цингой. И я всегда начинал с того, как я им завидую, – завидую, в каком удивительном месте они живут: здесь созидалась мировая история, здесь творились великие дела, здесь жили потрясающие личности... Я, конечно, что-то заранее начитывал, но главное рождалось во мне как ответ на их неосознанную мечту ощутить себя участниками грандиозной сверхшекспировской трагедии.

Теперь я, наконец, понял, кто наследует землю, – женщины. Это они ни за какие земные лакомства не откажутся от своего дара служить грезам. В их эволюционном дереве, правда, тоже имеется своя тупиковая ветвь – феминизм, пытающийся переключить их на борьбу за материальные блага, но прагматизировать, расчеловечить женщин будет гораздо труднее, чем мужчин: они гораздо самоотверженнее хранят в себе восторженных доверчивых девчонок.

Многие женщины добивались личной аудиенции – молодые и старые, седые и крашенные, нищие и процветающие, красивые и ... Нет, мовешек для меня не существовало: каждой женщине я давал понять, что она прекрасна, – пускай одинока, покинута, обойдена, но – прекрасна. А единственное, чего ей не хватает, – своего Шекспира. И я становился этим Шекспиром. Я не притворялся, я так чувствовал, и они тоже понимали, что я лишь с величайшим усилием удерживаюсь от того, чтобы не пасть пред ни-

ми на колени и не приложиться благоговейно губами к краешку их одежд. Зато я без усталости витаминизировал их красивыми словами, красивыми словами, красивыми словами... Бессмертными образцами, бессмертными образцами, бессмертными образцами.

Со временем на меня уже начала работать разросшаяся греза, и чем дальше, тем больше женщин уходили от меня просветленными, исполненными гордости за свои прекрасные несчастья. Кое-кто из них, разумеется, искал дальнейшего сближения, но я позволял себе это только за пределами своей миссии странствующего проповедника: я понимал, что должен оставаться их коллективной, а не индивидуальной грезой. Что скрывать, временами мне становилось совестно, что я их дурачу, но ведь, не одурачив, невозможно сделать человека возвышенным. А во всяком ином воплощении он нежизнеспособен.

Случалось, в зале отыскивался какой-нибудь умник, сам метящий в пророки, а потому старавшийся меня срезать, но я всегда покорно склонял голову, покаянно признавая его правоту, – и какая буря гнева поднималась в мою защиту! Будь я окончательным шарлатаном, я бы даже специально подсаживал в паству святотатцев, благодаря которым любовь к оскорбленному кумиру взмывала бы вообще в заоблачные выси.

А потом появились люди дела с предложением организовать фирму «Всеобщий утешитель», включавшую в себя сеть психотерапевтических центров в одиннадцати регионах; центры со временем должны были обзавестись кабинетами релаксации, реабилитации, массажа, физиотерапии и прочая, и прочая, и прочая; от меня требовалось одно – дать свое имя, как это делал незабвенный зиц-председатель Фунт. Авантюра отдавала семьюдесятью семью тысячами одних только курьеров, но люди дела как дважды два доказали мне, что, привлекая исключительно лицензированных психологов и менеджеров, мы в результате сумеем помочь неизмеримо большому количеству пациентов, то есть страдальцев. Увы, последней соломинкой все-таки оказалось мое мелкое желание наконец-то обрести какое-то стабильное занятие. Ибо уже никто не хотел строить и сносить дома, сплавлять лес, прорубать просеки, вколачивать сваи, разведывать золото и алмазы, а только там меня всегда и ждали с распростертыми объятиями. Теперь же все предпочитали распродавать уже открытое и построенное – но я-то на подобные подвиги уж никак не годился.

Условие я поставил единственное: наш принцип – опора на высокое. Да, конечно, сейчас время пигмеев, а потому в продвинутой психологии считаются достойными научного изучения лишь те человеческие качества, которые сближают нас с животными, а еще надежнее – и вовсе с неодушевленными предметами. Но «Всеобщий утешитель» будет опираться на то, что возвысило человека над животным миром и превратило его в царя природы – на его влечение к прекрасному и грандиозному. Грубо говоря, если человек уйдет от нас довольным пигмеем, это будет наш провал – пусть лучше уйдет несчастным, но возвышенным.

Люди дела знали цену красивым словам, а потому не возражали. И дело так завертелось.

И, в конце концов, даже я, стреляный воробей, прекрасно знающий что почем, давно убедившийся, что все материальные интересы лишь маски каких-то грез, тем не менее не сразу понял, чем я их всех так достал. То, что я ограничил свой доход зарплатой водителя автобуса, вовсе не было демонстративным жестом, каким-то укором: именно зарплата шофера с первых шагов моей самостоятельной жизни была моим неизменным ориентиром в борьбе за чувство социальной полноценности. Противясь введению в массажные кабинеты аппетитных девушек в одних только трусиках и настаивая на том, что героин все-таки слишком радикальное средство релаксации, я тоже отнюдь не стремился показать, что я хороший, а они плохие. Просто я не желал уходить от моей задачи: я хотел продемонстрировать, что высокое гораздо более надежная опора, чем низкое. А если мы вольемся в сферу услуг, ублажающую человека, какой он ни есть, так там охотников и без меня хватает.

Однако на саммите региональных топ-менеджеров (хорошо я научился выражаться?) кипела ненависть, столь искренняя и страстная, что ее могло породить лишь оскорбление любимой грезы. И я понял, что принцип «хватай что можно» представляется им не уступкой человеческой слабости, но возвышенным и прекрасным идеалом. Особенно мне запомнился истекающий потом альбинос из читинского филиала, каждые полторы минуты оскорбленно выкрикивавший (в ожидании этого мига держа рот полуоткрытым), что народ не желает угождать моим комплексам (комплексам, как известно, в наше время называют любые проявления совести). «Так что, всем можно, а нам нельзя?!» – с интервалом в три-пять секунд вторил ему брюнет из Хабаровска (кажется, даже еврей), хотя я ему уже ответил: «Да, всем можно, а нам нельзя. Потому что всех и без нас хватает».

Я ушел не потому, что был запуган женой, уверявшей, что меня непременно замочат. Я просто счел, что так будет красивее, – в который раз все нажитое швырнуть в костер и уйти навстречу неведомой судьбе с улыбкой д'Артаньяна в ковбойских сапогах. Поражение было достаточно масштабным, чтобы я мог не чувствовать себя ничтожным, а это, как вы знаете, единственное, чего я боюсь. Ты и, правда, не стареешь, как-то мимоходом не без раздражения бросила мне жена, отчасти черкешенка. Хорошо, коли так. Ума у меня, похоже, и вправду не прибавляется. Эффектное приключение и поныне влечет меня сильнее, чем преуспевание. Я всегда предпочту смерть от бивня слона мирному угасанию в собственной постели.



А тем временем, подобно свету угасшей звезды, моя слава с большим опозданием докатилась до моей доисторической родины – меня пригласили в Израиль.

Вылет был задержан на сутки из-за убийства премьер-министра Рабина – все флаги слетались туда с выражениями соболезнования, – и я был очень уж несоразмерно причине взбешен, что снова придется влачить по слякоти сквозь изморось, а завтра еще раз подниматься в дурацкую рань. Чувствуя себя ничтожной песчинкой в столкновении исторических сил. Быть беспомощной жертвой, а не полноправным участником – трудно вообразить что-то более убогое. Да уж хоть бы действительно жертвой, предметом ненависти (несчастье, которым можно гордиться, не такое уж и несчастье), но не просто мусором, который не глядя отметают с дороги. Еще вчера, казалось, я исцелял людей сближением с бессмертными образцами, включал в контекст великого и всемирного, а теперь сам остался беспочвенным реалистом, ибо истинная почва человека – его грезы.

Словом, психическое состояние мое было сквернейшим, ибо, утратив прежние грезы, я никак не мог забыться в новых, мне никак не удавалось заговорить с собой о себе красивыми словами. И я с алмазной ясностью понял, что жизнь уже кончена. Что нет никаких резонов затягивать агонию еще живого животного, в которое я превратился. Если бы я хоть что-то имел, я бы все отдал, чтобы оказаться на месте застреленного Рабина: что может быть прекраснее – всю жизнь сражаться за любимую сказку, потом заключить опаснейший мир – совершить исторический поворот в неизвестность – и пасть от руки фанатика, одержимого сказкой-соперницей. Пасть жертвой одержимости всегда красиво, ибо любая одержимость есть победа человека над животным, фантома над фактом! Пасть жертвой грандиозной фантазии даже намного красивее, чем погибнуть от бивня мамонта!

Но у нас-то и мамонты вымерли. Остались одни барсуки.

Зато машины несутся как одурелые – символизируя, быть может, тайную тягу их прагматичных владельцев к прекрасному безумию. Примериваясь, я сделал шаг вперед, но, когда обдало ветром просвиставшего мимо снаряда, не удержался и отпрянул: меня ужаснул не страх смерти, а ничтожность этой смерти.

Зато когда мне в лицо ударило теплом, солнцем, пальмами, гулом великолепного аэропорта, я почувствовал такое отчаяние, что еще шаг – и я бросился бы ничком на каменный пол и остался лежать без движения – и пусть делают со мной что хотят.

Но импресарио, похожий на грузина, уже радостно тряс мою руку – приходилось шутить, скалиться... Запас нашей прочности удесятерится, когда мы служим не себе, а воображаемому долгу.

Меня везли прямоком на радио. Здесь была пустыня, гордо и требовательно повторял мой Вергилий, и я начинал замечать сверкающую зелень своей исторической чужбины. Так вот она, та долина блаженных, где обитает тень, которой я когда-то грезил...

И тут я понял, что сумел прожить все эти годы только потому, что на каком-то седьмом доньшке души продолжал надеяться когда-нибудь снова обрести ее. Я имею в виду грезу о ней.

У меня дух захватило от радости: а что мне, собственно, мешает хоть сейчас обратиться к ней по радио, типа Мисюсь, где ты?.. С колотящимся сердцем, задыхаясь от предвкушения, я восторженно и жадно хватал и, давясь, проглатывал огромными кусками эту поразительную страну, рожденную слиянием двух сказок – сказки о Земле обетованной и сказки о мире без грызни. Блистательные небоскребы, бетонные пакгаузы и растрескавшиеся развалюхи вспыхивали и гасли вперемешку, а студия оказалась маленьким пионерлагерем, чьи невидненькие корпуса затаились под сабельными кронами. Я невольно попытался отыскать в теплом воздухе запах влажной горючей земли – но ощутил только запах пыли да аптечный дух эвкалипта.

Начал я хоть и от души, но по накатанному: завидую, в удивительном месте, свидетелями чуда – но когда ведущий, зачем-то подпортивший свою интеллигентность усами, поинтересовался: что Страна означает для меня лично, я по-простому, по-рабочему рубанул, что Израиль для меня – прежде всего райские кущи, под которыми я надеюсь снова обрести тех, кого считал навеки потерянными, – и, придвинувшись к микрофону (лихорадочные отстраняющие жесты ведущего, испугавшегося, что я выйду из звукового диапазона), выпренно воззвал: Евгения Израилевна Чудновская, Евгения, дочь Израиля, ау! Отзовись!..

И не успел интеллигентнейший вопрошатель представить мою глупость экстравагантностью, как раздался звонок. Говорите, вы в эфире, скомандовал ведущий, и на всем пространстве от Средиземного до Мертвого моря зазвучал ее ни с чем не сравнимый ликующий голос: «Ты глупый! Я же теперь не Чудновская, а Редько!»

Мы таки сумели развлечь радиослушателей – весь свет узнал, что Женя живет в *ишув*е, на *территориях*, нужно ехать на автобусе от Иерусалима...

И через пять минут я уже летел в этом автобусе.

Иерусалим же – а что Иерусалим? По сравнению с порожденной им грезой он ничто, каков бы он ни был.

Во всяком случае, подождет.

Я лишь успел почувствовать, как он дохнул холодком, – город городов лежал изрядно повыше моря, от которого я только что усакал, – даже уши заложило, когда я туда взмыл.



Автобус с турбореактивным рыком рассекал мою родную землю, закладывая упоительные виражи среди желтых холмов, круглящихся желтыми камнями – сбившимися в кучу окаменевшими овечьими отарами. В автобусе было много солдат в крошечных тубетеечках – кипах – и солдаток, поминутно бросавших меня в холод своим сходством с Женей – особенно пышной смолью волос. Парни были при автоматах и винтовках, девушки только при рюкзаках, заваливших весь проход. Все они были настолько brave, что я никак не мог до конца усмотреть в них евреев. Зато мой шуп-

лый сосед в черном был несомненный еврейчик с парой болтающихся черных пружинок на висках; он торопливо и упрямо отбивал коротенькие поклончики, уткнувшись в молитвенник. И на всех своих обретенных соотечественников я взирал с невыразимой нежностью, словно блудный сын, наконец-то снова обретший отчий дом. Сходство девушек с Женей окончательно роднило меня с этой землей.

Заметно смеркалось, и оттого изумрудное сияние слева за холмом стало особенно насыщенным; если бы оно еще и переливалось, я бы принял его за полярное сияние, но оно стояло недвижно, как облако. Сейчас будет палестинское поселение, поймав мой завороченный взгляд, на безукоризнейшем русском подсказал мне солдат, напоминавший Амоса (да уж не он ли это и впрямь?.. нет, он бы меня узнал), и, угадывая во мне человека образованного, пошутил: «Филистимляне». И серьезно добавил: «А вот моя ослиная челюсть», – и похлопал по вороненой стали автомата.

Слева открылась и помчалась назад уходящая в недостижимую высь проволочная сетка, какими в зоопарках оплетают вольеры с птицами. «Чтобы камнем не запустили», – пояснил квази-Амос. Через такую ограду и вправду никакой Давид не сумел бы набить Голиафу даже самый крошечный фингалчик – так что из-за сетки прилетела только парочка мин, да и то одна разорвалась с большим перелетом, а другая отрикошетила от резиновой покрышки и вообще не взорвалась – никто даже головы не повернул. Стремительность автобуса и сгустившиеся сумерки не позволили мне толком разглядеть сам поселок – одноэтажные домики с плоскими крышами успели только напомнить мне тот аул имени Тридцать девятого съезда КПСС в Тургайской столовой стране, где, последовательно ставя перед собой уголком учебник за учебником, я некоторое время преподавал все предметы подряд в крошечной русской школе. Правда, в ауле все мазанки были глиняные, а здесь как будто бетонные. Вместо людей глаз успел ухватить лишь какие-то тени.

Затем в салоне вспыхнул свет, погрузив внешний мир в непроглядную тьму, в которой мы довольно долго петляли, пока вдруг не вырвались к сапфировому зареву над вершиной каменной горы, куда мы немедленно и взлетели по спирали (снова заложило уши), и я с вершины еще успел ухватить краешек окончательно канувшего солнца.

Спрыгнув с подножки, я оказался в концлагере: охрана с автоматами, железные ворота, колючая проволока, плац, бараки, прожектора... И спиной к ним, почти не различимая, но с оборвавшимся сердцем мгновенно угаданная мною стояла Женя в темной косынке, обмотанной вокруг головы. Она бросилась ко мне, и мы намертво обнялись. И, стиснув друг друга, простояли даже и не знаю, сколько времени – час или четыре.



Оказалось, кроме большой радости, меня ждала и малая: Миша был в Киеве – он не мог оставить Блюму, которая не могла оставить постсоветскую

Родину. Я почти не ревновал к тому, что он обладал ее телом, но лишь сейчас я осознал всю разъедающую глубину моей ревности к тому, что он обладал ее душой. В свое время она вдруг мимоходом сообщила мне как о деле самом обыкновенном, что Блюма, по словам Миши, обладает провидческим даром, – меня так передернуло, что я даже сумел об этом забыть, чтобы окончательно не потерять уважения к ней. Утверждать что-то бездоказательно, то есть не убеждать, а навязывать свою волю – для меня наигнуснейший вид изнасилования. И лицеизреть, как он ее насилует богом, Блюмой, своей гениальностью, злобной кошерностью, а она тает от наслаждения... А я не насиловал, зато и не одурманивал, оставлял ее свободной, то есть неприкаанной.

Дома, при ярчайшем магниевом свете, я слегка вздрогнул – до того разрослись ее и всегда-то пышные брови. А с приглаженными назад после косынки волосами она мучительно кого-то мне напомнила, только почему-то не хотелось вспоминать кого. Антрацитовые ее волосы были густо расшиты серебряными нитями, однако она не казалась постаревшей, а только – зрелой, что ли?.. Даже пушок на щеках приобрел какую-то стильность.

Это была красивая еврейская женщина. Дородная, просилось красивое слово. И Амос был красивым еврейским парнем. И Эсфирь была красивой еврейской девушкой. Словом, передо мной была красивая еврейская семья, и мне уже не требовались для них какие-то более красивые слова, хоть я и мог бы снова назвать Эсфирь еврейской Лорелеей, а Женю какой-нибудь царицей Савской.

Амос, действительно, походил на того Самсона из автобуса, но был существенно более горбоносим и вулканическим; Эсфирь же заметно прибавила в просветленности. Они оба просто сияли – видно, мой фантом здесь все-таки не умирал. Амос пока еще не нашел себя, зато Эсфирь училась в каком-то заведении с религиозным уклоном и уже успела занять первое место в знании Торы. Разумеется, только среди «русских», с сабрами состязаться невозможно, правоверные у них с колыбели разучивают все священные книги до такой степени, что если вонзить в страницу иголку, то они могут назвать все пронзенные буквы на всех следующих страницах.

Счастливым голосом Женя посетовала, что Эсфирь пренебрегает традиционными женскими обязанностями, и я, тоже невольно расплываясь от счастья, пересказал всегда трогавшие меня своей красотой слова, которыми ацтеки встречали новорожденных. Мальчику вкладывали в руки стрелу и наставляли: «Твой дом не здесь, ибо ты солдат и слуга, твой долг – это война». Девочкам же давали веретено и говорили: «Ты пришла в долину усталости, труда и скорби, где царят холод и ветер. Ты должна быть в доме, как сердце в теле, как пепел в огне очага».

– Слышишь? – с гордостью за меня укорила Женя дочь и тут же с нежной укоризной обернулась ко мне: – Ты знаешь какую-то ацтекскую мудрость и не знаешь еврейскую. Это ужасно обидно. Ужасно обидно, что даже такие умные люди, как папа и дядя Мотя, ушли от еврейского мира неизвестно куда.

– Это так по-еврейски, – примирительно сказал я, – стремиться из чего-то узкого в широкое, всемирное...

– Еврейский мир не узкий, он безграничный, – торжественно возразила Женя, проникновенно глядя сквозь меня, и я почтительно склонил голову.

Амос солдатом послужил, но слугой быть не согласился – писал жалобы, переводился из части в часть...

– Чтоб всякие марокканцы, эфиопы... Я заметил: чем чернее, тем наглее!

Он прожигал меня испытующим взглядом, и я, хотя и несколько пораженный в зарождающуюся грезу о всееврейском единстве, изобразил огорченное сочувствие.

– Если бы нам объединиться с Россией, мы бы всех черных поставили на место, – Амос прожигал меня требовательным и вместе робким взглядом.

Я уклончиво ответил, что исторический конфликт между русскими и евреями хотя, с одной стороны, и можно считать трагическим недоразумением, но, с другой стороны, каждый из этих народов имеет настолько высокое представление о своей миссии, что столкновение их грез почти неизбежно, а столкновение грез, в отличие от столкновения интересов, преодолевается наиболее мучительно. Но тем не менее...

– Евреи уже один раз устроили русским атомную бомбу, – сжигал меня искательным взглядом Амос. – Если объединить еврейский ум и русскую силу...

– Одних этих слов, – внезапно устал я, – достаточно, чтобы рассориться еще лет на тридцать. Русские сами хотят считать себя умными. Как, впрочем, все народы на земле.

Женя с нежностью улыбнулась мне, как бы давая понять, что оценила мой юмор. Следившие за нами Амос и Эсфирь тоже радостно рассмеялись.

Мне повезло – я попал на празднование *шабата*, субботы. Мы сидели при трепетных свечах – Женя и Эсфирь в рембрандтовских бархатных беретах, Амос и я – в шагаловских картузах, и я изнемогал от красоты и *оплаченности* этого обряда. Я с трудом удерживал слезы гордости за свой народ: тянулись годы, века, *тысячелетия* гонений, передышек, унижений, истреблений, а они все так же из века в век творили эту бесполезность, так же зажигали женскими руками свечи, расставляли кубки, мужскими устами благословляли вино и халу – и смотрели друг на друга с таким же благоговением, с каким я сейчас смотрю на Женю и ее детей, потому что их устами говорит, их руками действует великая греза.



...Днесь воспеть такого принца я намерен, он зовется Израилем и в собаку злою ведьмой обращен. Всю неделю по-собачьи он и чувствует, и мыслит, грязный шляется и смрадный на позор и смех мальчишкам, но

лишь пятница минует, принц становится, как прежде, человеком и выходит из своей собачьей шкуры. Мыслит, чувствует, как люди, с гордо поднятой главою и разряженный вступает он в отцовские чертоги...

Наконец-то, приветствуемый Генрихом Гейне, и я вступил в отцовские чертоги – в эту благоустроенную расщелину, от которой отходили крошечные кельи. А это что за блюдо? Ах, цимес, почтительно склонил я голову, не смея даже попробовать черно-буро-малиновую смесь вареных овощей и фруктов – от почтительности даже и не понять каких.

– У вас действительно холодно или мне кажется? – я с большим опозданием заметил, что у всех идет легкий парок изо рта, а ноги у меня весьма прилично заоченели, да и руки тоже. Не говоря уже о носе.

– Экономим, – радостно засмеялись они, словно бывалые полярники над новичком. Ничего, если всем спать в одной комнате, получается вполне терпимо. Зато когда придет Миша, все накопления враз разлетятся, он ничего терпеть не желает, грустно улыбнулась Женя. Но меня это не должно волновать, для дорогого гостя взят у соседей обогреватель, работающий на арабской нефти, – меня это особенно позабавило: и впрямь, какая разница – тепло, холодно – была бы греза! Жила бы страна родная, и нету других забот!

Невольно смеясь от радости, мы говорили только о пустяках, чтобы нечаянно не омрачить волшебный вечер. Женя рассказывала смешные случаи из жизни иерусалимской мастерской, куда она каждое утро (исключая, конечно, шабат) уезжала что-то шить; я развлекал публику своими путешествиями и приключениями, и как-то само собой обнаружилось, что я уже объехал всю Европу, а Женя ни разу не выезжала дальше своей портняжной. Что бы, интересно, сказал тот заокеанский агитатор, который зазывал ее из деревенского захолустья в огромный открытый мир? Впрочем, мне ли не знать, что с хорошей грезой никакого мира не надо!

И все, что от проповедников этих грез требуется, вдруг подумалось не в тон, это уважать чужие грезы, понимать, что и другие находятся в точно таком же положении: не надо быть идеалистом в своих делах и рационалистом в чужих.

Но я постарался поскорее проглотить и забыть об этой песчинке, так нестати скрипнувшей на разлакомившихся зубах.

– Давно хочу спросить: кто это у вас на стене? – поспешил я смыть низкие помыслы, указав на большую фотографию, с первого же мгновения привлекающую мое внимание.

Сначала мелькнула мысль, что это дядя Сюня, но я тут же сообразил, что Миша не допустит у себя в доме конкурирующих фантомов. Однако, взглядевшись, я понял, что это не может быть и Мишин покойный отец: в советское время разве что сумасшедший осмелился бы увенчаться кипой и утонуть в такой бородище – скорее всего, это, действительно, был кто-то из отцов, но отцов нации, Герцль или еще кто-нибудь в этом роде. (Господи, да ведь у Миши же отец русский, Редько...)

Женя сделалась торжественной. Она подвела меня поближе, чтобы я мог как следует разглядеть этого полного меланхоличного еврея.

— Это святой мученик Барух Гольдштейн, да будет благословенна его память, — благоговейно произнесла она. Ее лицо — такую выразительную игру мне случалось видеть только в немых фильмах. Но, увы, — это была не игра. Это было непритворное выражение неподкупной праведности.

Моя кожа, побежавшая мурашками, раньше меня догадалась, о чем идет речь: я был готов к почтительности, я уже заранее ее испытывал, но — с подобным придыханием можно было говорить только о каком-то страшном убийце: почитание созидателей не требует такой выпренности. Каким-то шестым или одиннадцатым чувством я постиг, что речь идет о прогремевшем на весь мир докторе, который в какой-то священной пещере, что ли, перекрошил из автомата чуть ли не тридцать стоявших на карачках арабов, да еще около сотни продырявил — к сонмищу моих воспоминаний-истязателей присоединился из телевизора еще и какой-то арабский старикан, беспомощно разводивший руками...

Не подумайте, я не ханжа, я вовсе не считаю, что убивать людей нельзя нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах — можно. Но! *Нельзя убивать с торжественным видом, с ощущением собственной непогрешимости!* С забвением того, что ты все равно творишь ужасное и отвратительное дело! Ярость, бешенство, отчаяние, безумие еще могут пробудить во мне какое-то горькое снисхождение — но неколебимая торжествующая Правота!.. Это самое удушающее, что только есть на свете. И уж кто нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах не должен чувствовать себя безоговорочно правым — это еврей. Правый еврей — это чавкающая пустыня, сладкая соль, распутная монахиня. Дело еврея — вечно сомневаться, ничего не знать окончательно. Да, конечно, уж мне ли не понимать, что человек может быть спокоен и счастлив лишь в качестве автомата, не ведающего сомнений, но счастье автомата — не еврейское счастье! Что? Другого счастья не бывает? Значит, обойдемся без счастья!

Все это промелькнуло в моей душе в доли мгновения, но я, уже начиная задышаться, попытался удержать стремительно улетающуюся атмосферу доверия и единства.

— Все-таки убийство не должно быть частным делом. Этим должны заниматься какие-то специализированные органы — армия, полиция... Подверженные какому-то контролю...

Я всячески старался показать, что мне нелегко произносить подобные либеральные трюизмы, бесспорно известные моим собеседникам и так же бесспорно ими разделяемые.

Хозяева понимающе посмотрели друг на друга и грустно усмехнулись моей наивности.

— Ты что же, веришь тому, что пишут в газетах? — словно пятилетнего несмышлениша, ласково спросила меня Женя. — Он же стрелял не в мирных арабов, у них там под коврами был склад оружия, они собирались перебить евреев...

– Тогда надо было сообщить в полицию, – я старался оставаться кротким и доверчивым.

– В полицию... – они переглянулись и хмыкнули так, словно дело по-прежнему происходило где-то на просторах нашей социалистической родины.

– Так что же – полиция не вмешивается, газеты молчат... Значит, уже и в Израиле власть захватили антисемиты? – борясь с удушьем, умолял я их отвечать мне словами, а не сострадательными взглядами. Однако ничего, кроме взглядов, не получил. Они, стало быть, и здесь вошли в горстку истинно правых, которым одним ведома высшая и окончательная истина. Уже и знаменитая израильская полиция им не хороша...

Стараясь защитить тех, с кем я так жаждал слиться, от неудержимо нараставшего отчуждения, уже грозившего перерасти в гадливость, я попытался добыть из них осуждение хоть какого-нибудь кровопролития; я острожно посетовал на свежее убийство Рабина – дескать, ай-ай-ай, как нехорошо, человек все-таки всю жизнь провоевал за родину, явно хотел как лучше...

– Иуда Маккавей тоже казнил предателей! – в огненных глазах Амоса вспыхнул – нет, не гнев – наслаждение. Упоение собственной правотой.

Эсфирь смотрела на него с тем же восторгом, как когда-то в кухонном обезьяннике. Красивое зрелое лицо Жени выражало неподкупную праведность, лишь немного смягченную гордостью за своего неподкупного сына. Да, большому кораблю – большое плавание.

Я не мог здесь больше оставаться. Я по-настоящему задыхался, физически: я действительно не могу находиться рядом с невозмутимой правотой. Но тени дяди Сюни и тети Клавы, но лунная лодка, но брама Заборовского, но наше объятие на прожекторном плацу...

Но безжизненные годы, снова ожидающие меня за дверью...

И как сбежать – ведь это же скандал?.. А как удержаться от еще более ужасного скандала, не заорать, пытаясь достучаться до их правдонепроницаемых мозгов: одумайтесь, вы безмятежно убеждены в том, чего НИКТО И НИКОГДА НЕ МОЖЕТ ЗНАТЬ ТОЧНО!!!

Однако им было точно известно не только прошлое и будущее человечества, но даже и мои тайные мысли: ты думаешь, сочувственно внушала мне Женя, ах, бедные арабы, ах, бедные палестинцы, а ты не знаешь, что их весь мир заваливает гуманитарной помощью, но все разворачивают их собственные вожди – они все ездят на мерседесах, живут во дворцах, – а остальное уходит на теракты, на то, чтобы убивать евреев, а вы там, в Европе, верите их пропаганде, но что говорить о вас, когда наши левые еще хуже, в соседней арабской деревне якобы наши солдаты убили араба, так левые приезжали, просили прощения, чуть ли с ними не обнимались, а потом оказалось, что его убили сами палестинцы, чтобы левые подумали, что это сделали правые для того, чтобы верхние подумали на нижних, которым это выгодно, потому что у них тогда появится возможность оправдаться во

всем, в чем их обвиняют средние, которые привыкли балансировать между левыми и правыми, чтобы...

Я уже был готов броситься ничком на каменный пол и заплакать от безнадёжности: но как же ты не понимаешь, что если даже все обстоит именно так, как ты говоришь (хотя этого НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ЗНАТЬ ТОЧНО!!!), то человека же все-таки по-настоящему убили, его уже действительно нет и больше никогда не будет, а потому нельзя говорить об этом всезнайским посмеивающимся тоном, не смысл твоих слов чудовищен, а тон, может, смысл каким-то чудом и правилен, но тон, тон, тон – тон невыносим!.....

Я уже обмирал от ужаса, что сейчас сорвусь и наговорю каких-то страшных непрощаемых вещей, не только о тоне, но и музыке, которую он... И вдруг с безмерным облегчением я понял, на кого она так устрашающе похожа со своими разросшимися бровями, – на Леонида Ильича Брежнева. И мне наконец-то удалось перевести дух – Брежнев мне не требовалось в чем-то переубеждать, я уже давным-давно обжился в этой ситуации: их дело вещать, мое не слушать, заниматься собственными делами.



Было скучновато, но при Леониде Ильиче и не такое пересиживали. Я допустил только один мелкий прокол – среди всевозможной бытовухи нечаянно назвал территорию, где проживали мои хозяева, спорной.

– Для нас она бесспорная, – тут же провозгласил товарищ Брежнев с так полубившимся ему выражением торжественного превосходства над миром, и я не стал даже мысленно верещать, что ни одна оспариваемая вещь не может быть названа бесспорной в одностороннем порядке – я лишь сменил тему на что-то более низменное, более честное.

– Что, уже пора спать? – наконец-то спохватилась Женя и грустно спросила меня: – Почему все всегда кончается так быстро?

Совсем не быстро, а очень даже медленно, подумал я и со значением покивал ей. А она задержала на мне взгляд и вдруг тихо спросила: «Ты помнишь браму Заборовского?» Ну, кто же не помнит драму Заборовского, укоризненно ответил я, и опасная минута растаяла в ее невольной улыбке.

Так я не замерзал даже в зимних экспедициях – там всегда была возможность повернуться застывшим боком к тлеющему бревну, а здесь арабская нефть явно проводила политику саботажа, испуская адский багровый свет и ни малейшего тепла. Я лежал под ледяным одеялом в ледяных джинсах и ледяной рубаше – казалось, даже той кошмарной ночью в гостинице тбилисского цирка, в которой не сохранилось ни одного целого стекла, было немножко легче, поскольку тбилисскому цирку я ничем не чувствовал себя обязанным, а потому мог себе позволить забраться под одеяло в ботинках и в перчатках; здесь же у меня перчаток и вовсе не было, не говоря уже о крайне необходимой зимней шапке.

В адских отвсетах я пытался вести беседу с призраками, но они не являлись: отцовские чертоги не имели никакого отношения к нашим отцам, которые оставались лучшими евреями в Долгом Мосту, Лапине и леспромохозе, чем мои хозяева в *ишув*е за колючей проволокой. Свой дом они превратили из дома отцов в капище ледяной Правоты, откуда следовало бежать с первым же лучом солнца.

Однако с Леонидом Ильичом Брежневым театральные жесты были совершенно ни к чему, я даже погулял с ним по двум солнечным улочкам чистенького одноэтажного поселка, окруженного колючей проволокой, вдоль которой безостановочно курсировал джип с пулеметом. На каждом шагу нам встречались породистые бородатые евреи с удивительно доброжелательными просветленными лицами, и все они нам сердечно кивали: «Шабат шалём», – на что и мы отвечали сердечным полупоклоном: «Шабат шалём».

Более тягостной субботы у меня в жизни не было – даже когда я отбывал пятнадцать суток в азербайджанском городке Казах, втиснувшемся между Грузией и Арменией: там нас, по крайней мере, выводили работать в роскошном саду начальника милиции, а потом выставляли казан совершенно потрясающего рассыпчатого плова. Здесь же была какая-то ерунда – какой-то приторный *цумес*, какая-то черствая *хала*, какой-то безвкусный хумус... Впрочем, это что!.. Надо было разговаривать, притворяться – вот что было настоящей пыткой!

Я понимал, что если открыто объявлю о своем уходе, на мне повиснут, потребуют объяснений – поэтому я выбрался на волю через уборную. У гремучих ворот солдат в кипе предупредил меня с южнорусским выговором: «Здесь гулять опасно», – но покушаться на мое право свободного передвижения не стал. И я зашагал под горку по спирали с таким облегчением, что мне стоило больших усилий не перейти на рысь. Правда, страх преследования оставил меня только тогда, когда колючая проволока окончательно скрылась за желтой каменной сопкой.

Я искал взглядом сапфировое облако – оно светилось ослабленно, как лампочка среди бела дня, но вполне зримо. Даже при солнце, которое хоть и не жгло, но сияло вовсю, словно где-нибудь под Ашхабадом, над Копет-Дагом... Нет, светиться при туркменском солнце – такой ореол тоже чего-то стоил. Но мне уже не было до него никакого дела. Я не собирался меняться ему в угоду.



Меня не догнала ни одна машина, и ни одна не попалась навстречу – все истово блюли день субботний. Но пока я в этом не уверился, я был способен думать только о том, как бы не случилось погони.

Я отмахал километров пятнадцать, прежде чем сумел успокоиться. И перестал ощущать каменные стада на вершинах холмов чужими и враждебными. Наконец я почувствовал себя как дома – где-нибудь в районе

Джезказгана. И тут-то на меня опустилась единственная доступная смертным долина блаженных – мир воображения, оплодотворенного памятью. В этой долине мы снова стояли у белокаменных сплетений брамы Заборовского, и Женя снова была юной и прекрасной, еще открытой чужой страсти и чужому слову, и я зывал к ней, твердил, объяснял, растолковывал, ваял, ваял в ее душе тот идеальный облик, каким я стремился предстать пред ее идеальным обликом...

Я изо всех сил старался показать, сколь близка и дорога мне ее сапфировая греза: да, создание этой страны – и чудо, и подвиг, но ведь жить только для того, чтобы выжить и утвердиться... – может, для кого-то этого и достаточно, но только не для нас. Победители оставили нам единственное, но зато самое драгоценное достояние – грезы, и, если в качестве творцов вселенских грез порой мы забирались слишком далеко, все равно это в тысячу раз красивее, чем творить трудовые и воинские подвиги для себя одних. И если наша преданность миру умствований и фантазий порождалась отсутствием собственной *почвы*, я готов отречься от всех прошлых и будущих черноземов. Ибо настоящая почва человека – его воображение.

Но и эгоцентрические грезы, грезы самоупоевания мне тоже не нужны, мне дороги только грезы, открытые всем ветрам и поветриям. Я не хочу ничего знать окончательно, я не хочу чувствовать себя правым, я хочу понимать частичную правоту и частичную красоту каждой сказки – чтобы не сливаться ни с одной. Все имеют право на одноцветность своих сказок, все, но не мы – мы обязаны хранить и созидать всемирную радугу. Потому что судьба уже исторгла нас из кокона одноцветности, и забираться в него обратно уже по своей воле – не просто слабодушие, но преступление перед собственной многоцветностью.

Что? С многоцветностью нам не выстоять перед напором чужих одноцветностей? Но если мы сделаемся одноцветными, зачем тогда и выстаивать? Ни один народ не представляет никакой ценности – ценность представляют только вымыслы, которые он хранит и которые его хранят. Если народ прибавляет в могуществе, но усыхает в сказках, значит, он деградирует. И если мы сделаемся сильным народом с бедной грезой, это будет означать, что подвиг выстаивания был напрасен. Этого добра и без нас слишком много – желающих захватить лишь физическое место под солнцем, не добавляя ни одной новой краски в радугу всемирных фантомов.

Если для открытости и многоцветности наших грез требуется изгнание, *галут*, значит, мы должны вечно жить в галуте, оставаться вечно чужими, вечными странниками. Чтобы вечно зеленели драгоценные побеги, произрастающие из почвы изгнания и рассеяния, – тотальный скепсис и всесветная отзывчивость, склонность во всем сомневаться и готовность всему откликаться. Вот ты сама – именно в своей хрущевке с Цветаевой и Солженицыным – ты и была настоящей еврейкой!

О, это ты очень вовремя напомнила! Это верно: только в своей стране мы можем спокойно и во всеуслышание говорить о себе торжественным

тоном, красивыми словами. И это много, очень много. Но если ради красивых громких слов требуется ампутировать всю вековую роскошь сомнений и опьянений в чужом пиру – пусть все слова катятся ко всем чертям! Нет, я вовсе не изменил своего мнения, я и сейчас считаю, что народ не может выжить без красивых высоких слов, – ну так и побережем их друг для друга, не обязательно выкликать их на площади!

Друг для друга... Только где они, мои друзья?.. Сегодня я потерял единственное, что у меня было: моя возлюбленная греза злою ведьмой была обращена в Леонида Ильича Брежнева... Г-жу Редько я еще мог перегримировать в вечную Женю, но тов. Брежнев даже моему воображению не по кисти и не по нраву.

И я вновь обнаружил себя на Джезказганском шоссе среди окаменелых желторунных стад. Впереди и справа над очередным холмом расходился отчетливый даже при слепящем солнце изумрудный ореол, и меня враз обтянуло гусиной кожей от радости и ужаса. Это был невероятно своевременный и страшный дар судьбы: к чему длить агонию, когда можно прямо сейчас войти в овеванную изумрудной грезой клетку и повторить судьбу Грибоедова, быть растерзанным руками тех, кто не сумел понять, что сказка о Земле обетованной неизмеримо плодоноснее самых жирных и обширных черноземов.



Привратники с автоматами даже на меня не глянули, не то, что на мою сумку через плечо: вносить в преисподнюю можно все что угодно, другое дело – выносить. Скоро вынесут меня. Хорошо бы Женю догадались привезти на опознание. Небось, пожалела бы...

О чем? Она же ничего даже не подозревает. Это и есть новое еврейское счастье – понимать только себя. Или вовсе даже не новое, а старое как мир? А то, что я хочу навязать, удел одной щепотки на протяжении одной минутки?

Я думал, на меня сразу набросятся, но я с колотящимся в горле сердцем все брел и брел по пыльной замусоренной улице имени Тридцать девятого съезда партии, и никто меня не трогал. Косились и отворачивались. Это была не такая уж и трущоба, я видал и почище. Да, сизые бетонные ящики, опоясанные грубыми следами опалубки, – ну, а чем лучше глинобитные? Конечно, если такой поселок перенести в центр Стокгольма, будет немножко не того, а где-нибудь под Джезказганом так вполне. Там тоже любили укладывать на плоские крыши куски шифера и придавливать шлакоблоками. Но телевизионных антенн там почти не помню, а здесь кое-где сияют даже тарелки. И электричества здесь, похоже, хватает – повсюду электрические провода перекрещивались с бельевыми веревками, на которых распяты штаны и рубахи.

На улице почти одни только мужчины, но попадаются и женщины, причем в платках, а не в паранджах. А мужчины в обычных джинсах, рубаш-

ках, совершенно не исхудалые – средней, так сказать, упитанности. Да и в мусорных кучах преобладали, похоже, всякие пищевые упаковки – обычные, разноцветные. А у одной сизой полосатой стенки стоял, привалившись, пузатый мешок с надписью «Food programme».

Никто, похоже, не работал – бродили, стояли в кружках, сидели у домов на табуреточках, кто-то наблюдал, как жена готовит... Многие были в домашних шлепанцах.

Нормальные южные лица – пожалуй, несколько более мясистые, чем где-нибудь в Абхазии или Греции, но в общем ничего особенного, ни одержимости, ни осатанелости – люди как люди. Мало чем отличающиеся от тех, которым я только что говорил «Шабат шалём» за колючей проволокой.

А дети – те вообще прелестны. Вполне сытенные и нормально одетые – хоть сейчас в детский садик. Но у нас редко встречаются такие горящие умом и любознательностью черные глаза, такие густые черные завитки...

Вот дети-то прежде всего за мной и увязались. И понемногу я оброс такой азартной свитой, что мне смотрели уже не только вслед, но и навстречу. Наконец на каком-то подобии маленькой площади компания мужчин перекрыла нам дорогу. А еще через минуту образовалась уже толпа. С колотящимся в висках сердцем, но, храня внешнюю невозмутимость, я стоял посредине.

Из толпы шагнул молодой мужчина, отдаленно напоминающий папуаса, и, ткнув меня пальцем в грудь, что-то резко спросил. «Маклай – Туй», – вспомнилась мне одна из любимых книжек моего детства. «Юде, – с перехваченным горлом сумел выговорить я, тоже ткнув себя в грудь указательным пальцем. И, видя, что меня не понимают, повторил почему-то на своем подобии немецкого: – Их бин юде», – ожидая в следующий миг ощутить под ребрами ожог и холодок дамасского кинжала.

Но меня по-прежнему не понимали – черные глаза смотрели требовательно и настороженно, но отнюдь не враждебно. Я еврей, хотел я выкрикнуть, чтобы, наконец, разом покончить с этой пыткой, но вдруг подумал, что не нужно осквернять свою последнюю минуту ложью. Если евреи – это семейство Редько, то я, конечно же, не еврей. «Русский!» – подолбил я себя в грудь средним пальцем. И тут же, чувствуя, что и это неправда, уточнил: «Я русский еврей».

Но они по-прежнему не понимали – видимо, евреев они называли каким-то другим словом. И тогда, видя, что дело начинает принимать комический оборот, я патетически провозгласил: «Руссо туристо! Русиш, рашен!».

Напряженное молчание и – взрыв восторга! Меня хлопали по спине, обнимали, трепали за рукава, кричали мне в уши невероятно знакомое, но неузнаваемое слово... Что это, наверняка мне изменяет слух?... Они скандировали: Бреж-нев, Бреж-нев, Бреж-нев, Бреж-нев!..

Радостно сверкающие черные глаза, радостно сверкающие белые зубы – хлопая, обнимая, они поволокли меня неизвестно куда, но явно не к месту казни.

На веранде сизого бетонного ящика сидел бородатый человек в мучительно знакомой военной форме, меня поставили перед ним – что-то и в этом было знакомое... А, «Христос и грешница».

Исполняющий роль Христа внимательно вслушался в общий галдеж и просветлел чернобородым ликом. «Москва?» – дружески спросил он у меня. «Петербург! – ответил я и тут же поправился: – Ленинград». «А я учился Москва», – с гордостью произнес квази-Христос и поднялся с белого пластикового кресла. И до меня, наконец, дошло, почему столь знакомым мне показался его поношенный мундир – это был мундир офицера советской армии. Правда, говорил по-русски он уже с большим трудом. «Брежнев», – показывал он на меня, «Арафат» – переводил на себя, «Дружить!» – изображал он объятия и завершал: «Вместе! Мы! Сила!»

Это было так несообразно с тем, чего я ждал, что лишь полная уверенность в бредовом характере происходящего не позволяла мне ощутить всю потешность ситуации. Тем не менее все же просверкнула надежда, что у меня еще сохранилась последняя норка – высматривать окружающие нелепости и мудро над ними посмеиваться, – пожалуй, я уже выстрадал это право. Вот только что делать, если не смешно? Да и к чему потешности, если некому о них рассказывать?.. Не Брежневу же...

Мы вдвоем уже сидели рядом на пружинящих пластиковых креслах, а совершенно очаровательная кудрявая девчушка лет пяти восторженно взирала на нас прекрасными чернейшими глазищами, застенчиво показывая двумя пальчиками латинскую букву «V» – похожую на изображение зайчика. Она светилась самым прекрасным, что только бывает в детях, – бескорыстнейшей вовлеченностью во взрослые грезы. В конце концов побеждает тот, чья сказка сильнее опьяняет, и, может быть, они нас уже одолели, остальное дело техники. Причем нашей.

– О чем ты мечтаешь? – ласково спросил я этого черного ангелочка, и она смущенно что-то пролепетала.

Взрыв восторга. Сверкающие черные глаза, сверкающие белые зубы.

– Она хочет, чтобы всех евреев убили, – с гордостью перевел мой сосед по креслу.

Прелестно, как это по-детски. Я почтительно склонил голову: что ж, это их священное право – желать нашего истребления, народы и должны жить не полезным, а святым, и только у нас не должно быть ничего святого, только человеческое, и если придется защищать себя с оружием в руках, то пылать гневом мы должны уж никак не праведным – человеческим. Я чту всякую одержимость, я не выношу только еврейской одержимости. Да, всем можно, а нам нельзя. Точнее – воевать мы имеем право, подчинять войне свои грезы – нет. Да и никаким другим практическим нуждам. Ах, без своей одержимости мы не выстоим перед напором чужих?.. Чтобы защититься от чужого дракона, необходимо обзавестись собственным?.. Если мы сделаемся одержимыми, горящими собственной высшей правотой, это и будет означать, что мы не выстояли, – ибо нас,

прежних, которые всех понимали и во всем сомневались, все равно уже не будет.

Только, может, нас таких никогда и не было?..

Не было, значит будут. Один, по крайней мере.

Я.

Да чтобы защищать такую несомненную реальность, как жизнь, особой одержимости, по-моему, и не требуется, совсем не обязательно сражаться под лозунгом «Наше дело правое, мы победим!» – с нас довольно лозунга «Наше дело наше, мы не сдадимся!» Одержимость больше нужна для вдохновенной лжи, для затыкания чужих ртов и собственных ушей. Пожалуй, даже и сказку можно защищать без одержимости. Что это за сказка, если она не в силах перекрашивать, а вынуждена заглушать? Это уже не греза, а дохлятина.

Одиночки обречены на бесследное исчезновение? Пускай. Я не хочу приобщиться к бессмертию ценой омертвения. Я не хочу существования посмертного ценой исчезновения прижизненного.

Тут я с удивлением заметил, что больше не задыхаюсь: правота чужих меня не душит.

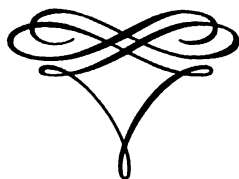


В переходе из-под туристических турецких сводов на прожекторный плац перед Стеной плача brave парни с автоматами прошмонали мою сумку вполне по-деловому, без всякой одержимости. И я меж пейсатых и кипастых раскачивающихся евреев, уткнувшись своим еврейским носом в эти древние блоки, из щелей меж которыми свисали растительные бороды, наконец-то наплакался вволю.

А потом высморкался, встряхнулся и скомандовал себе: все, поплакали и хватит! Ша! В дорогу, Вечный Жид!

2004





Алексей Устименко

НЕ КАЗАНОВА, НО ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ

Литературная версия странной любви*

...Будущий источник скорее предоставит ему место в царстве легенд, чем в истории.

М. Клейнмихель. Великий князь Николай Константинович

– Вы, кажется, находитесь в каком-то родстве с великой русской царицей Екатериной? – спросила Фанни Леар у Николая Константиновича в самый первый день их знакомства.

– Праправнук, – ответил Великий князь, и Фанни буквально окаменела. А еще – он был правнуком Павла I и внуком Николая I, крестившего его.

I

Год 1900-й... Сквозь зеленые листья и мелкие розовые лепестки цветов на подоконнике любопытствующая прислуга – толкаясь – во все глаза раз-

* При работе над материалом использованы воспоминания академика М. Е. Массона «Ташкентский Великий князь», графини М. Клейнмихель «Великий князь Николай Константинович», начальника канцелярии Министерства Императорского Двора А. Мосолова «При дворе послед-

Алексей Устименко – главный редактор литературно-исторического издания «Восток свыше» (Ташкент), автор нескольких книг, в том числе романа «Странствующие в золотом мираже» и повести «Тень победителя». Живет в Узбекистане.

глядывала фазтон Великого князя, живущего здесь, в Ташкенте. Он странно остановился под самыми окнами, но из него никто не выходил.

Кучер сонно и, похоже, равнодушно смотрел перед собою. Однако его напряженно согнутая фигура жила явным ожиданием толчка в спину, чтобы мгновенно пройтись вожжами по бокам двух одинаковых вороных рысаков и рвануться вперед – невесть куда. Фазтон и рванулся, но только лишь тогда, когда, подобрав юбки и уперев кончик туфельки в откинутую ступеньку, юркнула внутрь розовошекая дочка хозяев – Лера.

Прислуга охнула – гимназистке было пятнадцать лет.

II

Год, примерно, 1910-й... Гуляя в саду, напротив увеселительного заведения с повторенным французским названием «Мулен Руж»,двигающиеся по кругу пары старались делать это со степенной солидностью. Однако всякий раз, когда какой-нибудь господин со своей дамой проходил мимо распаханной из синемаатографа «Летняя "Хива"» в сад калитки, через которую шумно и весело проскальзывали новые желающие степенно прогуляться, – ритм разрушался. Очередная гурьба только что отсмотревших новую фильму зрителей – как в реку вливающийся ручей – взбаламучивала пространство текущей благообразности. Через калитку было не протолкнуться.

Зато центральные ворота, распаханые настезь, стояли почти пустыми. Обнеся городской сад железной решеткой и установив плату за вход в него, городской голова собирался пополнять городскую казну.

Но Великий князь Николай Константинович, предложивший делить эту плату на двоих, что было бы справедливо, если бы в огороженную территорию включили и его участок с синемаатографом, – когда в том ему отказали, в очередной раз нарушил целесообразную благопристойность ташкентского высшего света и полусвета. Прорубив своей волею калитку в общем заборе, он наполнил городской сад бесплатно прогуливающимися. Из сада же городского, общественного, в сад Романова перетекали и разносчики-торговцы с мороженым, калачами, сладостями, фруктами и орехами.

Немногие пробовали шумно возмущаться. Но даже у этих немногих смелых одиночек пропал голос, когда они увидели однажды самого Великого князя под руку гуляющего с двумя дамами сразу. Ведь это было уж совсем – верхом неприличия.

Рядом с первой, законною, хотя и непризнанною, но привычною уже для всех его женою Надеждой Александровной Дрейер он вел – всякий об этом знал – и жену новую – Дарью Алексеевну Часовитину.

него Российского императора», М. Урманова «Великий князь – изгнанник», Л. Третьяковой «Изгнанник из рода Романовых», П. Кропоткина «Записки революционера», председателя Совета министров С. Ю. Витте «Воспоминания» и «Дневник» А. Суворина.

Лицо Дарьи Алексеевны было грустно. Судьба ее складывалась романтически, но по-книжному шатко, придуманно. Для жизни малоприспособно. С одной стороны, сам Николай Константинович Романов – Великий князь – бросился к ней на помощь, когда она сидела на сундуках, из которых прямо на пол было выброшено ее приданое. И жених бегал по ее нижним юбкам, топча их и пересчитывая. Он был недоволен, что приданого оказалось меньше, чем должно было быть по сговору.

Итак, первая из версий...

В тот день, когда Великий князь примчался спасать несчастную Дашу, он с первого же взгляда был повергнут к ее ногам беспомощной красотой обиженной девушки. Сунув отцу непересчитанную пачку денег, Великий князь все на той же свадебной повозке, что уже была украшена свадебными лентами и цветами и давно стояла в бессмысленном ожидании несостоявшегося венчания, погнал ее к ближайшей же церкви. Тоже венчаться. И вряд ли запуганный черным княжеским револьвером священник отказался тогда их венчать.

С другой стороны, девушка Даша казалась такой несчастной, и – как в романе Лидии Чарской – плакала навзрыд такими крупными слезами, что Николай Константинович в очередной раз был покорен бесповоротно – все равно в доме родителей жить ей было нельзя – и забрал несчастную к себе*. Хотя и не в ташкентский дворец, но все-таки в дом, пусть и дальний, стоящий за городом – подле железнодорожной станции Драгомирово, – в Голодной степи... Глинобитные стены, пахнущие сырым кизяком, дневные зелено-золотые крупные мухи, прячущиеся в сухих комнатах от растекшегося по полдню небу марева солнца, да ночной хохот шакалов.

Странное сооружение, тем более если знать, что – по великосветским слухам – за орошение части Голодной степи государь дал ему 300 000 рублей, как раз на постройку дворца. Однако же Великий князь просил у государя разрешения употребить их по-иному – позволить ему на эти деньги построить театр в Ташкенте и подарить его городу. «Я хочу лучше иметь маленькую ложу в театре, чем большой дворец в Голодной степи. Но меня так любят, что наверное откажут в моей просьбе», – так написал он императору. О подаренном театре Дарья Алексеевна ничего не знала, как, впрочем, ничего не знали и все остальные.

Пока же за неровными и маркими глиняными стенами дворца Великого князя из древнего рода Романовых ночами бродили, вечно к чему-то приносящиеся, а потому постоянно поднимающие грязные морды вверх, тонконогие шакалы.

* Ниже, в почти документальных как будто бы примечаниях, легенд и версий из жизни Великого князя появится еще немало. Но без них никак нельзя. Жизнеописание Великого князя еще не написано. Оно еще только-только составляется на наших глазах. Да и, в конце-то концов, легенды, мифы и версии, складывающиеся вокруг человека, – не истинная ли его биография? Не самая ли интереснейшая ее часть?

Со временем девушка Даша родила Николаю Константиновичу двух сыновей – Кирилла и Николая, дочку – Дарью и, похоже, сделалась единственным человеком в его великокняжеском окружении, способным попридержать его от неприличных шалостей, опасных шуток и шумных сумасбродств*. Слез у Дарьи Алексеевны стало меньше, они сначала помельчали, затем и вовсе исчезли, только лицо оставалось грустным.

Ей, конечно же, хотелось оставаться единственной. Однако вот это как раз не получалось. Ведь еще прежде бегали по комнатам дворцов шумные Артемий** и Александр*** – дети Надежды Александровны. К 1900 году они будут узаконены и получают княжеский титул.

А еще молчаливо и бессовестно мягко поблескивала своим обнаженным мраморным телом американка Фанни Леар, одно из самых первых, еще петербургских, увлечений Его Императорского Высочества. Собственно, теперь это была только память о ней. Итальянский скульптор Томазо Салари изобразил любимую князем Фанни в образе Венеры-победительницы с яблоком в руке, повторив композицию Антонио Кановы, когда-то изваявшего точно так же младшую сестру Наполеона Полину Боргезе.

Художественная натура Томазо Салари творчества в очередном заказе не увидела. Однако заказ получался денежным. Исполнить его можно было и споро, и предельно не напрягаясь. Томазо не уговаривал Фанни позировать, чему она слегка удивилась и даже слегка, чуть-чуть, огорчилась, как всякая женщина – со щекочущим холодком в душе, – уже представляя себя нескромно лежащей перед глазами скульптора. Зато он сделал ей де-

* Она, вообще-то, была предприимчивым человеком. Имея некоторый, полученный от Великого князя, капитал, и в открытую, и за великокняжеской спиной не стыдилась пускать его «в дело». Пришло небольшое богатство, давшее и некоторую – позже – независимость. В отдельных литературных источниках рассказывается, что Дарья Алексеевна Часовитина сумела со своим капиталом даже удачно выйти потом замуж «по-настоящему».

** Артемий Николаевич Искандер по одному варианту – умер от тифа в Ташкенте в 1919 году, по другому – воевал на стороне белых во время гражданской войны и был убит.

*** Александр Николаевич Искандер сражался в армии генерала Врангеля. Вместе с разгромленной армией отступал, долго жил в знаменитых лагерях в Галлиполи. Умер во Франции в 1957 году.

Наталья Александровна Андросова-Искандер, внучка Великого князя, как оказалось, умерла совсем недавно – в 1999 году и в совсем не княжеской бедности. Великий князь некогда сам крестил ее в Ташкенте. На сохранившихся фотографиях – это женщина утонченной, изысканной красоты. Возможно, красота была унаследована ею от отца – Александра. Но, быть может (и очень хочется этому верить, ведь так появится возможность представить себе, *какою* на самом деле была Надежда Александровна Дрейер), что и от бабки своей.

Наталья Александровна зарабатывала на жизнь гонками на мотоцикле по вертикальной стене. Никогда не верила в виновность деда, в совершенную им кражу.

ловое предложение, потребовав некоторой *технической* помощи. И она согласилась, в своей жизни умея весело пробовать все.

Согласившуюся Фанни равнодушный к ее голому телу Томазо нескромно, будто французскую булку маслом, обмазал гипсом, сняв маску с лица, шеи, плеч, груди. А затем – лишь исполнил в мраморе, торопливо вглядываясь в отформованную скорлупу ее тела и деревянной линейкой проверяя соразмерность полученных углублений.

В 1874 году работа была завершена, как, впрочем, в этом же несчастном году завершилась и сама история их любовных отношений. Завершилась скандально – крикливою ссорой и неблагодарным отъездом Фанни в Париж*.

А холодный мрамор, беспомощно копирующий теплое тело Фанни, привезли в Петербург и доставили в кабинет князя, дополнив коллекцию его мраморов, порфиоров, гемм и медалей. Но...

– Из любви ко мне, – иронично говаривал много позже и уже в Ташкенте Великий князь, – мои милые родственники взяли на память мои коллекции. Матан взяла даже статую моей любовницы-американки, которую я сделал в Италии по образцу одной статуи Кановы, и прислала мне ее только через шесть лет, когда один посол, увидав ее у нее, сказал: «Да это американка!» – «Какая?» – «Да Вашего сына Николая»...

До конца своих дней Фанни сохранила ощущение гипсового, нагревающего ее кожу мокрого мешка, в который была засажена нетворческими поисками Томазо Салари.

Теперь мраморные плечи Фанни довольно равнодушно отражали солнце за окнами дворца в Ташкенте, куда, собственно, Великий князь был послан тоже, по сути, из-за историй с женщинами. Ведь именно для одной из них, для той же Фанни Леар, он выкопал крупный бриллиант из драгоценного оклада иконы, подаренной императором Николаем I своей невестке и его – Великого князя – будущей матери Александре Иосифовне**.

Бриллиант из моленной матери перекочевал в карман мундира Великого князя, а потом офицер его свиты Е. П. Верняховский*** доставил обернутую бархатом коробочку с бриллиантом в Париж и вручил ее беглянке Фанни Леар. Принятый благосклонно бриллиант остался у нее навсегда, некоторым залогом ее примиренного возвращения в Санкт-Петербург, куда, однако, она все-таки не приехала. Мраморная женщина уже обдумывала свои любовные мемуары, названные, впрочем, неоригинально – «Роман американки в России»****.

«Случись такая пропажа в семье обыкновенных людей, – прокомменти-

* Еще версия. Фанни была арестована, допрошена и выслана из Санкт-Петербурга с предписанием – без права возвращения в российскую столицу.

** Пропаж драгоценности из Мраморного дворца обнаружена 14 апреля 1874 года.

*** По некоторым источникам – Е. П. Варнаховский.

**** *Lear, Fanni. Le roman d'une americaine en Russie. Bruxelles, 1875; Роман в царском доме / Сокр. пер. на рус. яз. Женева, 1901; еще один перевод – в журнале «Аргус», 1917.*

ровала в своей книге случившееся сама Фанни, — ее там скрыли бы; здесь же, напротив, подняли на ноги полицию...».

Ошибалась. За такое здесь отдавали в солдаты, а то и на каторгу.

Николая допрашивали. Рылись в письменном столе, инкрустированном черепаховой панцирной костью с медными обрамляющими насечками. В боковом правом ящике нашли сумму — много меньшую стоимости бриллианта. Подозрение о ломбарде, спасительном в карточных проигрышах, отпала. Не отпали слухи, весенним струящимся туманом заскользившие вдоль всей Невской перспективы, по главному прешпекту, и заползшие даже в окраинные домишки на островах.

— Великий князь и — в солдатах? *Ne me tourmentes pas! Vous savez tout!**

Отцу же своему, Великому князю Константину Николаевичу, родному брату царя Александра II, после допроса он сказал, что вину своего товарища Верняховского, товарища, а не просто адъютанта из свиты, он берет на себя. Вечером того же дня расстроенный отец запишет в своем «Дневнике»:

«Никакого раскаяния, никакого сознания, кроме когда уже отрицание невозможно, и то пришлось вытаскивать жилу за жилой. Ожесточение и ни одной слезы. Заклинали всем, что у него осталось святым, облегчить предстоящую ему участь чистосердечным раскаянием и сознанием! Ничего не помогло!»

Такого в роду Романовых еще никогда не случалось. И тогда:

«Мое страшное положение таково, — сделает очередную запись в своем «Дневнике» отец Николая, Константин Николаевич, — что я этот результат принужден принять с благодарностью».

Чтобы оправдать случившуюся историю, на собрании всех членов царствующего семейства Николай был признан больным, склонным к невменяемости, почти сумасшедшим. Это и было тем, что значилось под отцовскими словами: *«этот результат»*.

Медицинские обоснования, пожалуй, были. Но — не из сегодняшнего дня. А из дня прошлого. Бившего по нему и сейчас. Бившего, как уверила себя Фанни, по-настоящему, — ей говорили, что на Великого князя была надетая смирительная рубаха, с завязанными за спиной длинными рукавами, что его успокаивали силою и лекарствами, от которых он терял сон и не всегда узнавал окружающих.

После большого, последовавшего шума и бесшумного расследования дела графом Петром Шуваловым, главой департамента полиции**, Вели-

* Не мучьте меня! Вы все знаете! (фр.)

** Существует несколько версий происшедшего. Одна из них, например, указывает на то, что бриллиант был найден. Но дознание было все-таки проведено. Обвинили адъютанта Великого князя — того же Е. П. Верняховского. 15 апреля, на допросе, тот категорически отрицал свою причастность к кошунственной краже, но сознался в том, что снес в ломбард драгоценный камень, переданный ему Великим князем. Сам же Н. К. Романов поклялся на Библии, что не виновен, однако эту, возможно, ложную клятвой, как христианин, бесконечно усугубил свой грех.

кий князь был тихо отослан в Оренбург, где еще больше опозорил императорскую фамилию, под фамилией вымышленной – Волынский* – почти тотчас сочетавшись церковным браком с дочерью казачьего офицера Надеждой Александровной Дрейер.

Чужая фамилия – Волынский – обман всего лишь земной канцелярии. Венчание же – предстояние перед Богом...

Офицер-полицмейстер и его дочь Наденька сделались счастливы.

Царственные же родственники вошли в гнев. Брак был признан морганатическим, что, понятно, соответствовало истине. Особым указом Священного Синода поначалу он и вообще был расторгнут. А Его Императорское Высочество – лишен чинов придворных, чинов военных, а также всех орденов. Получил он запрещение носить военный мундир и новую ссылку – через несколько промежуточных поселений**, – теперь в Ташкент***.

Военный мундир он жалел более всего. Мало того, что он с ним свyksя еще со времен обучения в Пажеском корпусе и учебы в Академии Генштаба, законченной в 1872 году, в нем Великий князь, говоря образно, проходил всю недолгую военную кампанию, весь поход на Хиву, предпринятый генерал-губернатором Туркестана К. П. фон Кауфманом в 1873 году.

Без капли питьевой воды за несколько переходов по пескам и такырам Кызылкумов, он, уже в чине полковника, привел возглавляемую им колонну солдат из Казалинска к колодцу Аристанбель – месту соединения с главным отрядом. Такой поход не должен был забываться, и позже указом князя на одной из скал гор Букантау выбили надпись о совершенном походе.

Потом он шел уже вместе с главным отрядом, отстреливаясь и нападая. Бился с упорно и мужественно отстаивающим свою землю, но плохо вооруженным населением возле местности Учучак и на берегах канала Шейх-арык. Захватывал Хиву и Хазарасп. Он был такой же колонизатор, как всякий солдат, незвано пришедший сюда вместе с ним. Но он, наверное, должен был больше, чем кто-либо другой из ступающих по этой древ-

* Артемий Волынский – политический деятель времен Анны Иоанновны. XVIII век. Подвергся опале и был казнен. Действующее лицо романа И. Лажечникова «Ледяной дом». Один из любимых литературных героев Великого князя. Его фамилию и взял себе Н. К. Романов. Впрочем, по другой версии историка и знатока старого Туркестана Б. А. Голендера, фамилия Волынский имеет в своей основе название знаменитого полка, в котором служил Великий князь.

** С осени 1874 года до времени окончательного обоснования Великого князя в Ташкенте летом 1881 года он сумел побывать в десяти различных местах, нигде, впрочем, не прижившись. Вот некоторые: Владимирская губерния, Умань (250 верст от Киева), городок Тиврово (несколько верст от Винницы) и так далее.

*** Другая версия – впрочем, почти что совсем невероятная – была высказана князю Владимиру Владимировичу Бярятинскому ставропольским губернатором Брониславом Янушевичем: по его мнению, та строгость, «...с какою содержат Великого князя Николая Константиновича, объясняется тем, что стали известны его сношения с Желябовым, а вовсе не похищенным им ожерельем».

ней земле, отвечать за каждый сделанный шаг, ведь он носил царскую фамилию Романовых.

Однако для него, очевидно, все это было ненужными штатскими переживаниями. Как всякий Романов, как всякий, до поры – еще *столичный* Романов, – он пока не думал о тонкостях пребывания на здешней земле, но только о том, что – не войди сюда русские войска, вошли бы английские. Далекие дипломатические споры между Россией и Англией, так кроваво отзывающиеся на древней среднеазиатской земле, он должен был выигрывать здесь, увы, убивая вовсе не англичан.

Вовсе же неправославная Фанни Леар едва ли не каждый день во все время этого жестокого и жесткого похода заходила то в одну, то в другую церковь Петербурга молилась по-своему и ставила свечи во здравие воина Николая.

А дрался он не хуже, чем дерутся его солдаты: личного мужества ему было не занимать. При возвращении из хивинского похода в Санкт-Петербург Великому князю вручили золотое именное оружие и орден св. Владимира.

Оружие, которое тоже потом отберут вместе с военным мундиром и орденами.

Останется лишь хивинская пушечка, привезенная в Санкт-Петербург, – не столько боевое орудие, стрелявшее по нему, сколько сувенирное изделие, почти что игрушка.

IV

Белый пар поднимался из-за тугайных зарослей, мелькающих с правой стороны от мчащегося к счастью фаэтона. Внизу невозмутимо и ровно, плескивая волною о камни, текла вода Чирчика. Фаэтон подбрасывало. Гимназистка смеялась и несмело держалась за руку Великого князя, которой тот тщательно придерживал высокий цилиндр, то подпрыгивающий на коленях, то укрепляемый на голове. На черный фрак Великого князя, сшитый в Лондоне, сыпало желтой пылью. Монокль, застывший в глазу, окрашивал окружающее в некоторую мутность.

Уже приблизились горы и запокazyвались под ними домишки села Троицкого, с ожидающим храмом на самом въезде, как вдруг – еще одно облако пыли вытянулось над дорогой, где они только что проехали.

Не в книге, а наяву за фаэтоном была погоня.

Не за каким-нибудь забытым Казановой, но за Великим князем Романовым гнались от самого Ташкента, почти уже настигая...

V

Попробуем разобраться... Предположить. Оставив право за читающим не согласиться.

Кем же больше всех и по-настоящему увлекался сам Николай Константинович Романов?

Француженкой с американским паспортом? Американкой Фанни Леар?

Пожалуй... Сохранились письма Великого князя к этой женщине, сохранился мрамор Кановы, в варианте Томазо Салари, с ее повторенным телом. Богемное увлечение юного избалованного петербургского офицера с лицом «времен упадка Римской империи», самого красивого из Великих князей, было искренним. В то время Николай Константинович служит в лейб-гвардии конном полку, командует эскадроном. А будущее его несчастное счастье – Фанни как раз покидает Вену, уложив в дорожную шкатулку толстую пачку банкнот, врученных ей *за приятное с нею знакомство* неким неизвестным высоким чином из жандармского управления России. Денег – в самый раз на поездку в эту самую Россию, которая, возможно, существует и на самом деле... До сей поры юной Фанни, перечитавшей библиотеку исторических книг – тому научил отец, старик-священник, – не верится, что Григорий Потемкин, а в него она влюблена не меньше, чем в его любовницу Екатерину Великую, на самом деле существовал. И так любил. И что она сможет увидеть въеве все эти санкт-петербургские, овеванные любовной славой дворцы.

Сказочная страна. Не чета той, пошлой, провинциальной, скучной французской столице, где она была вынуждена в шляпке с понурившимися под дождем искусственными цветочками фланировать по скользким и кривым каменным улочкам в глупой надежде, что нынешний ее случайный кавалер окажется щедрее вчерашнего. Не чета и многим другим городам Европы, то принимающим ее вместе с крохотной дочкой от странного бестолкового раннего ее брака, то выталкивающим из себя. Пробовала петь и играть в театрах, но не игра, а околотеатральные *податливые* с ее стороны знакомства приносили новые красивые платья и наполняли бисерный кошелек и шкатулку денежным шелестением. Песни же ее лучше всего слушались не со сцены, а среди деревянных столов в веселеньких прокуренных кабаках.

Но кто будет знать об этом *в екатерининской* – для нее! – *России*.

И как у Дюма-сына – почти первый же бал-маскарад в Петербурге свел уже счастливую от одного только тонкого *непарижского* блеска громадного танцевального зала, где ее буквально из рук в руки передавали самые благородные – как ей казалось! – юноши российской столицы, свел ее с ним, с самым высоким из всех штатских и офицеров.

– Кто Вы? – весело спросила она.

– Увы, – сказал он, – всего-навсего лишь купеческий сын.

И стал танцевать с ней, и больше ни с кем другим. И, что странно, никто иной теперь не осмеливался к ней подойти, чтобы пригласить на следующую фигуру и на следующий тур. И вокруг них – танцующих – образовалась вдруг приметная пустота, и, увидев это, он увел ее в отдельную

ложу, чтобы остудить шампанским. А там сквозь граненый холодок бокала она разглядела золотой императорский герб, вытканый на малиновых портъерах. Точно такие же гербы оказались и на спинках кресел, в которые он ее усадил.

— Вы, кажется, находитесь в каком-то родстве с великой русской царицею Екатериной? — спросила Фанни Лепар у высокого офицера. — Я слышала, что в России офицеры никогда не говорят неправду.

И тогда он сказал долгожданные для нее слова...

С того дня их, отовсюду видимое всеми увлечение стало тем фейерверком, что своими падающими огнями освещает всех. У иных вызывая вздох зависти. У иных неровное дыхание беспокойства.

Единственная, с кем он теперь стал искренним, была она, Фанни.

Об этом говорят и письма Великого князя. Но искренность эта была, скорее всего, искренностью молодости одного, впервые получившего нежный доступ к совершенным тайнам другого, более опытного. К тому же эта американка, совсем как жена императора Петра I Екатерина, умела снимать гнев и останавливать картежные безумства и безумные кутежи Великого князя. Екатерина успокаивала Петра, укладывая его безумную голову у себя на груди. Не столь нежная Фанни — актриса и привыкшая всегда брать свой верх куртизанка — иногда брала этот верх обычным криком, перемежая его беспощадными упреками. Взрывающийся Николай швырял под ее туфельки тысячи примиряющих рублей, но тотчас же начинал ругать ее за какой-нибудь всуе потраченный червонец. Она снова начинала кричать на него. Взрывающийся Николай негодовал — *так* разговаривать с ним, с *Великим князем*, какой-то великосветской шлюхе... Она обрывала его почти всегда одной-единственной неотразимой фразой:

— Вы для меня не Великий князь, а просто — мой нежный и любимый мальчик...

Фраза, понятно, не для воина, но до поры она успокаивала. До поры их последней ссоры; кажется, как раз тогда Великий князь победил ее в очередном взорвавшемся споре. И она уехала. И тогда у него возникла мысль о том самом, так ему нужном — для нее, для нее! — бриллианте.

Без нее он не мог. В ней существовало то самое спасительное материнское начало, которое некогда минуло его. И в этом уже наше некоторое приближение к истине...

А потом — оренбургская встреча с Надеждой Александровной Дрейер.

Она, очевидно, первой в Оренбурге поняла его. И когда другие отшатнулись — все-таки хоть и Его Императорское Высочество, но князь полусыльный, опальный, — сблизилась с ним, увлеклась, увлекла... Была нежность, было понимание. А еще — венчание. Как благодарность и — как, возможно, вызов так поступившему с ним царствующему дому...

Сколько же визитов предстоит ей потом совершить в столичный Санкт-Петербург, чтобы, наконец, однажды получить признание и канцелярии

земной? А вместе с ним – право ношения новой фамилии, впрочем, тоже придуманной, – Искандер.

Сама Надежда Александровна, видимо, знала, что она – не столько жена, сколько и утешение, и некоторый демарш. Только однажды она почувствовала себя женщиной, из-за которой вскипели страсти нешуточные, чуть не загнавшие ее, гордую оренбургскую казачку, в смертельную ловушку. Страсти же эти вскипели в 1892 году после приезда в Голодную степь – там как раз шли оросительные работы, ведущиеся Великим князем, – санитарного отряда, выписанного на деньги Его Императорского Высочества Николая Константиновича Романова из Санкт-Петербурга для борьбы с холерой. Князь по целым дням в высоких сапогах лазил по мокрой глине вдоль нарытых арыков. Она же – беседовала на петербургские темы с маленьким доктором в пенсне на лохматом шнурочке. Доктор ласково гладил ей руку и успокаивал разговорами о побежденной вокруг холере и о весьма возможном – коли Господь управит – теперь уж законном въезде ее в столичный город, где, кстати сказать, непременно сделается возможность встречаться и им тоже, чтобы вот так, дружески, беседовать и дальше.

Неведомо, донесли ли Великому князю или же он сам в своих скользких от глины сапогах зашел не ко времени, а только гнев его был по-азиатски велик, необуздан и изощрен. Надежду Александровну он повелел зашить в мешок и скинуть, чтоб утонула, в один из открытых по его ирригационному плану каналов. Слуги, бросившиеся хватать жену Его Императорского Высочества, все-таки еще оставались христианами – Надежда Александровна была ими *упущена* на самой дороге к месту жестокой казни и исчезла среди камышей. Два дня, рискуя быть разорванной и съеденной, она просидела подле кабаньих следов. Оставленные дикими и опасными грязно-черными зверьми, выбредающими к желтой воде на водопой, следы были почти свежими и частыми. Это было удачей – значит, пили недавно и не сразу вернуться... Молясь своему Ангелу-хранителю, она не могла того знать, верила – Он ее спас: кабаны в те два дня бродили по каким-то иным, спасительным для нее, тропам. Зато поедена она была комарами, поедена до такой степени, что когда ее – красно-распухшую, но прощенную Великим князем, – ввели в его загородный голодностепский дворец, он лишь поморщился, мельком взглянув и посоветовав сырые примочки из обычной мочи.

Совет был не докторский. Сам же доктор теперь, пожалуй, уже не способен сделался давать какие-либо советы и вообще произносить нечто разумное. В тот же день, когда не поймали ее, Надежду Александровну, петербургский доктор был в полный рост и по самую свою шею вкопан в мокрую землю, возможно, что и неподалеку от ее, зудящего комарами, камышиного убежища. Предполагалось, что выставленную наружу капустным кочаном голову доктора поедят шакалы, но и они прошли мимо другими, не мстительными тропами. Доктора откопали, доложив князю, что он сошел с ума. Великий князь перестал злиться и ревновать, разрешив возвратить доктора в Санкт-Петербург.

Он вообще никогда не был добрым, этот Великий князь. Возможно, что упрямство и злость объяснялись не только престолонаследными интригами, направленными против почти бесспорных его прав на царский трон, но и предельно грубым воспитанием в детстве. После вежливо-аристократического воспитателя Дмитрия Васильевича Григоровича, между великокняжескими уроками пишущего сентиментальные книги, пришел другой – некий немец, который – по воспоминаниям того же Григоровича – звонко хлестал юного Великого князя по щекам верхней частью своей ладони. Немец никого не боялся, успев разглядеть, что упрямого своего сына родители едва ли не ненавидят.

Уже по праву своего рождения – наследующий обладатель великолепно-го Павловского имения, почти превращенного Петром I в Северный Версаль, да еще и Мраморного дворца, роскошь которого спорила с роскошью Зимнего, юный Великий князь отчего-то иногда даже оставался без большого обеда и, когда ему хотелось есть – бегал на кухню, где подкармливала прислуга. Оттого и любимое блюдо на всю его, в том числе и ташкентскую жизнь, – черный хлеб с крепким чаем.

Родители? Да не до сына им было: Константин Николаевич проводил основное время у Анны Кузнецовой – балерины и гражданской жены, а матушка Александра Иосифовна, уезжая из Петербурга плакать и утешаться в Павловск, видеть уже никого не хотела.

Николеньке от всего этого становилось скучно. И тогда его развлечением становились бордельные девки, коих возили к нему едва ли не десятками. Девки не были его праздником, а только – уходом от озлобленного одиночества. Первым праздником стал день, когда исполнилось восемнадцать и когда он вдруг понял, что может послушаться этого омерзевшего ему немца.

Сначала он даже тоже хотел ударить его, но – с лакеями не кокетничают, мужиков на дуэль не вызывают. После них моют даже чистые руки. И Великий князь разделался с ним по-своему. Он собрал все до единой бумажки, до самого маленького карандаша, который держал в руках этот немец, до голубых, цветом похожих на *первозванную*, ленточек, которыми немец перевязывал письма из города Бремена... А собрав, уложил все это на наборный и лаковый дворцовый паркет в беспомощную кучу и – поджег.

Это еще не было днем его совершеннолетия. Совершеннолетие в России тогда отсчитывалось с двадцати лет. Но все вдруг увидели нового Великого князя.

В тот самый день по дворцу впервые поползли слухи, что Великий князь – поверьте, в этом нет никакого секрета, и все, буквально все так говорят! – что Великий князь возможно и не в себе...

Позже к, вероятно, пока еще и беспочвенному этому мнению добавилась и настоящая, мучающая его потом постоянно, почти ежедневно, почти всю его жизнь беспощадная болезнь. Пытаясь самоутвердиться в Академии Генерального штаба не только одними офицерскими кутежами, но и знаниями, ставящими его над всеми этими преподавателями и воспитате-

лями, памятными из давнего детства и недавней юности, он так надсадил свои глаза чтением ученых книг при ночных вздрагивающих огоньках свечей, что его – навсегда теперь испорченное – зрение измучивало отныне Великого князя резкими, неожиданными и сильнейшими головными болями постоянно.

Но зато он был первым из всех Романовых, закончившим высшее учебное заведение. Не просто и не формально закончившим, но – с серебряною медалью.

Итак, Надежда Александровна Дрейер его понимала, боялась, а еще – просто сохраняла себя и свое место при Великом князе. Не каждой казачке так повезет... * Иначе, разве терпела бы возле него еще и Дарью Алексеевну Часовитину? Но терпела, долго терпела. Вместе со всеми другими его увлечениями на стороне. В этом смысле, несмотря на благородное начало в истории с Часовитиной, ее продолжение – в том же ряду, что и связь Великого князя с женой ташкентского аптекаря Иеронима Ивановича Краузе, и с какой-то еще – имени в истории не осталось – танцовщицей. И аптекарша, и танцовщица тоже подарили ему по внебрачному сыну... Какая уж тут любовь? Так, разнообразие и успокоение жизни...

Ни одной из трех предыдущих, бывших с ним близко прежде, он не предлагал такого церковного венчания, как предложил теперь пятнадцатилетней девушке, гимназистке.

Истинного, наконец. Под своим уже именем. Не обманного.

Чем же Лера, Валерия Хмельницкая, была для него? Эталонном красоты? Допустимо лишь отчасти, красотою он был окружен всегда. Образ Фанни Лепар – опосредованно, через скульптуру Кановы–Салари – дошел до нас.

Ее лицо, ее тело... Конечно, они совершенны (что не совсем так, по утверждению некоторых мемуаристов и искусствоведов, особенно женщин). Но это, ко времени ссылки в Туркестан, – совершенство прошлого, в мраморе окаменевшая плоть.

Точно так же все современники в один голос утверждают: и красота женом отвергнутой Даши Часовитиной была неоспорима, изысканно блестяща. Это была, по всему судя, опять же – завершенная красота.

* Счастье ее оказалось несбыточным. После грянувшего в октябре переворота и смерти Великого князя в 1919 году работала смотрительницей музея – под таким названием новые власти теперь показывали всем собранные князем коллекции. Она словно сама сделалась странным экспонатом, и на нее главели едва ли не больше, чем на «Купальщицу» Беллоли. Естественно, такое было нежелательно; погнали и оттуда. Нищенкой, в истасканных платьях бродила она по улочкам Ташкента, ночуя в глинобитной, отчего-то ничьей хибарке. Питалась тем, что оставят под самыми дверьми оглядывающиеся в страхе добрые люди. Ходила, опираясь на палку, чего, как известно, не выносят собаки. Одна из них однажды ее укусила и, к несчастью, оказалась бешеной. Так в 1929 к Надежде Александровне Дрейер пришла мучительная смерть.

Поэтому вряд ли и могла с ними – встреченными Великим князем и до, и после нее – соперничать эта розовощекая девушка-девочка, образ пусть и определившийся, однако незавершенный. Но именно этим ожидаемым будущим она и могла увлечь Николая Константиновича, влюбить его в себя. Ведь, по сути, любовь, всего-навсего – обещание. И она могла ему обещать то, чего ждет подсознательно каждый из нас: начало какой-то новой, второй, теперь уже настоящей, а не той, что есть сейчас, жизни. Не завтра, конечно. Но уж послезавтра – всенепременно.

Опала и ссылка, даже и безбедные (200 000 рублей в год от министерства двора) и с почитанием (титул «Ваше Императорское Высочество» был сохранен) суть свою не меняют. Воля – без богатств и почета, воля как самый высший дар Божества человеку – дар иметь свободу выбора – вот то, что виделось Великому князю в этой стройной девушке в шнурованных высоких ботиночках, узковатом легком пальто под пелеринкой и с шелковым бантом, заботливо выпущенным из-под крутленькой черной шляпки, надетой слегка наискосок. Гимназистка. Пятнадцать лет. Рождественская серебристо-искристая снежная сказка, сулящая ту самую жизнь, сбыться которой послезавтра.

Не увлечение, но любовь, стремящаяся разгореться.

VII

Странная это фигура – Ташкентский Великий князь. В прошлое советское время, как, впрочем, и во всякое другое, стремящееся *подтвердить себя* если и не переписыванием истории, то хотя бы оборачиванием фактов к себе лицом, лысоватая его фигура, как будто бы даже слегка поднималась на исторический щит. Ну как же – своего рода диссидент, внутренняя оппозиция царствующему монархическому строю. В 1881-м, несчастном для России году, когда был убит император Александр II, не кто иной, как он, Николай Константинович Романов, сын некогда отдавшего власть Николаю Константину, наследника законного по старшинству*, он, Николай Константинович, пребывая в Оренбурге, грозился надеть все – отобранные! – свои ордена и выйти к народу, чтобы поднять бунт против воцаряющегося Александра III. Однажды он еще раз попробует осуществить нечто очень похожее.

– Больной сумасшедший царь? – скажет перед этим наследующий трон Александр и пожмет плечами. – Что подумают о России?..

* «Как известно, после смерти Николая I в 1855 году престол был занят, вопреки правилу, его старшим сыном Александром Николаевичем, который родился в 1818 году, то есть *до вступления* в 1825 году Николая I на престол – стало быть, *он не являлся* в год своего рождения сыном царствующего лица и не имел права престолонаследия», – Урманов М. Великий князь – изгнанник (Культурные ценности. Cultural Values. 2000–2001): Междунар. ежегодник. Европейский Дом. Санкт-Петербург, 2002. С. 231.

Не эпатаж, а неприятие. Не кощунственная и не банальная кража, а романтическая история, в оправдание которой все средства хороши, – вот лик Николая Константиновича, складываемый историками и общей молвой.

А если к этому образу добавить и дела, им совершенные уже в Ташкенте, дела вроде бы действительно благие? Ну, как же... Благоустроивал город – озеленял, особенно любимыми своими дубами, новые улицы и камнем зашивал их. По его указанию построен первый в Ташкенте водопровод. Набитые низкою публикою зашумели сначала два развлекательных кинотеатра – о высоком искусстве тогда речи не шло, – потом еще три. Карниз одного из них, памятной всем «Летней "Хивы"», выделали из полутора тысяч блестящих стальных клинков, некогда бывших боевыми штыками и шашками. Зато и тихой степенностью наполнились дома для ветеранов-туркестанцев, им тоже построенные, поддерживаемые стотысячным капиталом, выделенным на их ветеранские нужды.

Откуда возникали требуемые деньги? Да вот откуда: «...им был организован базар возле железной дороги. Прежде чем начать торговлю, необходимо было за определенную плату купить квитанцию с надписью "Базар Великого князя в Голодной степи". Вероятно, никто и не вчитывался в это фантастическое словосочетание. Торговцы имели право пользоваться только весами хозяина, выдававшимися из специальной будки. Были установлены следующие «тарифы»: за каждый пуд проданного картофеля с торговца взималась одна копейка, за каждую арбу арбузов или дынь – 30 копеек. Казалось, Его Высочество, умел делать деньги из воздуха.

Доходы от фотографической лавки, квасных будок, бильярдных залов, магазинов, мельниц, «ледоделальной», ткацкой фабрики, заводов рисового, мыловаренного, хлопкоперерабатывающего и прочего суммировались во впечатляющую сумму – полтора миллиона рублей в год»*.

На собственные же Его Высочества денежные средства проложен не один оросительный канал. Самый известный Искандер-арык – в двадцать километров – пролег с правой стороны от реки Чирчик, в той стороне, где на пустующих землях князь поднял новое свое имение с тем же именем – Искандер. Плюс к тому – орошение новыми же каналами знаменитой Голодной степи. Украв славу у одного из них, самого протяженного, с отводом из Сырдарьи, имени деда – Николая I, большевики переименовали его потом в канал революционера Сергея Кирова. Хотя там, где канал начинался, навечным, казалось, каменным паспортом уже была выбита на скале – памятью об утерянном золотом шитье на малиновых портъерах – в несколько человеческих ростов буква «Н», венчаемая *минувшею* его короной.

А еще прежде того он – почетный член Российского Императорского географического общества. Автор почти монографических научных работ: «О выборе кратчайшего направления Среднеазиатской железной дороги», «Аму и Узбой», «Водный путь в Среднюю Азию, указанный Петром Вели-

* Третьякова Л. Изгнанник из рода Романовых.

ким». Руководитель двух исследовательских экспедиций, опять же на его собственные средства, в 1877–1878 годах, исследующих Туркестанский край. Сырдарья и Амударья, Кызылкумы и Каракумы, Гиссарский хребет и горы другие, подчас еще безымянные...

А еще – библиотека в пять тысяч томов.

А еще – личные, все-таки вытребованные и привезенные в Ташкент многочисленные коллекции картин и многого прочего. О них, об этих картинах, восторженно демонстрируя, рассказывают до сих пор. Особенно почему-то о сладчайшей «Купальнице» А. Беллоли, едва ли не самой известной картине Музея искусств. Но это – здесь стоит рискнуть и не согласиться – известность сахара, своим сладким вкусом понятного и доступного всем. Это и вкус Великого князя, и вкус всех тех, кто не имел денег, чтобы купить такое, но – купил бы, если б имел.

А еще – его как будто высокий романтический образ – это все та же *повторенная* Венера с яблоком, из которой время и история ее происхождения в глазах почти всех сделали едва ли не шедевр; слегка приблизили Томазо Салари к гениальности Антонио Кановы, но не смогли превратить Томазо в Антонио.

Отодвинуть бы все прежде усвоенное. Отодвинуть, чтобы увидеть...

Возможно, жестокого человека сомнительной, мягко скажем, морали. Человека, загульно пьющего и небезопасными демонстрациями плюющего на мнение всех. Человека, ворующего, лжесвидетельствующего и берущего грех на душу постоянно повторяющимся обманом поверивших ему.

Или, возможно, – больного, очень больного, неизлечимо больного человека.

«В Туркестане же, а именно в Ташкенте, я в первый раз видел Великого князя Николая Константиновича, старшего сына Великого князя Константина Николаевича. Я видел тогда его сравнительно мельком; он приходил к министру финансов, и меня очень удивляло, что он, с одной стороны, по-видимому, был человек умный, деловой, так как там, в Средней Азии, он делал большие оросительные работы, разводил хлопок, а с другой стороны, было установлено, что Великий князь Николай Константинович находится в ненормальном состоянии...» – так, констатируя факты, напишет небезразличный к счастью дома Романовых граф и председатель Совета министров Сергей Юльевич Витте, знающий толк в людях и ситуациях.

VIII

Всю свою большую жизнь Великий князь из рода Романовых лютою ненавистью ненавидел этот самый свой род. «Собачью кровью» называл его во всеуслышание. Во время нового восшествия на царский престол, на этот раз Николая II, почти предпринял попытку государственного переворота. По родству своих жен-казачек сговорился с казаками оренбургскими, да

еще и уральскими, призвав их под свое начало. Указом же местным собрал под Ташкентом прикочевавших из дальних степей многих казахов. Готов был идти с ними – всем ополчением – на Москву да на Санкт-Петербург, воевать трон.

Не случилось.

Администрация легко уговорила казахов разъехаться по кочевьям. Те и разъехались. Сам же князь получил новую ссылку. Теперь уж в Сибирь, в Читу.

Быть бы этому городу местом смерти Великого князя – болезни не отставали, а местный убивающий климат свалил его окончательно, – но только мучающийся и совестливый Николай II не помнил зла, тем более не совершенного, тем более небезосновательного, тем более – скорее похожего на политическое сумасшествие, а не на тайный заговор.

Вызволит из Сибири, дал возможность лечиться на царской даче в Крыму, в знаменитом Ливадийском дворце. Николаю Константиновичу было предложено даже и остаться тут, остаться насовсем.

Не остался.

Даже и тех, кто пытается покорить Ташкент, рано или поздно, но Ташкент сам покоряет.

К Николаю же II, единственному царю, осталась долгая благодарность.

В 1917 году, узнав, что арестованный Временным правительством русский царь находится в Тобольске и что практически все, ранее присягавшие и царю и трону, отвернулись от него, Николай Константинович, едва ли не единственный, находясь здесь, в Средней Азии, – по прежним масштабам, чуть ли не на иной планете, – пробует организовать подпольную группу из верных офицеров для спасения несчастного Николая. В заговор входят: генерал Л. Л. Кондратович, он должен был возглавить опасное дело, и полковник Генерального штаба П. Г. Корнилов, брат Л. Г. Корнилова, в будущем известного боевого белого генерала. Предполагалось выкрасть Николая II со всею его семьею из сибирского Тобольска, тайно увезти в Туркестанский край – кто б тогда догадался, что следовало бы искать именно здесь, на самом деле вроде бы уже даже и не в России? – а потом легко переправить в иранский Мешхед, с которым имелись некоторые связи.

Не успели.

Последних царственных Романовых перевели в Екатеринбург; темный подвал Ипатьевского дома ждал заключающих драму револьверных и винтовочных выстрелов.

IX

Перед самым храмом, почти уже возле тщательно подметенной паперти, фазтон и наемные дрожки шумно столкнулись.

Нет, князь не сорвался с места, не бросился к дверям, возле которых

одиноким стоял ожидающий – в золоте и белоснежной парче – испуганный и торжественный батюшка. Священник уже успел получить указ генерал-губернатора с запрещением венчать эту пару и теперь стоял в замешательстве – венчание было оплачено.

Великий князь оставался сидеть в своем фазтоне, похоже, даже не прислушиваясь к крикам и плачу разгневанной Лериной матушки. Обнаженная перед церковью, уже лысая голова Великого князя – «с лицом упадка Римской империи» – еще сохраняла красный ободок, оставленный на сухой натянутой коже небольшого костяного его черепа снятым с него цилиндром. Тонкий мизинец узкой левой руки пощелкивал по черному пропыленному шелку.

Даже уже пересаживаясь в догнавшие беглецов легкие дрожки, девушка ожидающе улыбалась, замороженно продолжая смотреть на этот спокойно подергивающийся палец.

Обещающий легкий снег Рождества в тот давний 1900 год так и не выпал.

Х

Прошло около десяти лет... И вот теперь, поддерживая под руки Надежду Александровну Дрейер-Искандер и Дарью Алексеевну Часовитину, Великий князь Николай Константинович Романов невозмутимо вершил прогулочные круги по ташкентскому городскому саду.

Все расступались перед ним. И все раскланивались, стараясь делать это так, чтоб никто другой не заметил.

И только один раз Великий князь неожиданно быстро и резко, почти испуганно, отвел своих женщин далеко в сторону от центра – скрипящей песком – аллеи.

Навстречу ему шел невысокий молодой офицер Насекин с розовощекой, мечтательно улыбающейся молодой женой.

Они разминулись.

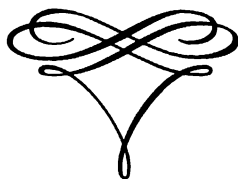
Великий князь был хорошо воспитан и не обернулся. Впрочем, пожалуй, его не устрасил муж, которого – он знал – родственники молодой жены подобрали исключительно из-за личной храбрости и смелого умения защищать жену от кого бы то ни было.

Не обернулся он, может, потому, что ей уже нельзя было дать тех пятнадцати гимназических лет и что она тоже теперь стала удивительно как хороша.

А быть может, сделал он это только из-за того, что не захотел признать себе, что обознался. Ведь ему кто-то однажды докладывал, будто девица Хмельницкая, тотчас после шумного происшествия, была выслана в Тифлис под надзор полиции. И он не стал искать ее больше.

Играл духовой оркестр городских пожарных.

О Рождестве не вспоминал никто. Даже сам Великий князь.



Владимир Магарик

КОГДА ЭТО...

Когда это пьёшь редко, а выпьешь крепко, то возникает (не постепенно, а сразу возникает) психоделическое озарение.

Клава пронесла сквозь дым поднос с фаянсом и стаканами.

Всё, на чём останавливался взгляд, отделялось и приобретало вид значительный. То есть общее-мелкое взгляд как бы оптически обтекал.

Сосед пробежал своим взглядом по следу моего и сказал:

– Клава – плоть! Коня на скаку остановит! Конь, ёмать, остановится на скаку, затормозясь своим плугом.

Что он имел в виду про плоть: что она (Клава) плотная, или что должно оплатить? Однако сказано было без промаха.

Я сам как бы остановился на скаку. Я поочерёдно останавливался взглядом на каждом из своих троих соседей. Четверо на стол минус я получится трое. Напротив высился рыжий-конопатый мужик. Лицо имеет вид значительный, фигура с плечами тоже не менее значительна.

Между мной и ним сидит «свой парень», говоривший раньше про Клаву. Он из тех «своих парней», кто шутики шуткует. С моей другой стороны, напротив «своего парня», сидит, как в инвалидной коляске, прямо и трезво, некто в очках, крупное лицо со значительными молодыми щеками.

– Не умею пить, – сообщает он, повёртывая лоб и щёки то ко мне, то к «своему парню», – могу стошнить. Я – студент.

Рыжий-конопатый отвердел, как будто понюхал собачьего кала, после чего опрокинул в себя стакан. Я же, напротив, ощутил в себе отрезвление.

Владимир Магарик – математик, автор ряда стихотворений и рассказов. Живёт в Израиле.

Этого момента упускать не надо. Боже упаси оборвать его выпивкой-закуской. Переждать! Есть у нас время, есть и терпение дожидаться откровения вещей.

«И он к устам моим приник».

Странно сказал поэт. Отрезвели зеницы (глаза), а приник он к устам. Не соглашусь с поэтом.

Я повернул голову налево поглядеть на «своего парня». Тот хихикнул. Я повернул голову направо.

– Я студент сопромата! – вскричал студент.

– Так это ж другое дело! – с облегчением сказал «свой парень».

Рыжий-конопатый прожевал и плеснул из своей бутылки в стакан на четверть. Как сказано выше, нас было четверо, и у каждого, разумеется, своё.

Студент потёр переносицу указательным пальцем жестом, каким в фильмах шпионы обнаруживают себя в глазах зрителей.

– Шпион! – закричало всё во мне в полный голос. Именно так, и не подходи ко мне с вопросами.

Я постарался не поддаваться панике. Рассуждая здраво, время у меня есть, и работает оно на меня.

Шпионы не ходят поодиночке. За спиной любого шпиона наличествуют, как правило, одна-две «тени» из их спецсопровождения. Следовательно, каждый вокруг, теоретически рассуждая, в высшей степени ненадёжен.

Как бить тревогу? Где наши?!

Остро проявилась нужда в кислороде.

Я очнулся у Клавы в состоянии покоя под её стёганым с цветочками одеялом.

– Как ты выбираешь друзей, Клава? По душе, наверно, а не по физии, иначе бы ты взяла на постой студента.

– По елдаку, – кратко сказала Клава. У моих губ оказался фаянс с травной настойкой.

Елдак – слово татарское. Иное иноземное слово не засоряет наш родной русский язык. Напротив. Например, талдычить – тоже из татарского. Отсюда Талдом. Другой пример – ребёнок. Ясное дело, оно от «реб Енох». Значит, это слово происхождения иудейского. (Не путать с еврейским. Евреи – это новый очень смешанный народ.)

В старину говорили «младенец» или про того, кто постарше, «дитя». Ребёнок – слово слишком гладкое и сладкое, как «мадам», и потому засоряет.

Я прекратил мыслить, так как Клава подошла к кровати, неся для вида другую порцию травной настойки.



В ШИРОКОЙ ДУБРАВЕ

Шёл мальчик по дубраве и свистел.

Тут я должен себя поправить. Мальчик не свистел, а насвистывал. Свистят в свисток, в два пальца и губами. Насвистывают губами или употребляя один из изобретённых для этого инструментов, например флейту. Шагая, мальчик подводил время от времени флейту ко рту и брал дыхание.

Давным-давно, то есть не менее двух сотен лет тому назад, в этой же местности жил один свистун. Был он знаменит повсюду благодаря своему искусству. Он мог, например, вытянуть губы трубочкой, наподобие тапира, на ширину своей (неширокой, кстати) ладони.

Легенды о нём, переходя от дедов к внукам, рассказываются по сей день в глухих углах, где всё ещё бьют родники и настаиваются болотца. Птицы-де замирали на лету, чтоб свистом крыльев не нарушить мелодии. Бабы, идущие под коромыслом, и девки, занятые дойкой скотины, прекращали дела и распрямляли стан. Стада на мягких лугах подгибали колени и млели на разогретых солнцем клеверах. Пастух, бывший спозаранку на ногах, ложился лицом вниз на копну непросохшего и оттого неломкого клеверного сена, чтоб увидеть краткий полудённый невещий сон.

Тем временем его подруга перешла по мостку речушку. Пастух никак не мог очнуться, как она его ни теребила, говоря:

– Поешь, милый, тут лук и хлеб, и питьё холодное. Ой, на чтой-то я села? Кнутовище! Застряло в сене, смотрю.

Чтоб птицам дать время набрать лёт, а пастуху поесть, свистун устраивал в своей игре короткие перерывы. Рассказывая всё это, рассказчик не упускал для убедительности вытягивать губы трубочкой, а слушатели невольно следовали его примеру.

А мальчик шагал себе по дубраве, насвистывая, и лесные певчие птицы, вторя, не передразнивали его, а отзывались каждая по-своему.

Дубы любят расти на просторе и поодиночке. Когда им удаётся разойтись таким образом врозь по всхолмленному склону, подобно толпе прихожан на соборной площади после службы, то говорят: широкая дубрава.

На одном дубу на суку сидел певчий дрозд.

Тропинка, переходя из тени на свет и со света в тень, позволяла дрозду поглядывать на мальчика поочерёдно то одним, то другим глазом. Наконец, дрозд решил себя обнаружить. Он издал вдруг залиvistое коленце. Мальчик остановился, где шёл, в пяти шагах от дерева, на котором на суку сидел дрозд. Он отнял от губ флейту, посмотрел наверх и угадал дрозда среди сплетенья сучьев.

Не смогу сказать, в какой стране случилось всё это – в Германии, Франции или Польше, но не на Севере, где слишком льдисто и поэтому дубы вымерзают.

Случилось же это давненько, ещё до второй мировой войны.

Дрозд заговорил, а мальчик его понял. Дрозд сказал:

– В наших краях мальчишки держат в карманах рогатку, на поясе – пугач, а в руках – лук и стрелы. Ты же уцепился обеими руками за флейту. Ты не такой, как все. Ты совсем другой.

– Да, – грустно отозвался мальчик, – я еврей.

– Ну-ну-ну! – протестующе воскликнул дрозд. – Рогатки я видывал у тех и других! Кроме того, при чём тут флейта?

Мальчик согласился, что флейта ни при чём, но добавил:

– Однако каждый, кто меня видит, тотчас орёт во весь голос, чтоб остальные порадовались вместе с ним: «Подывитесь, панове, у нас ещё один мойше завёлся!» Откуда ему знать, как меня зовут?

Дрозд не стал возражать. Он вообще воздержался от ответа. Следовало не торопясь и не днём обдумать услышанное, ибо дневные часы Творец назначил для дел пропитания, а остальные – для других дел.

С тех пор много воды утекло, а сколько было утопленников! Началась и закончилась полной победой вторая мировая война. В трудное послевоенное время подобные беседы стали немыслимы. Дрозды почти все были выбиты, сварены и съедены, а те, кто вопреки вероятности остались в живых, никого не подпускают к себе и скрываются в листве с быстротой электричества.





Марк Амусин

ГОРОД-ТЕКСТ И ТЕКСТ ГОРОДА

Нет нужды заново распространяться о значении Петербурга для российской истории и культуры. Чуть ли не с самого момента своего возникновения он стал мощным средством кристаллизации общественного сознания России, ее духовной самоидентификации. Но и – испытанием, травмой для этого сознания, раздражающим и болезненным знаком инакости, раздвоенности.

Так оно и пошло дальше. Географическая эксцентричность обернулась для города «ультимативной центральностью» в духовном пространстве страны. Любое движение политической и общественной мысли в России, любое ее культурное направление с необходимостью должно было самоопределиваться по отношению к реальности и идее, к «были и мифу» Петербурга. Нет таких тем и проблем – как российской истории, так и универсальных, всемирно-исторических, – которые не преломлялись бы в петербургской призме.

И сверх того. Петербург возник как город-идея и почти с самого начала стал городом-мифом. Здесь камень и металл впустили в себя слово, срослись с ним в напряженном и мучительном единстве.

Удивительные вещи творятся здесь. Человек, обитающий в Петербурге, расщепляется на «я» и «другого», вступает в соперничество с собственным двойником. Или पुше того, самобытие обретают отдельные его органы и члены, и вот уже среди площадей, мостов и золоченых шпилей наглым вызовом здравому смыслу разгуливает нос. Здесь являются призраки, жи-

Марк Амусин – доктор филологии, литературовед, автор двух книг и десятков статей по проблемам русской и мировой литературы. Живет в Израиле.

вают статуи, отвлеченно-экстравагантные теории подчиняют себе человека и влекут его к топору или адской машинке...

Ах да, все это происходит не столько в городе, сколько на страницах книг о нем. Что делать – в бытийном пространстве Петербурга история, поэзия, психология, миф слились, сплывались до полной неразделимости. А главное – литературный Петербург, возникший на страницах корпуса книг, посвященных ему, стал мощно воздействовать на мировосприятие и «чувство жизни» своих реальных обитателей, на их характеры и судьбы, на собственную судьбу. Как писал Ю. Лотман, «Город [Петербург] оказывается причиной и создателем своей истории, мифологии, литературы и одновременно их следствием и сознанием».

Странное случается не только в книгах, трактующих тему Города, но и с самими этими книгами. Замечено, что произведения русской литературы, в которых Петербург – не просто фон, обозначенное место действия, но самобытное начало, активно влияющее на «план содержания», складываются в особую общность, в связный и продолжающийся Петербургский текст (в дальнейшем – П. текст), или «некий синтетический свертхтекст, с которым связываются высшие смыслы и цели», по словам известного исследователя этой темы В. Н. Топорова.

Еще в первые десятилетия XIX века возникает эта традиция – повышенно экспрессивного отображения в литературе образа Петербурга и связанных с ним духовно-исторических ореолов. Заложена она была прозаическими опусами Пушкина – «Уединенный домик на Васильевском», «Пиковая дама» – и, конечно же, поэмой «Медный всадник», задавшей на век вперед основные линии художественного осмысления феномена Петербурга. Мотивы сопоставления Петербурга и Москвы, борьбы природной стихии с рукотворным началом (Хаоса с Космосом), трагического несовпадения частной жизни с державно-государственными интересами и целями, рефлексия об образе Петра и его роли в российской истории, фантазмагорический колорит, от которого Петербургу уже никогда не избавиться, – все это впервые оформляется в поэме Пушкина.

Многие из этих мотивов нашли совершенно оригинальное продолжение в творчестве Гоголя – в его петербургских повестях и фельетонах 30-х годов. Позже они были развиты, обогащены в произведениях Лермонтова и В. Одоевского, Белинского и Герцена, Ап. Григорьева и Некрасова, Достоевского и Крестовского и многих других авторов. Именно «петербургским» произведениям особенно присуще это свойство: подхват образов, тем и мотивов, перенос их из одного опуса в другой, не просто сквозное цитирование, но напряженное вслушивание, «вмысливание» авторов в найденное и сказанное предшественниками.

До сих пор, однако, исследователи не обращали достаточное внимание на характерную особенность многих произведений, образующих П. текст. Еще со времен Пушкина и Гоголя их авторы часто делятся с читателем своими размышлениями о композиционном строении, о способах ведения

повествования, о выборе стилевой манеры, о разных вариантах развития сюжета (достаточно вспомнить соответствующие места в «Евгении Онегине» или «Домике в Коломне»). Иными словами, автор тут занят творческой саморефлексией, сознательно разрушает иллюзию «взаправдашности» изображаемого, подчеркивает искусственность, сочиненность текста. А рядом с этим присутствуют сложные композиционные и повествовательные конструкции (рамочные структуры, «текст в тексте»), превращающие произведение в совокупность разных планов и уровней приближения к реальности. Зачастую размываются границы между сном и явью, воображаемым и действительным («Пиковая дама», «Гробовщик» у Пушкина, «Невский проспект», «Портрет» у Гоголя), а в конечном итоге ставится под сомнение грань, разделяющая литературную и внелитературную реальность.

Пользуясь понятийным аппаратом современного литературоведения, скажем, что подобные ходы и приемы лежат в русле «метафикциональной» стратегии. В дальнейшем они получают развитие у Достоевского и других авторов П. текста – в особенности с появлением на культурной авансцене символистов, поэтов и прозаиков «серебряного века». В их творчестве П. текст XIX в. получает статус «второй действительности», отображаемой наряду с собственно реалиями городской жизни и истории. Петербургская классика становится, по существу, темой для символистских произведений – явление новое в истории литературы. Особенно показателен тут, конечно, роман Андрея Белого «Петербург».

В послереволюционный, советский период культурная традиция, унаследованная от прошлого века, беднела, засыхала. Однако все совершалось не линейно и не одномоментно. Революционный катаклизм и последовавшая за ним ломка жизненного уклада, тягчайшие житейские и духовные испытания привели к сильному, хотя и недолговечному всплеску апокалиптической риторики и пафоса, характерных для классического периода (Е. Замятин, Б. Пильняк). Да и позже, в 20-е – начале 30-х годов «энергетический импульс», заданный традицией П. текста, проявлялся в произведениях самых разных авторов. О. Форш в мемуарном романе «Сумасшедший корабль» изображает фантазмагорический «безбытный быт» и напряженные духовные поиски петербургской интеллигенции в замерзающем и голодном Петрограде 1921 года в перспективе апокалиптического скачка в иное жизненное измерение, как грандиозную метаморфозу бытия.

Интересно, что как раз в это время особенно отчетливо начинает проступать метафикциональная направленность литературы, инспирированной «былью и мифом» Петербурга–Ленинграда. Это ощутимо, например, в первом сборнике новелл юного В. Каверина «Мастера и подмастерья». Правда, действие лишь одной из них – «Инженер Шварц» – разворачивается в петроградских декорациях, поэтому отнести сборник в строгом смысле слова к корпусу П. текста нельзя. Не будем, однако, забывать, что литературное и человеческое созревание Каверина проходило в Петербур-

ге–Петрограде–Ленинграде, во время, насыщенное самыми катастрофическими и судьбоносными событиями.

В своих рассказах Каверин увлеченно экспериментирует с разными формами отношений «действительность–текст» и «автор–материал». Литературное пространство населено здесь зеркальными отражениями, двойниками, куклами и кукловодами, тенями. Здесь ведется игра с голосом и ролью автора – всеведущего демиурга и одновременно повествователя от первого лица, который сам участвует в изображаемых событиях. Здесь присутствуют рамочные или «матрешечные» повествовательные конструкции, здесь литературные персонажи спрыгивают с книжных страниц в реальную жизнь, и с легкостью происходят обратные превращения.

Весьма своеобразно переплетается петербургский колорит с метафизическими мотивами и ходами в поэтической прозе Мандельштама. «Египетская марка» – интересное и крайне эксцентричное развитие мотивов П. текста. Здесь хрупкая лодка едва намеченного сюжета вдребезги разбивается при столкновении со скалой города. Петербург стремительно вытесняет собой «попытку романа» с канонической завязкой, движением фабулы, психологическими характеристиками и логикой поступков. Парнок, герой повествования, аттестуется как прямое порождение Петербурга: «Парнок был человеком Каменноостровского проспекта – одной из самых легких и безответственных улиц Петербурга».

«Египетская марка» – мозаика разных цветов и разных материалов. Скрепляет ее воедино опять же лишь музыкальная тема, лейтмотив Петербурга, к которой постепенно присоединяется мотив писания, сочинения, становящийся постепенно все более звучным. В конце опуса мотив слияния Петербурга и текста становится доминантным, форсируя, одновременно, тему несовместимости обычной, нормальной жизни с этим диковинным симбиозом книги и города: «В тот вечер Парнок не вернулся домой обедать... Он получил обратно все улицы и площади Петербурга – в виде сырых корректурных гранок, верстал проспекты, брошюровал сады... Он думал, что Петербург – его детская болезнь и что стоит лишь очухаться, очнуться – и наваждение рассыплется: он выздоровеет, станет как все люди; пожалуй, женится даже...».

Самой яркой манифестацией П. текста в литературе раннесоветского периода стало творчество Константина Вагинова, «стихи и проза которого представляют своего рода отходную по Петербургу, как бы уже по сю сторону столетнего П. текста» (В. Н. Топоров).

Образ Петербурга–Ленинграда активнейшим образом присутствует в романах Вагинова «Козлиная песнь» и «Труды и дни Свистонова». И вместе с тем тексты Вагинова отмечены острой литературной саморефлексией, размышлениями о бытийном, онтологическом соперничестве литературы с жизненной реальностью. В особенности «Труды и дни Свистонова» – роман о том, как пишется роман, о добыче исходного сырья, о технологии обработки жизненного материала и последующем монтаже. И одновременно –

о таинственных соотношениях литературы и жизни, о магической природе текста, способного воздействовать на реальность и даже «поглощать» ее.

В романе возникает метафора сообщающихся сосудов: чем выше степень эстетической воплощенности «литературного факта» в художественном тексте, тем более обескровленным предстает его прототип в действительности. Происходит обогащение одного бытийного пространства за счет «умерщвления» другого. В конечном итоге соотношение жизни и литературы обретает у Вагинова метафизический характер. Литература рассматривается как некий субститут загробной жизни («литература по-настоящему и есть загробное существование»), бессмертия, а творческая активность писателя – как заселение «иного» мира, повышение его онтологического статуса за счет мира реального.

Особо нужно говорить об ахматовской «Поэме без героя». Это проникновенный реквием по Петербургу 10-х годов, по ушедшей в небытие культуре «серебряного века». Но и много более того. Текст поэмы, насыщенный бесчисленными литературными и общекультурными аллюзиями, его уникальная композиция и повествовательная структура в тени Петербурга–Ленинграда превращают произведение в генератор, порождающий все новые смыслы и интерпретации, практически – в литературный «вечный двигатель».

В последующие десятилетия отблески петербургского текста/мифа, казалось, окончательно растворились в соцреалистических сумерках.

Но вот на рубеже 50–60-х годов, в типично петербургскую общественно-политическую погоду, когда оттепель сменялась заморозками, а слякоть переходила в опасный гололед, в Ленинграде стала складываться одна из первых неформальных общностей в российской литературе послевоенного периода – ленинградская школа прозаиков (А. Битов, Б. Вахтин, С. Вольф, Р. Грачев, М. Данини, С. Довлатов, И. Ефимов, В. Марамзин, И. Петкевич, В. Попов, Г. Шеф и др.). Это замкнутое в себе из-за крайне неблагоприятных внешних обстоятельств литературное течение еще только становится предметом исследования. Прозаики ленинградской школы, даты рождения которых приходятся почти исключительно на 30-е годы, – во многом потерянное (читателями и критиками) поколение.

Прозаики ленинградской школы, разумеется, ощущали и сознавали, что пребывают в сфере действия мощной семантической и стилиевой традиции П. текста (хотя и не пользовались этим понятием), и должны были самоопределиваться по отношению к ней.

Надо сказать, что потаенные культурные смыслы и мифологические аллюзии были в ту пору не слишком актуальны для входивших в силу молодых ленинградских авторов. 60-е годы стали в истории российской общественной жизни периодом возрождения индивидуальности, веры в ее суверенность и самодостаточную ценность. Конкретная судьба, уникальное в своей однократности жизненное событие, экзистенциально окрашенный поступок – все это выводилось из-под знака всеобщности, детерми-

нистской обусловленности, будь ее природа социальной или метафизической. В кругу прозаиков ленинградской школы особо ценились тогда скупая достоверность эмоции, выверенность и выразительность лексики, отточенность литературного жеста, а не глобализм философского или метафорического освоения реальности.

Несмотря на это, прямые или опосредованные реминисценции П. текста присутствуют в их произведениях – и иногда в очень своеобразных ракурсах. Об этом и пойдет дальше речь в этой статье.

Начнем с прозы С. Довлатова. До эмиграции в 1978 году Довлатов считался в своем кругу не только ярким автором новой ленинградской прозы, но и чуть ли не необходимой принадлежностью городского пейзажа. В статье, посвященной его памяти, И. Бродский писал: «Мне же он всегда смутно напоминал императора Петра – хотя лицо его начисто было лишено Петровской кошачести, – ибо перспективы родного города (как мне представлялось) хранят память об этой неугомонной шагающей версте, и кто-то должен время от времени заполнять оставленный ею в воздухе вакуум».

Несмотря на такую репрезентативность фигуры и личности Довлатова, в прозе его не так много прямых обращений к теме Петербурга–Ленинграда. Эмоциональное отношение к городу этого – несомненно, очень петербургского по своему духовному складу писателя – пропущено через фильтр трезвой и едкой рефлексии. Довлатов иронически относится к трафаретно-восторженным, благоговейным описаниям-оценкам прославленных городских топосов. Как правило, он погружает петербургские реалии в остраивающий, снижающий контекст: «Я был в ту пору студентом Ленинградского университета. Корпуса университета находились в старинной части города. Сочетание воды и камня порождает здесь величественную атмосферу. В подобной обстановке трудно быть лентяем, но мне это удавалось». Или: «Жил я на улице Зодчего Росси. Ее длина – 340 метров, а ширина и высота зданий – 34 метра. Впрочем, это не имеет значения. Два близлежащих театра и хореографическая школа формируют стиль этой улицы. Подобно тому, как стиль улицы Чкалова формируют два гастронома и отделение милиции...».

Герой Довлатова назначает свидание с фарцовщиком «около бездействующего фонтана перед гостиницей "Астория"», закупает спиртное в гастрономе на Таврической (в том самом доме, где помещалась знаменитая «Башня» Вячеслава Иванова), снимается у здания Кунсткамеры в абсурдистском любительском фильме. Преобладающая установка здесь – дезиллюзионизм. Интонация и лексика повествования призваны внушить читателю: физическое обветшание города, его невзрачность, его населенность людьми озлобившимися, одичавшими, утратившими всякие моральные ориентиры, – все это отражает закат Петербургского мифа. Символы, смыслы улетучились из этих ансамблей и перспектив, которые теперь вполне равны себе, свободны от метафизической нагрузки.

Не щадит Довлатов и стилевую парадигму П. текста: «Шел дождь, и я подумал: вот она, петербургская литературная традиция. Вся эта хваленая

"школа" есть сплошное описание дурной погоды. Весь "матовый блеск ее стили" – асфальт после дождя...».

В то же время в повести «Зона» мысли и воспоминания о Ленинграде становятся для протагониста – охранника в лагере – островками света и смысла среди тусклого кошмара лагерного существования: «Хорошо на свободе! Вот демобилизуюсь и буду часами гулять по улицам. Зайду в кафе на Марата. Покурю на скамейке возле здания Думы». Настаивает Довлатов и на некой мистической связи своей судьбы с петербургско-ленинградским антуражем. Вот как в повести «Филиал» изображается его знакомство с «первой любовью»: «Я протянул руку, назвал свое имя. Она сказала "Тася"».

И тотчас же выстрелила знаменитая ленинградская пушка. Как будто прозвучал невидимый восклицательный знак. Или заработал таинственный хронометр.

Так началась моя погибель».

Характерный пример отношения Довлатова к эмблематике петербургской истории и центральным мотивам П. текста – рассказ «Шоферские перчатки». Герою-рассказчику предлагают сняться в любительском кинофильме в роли Петра I. Фильм задуман как сатирическое ревю советской жизни. Основатель Петербурга попадает в современный Ленинград – со всеми вытекающими отсюда казусно-абсурдистскими последствиями: «Милиционер грозит ему штрафом. Двое алкашей предлагают скинуться на троих. Фарцовщики хотят купить у царя ботинки. Чувики принимают его за богато-иностранца... Короче, всюду пьянство и бардак. Царь в ужасе кричит – что я наделал?! Зачем основал этот блядский город?!».

Финал рассказа гротескно-драматичен. Намаевшись за время съемок, герой, по-прежнему в костюме императора, пристраивается к очереди у пивного ларька. В какой-то момент он и впрямь начинает ощущать себя посланцем той силы, которая заложила и возвела на пустом месте город – и обездолила многие поколения его обитателей.

Однако появление легендарной фигуры в очереди за пивом не вызывает у алчущих никаких эмоций: «Двое или трое мужчин посмотрели на меня без всякого любопытства. Остальные меня просто не заметили... Слышу, железнодорожник кому-то объясняет:

– Я стою за лысым. Царь за мной. А ты уж будешь за царем...».

Довлатов и здесь остается верен своей дезиллюзионистской, демистифицирующей установке, согласно которой образы, парадигмы, символы старой культуры и классической литературы не «работают» в условиях советской постистории. Столкновение жизненной прозы с олицетворенным Петербургским мифом не высекает искр контакта или конфликта. Абсурдный акт явления Петра народу тонет в болоте равнодушия, всеобщей привычности к тотальному абсурду советской жизни.

Однако о степени близости (или удаленности) прозы С. Довлатова к П. тексту следует судить не только по прямым аллюзиям и упоминаниям значимых городских реалий.

В прозе Довлатова очень выразительно явлены специфические черты существования «на краю»: в сумеречном (или лихорадочно обостренном) состоянии тоски, разлада с окружающим миром, безжалостной саморефлексии и потаенного упования на преображение жизни, которое типично для многих произведений П. текста, для преобладающей его тональности. Драматическое переживание героем Довлатова собственного несовершенства, его лихорадочные, сумбурные блуждания по городу в попытке уйти от проклятых вопросов, утопить в вине и забвении чувство вины и ужас перед глобальным катастрофизмом бытия – все это парадоксальным образом сближает его с философствующими, идеологически ангажированными персонажами Достоевского и Белого. А также свидетельствует о прочной укорененности автора в почве (или асфальте?) П. текста.

В. Марамзин в своих миниатюрах из цикла «Короткие рассказы» изображает повседневную ленинградскую жизнь в странных, гротескных ракурсах, выявляя ее нелепость, разрыв между внешней упорядоченностью и глубинным абсурдизмом. Здесь возникает мир перевернутых или кривозеркальных отражений, непохожих двойников, распадающихся коммуникаций, бессмысленных установлений: «В этой закуской есть умывальник. Я сделал вид, что буду обедать, вымыл руки и вытер вафельным полотенцем. Потом я направился в туалет.

– Нет, – сказали мне тут. – Вы сначала, пожалуйста, пообедайте.

Я остановился.

– Безобразие, – ответил за меня мужчина. – А если я желаю в обратной последовательности?

– У нас такой уж порядок».

В стилистике, интонациях этих рассказов ощутимо влияние гоголевских фантазмагорических видений, сочетающееся с актуально-сатирическими интенциями автора: «Послушайте! Да не может же быть! Я недавно проходил тут мимо. Исчез памятник! Пьедестал на месте, а статуи как не бывало. Очевидно, она находится в капитальном ремонте. Или ее увеличивают в размерах. Может быть, ей не хватило масштабности».

Важное место занимала петербургско-ленинградская тема в творчестве Б. Вахтина, одного из лидеров молодой ленинградской прозы 60-х годов, организатора группы «Горожане». Особенно интересна в этом плане его ранняя трилогия «Три повести с тремя эпилогами». Повести, образующие трилогию, – «Летчик Тютчев, испытатель», «Ванька Каин» и «Абакасов – удивленные глаза». Связаны они между собой лишь местом действия – Ленинградом да несколькими сквозными персонажами.

«Летчик Тютчев» – экспрессивный, почти гротескный эскиз городской жизни с ее элементарной ячейкой – многоэтажным домом и примыкающим к нему двором. Здесь воссоздается густая атмосфера тесного коллективного житья/бытия – фундамента советской цивилизации 30–60-х годов.

Дом и двор автор населил множеством людей, представляющих самые различные слои и типы горожан. Этот человеческий мир предстает у Вах-

тина органической целостностью, почти семьей, в которой родовое сходство преобладает над индивидуальными особенностями ее членов.

Обитатели дома/двора являют собой, по мысли автора, модель России в миниатюре, символизируют ее роевую стихию. Главный же герой повести, Федор Иванович Тютчев (отметим форсированную знаковость этого имени), богатырь, покоритель небес, поборник справедливости, выступает олицетворением идеализированных свойств национального характера. Тютчев, харизматическая личность этого топоса, является гарантом единства и внутренней устойчивости сообщества, живущего по неписанным правилам коммуналистского быта и этики.

Во второй повести трилогии, «Ванька Каин», отчетливее выступает социально-историческая концепция Вахтина, уточняется и место города в ней. Здесь история жизни, любви и гибели заглавного героя, предводителя местной шпаны, «рядовых беспорядка и бунта», разворачивается на значимом мифосимволическом фоне. И снова в центре – образ дома, но его архетипическая природа обозначается более рельефно, определяя тональность и смысл рассказываемой истории: «У серого дома в Упраздненном переулке четыре стены и крыша нараспашку. Я задираю голову, как у парикмахера для бритья, и смотрю. Над домом клубится пар и сгущается великанами: прежде всего Ванькой Каином, затем стюардессой Марией, старым скульптором Щемилковым, смелым евреем Борькой Псевдонимом, Стеллой, профессорской дочкой.

Это все великаны.

Это наш дом в Упраздненном переулке».

Фигура героя с самого начала помещена в контекст большого города с его отчуждающим, атомизирующим силовым полем: «В городе – ни в каком – нет отчества; не обнаруживается...

Вместо него в городе у людей общество и вроде одинаковое отчество.

Дома квартировичи.

Тут забота не о родной земле, а о родном асфальте.

В городе родился – отгородился.

В городе-коконе, в городе-наркотике, кокаине, окаянном. Тут и место для Каина».

Ванька Каин – воплощение мятежного, разрушительного «пропащего» начала русского национального характера, как бы негатив сущностной матрицы, явленной фигурой летчика Тютчева. Здесь мощь, удаль и размах лишены цели и смысла, срываются в пропасть разрушения и самоуничтожения. Любая статика, любая законченная, определенная жизненная роль не по росту и не по нраву герою. Вместе с тем Каину присущи жестокость, равнодушие и презрение к окружающим его людям, в том числе и к ближайшим друзьям. Больше того, с его образом связывается мотив предательства, провокации.

Вахтин всячески форсирует символический аспект повествования. Так, в повести возникает, естественно, аллюзия на библейский сюжет о Каине-

первоубийце. Герой вступает по ходу действия в конфликт с Молчаливым пилотом – приятелем летчика Тютчева из предыдущей повести. Их соперничество из-за женщины заканчивается тем, что Ванька пытается убить «Авеля». Эта сцена, кульминационная в повести, разворачивается на скупом обозначенном, но, несомненно, «петербургском» фоне: «Луна взошла и осветила крыши, блеснула на проводах, подернула лужи льдом.

По пустынным улицам шагал Молчаливый пилот, направляясь к Упраздненному переулку, а оттуда навстречу ему из темноты вышел Каин.

Тихо было в городе в эту ночь – позвякивали стекла в окнах наверху, всплескивала вода в каналах, пошаркивали шаги».

Эта пушкинско-достоевская реминисценция (ср. в «Пиковой даме» сцену явления Германну призрака графини: «...кто-то ходил, тихо шаркая туфлями... С этими словами она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями»). С другой стороны, в этом сюжетном повороте явно просвечивает коллизия («Идиота») – не единственная в повести отсылка к классическому корпусу П. текста. Пронизывающие ее мотивы преступления и провокации напоминают глухо о «Петербурге» Белого, а сцены прохода Каина в сопровождении его сподвижников по городским улицам вызывают ассоциации с «Двенадцатью» Блока – тем более что в одном из эпизодов друг Каина говорит о нем, как о святом, да и пожар ближе к концу повести герою доведется раздуть.

Заключительная часть трилогии, «Абакасов – удивленные глаза», особенно четко выявляет в себе качества «петербургской повести». Зачин повествования таков: «И вот из тютчевского двора и каинского переулка нашего великого города я выхожу наконец на улицу, а на улице светло и пусто, как на тихом озере. В одном конце этой улицы площадь, на площади колонна, а на колонне падает ангел – падает, падает и не может упасть, потому что ему не дано. И вдоль улицы навстречу мне идет человек с запрокинутой головой... Здравствуйте, Абакасов!».

Площадь, конечно, – Дворцовая, улица – Халтурина, бывшая Миллионная. Герой повести Абакасов – физически хрупкий и психологически ранимый молодой человек, воспитанный в среде – осколке старой петербургско-дворянской культуры, бабушками и тетусками, случайно уцелевшими в мясорубках истории. Драма Абакасова – в изначальном его несопадении с жизненной нормой, естественной и пошлой. Он выбирает для себя трудный и одинокий путь служения идеалу – правда, туманному, не вполне ясному самому герою.

И снова – вполне очевидны переклички с Достоевским. Абакасов напоминает одновременно и «мечтателя» из «Белых ночей», и князя Мышкина. Вахтин, вполне в духе П. текста, прослеживает глубинную связь между характером, участью героя – и «идеобразом» города, в котором он живет. Абакасов, с его горделивой осанкой и трудной судьбой, предстает неким духовным двойником, «дублером» Петербурга. Он так же «антиестественен», его устремленность к высокой, но неясной цели в будущем перекликается с те-

леологичностью Петербурга. Мотив хрупкой стойкости, сопротивления природно-чувственному хаосу, постоянно сопутствующий образу героя, находится в прямом соответствии с идеей, историей и обликом Петербурга.

Многозначителен финал повести. Встреча с «незаконнорожденным» сыном, плодом пропущенной, неоцененной любви, открывает герою недо- воплощенность, непроявленность его существования-ожидания. И реакцией Абакасова на эту кризисную ситуацию становится поступок экстравагантный и необъяснимый с позиций здравого смысла: «Ранним прекрасным утром, когда мир еще спит всем миром, на улицу вышел Абакасов, неся под мышкой длинный, как мачта, предмет... Сверху вниз глядели черные атланты Зимнего дворца, обремененные ношей, смотрели укоризненно на человека необремененного... Неуклонно, подняв голову, вышел Абакасов на пустынную площадь и там поставил свою мачту, развернул намотанное на нее знамя и побежал вперед, неся его над головой, как парус... Пал ангел с колонны под тяжестью креста и смотрел, как по растрескавшейся площади, бескрайней, как Тихий океан, как полушарие Земли, бежит со знаменем в руках маленький Абакасов».

Этот гротескный акт экзистенциального самоутверждения не случайно совершается в самом центре города – топографическом и символическом. Герой словно сливается, совпадает с окружающей его «второй природой», растворяется в ней. И одновременно приобщается к реально-мифологической судьбе города, принимает на себя «бремя атлантов».

...Но самый звучный и своеобразный резонанс на тему города и его литературных отображений возникает в произведениях Андрея Битова, в первую очередь – в его романе «Пушкинский дом». Роман этот, подлинный *opus magnum* школы ленинградских прозаиков 60–70-х, многослоен и разнонаправлен, может прочитываться на разных уровнях и под разными углами зрения. Здесь речь пойдет только о петербургско-ленинградском контексте произведения.

С самого начала Битов разбрасывает по тексту маркеры, «флажки», призванные вызвать у читателя ощущение «дежа-вю», ощущение контакта с реальностью насквозь олитературенной, прирученной словом. В прологе романа с демонстративной обстоятельностью перечисляются традиционные и семиотически значимые приметы петербургской погоды: расплывчатое и хмурое петербургское утро, сильный дождь, барабнящий по «взбухшей, студенистой Неве», внезапно налетающий на город ветер.

Ветер этот (обращающий память читателя к аналогичному образу в пушкинском «Медном всаднике», блоковских «Двенадцати» и «Поэме без героя» Ахматовой и гротескным образом наделенный чертами персонажа романтической литературы – «...Ветер мчался дальше, как вор, и плащ его развевался») проносится по «революционному» маршруту, маркируя хрестоматийные события из учебника истории: «парадная площадь», «революционная подворотня», «легендарный крейсер»... Одновременно этот маршрут захватывает и место действия кульминационной сцены романа – дуэли

и мнимой гибели Левы Одоевцева, как бы включая его частную судьбу в широкий исторический контекст.

Однако дальше по ходу действия происходит как будто обман читательских ожиданий. Заявленный особый, петербургско-ленинградский характер романа не реализуется. Эмблематичные городские локусы скорее перечисляются, чем изображаются. Существенные семантические гнезда, традиционно связывающиеся в литературной традиции с образом города, остаются в «Пушкинском доме» пустыми: ни размышлений о возникновении города и его влиянии на судьбы России, ни провиденциальных или апокалиптических мотивов здесь не найдешь.

Битов, как и Довлатов, фиксирует распад связей между историко-литературным образом города и профанной, вульгарной современностью. Этот подход весьма наглядно реализуется в снижающем обыгрывании некоторых образных и фабульных моментов «Медного всадника». Вот во время полубредовой прогулки с Митишатьевым по ночному городу Лева Одоевцев взбирается на «адмиралтейского льва», уподобляясь пушкинскому Евгению. За этим следует бегство приятелей от милиционера – пародийная версия погони Медного всадника за Евгением. В самом конце романа, в одном из эпилогов, Битов изображает своего героя на фоне разыгравшегося наводнения, придавая этой картине особый, иронико-катастрофический колорит.

Но Битов идет дальше Довлатова. Уже на первой странице пролога возникает мотив пустоты, мертвенности Петербурга–Ленинграда в сочетании с метафорой города как закодированного текста, шифр к которому утрачен: «И действительно, утро 8 ноября 196... года... размышалось над вымершим городом и аморфно оплывало тяжелыми языками старых петербургских домов, словно дома эти были написаны разбавленными чернилами, бледнеющими по мере рассвета. И пока утро дописывало это письмо, адресованное когда-то Петром "назло надменному соседу", а теперь никому уже не адресованное и никого ни в чем не упрекающее, ничего не просящее, – на город упал ветер».

Мотив этот Битов очень последовательно проводит на протяжении всего романа. Он создает ощущение надвременности бытия города, его изолированности от актуального потока событий, от мельтешения повседневной жизни. Ближе к концу романа все сильнее звучат мотивы метафизической пустоты города, несовпадения его «вечного» архитектурно-культурного архетипа с современным, профанным изводом: «...памятников вдруг стало много, от скорости они выстраивались почти что в ряд, плечом, что ли, к плечу; город был светел, бесшумен за окном, пространен и прозрачен – покинут...». Петербург и его сегодняшние обитатели-ленинградцы пребывают в разных бытийных измерениях.

Кульминации эта линия достигает в монологе Левы (неотличимом в этот момент от автора) – признании в любви, обращенном к Петербургу: «Господи, господи! что за город!.. какая холодная блестящая шутка! Непереносимо! но я ему принадлежу... весь. Он никому уже не принадлежит, да

и принадлежал ли? сколько людей – и какие это были люди! – пытались приобщить его к себе, себя к нему – и лишь раздвигали пропасть между градом и Евгением, к нему не приближаясь, лишь от себя удаляясь, разлучаясь с самим собой... Вот этот золотистый холод побежал по спине – таков Петербург. Бледное серебряное небо, осеннее золото шпилей, червлёная старинная вода – тяжесть, которой придавлен за уголок, чтобы не улетел, легкий вымпел грубого Петра... Золотой Петербург! именно золотой – не серый, не голубой, не чёрный и не серебряный – зо-ло-той!..».

Избегая традиционных для П. текста провиденциальных, телеологических, социально-аналитических, мистических истолкований сущности города, Битов создает свой собственный, *постфиналистский* миф Петербурга. Именно здесь пролегает неочевидная связь образа города в романе со всем корпусом досоветской российской культуры, в рамках которой Петербург был поистине системообразующим элементом. Культура эта (включая классическую литературу) объявляется в романе, устами Одоевцева-деда, принципиально непонятной и чужеродной для новой эпохи. Она становится «памятником», предметом культового поклонения – сфинксом.

Но есть и еще одна грань, которой «Пушкинский дом» сообщается с традицией П. текста. И это – та самая линия острой саморефлексии текста, «метафикциональности», которой отмечена досоветская и раннесоветского периода литература о Петербурге.

Битов с самого начала отказывается от конвенции, предполагающей доверие читателя к «взаправдашности» изображаемого. Он подчеркивает сделанность, сочиненность текста – со всеми его событиями, персонажами, сюжетными ходами. Он декларирует его литературную природу, его сугубую вымышленность.

Присутствие автора не только не скрывается, но всячески подчеркивается с самого начала повествования, так же как и установки, которыми он намерен руководствоваться в своей работе: «Мы склонны в этой повести, под сводами Пушкинского дома, следовать освященным музейным традициям, не опасаясь перекличек и повторений, – наоборот, всячески приветствуя их, как бы даже радуясь нашей внутренней несамостоятельности... Итак, мы воссоздаем современное несуществование героя, этот неуловимый эфир, который почти соответствует ныне самой тайне материи... Уповая на такой эффект, рассчитывая на неизбежное сотрудничество и соавторство времени и среды, мы многое, по-видимому, не станем выписывать в деталях и подробностях, считая, что все это вещи взаимноизвестные, из опыта автора и читателя».

Текст романа полнится комментариями и отступлениями общепило-софского и литературно-технологического свойства, рассуждениями автора о природе типического, о степенях достоверности литературного изображения, о трудностях выстраивания сюжета, о проблемах соотношения авторского времени с временем героев, временем литературного осуществления их судеб... Короче говоря, Битов в своем романе использует изрядно

позабытую с 20-х годов в советской литературе парадигму «писания о писании», литературного текста, размышляющего по поводу самого себя, анализирующего процесс собственного создания, правила и закономерности своего построения.

Автор постоянно вмешивается в повествование, изменяет уже намеченные его контуры, предлагает альтернативные сюжетные ходы. Эта демонстративная преобразующая активность автора-демиурга проходит в романе под рубрикой «версия и вариант».

По мере приближения к финалу Битов все более изощряет и заостряет свою игру с планами текста и реальности. Возвращаясь к ситуации мнимой гибели Левы Одоевцева, уже описанной подробно в «Прологе», Битов формирует мысль о сближении, слиянии времени автора и времени героя. Смерть героя – вот подлинный финал романного текста, каким ему надлежит быть. Смерть эта оказалась фиктивной, Лева просто очнулся после тяжелого похмельного сна – но продолжение его существования после естественного и нормативного литературного «конца» создает, по Битову, парадоксальную ситуацию: *«Итак, Лева-человек очнулся, Лева – литературный герой погиб. Дальнейшее есть реальное существование Левы и загробное – героя... Я не хочу никого задеть, но здесь очевидно проступает (на опыте моего героя), что живая жизнь куда менее реальна, чем жизнь литературного героя, куда менее закономерна, осмысленна и полна... И это весьма бредовая наша рабочая гипотеза для дальнейшего повествования, что наша жизнь есть теневая, загробная жизнь литературных героев, когда закрыта книга».*

Период этот, между прочим, является довольно точным отображением рассуждений К. Вагинова в романе «Труды и дни Свистонова» о статусе литературы, о ее соперничестве с жизненной реальностью за онтологический приоритет. Я вовсе не хочу сказать, что, работая над финалом «Пушкинского дома», Битов постоянно сверялся с прозой Вагинова. Просто под сводами романа-музея, «петербургско-ленинградского» романа автор словно по какой-то необходимости задумывается об «онтологии текста», о свободном перетекании текста в действительность и, наоборот, – о невозможности определить, что первично и что порождает что. В фокусе внимания оказываются магия и парадоксы линии раздела, невидимой, прозрачной стены, к которой можно лишь бесконечно приближаться, в духе знаменитой и безнадёжной апории об Ахиллесе, догоняющем черепаху.

...Так чем же объяснить это явно не случайное, захватывающее разные эпохи тяготение петербургско-ленинградских текстов к саморефлексии, к нарушению привычной оптики и логики повествования, к бесконечным размышлениям о соотношениях жизни и искусства?

Подобное свойство П. текста связано, очевидно, с базовым мифом «умышленности» Петербурга, с восприятием его как артефакта. В такой смысловой перспективе город уподобляется произведению искусства, чаще всего – литературному тексту. Вся же органика городской жизни, с бы-

том, судьбами и чаяниями обитателей Петербурга, возникает уже на этой творчески пресуществленной почве. Нормальные отношения между природой и культурой, текстом и не-текстом, волей и воображением автора и объективными данностями при этом переворачиваются, запутываются.

Обыденность, эмпирика оказываются вторичными по отношению к изначальному, «сочиненному» Петербургу, городу-идее. И эта амбивалентность проникает в культурное сознание, подталкивает его к особо внимательному, заинтересованному анализу антитезы «действительность–творчество», побуждает усомниться в онтологическом приоритете внетекстовой реальности перед текстом.

Сам Битов сформулировал эту особенность Петербурга и возникающие в связи с ней эстетические проблемы в одном из опусов-спутников, наращиваемых им вокруг формально заверщенного романного текста: «Загадка его, заданная Петром, не разгадана от Пушкина до наших дней потому, что ее и нет, разгадки. Фантом, оптический эффект, камер-обскура, окно в Европу, в которое вместо стекла вставлен воображаемый европейский пейзаж... Петербург, сам по себе произведение, – возможно ли символизировать символ, абстрагировать абстракцию, фантазировать фантазию, допустить условность внутри условности? Окажитесь в Петербурге зимой, осенью, белой ночью... вы войдете в картину Кирико, вы окажетесь в положении литературного героя даже не читанного вами, даже не написанного никем произведения...».

Еще одной манифестацией этой петербургской парадоксальности стала у Битова «Фотография Пушкина», вещь, написанная много позже «Пушкинского дома» (в 1985 году), но связанная с романом явной тематической и стилевой преемственностью. В этой небольшой и вполне постмодернистской повести потомок Левы Одоевцева Игорь послан на машине времени из 2099 года в пушкинскую эпоху, чтобы доставить к юбилею великого поэта его фотографии и записи голоса.

Сюжет этот, основанный на расхожем научно-фантастическом допущении, оборачивается очередной вариацией на тему фантазмагоричности Петербурга и его текста. Попав в пушкинскую эпоху, герой-времелетчик принимается преследовать поэта, пытается вступить с ним в контакт. Пушкин не дается, ускользает. И Игорь отлетает все глубже в прошлое, из 1836 в 1833, потом в 1829, старея, заставляя Пушкина все более молодым и по-прежнему неуловимым. И постепенно с ним совершается метаморфоза – он перестает быть самим собой, пришельцем из будущего, он вращается в контекст времени и Петербурга («вот город-пришелец!»), превращаясь в бедного обывателя, в современника Пушкина. Этот процесс подытоживается автором лапидарной и многозначительной формулой: «Он стал тенью Петербурга...».

Сам город становится в битовском повествовании генератором магической власти над временем, пространством и фундаментальными законами бытия. Наводнение 1824 года, которое приходится пережить герою, из при-

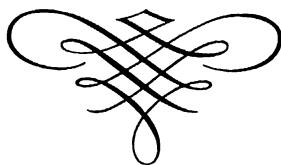
родного катаклизма превращается в невероятное, катастрофическое смешение хронологических последовательностей и причинно-следственных связей. Соотношение текста (в данном случае – пушкинской поэмы) и вне-текстовой реальности оборачивается здесь головокружительной чередой взаимных отражений и порождений. Герой Битова становится и прототипом, и двойником Евгения: «Игорь захохотал и побежал обезумев, как Евгений, бормоча строки будущей пушкинской поэмы, как заклинание. За ним гнался автор поэмы, ветер трепал его бронзовую пелерину... История вышла из берегов, как Нева, и захлестнула Игоря с головой... Он прятался от Пушкина за церковью Покрова, мелко и неумело крестясь».

Головоломный этот сюжет заключен в характерно метафикциональную «рамку». Автор сочиняет историю об Игоре Одоевцеве/Евгении, сидя в своем дачном домишке, в полуисчезнувшей русской деревне середины 80-х годов. Вперебивку с «творческим процессом» он фиксирует свои досужие мысли и ощущения, а также то, что видит в квадрате окна, отражающем фрагмент безрадостной действительности августа 1985 года.

И на этом уровне повествования подчеркивается качество сомнительности, ненадежности реальности. Этот мотив резко вводится уже вступительной фразой произведения: «Вот сегодня наконец оказалось, что войны никакой еще нет. А позавчера она разразилась и еще вчера она, возможно, была. А сегодня опять "еще не вечер"». Речь идет о «третьей мировой», которой вроде и не было, но она как бы и была, ибо чем еще объяснить агонизирующее состояние русского нечерноземья, пребывающего под знаком упадка и разрушения, с домами-развалюхами и стремящимся к нулю населением?

В финале «Фотографии Пушкина» повествование, достигшее апогея безумия, снова переключается в сферу авторской рефлексии по поводу нераздельности и неслиянности жизни и текста, кажущейся незыблемости реальной действительности и свободы творческого воображения менять ее по своему произволу, отменять, взрывать, создавать заново из ничего.

...В последние два десятилетия прошлого века проблематика подобного рода, кажется, снова и окончательно ушла из сферы писательских и читательских интересов. Смысловые и эмоциональные ореолы рассеялись, магия улетучилась, оставив обитателей непостижимого города наедине с бытовыми и коммунальными проблемами, половодьем преступности и вульгарной рекламы, с практическими заботами о сохранении Петербурга, защите его от запустения. И все же не верится, что этот удивительный феномен: город-текст, порождение природы, истории, пророческих заклинаний и литературных интуиций – пришел к своему завершению. Может быть, он еще способен к сюрпризам и метаморфозам.



Михаил Хейфец

ТРИ ЕВРЕЯ И КГБ В ДОВЕСКЕ

1. О Хейфеце как персонаже романа

– Миша, читали «роман с эпиграфами» Владимира Соловьева*? Там есть про вас...

– Читал. Лет двадцать назад, если не ошибаюсь. Он присылал рукопись в «22». Решительно не понравилось... Какие-то натужные придумки. Я возражал тогда против публикации...

– Но ведь он так хорошо вас вспоминает!

...Давняя рукопись питерского знакомого Володи Соловьева запомнилась мне неслучайно: автор сконструировал ее текст в рамках яркого, нестандартного сюжета. Вроде бы нормальный роман – с персонажами, фабулой, интригой, но главное действующее лицо носит имя и фамилию автора – зовется Владимиром Соловьевым. Этот персонаж женат на героине, чье имя и фамилия совпадают с таковыми жены натурального Володи Соловьева и моей приятельницы, редакторши из «Авроры» Лены Клепиковой. Романый Соловьев, муж романной Лены Клепиковой, рассказывал в присланной в «22» рукописи, что в Ленинграде был осведомителем ГБ, что с ним резидент органов обсуждал поведение стукача из нашего же отделения Союза писателей, прозаика Валерия Воскобойникова. Кстати, Воскобойников был не только моим хорошим знакомым, но и соседом по дому-кооперативу Союза писателей. По словам гебиста из романа, «он и заложил нам Мишу Хейфеца»...

* В. И. Соловьев. Три еврея, или Утешение в слезах. Роман с эпиграфами. М.: Захаров, 2002.

Михаил Хейфец – бывший политзаключенный, историк, публицист, автор более десятка книг и множества статей, опубликованных в Израиле и России. Живет в Израиле.

Эта интрига, повторяю, решительно мне не понравилась. Во-первых, в принципе неумным сюжетным ходом виделось, что в нем действует персонаж под собственной фамилией автора, да еще в роли стукача. Во-вторых, нелепо придуманным казалось, будто резидент ГБ станет обсуждать с осведомителем деяния другого агента. Насколько мне их контора знакома, подобная откровенность противоречит элементарным правилам спецслужб. Я решил, что Соловьев, услышав в Питере сенсационное сообщение о стукачестве нашего общего знакомого Валеры Воскобойникова (разоблаченного мною во время следствия), использовал этот шикарный поворот в романной интриге, но сделал это не слишком умело. И зачем ему понадобилось себя-то изображать стукачом? Для вящего интереса, что ли?

Через несколько лет, в «перестройку», дошел в Иерусалим лист ксерокса, снятый с писательской многотиражки «Ленинградский литератор». В нем я прочел «Открытое письмо писателя Валерия Воскобойникова "Мой ответ майору Соловьеву"». Валера, оказывается, ознакомился с «романом с эпиграфами», был потрясен, возмущен и выдал в писательскую газетку собственный рассказ – «как на самом деле было». По его «признанию», он пал жертвой коварного стукача Соловьева: находясь в зарубежной писательской поездке в Швеции, критик Соловьев упросил спутника, прозаика Воскобойникова, пронести через таможенную купленный им порножурнал. Тот согласился исключительно ради дружбы, но оказалось, что все это было режиссерской задумкой органов. Гебисты задержали Валеру на таможне, запугали дурдомом, зашантажировали и... завербовали. Так, по вине Соловьева, он, несчастный и запуганный, сделался сексотом. А теперь подлец-друг его же разоблачает! (В «Открытом письме» Воскобойников особо оговорил, что, мол, «Мишу Хейфеца я не выдавал»...)

Воскобойникову я, признаюсь, поверил. Во-первых, сама по себе постановка мизансцен, действительно, есть истинное природное увлечение работников славных органов. Оперативники в принципе рождены для постановки и разыгрывания театральных спектаклей в жизни (*кажется, Маркус Вольф, шеф разведки ГДР, сказал, что суть работы разведчика – втереться кому-то в доверие и потом предать его! Лучшие не определишь суть профессии – что «разведчика», что «шпиона»*). Версия Воскобойникова дала, по крайней мере, внятное объяснение, почему в романе резидент мог обсуждать поведение сексота с другим осведомителем. Если Воскобойникова завербовали с подачи Соловьева, тот изначально «находился в курсе», таиться от него не было смысла... Версия Воскобойникова объясняла заодно, почему Соловьев сочинил столь странный сюжет. Если не захотел продолжать сотрудничество с ГБ после переезда в Америку, то самым умным шагом для разрыва с бывшими «хозяевами» как раз и было – написать роман, изобразив себя в роли персонажа-стукача. Отрубалось секретное прошлое как повод для будущего шантажа со стороны «товарищей»! (*Хотя, признаюсь, занозой продолжало торчать: почему Воскобойников, признав, что он таки стучал на приятелей, отрицает столь мелкую деталь – что*

заложил именно меня... Какая, в конце концов, ему разница, кого он предавал, того или этого?)

Выстроив, наконец, сию версию жизненного сюжета 70-х гг., я более к тем событиям не возвращался. Здешних поворотов хватало по самую макушку! Но, увы, «роман с эпиграфами» достал-таки меня в Иерусалиме. Недавно эту книгу мне подарил друг... «Про тебя же пишут!» Я отложил томик в сторону, но однажды открыл его... И зачитался, господа! Да так, что не мог от текста оторваться...

Оказалось, два десятилетия назад я читал *другую* рукопись. Того же автора, с похожим сюжетом, но другую! Та даже и называлась иначе – «Не плачь обо мне» (и была, как выяснилось, не «романом с эпиграфами», а «романом-эпизодом»)... К слову, впечатление о двух романах Соловьева совпало с мнением о них другого персонажа: «И. Б. (Иосиф Бродский. – М. Х.), – пишет Соловьев, – был прав, признав "Роман с эпиграфами" и ругнув "Не плачь обо мне", хотя автору и было обидно» (стр. 332).

«Роман с эпиграфами» создавался, судя по дате, по свежим следам описанных событий, т. е. в августе–октябре 1975 года, еще в Союзе! И видится честным и психологически важным памятником эпохи, помогающим не только воссоздать события, происходившие некогда в СССР, но понять многое, что происходит нынче с Россией и с российской интеллигенцией, особенно – гуманитарной.

Текст жанрово определен автором как «роман». Не эссе, не мемуары... Соловьев сохранил за собой, следовательно, право сочинять гипотезы, вставлять в текст любые выдумки и, если надо, искажать истину. В романе все дозволено законами жанра! Вот подвернувшийся пример. На процессе Марамзина романский персонаж «Миша Хейфец полностью отказался от показаний, которые давал на предварительном следствии по Володиному делу, предупредил присутствующих о том, что Валера Воскобойников – стукач и донес, в том числе на него, Хейфеца, и на Марамзина» (стр. 233). Я изображен героем, что, видимо, должно мне польстить. Но, увы, в жизни было не так. Сразу оговариваю, в тексте не ложь, а именно продукт творческого воображения прозаика. На деле я вовсе не отказывался от показаний, данных на предварительном следствии (меня тут же, в зале суда, разоблачила бы судья – с особым удовольствием – как лжеца, обманывающего Высокий Суд!). Напротив, подтверждал их. Ведь на следствии я давал показания в пользу товарища, чего ж от них потом, на суде, отказываться!.. И никакой судья, конечно, не позволил бы мне разоблечь стукача в зале суда, уж техника-то затыкания рта в таких ситуациях у ГБ не могла не быть наработанной! (*Я действительно передал на волю информацию про стукачество Воскобойникова, тут автора память не подводит, но сделал это раньше – на очной ставке в ходе следствия.*) Так что, сами видите, перед вами сочиненный сюжет, а совсем не дневник событий... К слову, Соловьев нередко сам себе противоречит, определяя жанр сочинения. Иногда скажет: «Это не роман, а исповедь грешного сына века» (стр. 293), а иногда при-

знает: «Этот роман – оборотень, я сам не знаю, какое коленце он выкинет на следующей странице» (стр. 115).

(Последняя ремарка в этом разделе: мне сегодня видится, что Воскобойников, когда сочинял «Ответ майору Соловьеву», работал «не сам один», секретные постановщики спектакля дышали за его плечом, подсказывая ловкие ходы! Этим письмом они посылали городу и миру нужный сюжет, в котором сводили счеты с тем, кто порвал подневольные отношения с ленинградскими хозяевами... Воскобойников отработал для них задание еще раз!)



Оговорю личные отношения с тогдашним ленинградским критиком, а ныне американским романистом и документалистом Владимиром Соловьевым.

«Когда я узнал про его арест, то никак не мог припомнить, о ком идет речь, и только увидев его на суде – узнал. Вот уж кто был невинен, как овечка, так это Миша – какой он преступник: наивный, восторженный, болтливый, он был похож на своих героев-народников, о которых писал книги и очерки. Он и на Володином суде, закончив свои ответы, потряс над головой кулаком и прокричал шепотом что-то навроде "No pasaran!". Это было глупо и трогательно» (стр. 232).

Так вроде все и было! Соловьев, действительно, знал меня поверхностно и, верю, с трудом мог припомнить мою личность. Верю в то, что выглядел я в его глазах наивно-глуповатым (*неслучайно симпатизировавший мне следователь КГБ Карабанов, пытаясь уберечь обвиняемого от наихудшего для него варианта, заметил со вздохом: «Вы, Михаил Рувимович, не знаете практики!»*). Однако преувеличивать мою наивность тоже не следует. Ведь «наивные, восторженные и болтливые герои-народники» были не придуманы в таком качестве царской полицией, а действительно являлись опаснейшими государственными преступниками! Их восторженность и говорливость (включая судебную) виделись подсудимым важным оружием революционной тактики, необходимым для расшатывания полицейского строя. И, к слову, «No pasaran!» в тогдашнем контексте значило обдуманное подбадривание подельника: «Фашизм не пройдет, Володя Марамзин!»).

Соловьеву, кстати, не приходит в голову, что он мало меня знал именно потому, что я *умышленно* избегал его. Мне не думалось, что он как-то связан с органами, чего не было, того не было, но что критик-еврей мог обширно и беспрепятственно печататься повсюду, в Москве и Ленинграде, печататься *просто так*, без покровительства, без тайной «могучей лапы», – вот в это я, немало потершийся в ленинградских и московских редакциях, поверить не мог. Грешил я почему-то на покровительство ему со стороны директора Пушкинского дома – с ним Соловьева упорно связывали какие-то слухи в питерской среде. Из текста романа я теперь знаю, что в Пушкинском доме Соловьев не «состоял», даже и не ходил туда, но могу заверить –

о связях его с влиятельным в литературных делах заведением «говорили»... Возможно, «крышу-покрывало» придумали ему именно чекисты, чтоб спрятать тайное покровительство «полезному еврею-информатору», но я-то был убежден уже тогда в его небескорыстной близости к начальству и старался с ним не общаться, даже не читал тогда его статей (о чем сегодня сожалею, человек он, несомненно, талантливый и интересный).

2. Лирическое отступление – о России и совести

В чем историческая и социальная ценность романа-свидетельства «Три еврея»?

С XVIII века господствовала в Европе «прогрессивная», или, как теперь выражаются, «политкорректная» идея: мол, Россия есть государство европейское, народ российский, уж тем паче интеллигенция российская, есть оригинальный продукт европейской, т. е. общехристианской цивилизации. Только деспотичный государственный и общественный строй империи, вся система управления талантливым народом и его великой интеллигенцией держат тамошних людей в жутких оковах, связывая могучие потенциальные силы нации, мешая возможному развитию огромного края земли...

Отсюда, кстати, проистекала давняя российская мечта о великой революции, которая разом превратит Россию в передовую державу мира!

Но сегодня, едва ли не впервые в истории, сию концепцию подвергли ревизии. Она стала предметом всеобщего скептицизма – и за пределами России, но, кажется, в ней тоже... Народ российский, добившись в 90-е годы общеевропейских стандартов управления, позже в стихийном порыве стал их разрушать и столь же охотно и с соблюдением всех демократических процедур благословлять отступление в полицейский режим. На наших глазах возникает держава Третьего мира (*говорят, мировые финансовые круги уже определяют российскую экономику не как «переходную», что они делали совсем недавно, а как «развивающуюся». Развиваться-то позволено сколь угодно долго, не правда ли?!).* Поймите правильно, это ни в коем случае не упрек в адрес народа России или даже властей, а лишь констатация неприятного для меня самого факта... Все мы, включая меня, грешного человека, значимся теперь не слишком европейцами по фундаменту воспитания, по впитанной с детства культуре. Оговариваю: факт принадлежности какой-то страны или народа к Третьему миру вовсе не означает, что они в чем-то хуже европейцев. Они – *другие*, вот что верно. В конце концов, нет критериев, позволяющих определять, какие формы общественного правления лучше, а какие хуже... Каждый народ отыскивает нормы себе «по ноге»! Сегодняшние россияне, например, напоминают мне мексиканцев. Те после разрушительной, как в России, революции установили у себя строй, поразительно похожий (издали, конечно) на сегодняшнюю российскую систему. Была узаконена частная собственность, многопартийная

система. Но реальная власть принадлежала одной партии, Институционно-революционной, и один раз в восемь, кажется, лет президента партия сама себе и меняла – старый лидер находил преемника в рядах правящей же партии (дополнительный признак: народ Мексики ненавидел виновника своих бед – конечно, то были гринго-эксплуататоры)... А потом (как-то вдруг!) отдохнувшая от революционных потрясений Мексика привела к власти... оппозицию! Так что надежды на историческую эволюцию у россиян сохраняются...

Подозреваю, что россиянам сравнение с мексиканцами покажется обидным. Почему? Потому что рядом с Россией живут народы, ни в чем русских не превосходящие (возможно, и уступающие им) – ни древностью, ни уровнем культуры, ни развитием науки, образования, медицины, ни вкладом в мировую цивилизацию. Поляки, венгры, словаки, эстонцы, финны, литовцы, корейцы, японцы... Почему тех Европа воспринимает как равню, включает в сравнительно тесную «тусовку», а к россиянам относится предубежденно и с явным высокомерием? Чем россияне отличаются от соседей по региону?

Ответы на сей вопрос я как раз и нахожу в «романе с эпиграфами», почему и занялся его анализом (*действие не случайно протекает в одном из самых цивилизованных городов Союза, в полустоличном Ленинграде, причем в элитном слое – команде литературной интеллигенции...*)



Рядом с тремя евреями (самим автором, т. е. Соловьевым, его приятелем, поэтом Иосифом Бродским, и бывшим другом, поэтом Александром Кушнером) важную роль в сюжете играет учреждение – Ленинградское управление КГБ.

С резидентом ЛенУГБ Соловьев столкнулся еще в студенческие годы.

«Сдав кое-как очередной экзамен, я сбежал по мемориальной нашей лестнице в Академии художеств к телефону-автомату сообщить об этом радостном событии нервным моим родителям и, не обнаружив в кармане двушки, попросил ее у стоявшего рядом с будкой человека.

Это был ОН.

Он словно поджидал меня, как кошка мышку. Протянул руку и разжал ладонь – на ней блестела кверху орлом новенькая монета.

– Пожалуйста, Владимир Исакович...

...Условились встретиться через неделю – площадь Льва Толстого, остановка десятого автобуса. Боже, как переживал – девятнадцать лет всего было» (стр. 124).

С «обладателями двушек» он встречался долго (с перерывами, правда). Зачем ему это было нужно? Нравилось? Да вовсе нет. «О Боже, как я ненавидел тупую и сытую эту морду, облеченную правом вести со мной обязательные для меня, т. е. насильственные беседы» (стр. 144). Пожалуй, Соловьев откровенен, когда признается: «На что я надеялся? Повлиять на них,

чтоб они, в свою очередь, на кого-то там повлияли, чтобы в конце концов хоть немного оздоровилась, очистилась политическая, а с ней и общественная, а там, как знать, быть может, и литературная атмосфера в нашей стране?

Или – это я оправдываю высокими мотивами низкий свой страх и неумение рвать там, где рвать необходимо, – и немедленно» (стр. 144).

(Однажды он заныл, что «таскают в КГБ», в присутствии приятельницы, поэтессы Юнны Мориц. Она успокоила его:

– Всех таскают, не тебя одного, всех без исключения. Ты что – хочешь быть исключением?» – стр. 284.)

«Таскали», к слову, не всех: преувеличивать не стоит (я, например, видимо, был выбран исключительно в «объекты»). Но, конечно, многих.

Поставим, однако, вопрос в противоположном ракурсе. Зачем самим органам понадобился – с самого его, Володиного, малолетства – способный ленинградский еврейчик Соловьев? Зачем «растили» – со студенческой скамьи? Какой для них-то оперативный смысл имелся в бесконечных и хлопотных контактах с критиком? (Ведь за контакты платить приходилось, причем постоянно, годами обеспечивая «своему человеку» «продвижение» в литературном мире! Бесплатно, особенно у них, ничего не делается. Надеюсь, это особо доказывать не надо...) Неужели во имя «государственной безопасности»? Не смешите... Признаем сразу: в 60–70-е гг. «принимали строгие меры», т. е. арестовывали по доносам информаторов, относительно немногих в Союзе... Считай, почти никого, единицы, если учитывать беспредельные масштабы страны! Так вот, повторю вопрос: зачем же понадобились осведомители, вроде нашего Соловьева, которые, если автору верить, на конкретных персон показаний не давали? *(По его словам, чаще всего он ограничивался пересказом резидентам опубликованных или задуманных им статей о литературе и театре...)* И начальнички, не слишком довольные скудной добычей (хотелось, естественно, большего), мирились с тем, что им давали!

Соловьев заинтригован проблемой. Что они в нем нашли? В бессилии проклиная непонятные действия специалистов. Вот цитаты:

«КГБ – это организация, менее всего заинтересованная в безопасности государства и ничтожно пекущаяся о его интересах. Только сугубо о своих. Организация, работающая на себя, а не на других. Оправдание своего существования – вот высшая ее цель – и более ничего!» (стр. 138).

«Это организация мнимостей: если Марамзин для них возможный преступник, то я – потенциальный сексот» (стр. 188).

«В любой организации могут встретиться талантливые люди – только не в этой. Откуда? КГБ – слишком скомпрометированная и продолжающая себя компрометировать организация, чтобы в нее по доброй воле пошел маломальски одаренный или даже обыкновенно умный человек... Неудачливые инженеры, неудачливые врачи, неудачливые журналисты – вся эта организация должна, по моему убеждению, состоять из неудачников, а те, в свою очередь, должны остро завидовать бывшим однокурсникам и коллегам, ко-

торые осуществились в избранной ими профессии, а не в стороне от нее – и в какой стороне! Потому, помимо полагающейся злобы, есть злоба личная, страстная, ибо, как говорили евреи, «кол мум ра» – каждый калека зол... Это организация калек, артель инвалидов, паноптикум монстров» (стр. 195).

Он пришел, наконец, к странному выводу, что «беседы» велись, дабы обезвредить его собственную, Соловьева, оппозиционность! «Меня надо было обезвредить, обезопасить, нейтрализовать» (стр. 268). А иначе, правда, зачем?

(Мне, имевшему немало контактов с питерскими и мордовскими работниками ГБ, сразу видно, где он ошибается. Я встречал в сей организации людей профессионально талантливых и прекрасно, на свой лад, обученных, и независимых, потому как свое положение они высоко-высоко ценили, вопреки тому, что видится разъяренному Соловьеву. К слову, даже нынешняя ситуация в России доказывает неверность его суждений о природной бездарности гебистов. Родные питерские товарищи взобрались на самую вершину власти в Кремле, а этого без дарований свершить ну никак невозможно! Да и раньше, при Горбачеве или Ельцине, штатные и нештатные сотрудники органов сколотили самую основу, костяк нового делового мира России, «новой буржуазии»: именно они да плюс комсомольские кадры, т. е. их же кадровый резерв, находились в первых шеренгах «приватизаторов»... Без особых и немалых способностей реализовать подобный проект, урвать столь огромные куски государственной собственности невозможно!)

В суждениях Соловьева явственно присутствует всегдашнее интеллигентское, хотя сегодня вроде бы уже изживаемое отношение к «органам» как к важному инструменту государственной политики *(независимо от того, любит интеллигент власть или нет!)*. Отсюда вытекает последующее острое разочарование автора (и многих других), даже презрение к «профессионально неполноценным калекам». Одно верно: чего у них не было, того не было – какой бы то ни было заботы об интересах *государства*! Это как раз и поражало соприкасавшихся с ними интеллигентов. Но когда нам уже известно, как мгновенно кадровые (и некадровые тоже) чекисты стряхнули с себя опостылевший до чертиков – едва ли не первыми в очереди! – социализм, как охотно они поскакали на службу к Ельциным и Собчакам и прочим новым лидерам, ничуть, по сути, не меняясь, тогда их равнодушие к государственным заботам должно вроде бы смотреться нормально? Какое могло быть государственное мышление у людей, в душе мечтавших о местечке в правлении банка или нефтяной компании?

Не о политике, не о советской власти эти люди думали. Это верно. Но упрекать их за это сегодня?! Я бы не стал...

(На днях прочитал, как хвастают они – мол, едва ли не половина членов НТС и ОУН состояла из их агентов! Вот, мол, как здорово работали... Вдумайтесь, господа, в текст! В интересах собственной службы, т. е. в интересах личных карьер, они поддерживали, материально и идейно – идейки ведь разрабатывали тоже – всякого, кто разлагал их собственную

страну... Я вовсе не утверждаю, что в это нужно верить – верить этим дядям нельзя по определению, даже тогда, когда они сами искренне верят, что говорят правду, – но здесь ясно выявляется тот уровень мышления, который доводил некогда до белого каления несчастного Соловьева!)

...Все-таки вернемся к нашим суждениям о тех баранах. Зачем Соловьев заговорил, зачем годами с ним встречались? Что там искали?

Все объяснимо, если припомнить роль, которую органы ГБ сыграли в общей системе управления СССР, особенно при Брежнев–Андропове.

ГБ была важным органом не только карательной политики партии, но еще – органом сбора и анализа информации о положении дел в стране... ГБ снабжала всевозможными «закрытыми» справками Инстанцию, политическое руководство. Политбюро, не имея возможности черпать правдивую информацию из СМИ, не испытывая доверия к штатным политическим советникам (те могли быть способными сообщать начальству лишь то, что оно хотело услышать), опиралось на сводки из органов – об истинном положении дел в стране.

Конечно, право принимать решения оставалось за партией. Но и от информаторов зависело немало...

И Володя Соловьев, действительно, мог видаться полезным ГБ в своей натуральной жизненной судьбе – в роли питерского критика-еврея. Кто лучше него растолкует, какие спектакли и почему именно волнуют публику (и, соответственно, какую политику следует вести обкому в отношении того или иного театра)? Кто внятно объяснит потаенный смысл разных стихов, особенно напечатанных? Конечно, он не один был у них такой, мнения немалой команды осведомителей сводились воедино, потом анализировались штатными сотрудниками, но – на основании получаемых от осведомителей сведений. Так формировалась политика в сфере культуры – в обкоме и в ЦК!

КГБ служил партии не только в качестве карательного и информационного учреждения. Он считался еще важнейшим орудием формирования общественного мнения. Соловьев сие действо художественно изображает, хотя догадывается о нем только к самому концу романа... Ибо кое-что на встречах резиденты сообщали ему лично... Например, почему Марамзина начальство выпустило из тюрьмы? «"Потому что он нам уже не нужен", – сказал Борис Павлович Чудинов, пряча глаза... Похоже, что то, на что я не клюнул, кто-то другой – и клюнул, и подхватил: он им не нужен, все, что нужно, они уже от него получили, и, кто знает, может, он всех нас им заложил» (стр. 275)... Часто сами не понимая, часто гордясь умением извлечь из резидентов «закрытую информацию», интеллигенты-«контакты» служили своего рода орудием распространения в обществе нужных начальству мнений, негласно утверждали потребные ГБ репутации в обычно закрытых кружках или частных собраниях.

И незаметно воспитывалась метода жизни, особо опасная тем, что внешне была привычной, и разлагала она всех-всех подряд... Полагаться на

ГБ, через ГБ воздействовать на начальство, что-то советовать, о чем-то для него думать... Соловьев – прямой участник подобных контактов! – оставил выразительную картинку того, как лица, вроде бы даже не близкие системе, по сути, вросли в соввласть, сотрудничали с ней... Перед нами художественно изображен тайный процесс ментального сращивания гебистов с их якобы оппонентами!

Вот примеры.

«"Литературная газета" выходит в среду, я был в редакции в понедельник и видел свою статью об Андрее Вознесенском в полосе. Мое мнение о его новом сборнике было отрицательным, но рядом, на той же странице, стояла положительная статья. В среду газета вышла с большим опозданием, и рубрики "Два мнения" в ней не было – как и моей статьи... Гена Красухин, заведующий отделом критики поэзии, сказал мне, что мою статью сняли по звонку из ЦК, где вняли жалобе поэта...» (стр. 209).

Оппозиционный и почти полуопальный поэт использовал свои связи с начальством, чтоб избавить себя от критики. Но услуги подобного рода политики и органы не оказывают бесплатно. Нигде в мире, не правда ли?

Верю изложенному в романе мнению Иосифа Бродского о Евтушенко. Бродский был смертельно оскорблен тем, что «Евтух» якобы утвердительно ответил Андропову на вопрос, не стоит ли выдворить из Союза этого самого Бродского... Причем верю я Соловьеву именно потому, что Евтушенко ничего дурного или плохого против Бродского вовсе не замыслил! Просто спросил у него совета Андропов, он человеку и ответил... По совести ответил. Когда поэту нужен совет или помощь, он же обращается к Андропову, а тут шефу потребовалась нужная консультация. Почему же знакомцу не помочь?!

Вот вывод, который делает читатель «романа с эпиграфами», знакомясь по тексту В. Соловьева с жизнью российской литературной интеллигенции: «Нравы интимного писательского общежития тесно связаны с государственными и общественными нравами – по закону тотальной психологии. Диссиденты поэтому так же нетерпимы к критике, как и официалы. Одного не тронь, потому что он занимает пост, другого – потому что ему не дают никакого поста и он в небрежении у властей, а третий и вовсе вне критики – у него книгу зарубили... Люди жаловались, причем совсем не в литературные организации» (стр. 209).

Так формировалась в СССР *общесоветская* позиция – вверху и внизу, слева и справа! Зарождалась антимораль позднейшей, «перестроечной», «демократической», «передовой» интеллигенции. Чтобы мысль стала понятнее, напомним мои любимые примеры. Демократы в 90-е гг. одобряли выдачу Ельциным политэмигранта из ГДР Эриха Хонеккера, оказавшегося в России на основании конституционного «права на убежище». Вполне интеллигентные люди одобрили, значит, выдачу гостя своей страны... Я, естественно, очень не люблю бывшего главу ГДР, но все-таки вынужден сказать: выдавать беглеца его врагам, потому что это политически выгодно, – на такое в Европе считались способными лишь особо бесстыжие полити-

ки. И уж на одобрение интеллигентов подобные лица нигде и никогда не могли рассчитывать. Кроме как в демократической России.

Или – вспомните искусствоведов, директоров музеев, либеральных журналистов, убеждавших народ и «общество» (впрочем, признаем, убеждавших их в том, во что общество и народ сами хотели верить!) в том, что, мол, раритеты, похищенные в 1945 г. армейскими мародерами из германских музеев и частных коллекций, – возврату не подлежат. Я бы понял, если б так рассуждали политики или бизнесмены (у тех жадность и хапкость – профессиональные черты), но если знаменитая русская интеллигенция надрыгает всю свободолюбивую свою глотку о законности краж из музеев... А потом она почему-то впадает в шок, когда воспитанные ею «низы», т. е. избиратели, выкидывают, как последнее дерьмо в канаву, «совесть своей нации»... Какая совесть, так с ней и поступают массы!

(Помнится, генерал Григоренко, диссидент из марксистов-ленинцев, на предложение коллег обсудить, наконец, что есть совесть, сказал: «Совесть она такая: либо есть, либо нет».)

Соловьев художественно изображает в романе, как воспиталось общество, в котором полно талантов, профессионалов, деловых людей, но вот совесть испарилась начисто – в ходе постоянного воспитания товарищами, в частности, товарищами из органов.

Почему исчезновение совести тотально захватило и разложило именно Россию? Ведь в принципе информационные и манипулирующие игры присущи любым спецслужбам мира, отнюдь не только гебистам! Однако именно в России сформировалась столь развратная мораль в сфере гражданского общества, что она не позволяет сегодня подняться ни стране, ни народу, несмотря на немалые их природные и человеческие ресурсы.

Если верить наблюдениям В. Соловьева, особая тлетворность влияния спецслужб на россиян была обусловлена тем, что органы вели эти свои аморальные игры, используя в качестве пароля русский патриотизм, идею верности России! Польская ГБ, скажем, или чешская, или любая другая, да даже украинская или армянская гебухи – не могли свободно манипулировать в играх с национальными сообществами «интересами нашего народа». Но в России...

Если неизбежное предательство близких и знакомых людей сопрягается с «интересами Родины», то и Родина неизбежно развращается (*мне вспомнилась советская поговорка: «Сколько у государства ни воруй, свое все равно не вернешь».* Такая утвердилась в обществе мораль!)

Вот «картинки с выставки», устроенной для нас В. Соловьевым.

Ленинград, пятидесятые годы. Союз писателей. Обсуждение книги Б. Бухштаба об Афанасии Фете.

«Вышел Леша Леонов и долго говорил об Орловской губернии, откуда он, как и Фет, родом...

– Вот мы узнали из этой книжоночки, что наш русский поэт Афанасий Фет был не Фет вовсе, а Фёт, к тому же еврей, хотя и скрывал это и даже завещал шкатулку с соответствующими бумагами себе в гроб положить и по-

хоронить вместе с ним... И вот теперь могилку разворотили, шкатулку вынули и жгучую эту его тайну на весь свет растрезвонили. С трудом во все это верится, но что делать? Мы из-за этого отрицать Фета не станем, тем более, он сам всю жизнь этого стыдился и, может, на этой почве и умер. Пусть еврей – разве в этом дело! У нас в Орловской губернии такие земли, что даже если палку в землю воткнешь – и та в рост пойдет, корни пустит, цвет даст. Хотя, конечно, жаль, что еврей. Такой поэт – и еврей: кто бы мог подумать!

Мы рассмеялись, потому что антисемитизм Леша Леонова был наивен, непосредственен... если только – не лукав. Это все равно, как если бы не любовь к евреям обнаружилась у любимой кошки – что с нее возьмешь? А Лешу мы все любили – его крепкая проза была правдива, честна и трагична...» (стр. 60).

Но потом вышел на трибуну другой персонаж, одаренный российский поэт современности – Александр Кушнер, «интеллигент, западник...»

«Вы, Саша, – вспоминает В. Соловьев, – тоже заговорили о происхождении Фета, хотя слово "еврей" не произнесли – не решились, это слово для Вас немыслимо произнести с трибуны. Вы сказали, что хотя родители Фета жили в Германии и зачат он был в Германии, но родился в России и стал русским поэтом.

Конечно, продолжали вы, родись он в Германии, Фет, может быть, и стал бы поэтом, но не таким великим, как здесь... именно Россия дала Фету ту меру и тот масштаб, которые сделали Фета великим поэтом.

Я нисколько, Саша, не упрощаю вашу мысль... И все равно получается та самая палка, которая расцвела, оказавшись на нашей благодатной русской земле» (стр. 61).

3. Кто победитель?

Интригу романа В. Соловьев в принципе сплел вокруг судеб «двух евреев» – гениального Бродского и его поэтического антипода, из которого питерское УГБ «создавало анти-Бродского, тоже поэта, тоже еврея, но нашего еврея, прирученного, послушного, покорного, придворного еврея», Александра Кушнера (стр. 10).

Все начинается с очерка жизни литературно-поэтического сообщества великого Петербурга: «Круговая порука, дружеская опека, дух аллилуйщины, комплиментарная зависимость друг от друга... Вроде бы все мы яростные сторонники демократии и свободы, но внутри нашего Арзамаса царят тоталитарные принципы, а диктатура умных людей ничуть не легче диктатуры идиотов... Было бы даже странно и неправдоподобно, если бы вожизм, учительство, мелкобесие не расцвели в нашем литературном саду пышным цветом» (стр. 41).

Противостоит «мелкобесию» единственный человек в этой компании – Бродский: «В нем сработал безошибочный инстинкт творческого выжива-

ния, самосохранения. Он понимал, что рвать надо с ближними, которые на поверку самые дальние, дальше некуда... Бродский действовал по инстинкту, а Саша (Кушнер. – М. Х.) потом пытается нагнать его... Здесь их главное отличие при внешнем сходстве – у обоих неистребимый инстинкт самосохранения. Но у одного – житейский, – у Саши, у другого – литературный... У Саши – жизненный инстинкт самосохранения, у Бродского – инстинкт литературной судьбы» (стр. 50–51).

Литературную карьеру Соловьев начал с продвижения в читательские массы Кушнера (а не Бродского, существовавшего как бы вне литературы): «Саша безошибочно – скорее инстинктивно, чем меркантильно – угадал меня в качестве друга, и я его всесоюзной славе немало способствовал, о чем сейчас не жалею. Его либо не замечали вовсе, либо вяло поругивали. Я был молод, энергичен и безогляден – опубликовал о нем в разных изданиях, от «Юности» и «Комсомольской правды» до «Литературной газеты», с дюжину статей. В эпоху барабанного боя и медных литавр тихий голос Саши казался мне настоящим, а его поэзия перспективной» (стр. 70).

В. Соловьев хочет быть, насколько возможно, объективным: «В поэзии в это время все пытались перекричать друг друга, а Саша резко отличался от всех именно тем, что не повышал голоса» (стр. 164). «Саша... заговорил вроде бы совершенно невпопад, но своим – а не чужим! – голосом, и останься он верен себе, то, должно быть, занял бы пусть скромное, но свое в ней место» (стр. 165). «Сашина сила заключалась в его слабости: поэзии он противопоставил непозию, выдавая ее за поэзию... Саша поэтом не родился – вот скрытая от всех тайна, его драма и печаль... Он заставил себя стать поэтом, сделал из себя поэта, взнуздal себя» (стр. 166).

Интересно и необычно (и, по-моему, это впервые было сделано в исследованиях российской поэзии XX века!) сопоставил Соловьев поэтов по особому жизненному качеству, которое внешне вроде бы совсем чуждо их музе. По природному еврейству поэтов.

«Бродский – даже не еврей, а именно иудей, хотя и не в религиозном смысле, но в древнем, генетическом, метафизическом. В нем таинственная помесь жестоких и мстительных галилейских пастухов и пархатых местечковых мечтателей» (стр. 62). «Он был горд и высокомерен, как отвергнутый и как еврей. А сила евреев именно в отщепенстве, в остракизме, в гетто: теория тупика. Одиночество растрavляет честолубие, непризнание делает неговорчивым и заносчивым, а тупик заставляет искать выход – свой собственный, единоличный. Ему нечего было терять, кроме своих вериг» (стр. 66).

При этом, вопреки привычному (в нынешнем литературоведении) анализу стихов Бродского как феномена необыкновенных игр с языком, ритмами, тропами, В. Соловьев увидел в поэте этакого Ломоносова XX века: «И. Б. изменяет русский язык "от пейс до гениталий" – сочетание немыслимое (не у других поэтов, а в русском языке до И. Б.). Он объединяет мнимое высокое с мнимо низким... Латынь притягивается у него матом – как магнитом...» (стр. 34–36). Главное, критик ощутил в поэте общественное

звучание его музыки: «И. Б. из современных русских поэтов единственный понял, что угроза – душе, потому что она смертна и беззащитна, но ее еще можно спасти: или сегодня, или никогда... Болезненно ощущает И. Б. пропажу, бьет тревогу в связи со смертью души, ибо тогда становится бессмысленной прежняя работа поэта и невозможна – сегодняшняя. Значение И. Б... в том еще, что он выполняет все обязанности, возложенные Богом на последнего и единственного на Земле поэта, в том числе погребальные и некрологические» (стр. 152–153).

Бродский, в понимании Соловьева, шел поперек обычного потока не только в советской поэзии, но во всей советской жизни – он «боролся за читателя», он спасал души, оберегая от вымывания – совесть. Спасал и мощью стихов, и упрямством собственной жизни. И «литературное отщепенство – единственное, что ему оставалось. Его голос, однако, был усилен акустикой пустого зала. Начиналась мировая слава, минувшая отечественную» (стр. 154).



Иную, благополучную судьбу выбрал Александр Кушнер. По оценке В. Соловьева, поэт тоже внес в тогдашнюю громовую патриотическую поэзию мягкую еврейско-лирическую интонацию. Но хотелось-то ему много большего! Он мечтал стать настоящим русским поэтом.

Можно ли творца за такое желание осудить?

«Я не чувствую себя евреем. Я только по паспорту еврей, а так нет. Да и не люблю я евреев, мне даже обидно, что я еврей» (стр. 58).

Ассимиляция в местном обществе, в местной культуре есть нормальное для евреев XIX–XX веков состояние. Повсюду такое происходило, во всем мире, не только в СССР... «Между парией и парвеню», между отверженным и выскочкой – так назвала еврейскую ситуацию американский философ Ханна Арендт. Беда, однако, в том, что желанная ассимиляция обычно оказывалась недостижимой – в принципе недостижимой! Ибо вовсе не все в нашей природе (и, соответственно, в нашей истории) зависит от воли человека, но есть нечто, что заложено в тебе генетически – скажем, страсть предков к выживанию, к продолжению себя, – и изменить этот феномен человеку не дано. Во всяком случае, не дано легко это изменить... «Мы русские, а не европейцы, – говорит в романе персонаж Кушнер, – то есть не только европейцы, но и русские» (стр. 255). Но чтобы осуществить искреннее стремление стать русским, ему приходилось принять чужие правила игры. А они – по наблюдению Соловьева – «навязывались ему обычно через вторые-третьи руки» литературным, но и весьма практичным сообществом, в свою очередь, незримо управляемым «невидимыми контактами».

Соловьев напоминает некоторые эпизоды их прошлой дружбы. Обоим, например, доверили высокую в Ленинграде честь: руководить семинаром поэтов Северо-Запада. В «варианте доверия» не разрешалось, однако, чтобы единственно способную и «литературно грамотную» девочку, Асю

Векслер, руководители-евреи порекомендовали опубликовать (в альманахе «Молодой Ленинград»). «"Ну, как вы не понимаете, Володя? Мы же с вами евреи: два еврея рекомендуют еврейку – что о нас подумают!" Какое это стыдное слово – "еврей", – продолжает Соловьев, – как "сифилис". В трамвае оборачиваются, когда я его произношу. Мы понижаем голос до шепота, когда говорим "еврей". Мы стыдимся самих себя – на нас знак отверженности, и мы притворяемся русскими» (стр. 59).

Трагедия поэта сводилась к тому, что, уступая «практике жизни», он переставал быть выдающейся личностью (как бы талантлив ни был от природы, вот что грустно!) и превращался в обычного стихослагателя. А в таком, доступном для многих, качестве подвергался новой и неожиданной атаке! С какой стати, спрашивали конкуренты-аборигены, еврей занял должность, которую вполне – и не хуже его – способен исполнять наш человек? Не правда ли, в подобных рассуждениях есть здравая логика... И заветделом поэзии «Авроры» Лида Гладкая вышибала из кабинета поэта Александра Кушнера – «в слезах» (стр. 189). «Жида! Сволочи! Всю нашу русскую литературу испоганили, прохода нет. Убирайтесь в Израиль, пока не поздно, вместе со своими гаденышами». Впрочем, главный ее враг – конечно, Бродский: «Какое имеет право Бродский писать о русском народе» (стр. 189).

Соловьев собирает разные факты, доказывая, как заботливо в Ленинграде управляли «товарищи» Кушнером, незаметно превращая его в утонченно-бодрого советского лирика... Например, искусно распространялось сочувственное мнение об изгнаннике Бродском («Ему плохо, ему очень плохо, – говорит Кушнер, – ему не может быть хорошо... Вот ему не пишется, *говорят* (курсив мой. – М. Х.). А для кого там писать? Кому мы там нужны? Мы здесь нужны, здесь наш читатель, и язык наш с нами» (стр. 29). Так же осуждался в обществе надломленный в тюрьме Марамзин (притом что сам-то Кушнер побоялся прийти на процесс коллеги по ремеслу. Но «это же совсем другое дело»!).

«Такова механика производства из тихих еврейских мальчиков государственных поэтов», – завершает Соловьев (стр. 56).

4. Грустный конец

Роман кончается трагически, хотя эпилог писался в благополучной вроде бы Америке, в 1996–98 гг.

Почему трагически? Потому что, по ощущению В. Соловьева, ГБ своей цели все же добилась. В конечном итоге, победила. Изначально даровитый и самобытный персонаж Кушнер превратился в государственного поэта, «амбарного кота» (образ из Бродского). И сам Бродский... Он-то прославлен на весь мир, Нобелиант, «последний классик». Все так. Но...

Вдруг вылезло, что и он, «с его иерархическими и сословными предрасудками, с его безудержным монологизмом, авторитарностью, речевым им-

перативом, невосприимчивостью (скорее нетерпимостью) к чужому мнению и вольным обращением с фактами» (стр. 320), тоже не абсолютно чужд наследию советской морали. Увы, правильно говорил Ленин: «Жить в обществе и быть свободным от общества – нельзя». Само могущество музы Иосифа питалось интуитивным стремлением спасти души читателей, если хотите, созидать живые души в России. Но изгнание в Штаты, тамошнее житейское благополучие («переход на английский, заказная публицистика, профессорское популяризаторство» – стр. 325) лишили поэта истока страсти, его великого напора! Соловьев в доказательство цитирует размышления Бродского о судьбе Цветаевой: «Нотка отчаяния поэта, сильно уставшего от все возрастающего – с каждой последующей строкой – разрыва с аудиторией» (стр. 307). И еще: «Как верно заметил И. Б. по другому поводу, в писательском ремесле накапливается не опыт, а неуверенность, которая по-другому называется мастерством» (стр. 308).

То есть автор хочет сказать, что стиховое мастерство Бродского несомненно выросло в эмиграции, зато нравственной силы и мощи в американских стихах – значительно поубавилось. Бродский напоминает флоровского героя, который «приобрел часы и потерял воображение». («Другое дело, что в петербургский период он достиг таких заоблачных высот, что даже его спуск (или замедленное падение) с них – все еще уровень, недостижимый для других русских пиитов» – стр. 325.)

Прав ли Соловьев в своем читательском ощущении, как он выразился, «преждевременного дряхления поэта»? Во всяком случае, у него – великий единомышленник... Почитайте, если сомневаетесь, эссе Бродского «Состояние, которое мы называем изгнанием», трагически грустное, хотя и мужественное по интонации!

Но если так, значит, ГБ добилась чего-то и в этом варианте своей игры.

Судьба третьего персонажа-еврея, Соловьева, обозначена автором так: «Портрет жида, загнанного в тупик» (стр. 8).

КГБ остается в финале неожиданным победителем. Все герои, каждый на свой лад, оказались надломленными...

В итоге перед нами предстает Россия, которую видим перед собой. Отставшая от Мексики, но соперничающая с Эквадором или Колумбией.



Соловьев обещает когда-нибудь написать новый роман – уже не о Ленинграде, а о Москве: «О Москве я еще напишу другой роман, если буду жив. Москва – это сама Россия, хотя и не вся, она просится на роман эпический, ядерный и бесконечный... Тише, мыши, кот на крыше!» (стр. 77).

Мне хотелось бы его будущее сочинение прочитать – опять-таки, «если буду жив».



АВИГДОР ЛИБЕРМАН: «ВСЕ ДЕЛО В НАС САМИХ»

Эдуард Кузнецов: *В 3-м и 4-м номерах «NB» в рамках «круглого стола» обсуждалась тема «Судьбоносные проблемы Израиля». Отклики свидетельствуют об интересе к этой теме. А каковы эти проблемы, на твой взгляд?*

Авигдор Либерман: Я никогда не претендовал на монопольное знание истины и свою непреерекаемую правоту. При всем том, поварившись в бурном котле практической политики и регулярно общаясь с аналитиками самого высокого класса, я пришел к выводу, что у нас две – с известными оговорками – основные проблемы: системные дефекты государственной системы, порождающие перманентную ее нестабильность, и отсутствие подлинных лидеров.

Источником большей части наших проблем являются серьезные дефекты системы государственного устройства. Ее нестабильность ведет к тому, что мы живем от выборов к выборам, у нас перманентный правительственный кризис. Это не есть нечто, данное нам свыше, это следствие той системы, которую мы сами создали. Не распространяясь подробно о давно предлагаемых мною шагах для исправления ситуации, упомяну лишь о самом главном: президентская система правления, разделение властей, принятие конституции, повышение избирательного барьера. У нас сегодня в кнессете представлены 14 партий, тогда как в гигантских США всего две

Авигдор Либерман – лидер партии правого толка «Ихуд леуми», единственный из «русских» политический деятель общенационального масштаба, фактический глава правой оппозиции Израиля.

партии. Мы одна из немногих стран мира, где министры в то же время – члены парламента. У нас непозволительно низкий избирательный барьер, что плодит множество партий, каждая из которых борется не за общенациональные, а за свои интересы. К примеру, в Германии этот барьер составляет 5%, у нас – 1,8%. За всю историю Израиля лишь два правительства удержались у власти все четыре года. И не было ни одного правительства, которое постоянно не сотрясали бы коалиционные кризисы. Правительство живет от выборов к выборам – нормально работать у него просто нет времени. К примеру, Шарон... Из-за этого он просто не способен ничего толком планировать и осуществлять, доводить до конца...

Э. К.: *Может, это и хорошо, что он не способен кое-что доводить до конца? Кстати, у нас ведь есть институции, занятые разработкой стратегически значимых концепций и решений, но я подозреваю, что их никто не слушает – не до того. Как думаешь?*

А. Л.: К сожалению, ты прав. И премьеру и министрам не до стратегических проблем – они заняты будущими выборами, прикидывают, с кем бы слиться, к кому бы примкнуть, куда бы перекинуться... А тут еще и всякие прочие выборы: муниципальные, в Гистадрут, внутрипартийные... Мы только и делаем, что все время куда-то кого-то выбираем и ничего не создаем...

Вторая проблема – отсутствие лидеров. Затяжной кризис лидерства. Те, на кого избиратели возлагают надежды, придя к власти, оказываются в лучшем случае пустышками. Да и сама система выдвижения кандидатов в тот же кнессет никуда не годится. Разве интеллектуалы былых времен, которые когда-то были в кнессете не одну каденцию – вроде доктора Бадера или профессора экономики Лакса, – смогли бы сегодня победить на партийных праймериз или стать членами Центра Ликуда? Стали бы они унижаться, мелькая на семейных торжествах мелких партийных функционеров, пожимать руки базарным торговцам? А без этого у них нет никакого шанса на избрание.

Отчасти поэтому у нас нет лидера, который смог бы радикальным образом реорганизовать систему государственного устройства. У тех же, кто числится лидерами, не только что нет стратегии, но даже и мысль о необходимости таковой вряд хоть изредка посещает их головы. Шарон знает, как выиграть ближайшие праймериз, выборы, как подмять под себя министров, но у него нет представления о том, какова наша конечная цель, куда мы идем. Его политика – политика лавирования, он не выбирает направление, а все время «ловит волну», а, поймав, больше всего озабочен тем, что-бы удержаться на ее гребне – а там, куда вынесет...

Э. К.: *Говоря о лидере, ты ведь имеешь в виду сильного политика, способного многое перекроить-переиначить. Но ведь такие с неба не падают, они появляются только тогда, когда народ для этого созрел, когда он их жаждет... Самый харизматичный лидер, если он не фюрер какой-нибудь, а действует в рамках демократии, даже такой своеобразной, как израильская, ничего не сможет сделать из того, что не отвечает глубинным и при этом отчетливо выраженным желаниям масс. А между тем*

смотри: наши массы, хоть и брюзжат по поводу наших непорядков, надежд на политиков отнюдь не возлагают. К примеру, по опросу газеты «Маарив» за 31.11 сего года, 61% израильтян категорически не доверяют политикам всех мастей.

А. Л.: Да, престиж политиков ниже некуда. Кстати, из всех общественных-государственных учреждений наименьшим доверием пользуется кнессет. А самым высоким – ШАБАК.

Э. К.: Ну, знаешь, тут, я боюсь, дело в том, что деятельность всех этих ШАБАКов засекречена и потому окружена мифами. Будь она прозрачна, все убедились бы в старой истине: если в стране бардак, то он всюду – будь то ШАБАК или какой-нибудь там БАБАК. И вообще – людям хочется верить, что хотя бы армия и секретные службы остаются на уровне. Оно и понятно – от них же напрямую зависит наше выживание... Но вернемся к нашей основной теме. Где ты видишь возможность подвигнуть наших дорогих политиков, да и большую часть нашего общества к реорганизации системы власти?

А. Л.: Есть признаки того, что народ если еще и не окончательно созрел, то, как минимум, созревает для того, чтобы начать решительно требовать радикальных перемен в нашем обществе. Люди устали от атмосферы пессимизма, безысходности, от ощущения того, что будущее покрыто туманом, что не видно горизонта.

Э. К.: От обилия и запутанности наших проблем – причем едва ли не каждая из них судьбоносна – голова идет кругом. И зачастую для каждой нашей сложной проблемы предлагается простенькое решение, которое легко становится популярным среди неискушенной публики. Но заметь: это всегда неверное решение. Потому что у комплексной проблемы если и есть решение – что необязательно, – то оно может быть лишь комплексным. Как тут быть серьезному политику? И второе – я подозреваю, что базисная причина всех наших бед – мы сами.

А. Л.: Согласен. Подавляющее большинство людей склонны винить в своих неудачах кого-то другого. Моя жизненная философия зиждется на том, что в случае провала я прежде всего предъявляю претензии к самому себе.

Э. К.: Мне тоже представляется, что дурак винит во всем другого, умный – себя, ну, а совсем уж мудрец винит и себя и другого.

А. Л.: Другой – это нечто, наличествующее как данность. Мы знаем, кто наши соседи, мы знаем, что и почему именно так происходит в Европе и во всем мире... Нет ничего такого, что невозможно понять и просчитать, все известно, все понятно, кто есть кто. А то, что мы все-таки, все понимая, при этом не умеем навязывать реальности свои сценарии, в этом, конечно, виноваты мы сами. Однако проблема лидерства не столько в отсутствии сильной фигуры, вроде нового Моисея, который вывел бы страну из пустыни безнадеги, сколько опять-таки в самой государственной структуре, которая неэффективна и во многом даже деструктивна, которая выталкивает на ключевые позиции мелких политиканов, а не государственных мужей. Прикидоч-

но оценивая, кого из сегодняшних министров я бы взял менеджером к себе в компанию, будь у меня таковая, я не вижу никого подходящего. Ни-ко-го.

Э. К.: *Так и тянет переиначить известный анекдот... Поймал однажды Авигдор Либерман золотую рыбку. Она ему: «Отпусти меня, а я выполню любое твоё желание». Он и говорит: «Хочу стать президентом США». «Да ты чё, мужик? Давай что-нибудь полегче». – «Ну тогда: хочу реформировать государственную систему Израиля». Почесала рыбка затылок хвостом и отвечает так: «А какое там у тебя было первое-то желание?...» То есть задачу ты обрисовал прямо-таки неподъемную. Есть ли у тебя хоть какая-то прикидка, что ли, как ее решить?*

А. Л.: В парламентском государстве, действуя в рамках правового поля, есть лишь один способ реализации тех или иных реформ – получить весомое представительство в парламенте. Крайняя необходимость реформировать нашу государственную систему диктуется прежде всего вопросом о выживании страны. К сожалению, многие талдычат одно: «Хотим мира». Кое-кто даже: «Мира любой ценой». Я хочу не мира, а безопасности. Меня не обольщает идея мира, в результате которого я могу ездить в Дамаск, чтобы отведавать тамошнего хумуса.

Несколько отвлекаясь от темы, хочу сказать, что я вижу Израиль как часть Европы. Не левантийско-византийского региона, а Европы. Судьба забросила евреев на Восток, но что касается меня, я хочу, чтобы мы были частью Европы, ее форпостом, отстаивающим не только еврейские, но и европейские ценности.

Возвращаясь к угрозе нашему существованию... Геополитическая ситуация такова, что Израиль оказывается зажатым в клещи. С одной стороны выстраивается сплошной шиитский массив – Иран и Ирак, где, судя по всему, на выборах победят шииты, и Ливан, где доминирует такой шиитский фактор, как «Хизбалла». То есть одно пространство – шиитское, где политику диктуют радикальные элементы, а с другой стороны – палестинский массив: Иордания, палестинская автономия и израильские арабы, которые все больше и больше идентифицируют себя с палестинцами. Взаимодействие двух этих сил нарастает с каждым днем. В частности, полно свидетельств координации действий различных группировок израильских арабов с «Хизбаллой», которая и финансово подпитывает их. Для нас это стратегическая угроза.

Э. К.: *Меня вот какой вопрос донимает: созреет ли Запад когда-нибудь до понимания, что угроза нашему существованию – лишь первая в цепи угроз западной цивилизации со стороны исламо-нацизма. И как сделать, чтобы они осознали эту угрозу в качестве основной для себя и активно включились в противостояние исламскому нацизму?*

А. Л.: Надежда на Запад невелика. Тут не избежать ставшего банальным, но от этого не утратившего своей истинности сравнения с ситуацией в Европе накануне Второй мировой войны. Всем все было понятно насчет Гитлера, но они играли в свои политические игры, предавая всех и вся, лишь бы отвести угрозу от себя.

Э. К.: Я хотел спросить тебя насчет борьбы с терроризмом... Уши вянут от призывов бороться с терроризмом... Тут ведь хитро-глупый подтекст: только с терроризмом... Ясно же, что наш конфликт с палестинцами не из-за территорий. Потому и их методы – это уже не терроризм. Классический террорист норовит убить ненавистного врага, при этом самому уцелеть. Когда же речь идет о шахидах – это уже явный признак религиозной войны. И выходит, что все эти призывы бороться с международным терроризмом – просто патологическая слепота или дань политкорректности, не позволяющей признать, что этот самый терроризм – всего лишь один из видов ведения войны, развязанной против западной цивилизации исламским нацизмом. Когда и если неисламский мир, наконец, созреет до признания, что это война, тогда будут задействованы совсем иные ресурсы и возникнет необходимость выработки совсем иной стратегии. Разумеется, с учетом того, что бин-ладены спят и видят, когда Запад объявит «крестовый поход»: для них свои секуляристы и умеренные ненавистнее всякого Запада–Израиля, а мировая война – способ с ними разделаться, сплотив весь исламский мир под зеленым знаменем джихада. Тебе ведь случается общаться не только на официальном уровне с теми, кто определяет политику в Европе и США... Какова степень их понимания этого вопроса?

А. Л.: Я совершенно согласен и с концепцией Хантингтона, и с Норманом Подгорецом, который уже года три назад в журнале «Commentary» доказывал, что Западу объявлена Четвертая мировая война (если считать холодную войну – третьей). Еще четыре года тому назад, выступая на митинге в Иерусалиме, я говорил о том, что наше противостояние с арабами следует рассматривать в контексте столкновения цивилизаций. Какой тогда крик поднялся в прессе! К сожалению, и западные и наши политики категорически не хотят признавать очевидное. К примеру, сегодня абсолютно ясно, что питомником, где выращивается исламский экстремизм, является в первую очередь Саудовская Аравия. Только на недавнем скачке цен на нефть Саудовская Аравия заработала – сверх запланированного – около 80 миллиардов долларов. И немедленно пустила их, как обычно, на поддержку террористических группировок, на усиление антиамериканской и антиизраильской пропаганды. Но Запад, отлично осведомленный обо всем этом, никаких мер против Саудовской Аравии не принимает. Более того, она до сих пор уважаемый член мирового сообщества и аттестуется в качестве государства прозападной ориентации. Те, кто декларирует необходимость борьбы с международным террором, прежде всего обязаны создать международную систему санкций против Саудовской Аравии. Не за комарами гоняться надо, а – осушить болото.

И эти двойные стандарты празднуют победу на всех фронтах. Когда слушаешь заявления официальных лиц правительства России, то такое впечатление, что Андрей Андреевич Громыко восстал из пепла, словно птица Феникс. Опять палестинские террористы у них – бойцы национально-освободительного движения, а чеченские сепаратисты – террористы.

...Но не будем отклоняться от темы – мы ведь говорим о том, что надлежит делать... В этой связи прежде всего, полагаю, надо принудить мусульманский мир принять общечеловеческие ценности – те, которые лежат в основе жизнедеятельности западного мира. Предваряя вопрос о том, как это сделать и с какой-то стати мусульманский мир должен принять чуждые его сути западные ценности, отвечаю: это отдельный и очень непростой разговор. Сейчас я пытаюсь наметить цели, а методы реализации их – особая тема.

Недавно я встречался с представителями одной очень серьезной американской организации, которые приехали в Израиль, чтобы в ходе частных бесед с нашими ведущими политиками понять, как ситуация в нашем регионе видится из Израиля. Беседа с ними поразила меня. Например, они полагают, что иракцы должны радоваться тому, что свергнут диктаторский режим Саддама и открыта дорога к демократии. «С какой стати? – спрашиваю я. – Это для нас с вами демократия – ценность, а для иракцев?.. Если часть их и мечтала о свержении диктатуры Саддама, то не для того, чтобы заменить ее на демократию – понятие абсолютно чуждое им и даже враждебное, – а для того, чтобы в диктаторы пробился ставленник их клана».

Э.К.: Мне все время кажется, что, в сущности, наша ситуация во многом повторяет многократно бывшее в истории человечества. Граждане некоего вполне процветающего государства со временем неизбежно начинают жиреть, тяготеют к гедонизму, потребительству, а окружающие их варвары – голодные, мускулистые, булькающие ненавистью – только и ждут возможности ворваться в пределы этого государства, чтобы учинить резню и грабеж. Мы обречены жить в регионе, заряженном варварским религиозным фанатизмом. Чтобы выжить тут, надо самим вооружиться сильной идеологией, цементирующей общество и понуждающей его «встать в строй». Сионистская же идеология изживает свой век, как и всякая идеология... Что касается лично меня, мне не по душе жизнь в идеологизированном государстве. Вот одно из неразрешимых противоречий: без идеологии нам не устоять, а с идеологией мы скатимся к идеократии. Более того, если эта искомая идеология будет такого же накала, как и та, что у наших соседей (а иначе как же перед ее напором выстоять?), я не уверен, что стоит выживать такой ценой.

А. Л.: Тема эта крайне интересна, но, увы, пока неактуальна. Увы – потому, что пока нам грозят не побочные эффекты виртуальной избыточной монолитности общества, а еще больший раскол по множеству направлений.

Сравнение нашей страны с оазисом, окруженным ордами врагов, верно, но есть еще нечто – более, на мой взгляд, опасное: наличие пятой колонны в самом Израиле. Я имею в виду часть израильских арабов, экстремистов, демонстрирующих словом и делом свою ненависть к Израилю. Они провозглашают себя палестинцами, устраивают многотысячные демонстрации – с зелеными флагами, скандированием лозунгов, типа «В огне и крови освободим тебя, Палестина!» В ответ на мое предложение – в рамках обмена

территориями – дать им возможность слиться с палестинской автономией, они: «Нет, мы не хотим!» Потому что они привыкли получать тут пособие по безработице, обращаться в больничные кассы, в Институт национального страхования... и при этом использовать наши либеральные законы для подрывной работы против нас же.

Э. К.: *Я так понимаю, что суть предложенного тобою плана в том, чтобы мы обменялись с палестинцами территориями и населением, отдали бы им районы с преимущественно арабским населением, сохранив за собой крупные поселенческие блоки в Иудее и Самарии. Не вдаваясь в обсуждение самого плана, позволь полюбопытствовать: как его реализовать без оглядки на мировое сообщество, которое тут же обвинит нас в расизме, геноциде и еще черт знает в чем?*

А. Л.: Если бы мы приняли хотя бы половину законов, действующих в странах Балтии – законов, компенсирующих демографические и иные перекосы, рожденные былой советской оккупацией, – нас бы тут же объявили расистским государством. А им это не помешало стать полноправными членами Евросоюза. И это, несмотря на то, что Европейский суд принял вердикты по ряду случаев попрания прав русских граждан этих стран. Они проигнорировали это...

Э. К.: *Ну, что позволено Юпитеру, то не позволено обрезать быку. Ведь существованию стран Балтии пока никто не угрожает, и потому они могут игнорировать недовольство Европы. Чего мы себе позволить, увь, не можем...*

А. Л.: Мы тоже многое можем позволить себе – особенно, если это базируется на прецедентах. Мы можем отстоять свое право на реализацию плана обмена территориями и населением, если в самом Израиле будет достигнут консенсус по этому вопросу. Есть масса примеров, когда западный мир принимал нашу позицию, когда ему было однозначно ясно, что таково мнение всего Израиля. То есть все дело в нас – в нашей способности выработать единую национальную концепцию, в нашей способности в судьбоносный час отказаться ради единства в таком важном вопросе от своих политических разногласий... А когда наше правительство говорит сегодня одно, завтра другое, а оппозиция, отправляя своих посланцев в США и Европу, – третье, то... У нас каждый поет свою песню – и многие не ради блага страны, как бы они его ни понимали, а ради того, чтобы насолить своим политическим противникам. И это на руку нашим недругам. Особенно в Европе...

Э. К.: *Кстати, насчет Европы... Тут недавно провели социологические исследования во Франции и Германии. Так около 70% опрошенных заявили, что их уже тошнит, когда они слышат про Холокост...*

А. Л.: То, что мы видим сейчас в Европе, – это классический антисемитизм, который подогревается хорошими деньгами. Вот относительно недавно была конференция по антисемитизму в Берлине. Ее очень старались замолчать, особенно – оглашенные там результаты исследования насчет связи между позицией ряда СМИ и рекламой, которая вливается в эти

СМИ всякими ближневосточными шейхами. И насчет связи между политической многих университетов и академических кругов и объемом пожертвований, полученных от тех же шейхов. Это оплаченный антисемитизм. И это надо разоблачать, доказывать, приводить факты...

Э. К.: *А ты не преувеличиваешь роль разоблачительного слова? Чего оно стоит по сравнению с щедрыми вливаниями в газетный бизнес, в университетские, правительственные и другие структуры? А кроме того – «доказывать, разоблачать...». Это с тем нищенским бюджетом, который Израиль выделяет на пропаганду и контрпропаганду? Это с нашей-то системой назначения на ключевые позиции не специалистов, а полуграмотных родственников или провалившихся, проворовавшихся косноязычных политиков мелкого разбора?..*

А. Л.: И все же... Иного пути у нас нет. И потом, наше израильское слово не так уж мало значит. Разрабатывая план решения палестинской проблемы, я советовался, в частности, кое с кем из нынешних и бывших сотрудников вашингтонской администрации. Я спрашивал: «Что надо сделать, чтобы США не отвергли мой план?» Суммируя их объяснения, можно сказать так: Вашингтон примет любой план, поддержанный истеблишментом американских евреев. И в первую очередь – истеблишментом евреев-республиканцев. Мне поименно назвали 12 человек, принадлежащих к этому истеблишменту, – тех, к кому Буш прислушивается. По их словам, если эти 12 одобряют тот или иной израильский проект, выработанный на основе национального консенсуса, и если к ним присоединится все еврейское лобби Америки, то нет сомнения, что любая вашингтонская администрация – а уж тем паче республиканская – примет этот проект.

Конечно, когда мы поем на разные голоса, когда наши левые...

Э. К.: *Бегин в свое время сказал, что арабы – наши беда, а левые – неизбывное проклятье... Ты, надеюсь, уже начал работу с этой дюжиной?*

А. Л.: Это преждевременно. Сперва надо получить весомое представительство в кнессете, затем добиться общенационального консенсуса относительно моего плана, а уж затем... Хотя, разумеется, все это нужно делать параллельно – но степень усилий для реализации того или иного аспекта деятельности в разное время разная.

Э. К.: *После выхода твоей книги*, где изложен твой план, левые возразили, что Либерман – символ несгибаемой правизны – сместился к центру. А правые упрекают тебя в сдаче позиций, в фактическом согласии на создание палестинского государства. Кстати, только что Киссинджер на страницах международного издания «Трибюн» опубликовал свой план мирного урегулирования, который практически ничем не отличается от твоего. Не думаю, что согласие с тобой Киссинджера – самый большой тебе комплимент. Впрочем, хвалу тебе пропел даже и такой клинический лева-*

* На русском языке книга выйдет в начале следующего года – вероятно, под названием «На том стою».

чок, как Ярон Лондон. Публика же политически не столь ангажированная полагает, что твой план – всего лишь предвыборный маневр: поскольку основная масса электората теснится к центру, то и ты демонстрируешь некую склонность сместиться к центру в погоне за голосами избирателей.

А. Л.: Предложение Киссинджера мне пока изучать было некогда – может, в грубом приближении оно и похоже на мой план. Но многое ведь – в нюансах, которые предугадывают возможную динамику развития ситуации как в Израиле, так и в арабском мире. Не думаю, что Киссинджер владеет такого рода знаниями – в библиотеке их не добудешь, для этого надо жить тут.

Что же касается домыслов насчет электорального маневра – это чушь. Как и насчет утверждения, будто я согласен с созданием палестинского государства, – я говорю лишь о де-факто существующей палестинской автономии.

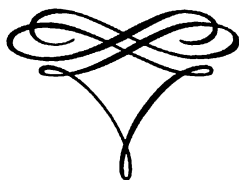
Кстати, в списке насущных проблем, стоящих перед нами (помимо главнейшей – реформы государственной системы), палестинская у меня значится на четвертом месте. На первом месте – неконвенциональное оружие, которое может попасть в руки исламских радикалов. Проблема номер два – израильские арабы. Третья – ассимиляция евреев. Если она будет продолжаться теми же темпами, то через 50 лет практически не останется еврейских общин за пределами Израиля. Это те проблемы, которые нам предстоит решить, чтобы выжить. Необходимо выработать базисные принципы, с которыми согласились бы все партии, независимо от их ориентации. Почему до сих пор столь весом программный документ нашего государства – Декларация независимости? Прежде всего потому, что ее подписали все партии, включая коммунистов. Пришло время вновь выработать такого же рода документ, в котором должны быть определены цели Израиля в сегодняшней ситуации.

Э. К.: Мне кажется, ты опять переоцениваешь значение всяких деклараций и вообще – значение слова? А между тем только что, 9 декабря этого года, международная организация Transparency International опубликовала отчет о том, как граждане разных стран оценивают своих политиков. И, по мнению израильтян, наши политики чудовищно коррумпированы. Уровень коррумпированности израильских партий они оценили в 4,3 балла (по пятибалльной системе, где лучшая оценка – 1), а членов кнессета – в 4,1 балла. И на таких политиков ты намерен действовать словом?

А. Л.: Надеюсь, ты не думаешь, что я не знаю об этом? И это знаю, и многое другое, мало кому известное. И все равно, без декларации принципов – никуда. С этого начинается все... Я не преувеличиваю значение всяких деклараций, но и не преуменьшаю. Кто верил, что, например, Хельсинкские соглашения окажутся поворотным моментом в борьбе с советским режимом?

Э. К.: Ты можешь сказать, кто из видных политиков в Израиле согласен с твоим видением ситуации и мерами, которые ты предлагаешь?

А. Л.: Согласны очень многие, но все боятся нарушить правила политической корректности. Так что можно сказать, что, в сущности, пока я один.



Авраам Б. Иошуа

СИОНИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ЕСТЬ ЛИ У НЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ?

Понятие «революция» включает в себя две обязательные составляющие. Первая – радикальное изменение жизненного уклада, системы ценностей, структуры власти и общественной идеологии. Это коренным образом отличает революцию как от политического переворота, так и от обычной смены власти. В то время как цель переворота – лишь насильственный захват власти без каких-либо существенных изменений общественного уклада и системы ценностей, а обычная смена власти – это чисто демократическая процедура; революция подразумевает глубокое и сущностное изменение издавна сформировавшихся общественных и культурных традиций. И отсюда вытекает второе существенное и обязательное отличие революции от смуты – наличие «плана», то есть программы построения новой жизни.

Только наличие обоих этих обязательных признаков дает нам право наделять какое-либо явление почетным званием «революция». Так что не стоит слишком неразборчиво употреблять это слово.

Применим ли термин «революция» к сионизму?

На первый взгляд – да. Во всяком случае, постольку, поскольку сионизм требовал радикальных изменений в общественной, традиционной и даже

Авраам Б. Иошуа – израильский писатель и общественный деятель. Его романы «Мой Михаэль» и «Господин Мани» переведены на русский и все европейские языки.

географической жизни еврейского народа, призывая его к возвращению из галута* на старо-новую родину. Но содержал ли сионизм также программу новой жизни, как то было, скажем, в случае французской или большевистской революции? Тут ответ требует большей осторожности, так как сионистский проект основывался не столько на создании нового, сколько на реставрации былого. Что-то вроде: «обнови дни наши, как древле»**. В отношении переустройства еврейской жизни сионизм предлагал не столько программу новой жизни, сколько *возрождение*, реанимацию той, что существовала две тысячи лет назад. Иными словами – возврат к имевшему место в древности нормальному существованию нации на своей древней родине со своим древним языком.

Разумеется, я несколько упрощаю и заостряю ситуацию. Понятно, что за два тысячелетия после разрушения Второго Храма многое изменилось. Но если бы сионизм мог по мановению волшебной палочки вернуть все, что было тогда, добавив то, что дала за это время цивилизация (образно говоря, заменив лошадей машинами), он наверняка счел бы это вполне удовлетворительным первым приближением к своей утопии.

Я с осознанным упрямством придерживаюсь этого, пусть узкого, но верного, на мой взгляд, определения сионизма. По-моему, сионизм являет собой не какую-то особую идеологию, а лишь общую платформу для многих разных, временами противоречащих друг другу идеологий. Ибо если понимать идеологию, как она определена в «Еврейской энциклопедии» («систематизированная совокупность идей, принципов, целей и лозунгов, выражающих мировоззрение какой-либо группы, партии или общественного класса»), то сионизм идеологией не является. Он собрал под одной крышей социалистическую и даже, отчасти, марксистскую идеологию «Ха-шомер ха-цаир»***, религиозную ортодоксию Агудат Исраэль****, буржуазный либерализм, социал-демократию, национал-патриотизм и даже национал-фашизм. Верно, при всем различии мировоззрений все партии, участвовавшие в Сионистских конгрессах, были сионистскими, но не

* Галут (*ивр.*) – диаспора.

** «Обрати нас, Господь, к себе, и мы обратимся, обнови дни наши, как древле...» (Плач Иеремии 5:21).

*** Ха-шомер ха-цаир («Молодой страж») – возникшее в Галиции в 1911 г. молодежное левосоциалистическое движение, имевшее целью подготовку еврейской молодежи к переселению в Эрец-Исраэль для участия в возрождении родины на коллективистских основах и для развития еврейской культуры и языка. В Израиле – зачинатель кибуцного движения, активный участник еврейского вооруженного подполья. В 30–40-е гг. – на марксистских, просоветских позициях, впоследствии вошло в левую партию МАПАМ. – (*Примеч. пер.*)

**** Агудат Исраэль («Союз Израиля») – международное движение религиозной ортодоксии, основанное в 1912 г. в Катовицах и позже объединенное в политическую партию, целью которой является сохранение устоев еврейской религии и реорганизация еврейского общества на основе религиозного закона (Галахи). – (*Примеч. пер.*)

по своей платформе или программе, а в своем общем стремлении создать суверенное еврейское государство в Эрец-Исраэль, открытое для всякого еврея, который захочет в нем поселиться. Всё специфическое, что было характерно для каждой отдельной партии, представляло собой всего лишь желаемое дополнение к этому главному сионистскому тезису, но отнюдь не обязательную его часть.

Говоря иносказательно, сионизм был лекарством от специфического еврейского заболевания, именуемого «рассеянием», или «галутом». Но в силу неоднородного состава пациентов (ортодоксы и ультраортодоксы, либералы и социалисты, националисты и даже последние могикине романтизма – анархисты) каждому следовало подобрать свои дозы, концентрацию, специальные добавки. Однако само лекарство было, по существу, одним и тем же.

Но что же все-таки имелось в виду под возрождением еврейской независимости в духе «дней, как древле»?

Еврейский народ жил на родной земле и говорил на родном языке довольно долго – примерно 1000 лет, если сложить времена Первого и Второго Храмов. Несмотря на то, что эти две эпохи разделил относительно короткий период в каких-нибудь 60–70 лет (Вавилонское пленение), в национальном сознании они четко и оправданно запечатлелись как два совершенно разных периода еврейской независимости.

Подразумевает ли «дни наши, как древле» эпоху Первого и Второго Храмов вместе или только одну из них? И если одну, то какую?

Несомненно, духовно и ценностно сионизм был связан в первую очередь с эпохой Первого Храма, эпохой Танаха, с ее притчами и прозрениями пророков. Тем не менее сионистская модель «возрождения прошлого» относилась больше к эпохе Второго Храма, как об этом свидетельствует основной лозунг сионизма – «Возвращение в Сион», звучавший как отголосок первого периода возвращения в Эрец-Исраэль из Вавилонского плена.

Но были и еще тому причины – как минимум, четыре.

1. Эпоха Второго Храма была исторически ближе и потому более известна.

2. В этот период за пределами Эрец-Исраэль уже существовала еврейская диаспора. С другой стороны, насколько мне известно, даже сионисты самого радикального толка не надеялись на возвращение всего еврейского народа на свою историческую родину. Большинство соглашалось с тем, что значительная часть евреев останется в диаспоре, как это было и во времена Второго Храма – уж во всяком случае, в тех странах, где вследствие демократических реформ местные власти и население стали более терпимыми к евреям.

3. Определение еврея в период Второго Храма, как оно было сформулировано после Вавилонского плена, больше соответствовало представлению сиониста о самом себе или представлению сионизма о евреях, нежели то размытое и неясное определение еврея, которое существовало в эпоху Первого Храма.

4. Почти весь период Первого Храма еврейская государственность бы-

ла поделена между двумя царствами – Израильским и Иудейским, которые, к тому же, время от времени воевали друг с другом. Разумеется, подобная реальность не могла воодушевить сионистов, мечтавших об объединении еврейской нации.

Так что, несмотря на то, что Танах занимал весьма почетное место в формировании мировоззрения идеологов сионизма и вдохновлял их литературное творчество и публицистический пыл, их практические взгляды и помыслы были обращены не к Первому Храму, а к Второму.

Подытоживая этот разговор об определениях, можно сказать, что на фоне других революций нет оснований применять этот термин к сионистскому движению. Оно было ориентировано не на будущее, а на то, что уже существовало (во всяком случае, в основных чертах) тысячи лет назад.

Более того – в каком-то глубинном смысле эта утопия «возвращения в Сион» не была так чужда и нова для еврея, как был нов и чужд, например, русскому или китайцу коммунистический лозунг «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Идея возвращения в свою страну и возрождения там еврейской государственности издавна была той внутренней моделью Избавления*, которую в той или иной мере носил в своей душе каждый еврей. Поэтому нельзя сказать, будто сионизм призван был произвести такой же радикальный переворот в мыслях и ценностях, как другие исторические революции.

И все же, не беря большого греха на душу, мы можем говорить о сионистском движении как о революции. Ибо по сути, а не формально, по отношению к бездомному еврейскому народу она и была революцией. Вот только вопрос: сумеем ли мы довести эту революцию до ее логического конца, учитывая тот диагноз истинной проблематики еврейства, который я попытаюсь представить ниже?

В чем же истинная причина ее незавершенности?

Парадоксально, но сионисты смогли достичь своих целей (да и то, на мой взгляд, частично) лишь благодаря тому, что поле их действий находилось вне пределов бытования евреев. В противном случае мы вряд ли имели бы сегодня свое государство. В известном смысле, можно сказать, что сионистская революция была осуществлена в условиях лабораторной стерильности, вне связи с еврейской действительностью и ее внутренними противоборствующими силами. Случись она в Варшаве, Вильнюсе, Берлине или Каунасе, религиозные ортодоксы, реформисты, «автономисты», «ассимиляторы», социалисты-бундовцы либо просто ищущие покоя обыватели, каждый по своим причинам, встретили бы ее в штывы и уничтожили на корню.

Ситуацию можно сравнить с коммунистической революцией, произойди она не в России, а на каком-нибудь уединенном и безлюдном острове, свободном от царской власти и церковного влияния, а уж потом импорти-

* Избавление (*ивр.* – «геула») – понятие, традиционно связанное в иудаизме с завершением Изгнания еврейского народа и с его воссоединением на Земле Израйля. – (*Примеч. пер.*)

рована в Россию, чтобы побудить весь остальной русский народ присоединиться к той новой действительности, которая возникла бы в результате такой «островной революции».

Еврейский народ не ставил сионистам палки в колеса лишь потому, что те претворяли в жизнь свои идеи в далекой и заброшенной Палестине, еврейское население которой составляло в начале XX в. менее 0,5%, а накануне Катастрофы, в 1939 году, – только 2,5% от общей численности еврейского народа. Не без иронии приходится признать, что успех сионистской борьбы за освобождение еврейского народа был обусловлен ее географическим удалением от этого народа.

Так что же тогда представляет собою сионистская революция (в том ограниченном смысле, о котором говорилось выше)? И почему ей и сегодня приходится отстаивать свое право на существование – и не только перед лицом нееврейского мира, но и перед лицом наших соплеменников? Почему она так трагически не преуспела в самом неотложном деле – создании еврейского государства до наступления Катастрофы, угрожающие признаки которой стали очевидны уже с появления националистического и секьюлярного антисемитизма в конце XIX века?

Отчего, несмотря на столь пессимистический диагноз положения еврейства и срочную необходимость таковое изменить, столь многим евреям так трудно было присоединиться к этой революции?

Чтобы понять суть подлинной сионистской революции и тех радикальных изменений, которые она должна была произвести в еврейском самосознании, необходимо уяснить одну простую истину. Хотя она давно известна всем историкам, но с течением лет я все больше убеждаюсь, как все еще тяжело евреям принять и усвоить ее, ибо это возлагает на них самих определенную часть моральной ответственности за собственную судьбу. Эта истина состоит в следующем: *диаспора не была навязана евреям другими народами, а являлась их личным выбором*. Выбор этот – не однозначный, не простой, болезненный и опасный – был сделан евреями в надежде уйти от главного внутреннего конфликта еврейской идентичности, который возник еще в Синайской пустыне на почве уникального в своем роде слияния еврейской национальности с еврейской религией (которая в результате стала племенной, хотя не лишилась своей несомненной универсальной устремленности).

В этом проблематичном слиянии кроется глубокий нравственный парадокс. Так что не удивительно, что он является источником вечной путаницы в душе евреев и непонимания этой ситуации в нееврейском мире, ведущем к неприятию и враждебности. И это – в дополнение к общеизвестной причине антисемитизма: неприязни к чужаку, вьющему гнездо на чужом поле.

В чем этот парадокс? К этому мы еще вернемся, а пока я постараюсь со стенографической краткостью и, апеллируя лишь к малой толике из внушительного арсенала исторических фактов, доказать, что диаспора не была навязана еврейскому народу, а было выбрана им самим уже на заре его истории.

1. Народ Израиля начал формироваться в Египте, а окончательно кристаллизовался в скитаниях по Синайской пустыне, где и была предпринята историческая попытка спаять национальность и религию воедино. Состояние диаспоры, пребывания в чужой земле, навсегда осталось основополагающим стержнем еврейской идентичности. В истории очень мало или вообще нет народов, рождение и формирование которых произошло вне их собственной территории.

2. Возвращение из Вавилонского плена не стало возвращением всего народа. Уже в 538 г. до н. э., с провозглашением персидским царем Киром декларации о «праве на возвращение» и спустя всего 40 лет после разрушения Первого Храма, значительная часть еврейской общины предпочла возвращению в Сион жизнь на «реках вавилонских». Этим она вызвала гнев и даже ненависть тех, кто «взошел в Сион» вместе с Эзрой и Нехемией. Ибо вернувшиеся поняли, как опасна опция «добровольного изгнания», открытая для себя евреями Вавилона. С тех пор эта опция все более расширялась, вплоть до массового переселения в страны диаспоры после разрушения Второго Храма.

3. В период Второго Храма уже существует огромная еврейская диаспора, география которой охватывает почти все близлежащие регионы, а демография составляет больше половины еврейского народа. И это несмотря на то, что все эти евреи вполне могли жить в Израиле, который в течение довольно продолжительного времени, при Хасмонеях, находился под еврейским суверенитетом – не говоря уже о том, что там был Храм.

4. Римляне не изгоняли евреев из Израиля (которых в конце периода Второго Храма было около двух миллионов). Нет никаких исторических доказательств, будто военная победа и разрушение Второго Храма римлянами завершились массовым трансфером коренного населения. Истина проста: евреи сами постепенно покидали Израиль. И две тысячи лет в него не возвращались. Их не вернуло на родину ни падение Римской империи, ни отсутствие когда бы то ни было какого бы то ни было запрета селиться в Израиле (в отличие от Италии, Франции, Англии и других стран, откуда евреи в разные исторические периоды были изгнаны, где им и впрямь запрещалось селиться и куда они, со свойственным им упорством, возвращались).

Евреи жили во всем Средиземноморье и в странах Ближнего Востока, только не в Израиле. Изгнание из Испании пополнило сотнями тысяч евреев еврейскую диаспору Средиземноморья, но не Израиль. Евреи столетиями жили в самой гуще разных цивилизаций и религий, под властью разных правителей, только не в Израиле, шесть раз сменившем за это время «хозяев».

Цифры говорят сами за себя: в начале XIX века еврейство насчитывало 2,5 миллиона человек, но в Израиле жили лишь 5 000, а в начале XX в. – всего 50 тысяч из 17,5 млн. И, чтобы сделать еще более наглядным глубину этой пропасти, обратим взор к такой «милрой», «привлекательной» и «высококультурной» стране, как Афганистан, в которой в XIX веке насчи-

тывалось 40 тысяч евреев, или возьмем далекий, дикий Йемен, где в унижении и страхе жили аж 100 тысяч евреев. Это не говоря уже о таких государствах, как Ирак, Египет, Польша, Румыния или Ливия и Марокко, где жили сотни тысяч евреев.

5. Евреи не возвращались в Израиль отнюдь не потому, что были так уж привязаны к местам своего проживания. История нашего народа есть, по сути, бесконечная череда скитаний. Евреи меняли и продолжают менять «родины», подобно тому как охваченный «охотой к перемене мест» сегоднешний израильский турист меняет гостиницы. Однако именно Израиль, всегда считавшийся домом, а не гостиницей, вечный этот странник упорно обходил своим вниманием. А если и заносила его судьба в родные пенаты, он, погостив недолго, вновь направлял свои стопы прочь из дома.

Религия и национальность: парадоксальное единство еврейской самоидентификации

Евреи выбрали галут не за его «мясные горшки» и не из соображений безопасности. Они были бедны и гонимы, нередко оказывались под властью самых жестоких и опасных для жизни режимов. Выбор галута имел более глубокие причины. Это был выбор, продиктованный неврозом, корни которого, как уже было сказано, уходят в давнее прошлое. Ибо именно жизнь в изгнании, несмотря на все опасности и унижения, помогала евреям облегчить конфликт, гнездящийся в недрах их самоидентификации. Только в галуте они могли обрести модус вивенди, статус-кво, временное перемирие между двумя своими «генетическими кодами» – религиозным и национальным, у каждого из которых, по самой их природе, разные устремления и разные интересы и каждый из которых претендует на главную роль в определении и решении жизненных проблем еврейского бытия.

Верно, перед аналогичной проблемой не раз стояли и другие народы. Однако у них религия не является собственностью одного какого-то народа – ее исповедуют и многие другие народы (как то в христианстве, исламе, буддизме), и потому ее конкуренция со специфической национальной принадлежностью не так остра*. У евреев же этот конфликт между религиозной и национальной принадлежностью стал причиной того травми-

* В том, какие тяжелые конфликты порождал в сознании и практической жизни каждого еврея этот принцип обязательного единства национальности и религии (еврей – тот и только тот, кто исповедует ортодоксальный иудаизм, и иудей – это тот и только тот, кто принадлежит к национальному сообществу евреев), можно убедиться на двух известных примерах. Уже на заре эпохи Второго Храма следование этому принципу привело к тому, что Эзра, выведший горстку евреев из Вавилонского плена в Иерусалим, приказал членам тамошней еврейской общины, заново принявшим Тору и взявшимся строить Второй Храм, прогнать своих жен-иноплеменниц. Тем самым он исторг из числа иудеев людей, не принадлежавших к еврейской нации. А уже

ческого религиозного (но не национального) восстания, которое привело к гражданской войне и разрушению Второго Храма. И потому еврейский народ из чувства самосохранения предпочел, в конце концов, жить там, где нет независимой еврейской нации, то есть там, где никакой еврей не может ничего реально диктовать другому еврею, где он свободен от всех других евреев и может по собственной воле «градуировать» меру своего еврейства и его толкование. Только так народ мог сохранить парадоксальную двойственность своей идентичности, не самоуничтожаясь при этом.

Более того, в таких условиях этот проблематичный, двойной жгут еврейской национально-религиозной самоидентификации превращается из недостатка в преимущество, позволяя еврею надежнее сохранять на чужбине свою национальную принадлежность, чем представителю любого другого народа, который после некоторого времени жизни в изгнании эту принадлежность утрачивает. Это преимущество, в свою очередь, еще сильнее привязывало еврея к галуту. Правда, цена такого выживания в рассеянии была страшной – постепенная ассимиляция и даже физическое уничтожение. К началу XVIII века из 4,5-миллионного народа, каким он был в конце периода Второго Храма, остался лишь 1 миллион. Даже с учетом страшных эпидемий средних веков нельзя не констатировать отпада множества евреев от своего народа на путях рассеяния.

Говоря об «этическом парадоксе», я имею в виду обе составляющие еврейской идентичности – и религиозную, и национальную. Сначала о религиозной стороне. Всякая религия, а тем более религия, не замыкающаяся в рамках одного племени, а обладающая универсальной интенцией и ставшая источником вдохновения для двух великих универсальных религий, религия, Бог которой есть «Владыка всего сущего, сотворивший небо и землю», а пророки обращаются ко всему человечеству, – такая религия по самой своей сути не может замкнуться в границах одной нации. И в то же время она не может требовать от неофитов, чтобы те отказывались от своей национальности и принимали чужую ради Избавления в лоне «единственно истинной и этической» веры. Тем более что в силу древнего еврейского принципа «Все в Израиле в ответе друг за друга»** прозелит, сменив свою национальность на еврейскую, обязывается побрататься также и с евреями-атеистами, которые вовсе не разделяют ту веру, которая так привлекла

после разрушения Второго Храма, в период господства раввинистического талмудизма, все члены секты караимов, не признавшей авторитет Устного закона (Талмуда), были объявлены неевреями, т. е. исторгнуты из еврейской нации. Таким образом, еврей должен был остерегаться даже думать о возможности слияния с другой нацией и при этом остаться иудеем или, наоборот, остаться членом еврейской нации, отойдя от ортодоксальной трактовки иудаизма. «Шаг вправо, шаг влево – считается побег». – (Примеч. ред.)

** Вольный перевод часто употребляемой пословицы: כל ישראל ערבים זה לזה («Коль Израэль аревим зэ бээ») – *ивр.*), один из первых письменных источников которой мы находим в Вавилонском Талмуде (Швуот, 39:1). – (Примеч. автора)

его сердце. Ни одна из универсальных религий никогда не выдвигала подобных абсурдных, и, не побоюсь сказать, провокационно высокомерных требований. Вера, как и всякая область духовного, должна быть открыта и доступна любому и каждому. Можно ожидать от человека, сменившего религию, исполнения ее ритуалов и заповедей. Однако почему он должен при этом отказаться от своей национальной принадлежности и принять другую? Мы ведь сами на протяжении всей истории присоединялись к другим народам, справедливо требуя уравнивания в правах с коренным населением. Если бы другие народы, подобно нам, ставили знак равенства между своей религией и национальностью, у нас не было бы ни малейшего шанса получить статус полноправных граждан, и всем евреям пришлось бы навсегда примириться с положением «вечного чужака» или покинуть галут и вернуться в Израиль. Иными словами, мы не отвечаем нееврейскому миру взаимностью и в этом смысле ведем себя незтично.

Другой своей стороной этот нравственный парадокс затрагивает вопрос о национальности. По самой своей природе национальность никак не связана с какой-либо конкретной религией или с принятием какой-либо конкретной системы ценностей. Принадлежность к определенной нации так же безусловна, как принадлежность к определенной семье. Конечно, может показаться, что славно было бы, когда бы мой народ сплошь состоял из таких же людей, как я сам. Хорошо было бы, если б налоги, которые я плачу, армейская служба, которую я нес, – все шло бы на пользу сообществу людей, которые верят в то же, что я, думают и ведут себя так же, как я. А разве не было бы замечательно, когда бы все члены моей семьи были моими единомышленниками, разделяющими мой образ мыслей и жизни? Однако в реальной действительности подобная гармония не только невозможна, но и нежелательна.

«Мой брат Гитлер» – так назвал одну из своих статей Томас Манн, один из самых ярых врагов фюрера и нацизма. В основе этого нелегкого признания лежит понимание того, что принадлежность к нации – как принадлежность к семье: предавшего свой народ можно лишить свободы и даже самой жизни, но нельзя лишить национальности. Сын-убийца не перестанет быть сыном.

Сионистский проект «революционного возвращения в Сион» даже не пытался решить этот базовый парадокс еврейской идентичности. Он не пытался разрубить тот гордиев узел, что когда-то намертво связал еврейскую религию и еврейскую национальность (а не только религию и государство). Сионистов (за исключением немногих) занимали более насущные проблемы. Страх перед все более отчетливой угрозой со стороны секулярного национализма в Европе не позволял заняться проблемой «добровольного галута» и необходимостью ее радикального решения. Когда-то Жаботинский лаконично и точно, в одном предложении сформулировал главную сиюминутную задачу сионистского движения: «Если вы не уничтожите галут – галут уничтожит вас». Поэтому сионисты, не вни-

кая в глубь этой главной еврейской проблемы, старались делать все, чтобы как можно быстрее создать независимое еврейское государство в Израиле. Самым насущным делом была для них нормализация еврейского существования в рамках собственного государства. И потому эпоха Первого Храма, когда еще допускалось определенное разделение между религией и национальностью и когда многие евреи, поклонявшиеся чужим богам, тем не менее считались принадлежащими к народу Израиля (хотя пророки и клеймили их всячески), не могла служить образцом нового «возвращения в Сион». Подобная модель национального возрождения угрожала отпугнуть даже и тех немногих, кто откликнулся на сионистский призыв.

Возможно ли сегодня продолжение сионистской революции, основанное на возвращении к идеалам Танаха?

Возможно ли сегодня возвращение к такой ситуации, когда религия и национальность будут все-таки отделены друг от друга, хотя бы формально? Поддается ли разрешению этот парадокс, лежащий, на мой взгляд, в основе наших нездоровых взаимоотношений как с самими собой, так и с внешним геополитическим окружением?

Представляется, что сегодня наметились первые признаки возможности возвращения к модели Первого Храма. Например, в последние 150 лет секулярный еврей, отказывающийся от веры в Бога Израиля и его учения, стал признаваться полноправным членом семьи сынов Израиля. Более того, в последние годы мы шагнули еще дальше, признав право репатриантов-христиан из СНГ (членов еврейских смешанных семей) и их детей присягать в верности Армии обороны Израиля на Новом Завете. При этом, сохраняя веру отцов, они – а их дети и подавно – считают себя не только гражданами еврейского государства, но и частью еврейского народа (несмотря на то, что в определенных израильских кругах им по-прежнему упорно в этом отказывают).

Одновременно становится нормой признание, что евреи, исповедующие те или иные восточные религии (что так модно не только в среде американской молодежи, но и израильской), – все равно остаются евреями.

С другой стороны, мы видим, как в странах рассеяния евреи все чаще заявляют, что считают себя прежде всего американцами, канадцами, французами и т. д. В то же время их связи с еврейской нацией все более слабеют. И действительно, нельзя же, к примеру, сказать, что ортодоксальный иудей Либерман, выдвигавший свою кандидатуру на пост президента США, или другие конгрессмены еврейского происхождения, а также евреи, ставшие министрами в европейских странах, принадлежат к той же нации, что и еврей-израильтянин или другой рядовой еврей диаспоры.

Но это лишь разрозненные признаки, и только будущее покажет, возве-

щают ли они начало процесса или останутся всего лишь очередным эпизодом еврейской истории, на протяжении которой эта наша двойственность до сих пор только усиливалась.

Нормализация существования части евреев была достигнута после создания еврейского государства. И этим, по сути, была исчерпана повестка дня сионизма. Сегодня последним напоминанием о сионистском характере государства остается Закон о возвращении и все, что с ним связано.

Сумеет ли более радикальная сионистская революция, о которой мечтали некоторые сионисты, завершить начатое? Сумеет ли она проникнуть в самые глубины еврейской истории в попытке поэтапно, продуманно и бережно исправить исторические последствия мучительных и противоречивых устремлений Синайского откровения?

Мы – народ, находящийся в постоянном демографическом противостоянии со своим окружением, будь то в галуте или в Израиле. Постепенное разделение национальной и религиозной принадлежности (а не только религии и государства) вернет иудаизму роль важного культурно-эстетического фактора в жизни множества евреев, даже если они далеки от религии вообще или исповедуют иную веру (как, например, католицизм сегодня является важным культурно-эстетическим фактором в глазах многих французских евреев и мусульман).

Это разделение может также увеличить численность прозелитов – как желающих стать частью еврейского народа, не порывая со своей религией, так и желающих принять иудаизм, сохраняя прежнюю национальную принадлежность.

Мне кажется вполне вероятным, что в недалеком будущем многие неевреи почувствуют влечение к разным составляющим иудаизма, если он будет освобожден от своих национальных элементов. В свою очередь, сама еврейская религия станет открыта новым универсальным, мистическим и этическим идеалам, не имеющим однозначной национальной привязки. Сегодня еврейская религия слишком занята национальными проблемами, чтобы уделять должное внимание вопросам чистой теологии.

А с другой стороны, вследствие обретения израильского гражданства представителями христианских и мусульманских религиозных меньшинств и их присоединения к еврейской нации (явление, которое, как я надеюсь, будет становиться все более массовым) возникнет воля к созданию нового, общенационального единства. Ведь именно это происходит сегодня с евреями и мусульманами, которые, не отказываясь от своих религий, интегрируются в общенациональную ткань христианских народов. Возвращение сынов Израиля к жизни на своей исторической территории, со своим древним языком и в рамках единого государства уже привело к возрождению и усилению исторического чувства еврейской национальной (а не просто гражданской) принадлежности.

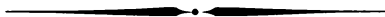
Сегодня эта национальная самоидентификация достаточно сильна, чтобы стать открытой и для неевреев. Она способна интегрировать их, как

это сделали и продолжают делать многие европейские и неевропейские народы.

Эти задачи – главный вызов, стоящий перед незавершенной сионистской революцией. Это не только программа на будущее, но и выполнение нравственного требования, лежавшего в основе сионизма, – заставить евреев взять на себя всю полноту ответственности за обе составляющие их существования. Если речь идет о национальности, то принадлежность к ней не может быть обусловлена какой-либо верой. Если же речь идет о религии, то она должна быть открытой для представителей всех наций.

Я не наивен. Процесс ослабления подкрепленной законом связи между еврейской религией и еврейской национальностью – процесс сложный. Это своего рода операция на открытом сердце. Такой процесс наверняка столкнется с серьезным сопротивлением, и его следует реализовывать поэтапно и крайне осторожно. Но он может дать благотворные результаты, открыв новые горизонты. Так что, даже если эта работа займет многие годы, следует заняться ею, и чем раньше, тем лучше.

Перевод с иврита Полины Витман





Участники «круглого стола» – русские евреи, обосновавшиеся в Германии. Им было предложено ответить на вопросы анкеты*:

1. Когда Вы эмигрировали в Германию? Что побудило Вас эмигрировать именно туда? Каковы Ваши основные занятия в Германии, связаны ли они с Германией, с Россией или с Израилем?

2. Что для Вас Германия: удобная страна проживания, нейтральный фон, культурно-историческая данность, политическая и социальная реальность?

3. Интересно ли Вам жить в Германии? Интересней ли и ближе Вам происходящее в России, в Израиле?

4. Кем Вы себя ощущаете в Германии: человеком без нации, русским эмигрантом, евреем, немцем, израильтянином? Кем бы Вы хотели себя ощущать? В качестве кого, по-Вашему, воспринимают Вас представители титульной нации?

5. Как Вы чувствуете себя в Германии: как в своей стране, как в стране чужой или даже враждебной? Все ли время Вы помните, что это страна еврейской Катастрофы или лишь изредка вспоминаете об этом?

Борис Хазанов

В ГЕРМАНИИ Я МЕНЕЕ ЧУЖОЙ, ЧЕМ ГДЕ БЫ ТО НИ БЫЛО

Даже тот, кого не интересует ни история Германии, ни судьба евреев, будь он немец, еврей или всякий другой житель этой страны, не мог бы пройти мимо того, что можно назвать особой немецко-еврейской исторической связью: газеты и радио постоянно уделяют внимание этой теме, книжный рынок выбрасывает на прилавки магазинов всё новые публикации, в школах детям рассказывают о лагерях уничтожения, недели не проходит, чтобы телевидение не демонстрировало новые или старые документальные и художест-

* Окончание. Начало см. в № 5 «NB».

венные фильмы о нацизме и Голокаусте. В центре Берлина воздвигается грандиозный Мемориал Катастрофы евреев. Публичное отрицание Голокауста в Германии уголовно наказуемо. Гитлеровский «тысячелетний рейх», просуществовавший 12 лет, не может и не должен быть забыт – для нынешнего населения Федеративной республики это азбучная истина.

Отсюда, между прочим, вытекает, что «еврейского вопроса» в том виде, как его формулировали пятьдесят или шестьдесят лет тому назад, как его понимают сегодня националисты в России, – в Федеративной республике не существует.

Вклад евреев – классиков немецкой поэзии и прозы, немецкой музыки, философии, науки – известен более или менее каждому, но было бы странно, если бы кто-нибудь сегодня попытался изобразить их как инородное тело в духовном наследии этой страны. В последние годы в Германию массами устремились евреи из бывшего Советского Союза – этот факт сам по себе достаточно красноречив.

Из сказанного, однако, не следует, что в Германии вовсе не осталось следов антисемитизма. Неприязнь к евреям или тем, кого считают евреями, недоверие, подозрительность, тайный страх – слишком старые и укоренённые комплексы в государствах, где христианская церковь веками воспитывала или подпитывала юдофобство, чтобы можно было утешать себя мыслью, что они, наконец, близки к окончательному исчезновению. Поучение Библии о козле отпущения (Левит, гл. 16) по иронии судьбы обратилось против самих евреев. Я полагаю, что психологическая потребность в таком козле, равно как и успокаивающее совесть убеждение, будто евреи «сами виноваты» в своих бедах, сохранится всегда; во всяком случае, на наш век его хватит. Возвращаясь к Германии, замечу, что повышенная насторожённость немецкого общества ко всему, что может напомнить настроения, подготовившие трагедию еврейства в нацистской Германии и захваченных ею странах, подчас приводит к тому, что даже относительно безобидные проявления антипатии к евреям влекут за собой последствия, которые стороннему наблюдателю могут показаться неадекватными. Политический деятель, который осмелится высказаться в подобном роде, заплатит за это своей карьерой. Мы бывали свидетелями таких эпизодов.

Но на политическом горизонте присутствуют и такие группировки, как, например, неонацистская NDP (Национальная немецкая партия) – нынешний наследник других, похожих на неё мелких политических партий, время от времени появлявшихся и исчезающих за последние десятилетия. Так как и эта партия, и её предшественники по своей малочисленности и слишком малому числу сторонников никогда не были сколько-нибудь серьёзной политической силой, то собственно политической опасности они не представляют. Никто не дискутирует с этими людьми; демократия вынуждена их терпеть; за ними наблюдают ведомство охраны конституции и полиция. Опасения вызывает другое. Небывалый военный разгром, гибель городов и культурных памятников, потеря значительной территории, изгнание один-

надцати миллионов немцев из Восточной Пруссии, Восточного Бранденбурга, Познани, Силезии, Судетской области, наконец, положение изгоев в семье европейских народов не могли не остаться глубокой, до сих пор плохо зарубцевавшейся раной в душах старшего поколения. На этом играют неонацисты. Этим отчасти объясняется сочувствие, чаще всего неафишируемое, которое они находят у некоторых, к счастью, немногих избирателей.

Я эмигрировал из России в начале 80-х годов. Я благодарен этой стране за то, что она приютила меня и мою семью и предоставила нам возможность построить новое существование. Я отношусь к немецкому народу с симпатией. Если я выбрал Германию как страну изгнания, то потому, что я с молодых ног был связан с немецким языком, литературой и музыкой. То, что некогда называлось духом германской культуры (*deutscher Geist*), не было для меня пустым звуком. Я не мог и не могу понять людей, противопоставляющих русскую культуру духу и культуре других стран, не могу принять этот принцип: либо – либо. Общаюсь ли я с немцами? Разумеется; и не могу представить себе мою жизнь здесь вне этого общения. У меня есть друзья в этой среде; я довольно много печатался в немецкой прессе; через жену моего сына я приобрёл немецких родственников. Прожив в Баварии 22 года, я ни разу не сталкивался с проявлениями антисемитизма, направленными против меня или моих близких.

Чувствую ли я себя в Германии как в своей стране, как в стране чужой или даже враждебной? Помню ли я о том, что это страна еврейской Катастрофы?

Ответ отчасти в том, что я уже сказал. Я родился в России, провёл там больше пятидесяти лет своей жизни. Нигде, кроме Советского Союза, я до моего отъезда не бывал. У меня не было никаких иллюзий насчёт моих перспектив в другой стране – и в самом деле, натурализоваться в 50 лет невозможно. Но я хорошо помню свою жизнь в России. Помню и настроение последних месяцев накануне эмиграции – настроение человека, который чувствует себя абсолютно ненужным, чужим и лишним в «своей» стране, которого выталкивают, предлагая – прямо или косвенно – изгнание как альтернативу повторному аресту, настроение, когда нечем больше дышать, когда говоришь себе: куда угодно – лишь бы вон отсюда. Когда, наконец, думаешь о том, что у твоего сына здесь нет никакого будущего – ему предстоит пройти то же или почти то же, что прошёл ты.

Что и говорить, судьба эмигранта – не из тех, которым можно позавидовать. Может быть, правильней было бы сказать, что в Германии я чувствую себя менее чужим, в меньшей степени не дома, чем в России или где бы то ни было.

Помню ли я о гибели шести миллионов евреев? Ещё бы не помнить. Но даже если бы хотел забыть, не вспоминать, не думать об этом – память прошлого, которая здесь жива, вероятно, больше, чем где-либо, вернула бы меня к этому прошлому. Добавлю, что и в России у меня было, насколько я мог судить, гораздо более полное и подробное представление о том, что

представлял собой немецкий национал-социализм, чем у многих принадлежавших к интеллигентному кругу, – о простом народе и говорить не приходится.

Всё это подводит нас к вопросу об истоках и причинах нацизма, о том, что называли немецкой судьбой. Разумеется, я могу об этом рассуждать лишь как дилетант-самоучка; дилетантизм – это профессия писателя. И всё-таки.

Говорить о национальном характере любого народа трудно, его можно почувствовать, но не определить; в Германии ответ осложнён традиционным регионализмом, наследием многовековой раздробленности. Переезжая из одной федеральной земли в другую или даже сравнивая небольшие области, вы видите, как пестра и многолика эта страна, как разнообразна её природа, как сильно разнятся диалекты. С другой стороны, находясь в центре Европы (у сегодняшней Федеративной республики больше соседей, чем у любой другой страны мира, кроме России), этот народ впитал в себя разнородные свойства, усвоил разные обычаи. Всё же у меня сложилось некоторое представление об общенациональных чертах немцев. Немецкая музыкальность едва ли может найти себе равных; с нею тесно связана черта психической конституции, обозначаемая трудно переводимым словом *Innerlichkeit* (обычный перевод – самоуглублённость; я бы перевёл: немецкая задумчивость о мире).

Можно ли настаивать на том, что эти или другие национальные черты помогли Гитлеру прийти к власти или даже предопределили победу национал-социализма? Не больше и не меньше, чем качества русского национального характера способствовали победе большевиков. Точно так же, как мы не можем утверждать, что тоталитарный режим там и здесь был чем-то случайным, свалившимся с неба. В любом случае – об этом то и дело приходится напоминать – отделить «национальные» факторы от социальных и экономических невозможно. Речь идёт не об оправдании, оправдывать совершённые преступления само по себе преступно. Речь идёт о понимании. Проблема остаётся жгучей и для нас. Но мы пришли позже, и это обязывает нас взглянуть на страшную историю минувшего века шире и с разных сторон. Впрочем, что касается Германии и немцев в их отношении к гитлеризму, об этом прекрасно сказал Томас Манн в знаменитой речи под тем же названием, произнесённой за полтора месяца до конца войны, в марте 1945 года; пересказывать её незначет, вот несколько цитат (перевод Е. Г. Эткинда).

«Германия и немцы – тема довольно рискованная, и не только потому, что самый предмет бесконечно противоречив <...> Говорить о нём *sine ira et studio** с чисто психологической точки зрения может показаться почти аморальным перед лицом тех невыразимых страданий, которые принёс миру этот злополучный народ. <...> Страшная судьба Германии, чудовищная

* Без гнева и пристрастия (*лат.*). Слова Тацита.

катастрофа, к которой она пришла, завершая новейший период своей истории, – вот что привлекает всеобщий интерес, пусть даже интерес этот и далёк от всякого сострадания. Человеку, родившемуся немцем, в наши дни едва ли пристало взывать к состраданию, защищать и оправдывать Германию. Но разыгрывать из себя непреклонного судью и, угодливо поддерживая безграничную ненависть, которую его народ возбудил против себя, проклинать и поносить этот народ, а себя самого выставлять воплощением "хорошей Германии", в противоположность злой, преступной нации, с которой, мол, он не желает иметь ничего общего, – такое человеку, мне кажется, тоже не к лицу. <...> Нет двух Германий, доброй и злой, есть одна-единственная Германия, лучшие свойства которой под влиянием дьявольской хитрости превратились в олицетворение зла. Злая Германия – это и есть добрая, пошедшая по ложному пути, попавшая в беду, погрязшая в преступлениях и теперь стоящая перед катастрофой».

«Склонность к самокритике, доходившая нередко до самоотрицания, до самопроклинания, – добавляет в той же речи Томас Манн, – это исконно немецкая черта, и навсегда останется непонятным, как мог народ, в такой степени склонный к самопознанию, прийти к идее мирового господства...»

Видят ли мои немецкие друзья и собеседники во мне еврея? Безусловно. В первую очередь, однако, если не говорить о чисто личных отношениях, я для них – представитель русской культуры и литературы. Той культуры и литературы, которая в Германии – предмет давнего традиционного почитания. Сам я хотел бы ощущать себя космополитом в лучшем смысле этого слова, в том смысле, который вкладывал в это слово Гёте. Но для меня это невозможно. На вопрос, кто я такой, я могу ответить: я еврей и русский интеллигент. Я не вижу здесь противоречия, такое сочетание достаточно традиционно.

Последний вопрос – об Израиле. Для каждого еврея, где бы он ни жил, существование демократического еврейского государства есть, по меньшей мере, утешение. Не сочувствовать этому государству, не интересоваться его судьбой, не опасаться за его выживание, не следить с ревнивым чувством за его успехами и провалами – невозможно. Я не чувствую себя достаточно компетентным для того, чтобы подробно обсуждать актуальную ситуацию Израиля, идеологию и политику его лидеров. Одно могу сказать: террор дискредитирует и, в сущности, отменяет любые лозунги. Они больше ничего не стоят. Они становятся дымовой завесой. На знамёнах палестинского терроризма все фразы о национальном освобождении, борьбе с сионизмом, американским империализмом и т. п. – вздор.

АНТИСЕМИТИЗМ БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ

Я живу в Германии 10 лет. Побудило к эмиграции то обстоятельство, что в Германии живут мои дети и внуки (уехали на пять лет раньше).

Все эти годы занимаюсь литературной работой – в основном пишу прозу, мемуарные повествования. Всматриваясь в уже долгую прожитую жизнь, в мир в себе и в мир вокруг, я понимаю, что всего больше меня тревожат и интересуют две темы: жизнь человека в тоталитарной, деспотической системе (нацизм, сталинизм) и тема еврейства, соответственно, и антисемитизма. Поэтому мои занятия связаны и с Германией, и с Россией, и с Израилем.

Что касается особой еврейско-немецкой исторической связи, то, смотря как толковать понятие «особая». Если говорить об истории вообще, то и в древности, и в течение многовековой эпохи рассеяния у евреев образовались свои особые отношения с каждым народом, с которым ему приходилось общаться, тем более с теми народами, среди которых евреям приходилось жить. В этом смысле еврейско-немецкая историческая связь не кажется мне более особой, чем, допустим, еврейско-русская или еврейско-польская.

Подлинная, «неповторимая» особость в отношениях между евреями и немцами возникла, на мой взгляд, после Катастрофы. Память о Катастрофе странно соединяет немцев и евреев и вместе с тем мешает непосредственности в отношениях, таит вопросы и подозрения. В России мы тоже имели право предположить антисемита в собеседнике, сослуживце, случайном встречном. Но здесь речь идет о большем – о соучастии (пусть не личном) в Катастрофе, о глобальном, во всей его вариативности, восприятии ее.

Очень давно, подростком – это было в начале войны, – мне довелось познакомиться с Розенблатом, старым немецким евреем из Берлина. Розенблат был когда-то богатым человеком, владельцем фирмы – торговля бельем. После прихода нацистов к власти он потерял все. Семью успел отправить куда-то на Запад, сам остался заканчивать дела, и ему пришлось уже бежать. Его одиссея завершилась в Советском Союзе; я встретил бывшего владельца фирмы в Ташкенте, он был погонщиком осла. Для Розенблата еврейство уже определило его судьбу; в моем отроческом сердце тоже успели поднакопиться горестные заметы – болячки не заживали: улица, школа, толпа на базаре, очередь в магазине нет-нет да и сдирали струпья. Именно тогда, в эвакуационном тылу, рождались ладные, легко вбираемые сознанием поговорки-представления («Иван в окопе, Абрам в райкоопе»), и наш дворник, чахоточный узбек Кучкар, вооруженный метлой, ругал «иб-

реем» ишака, когда тот, гуляя по двору, забредал на территорию, для его прогулок не предназначенную. Я тосковал: еще недавно я слышал от близких, что у нас, в Советском Союзе, мы позабыли, что мы евреи, в школе мы учили наизусть про «без России, без Латвии» и про «единое общечеловеческое общежитие», и эти стихи мне нравились.

— Мальчик, — Розенблат смотрел на меня с сожалением, его веки были докрасна выжжены чужим азиатским солнцем. — Мальчик, забыть есть взаимное дело. Мы тоже забыли когда-то, что мы евреи. По воскресеньям я надевал черный фрак, цилиндр на голову, садился в коляску и ехал в кирху. Немцы улыбались мне и говорили: «Гутен таг». И я улыбался немцам, приподнимал цилиндр и говорил: «Гутен таг». Но на другой день после прихода Гитлера оказалось, что немцы не забывали, что я еврей. Они уже не говорили мне «гутен таг». Нельзя забывать, мальчик, что ты еврей, раньше, чем это забудут другие.

О моем отношении к немецкому народу... Моя давняя добрая приятельница, участница еврейского сопротивления в Литве, говорила, что никогда не подаст руку немцу. Мою приятельницу немку в пору нацизма (она была еще ребенком) мать прятала некоторое время (говорила соседям, что отправила к бабушке, и проч.), потому что ее документы понадобились для спасения еврейской девочки. Я понимаю чувства моей еврейской приятельницы, но был бы огорчен, если бы она не подала руку моей приятельнице немецкой.

Я, пожалуй, не могу ответить на вопрос, как отношусь к немецкому народу, поскольку воспринимаю народ (и не только немецкий) все же «поштучно», в лице отдельных его представителей. Безусловно, есть особенности национального характера, но я не сумею во всей сложности и во всех сопряжениях обозначить их (опять-таки независимо от того, идет ли речь о немцах, о евреях или о каком ином народе).

По приезду в Германию я поначалу был изумлен — особенно в сопоставлении с тем, что показывали в тогдашней России, — обилием телепередач о Катастрофе. Едва не всякая передача о национал-социализме содержала страшные кадры гетто и лагерей смерти. Но, попривыкнув, я стал думать, что для воспитания сегодняшнего молодого поколения не менее действенно было бы говорить об атмосфере страха, взаимного недоверия, доносительства, о сожжении книг, запрете на искусство, научной беспринципности. Да и в концлагерях держали не одних евреев — своих тоже.

Конечно, в донацистской Германии существовал антисемитизм (как «идейный», так и на уровне ощущения: еврей — «чужой»). Национал-социализму, с его обращением к низменному в человеке, примитивностью лозунгов и предлагаемых решений, было сравнительно нетрудно «поддать пару», как говорят в подобных случаях немцы. Но, думаю, «окончательное решение еврейского вопроса», каким оно оказалось в действительности, большинству населения в голову не приходило.

В том и особенность жесткого тоталитарного режима: если бы Гитлеру

понадобилось уничтожить людей с желтыми глазами или горбатых и поддай он пару, это было бы осуществлено с той же старательностью, как и в отношении евреев. Убивали же одновременно с евреями душевнобольных, хотя прежде никто об их вреде для народа и государства не задумывался.

Я не ставлю целью «отмывать черного кобеля», но не готов связывать Катастрофу лишь с особенностями немецкого национального характера. Приказы немцев о ликвидации гетто неукоснительно и готовно исполняли украинские и прибалтийские военные подразделения.

Когда мы размышляем о ГУЛАГе, раскулачивании, о безумии антисемитских кампаний в СССР, мы в первую очередь размышляем об особенностях системы, а не особенностях национального характера. Л. Я. Гинзбург писала о «сталинских времен привычке к бесстыдству»: «Страх искоренил стыд».

Вопрос о Катастрофе, о том, как она могла произойти, о чувстве вины общей и каждого – горячий, требующий всестороннего осмысления вопрос. И это очень существенно и примечательно, что в Германии он обсуждается (особенно в сопоставлении с Россией, где вопрос об ответственности за прошлое ни на коллективном, ни на индивидуальном уровне никогда и не ставился).

Конечно же, меня интересует все происходящее в Германии. Я не представляю себе, как можно не интересоваться тем, что происходит в стране, которую добровольно выбрал для жизни, пусть даже для доживания. На мой взгляд, Германию ждут существенные социальные и экономические перемены, которые, конечно, скажутся и на политической и культурной жизни. Как пойдут эти процессы, в чем выразятся эти перемены, предсказывать не берусь, да и, по моей недостаточной осведомленности, не имею права. Скажу лишь кое о чем немногом.

Перед Германией, как никогда прежде – признают это или нет те или иные политики, ученые, средства массовой информации, – встала демографическая проблема. За последние десятилетия однопациональная в принципе страна приняла огромное число иностранцев. Ныне едва ли не каждый десятый ее житель – не немец. Это число еще более – и значительно – увеличится, если прибавить всех, кто приехал в страну со статусом «русских немцев». Евреи далеко не самая значительная группа среди здешних «национальных меньшинств». Перед Германией и немецким народом стоит трудная задача вобрать в себя, «усвоить» это огромное количество пришлых.

Поначалу были радужные надежды на возникновение новой общности, совокупной культуры. С годами надежды поразвеелись. Хотя адаптация в сфере производства более или менее неизбежна, в сфере общественной, культурной, в сфере быта она оказалась затруднена.

Среди прибывших больше всего мусульман (особенно турки) со своим менталитетом, обычаями, привычками, вкусами. Они вовсе не спешат смешиваться с коренным населением, которое, в свою очередь, не спешит рас-

крывать им навстречу объятия, стремятся к культурной, языковой и иного рода этнической, даже территориальной обособленности. В Кёльне, например, имеются районы, где немусульманин чувствует себя почти иностранцем – все ненемецкое: прохожие, магазины, кафе, учреждения, вывески и афиши, музыка из окон.

Скоро, видимо, будет принят новый закон о въезде в страну. Общество внешне сдержанно, но внутренне, мне представляется, достаточно настоятельно реагирует на демографические перемены.

Разного рода соображения вынуждают закрывать глаза на многие возникающие проблемы, откладывать их решение на после. Но события в мире показывают, что промедление может обернуться серьезной опасностью. Рост мусульманских общин неизбежно вызывает и рост немецких националистических настроений, но вместе с тем подчас сдерживает их проявления. О взаимоотношениях немецкого национализма и исламистских течений говорится мало.

«Мусульманизация» Германии со всеми и всяческими проявлениями, возможными в современном мире, может определенным образом сказаться и на немецко-еврейских отношениях.

В настоящее время ведущую роль в обществе продолжают играть люди, прошедшие в молодости мощную демократическую школу 1960-х годов, если угодно, немецкие «шестидесятники». Антисемитизм как таковой, тем более в сопряжении с памятью о прошлом, о Катастрофе, для этих людей неприемлем. Они оказали существенное влияние на более молодое поколение. Конечно, кто-то в Германии не любит евреев, но говорить об этом громко, писать, публично отказываться от груза прошлого все еще «неприлично». В чем-то даже опасно («политкорректность»). Насколько долго сохранится такая ситуация, сказать трудно. Сегодня все больше людей не хочет помнить о прошлом, да и не знает о нем. Не хочет знать о грехах дедов, тем более брать на себя ответственность за их преступления (мало ли что когда-то было). На первый взгляд к антисемитизму это отношения не имеет. Но как ни странно (психологически же объяснимо), освобождение себя от памяти о Катастрофе опосредованными путями ведет к антисемитизму. Этому способствует также часто выраженная антиизраильская позиция средств массовой информации, в особенности «новостных» каналов телевидения. Опять же: сам по себе факт критики действий израильского правительства никак с антисемитизмом не связан, но навязчивые, постоянно повторяемые штампы зрительного и разговорного ряда – и это тоже психологически объяснимо – способствуют стиранию в представлении обычного зрителя грани между критикой действий Израиля и антисемитизмом (вплоть до: «израильяне делают с палестинцами то же, что нацисты с евреями» и т. п.).

За годы эмиграции я не раз бывал в Израиле. Стараюсь поехать туда всякий раз, как только представляется возможным. Очень люблю эту страну. Не говоря уже о том, что там живет много дорогих мне людей.

Литература об Израиле, которую я прочитал здесь, телевизионные передачи – фильмы, дискуссии (на экране появляются не только сюжеты «новостей» о «бесчинствах» израильской армии на территориях), личные беседы с немцами и израильтянами уточнили, скорректировали мои представления об Израиле. Но общая оценка Израиля как страны, в которой сфокусировалась тысячелетняя история еврейского народа, страны, от состояния и самочувствия которой зависит вся будущая его история, осталась неизменной. Плюс эмоциональное отношение: любовь к Израилю, влюбленность в него.

Убеждение многих израильтян в неизбывном антисемитизме Европы верно. Антисемитизм есть и в Америке. Недавно мы убедились, что от него не свободны и столь отдаленные континенты, как Австралия и Новая Зеландия. Новая Зеландия чуть ли не единственный в мире континент, где нет змей. А антисемитизм есть. Антисемитизм был, есть и будет. Он является неизбежной, более того – необходимой составной частью истории нашего народа. Нашей судьбы. Дело всякий раз в его размахе, в том, как он проявляется, в противодействии ему.

В настоящее время я вижу главную опасность не в так называемом «бытовом» антисемитизме, а в беспринципном отношении руководителей европейских государств к Израилю и его политике, в двойной бухгалтерии при оценке действий Израиля и других стран, в узаконении для себя вмешательства во внутренние дела Израиля.

Такая политика европейских руководителей, желают они того или нет, поощряет и питает низовой антисемитизм. «Принципиальная» позиция французского президента, возмущенного заявлением израильского премьера о растущем антисемитизме во Франции, тотчас отозвалась новыми оскорблениями еврейских кладбищ.

При всем интересе к Германии и России, все же события в Израиле воспринимаю горячее, больнее.

Вопрос о том, чем для меня является Германия, на первый взгляд провоцирует отказ от признания ее удобной страной проживания, поиски каких-то более «высоких» соображений своей эмиграции. Но большинство из нас живет здесь именно потому, или непременно еще и потому, что Германия по многим причинам действительно удобная страна. Не признать это было бы неблагодарностью.

Ответ на вопрос, почему евреи уезжают из России, очевиден. Но уехать по идейным соображениям можно лишь в Израиль.

Другое дело, что это вовсе не отрицает ощущения и осознания Германии и как историко-культурного воспоминания и как политической и культурной реальности.

Кем я ощущаю себя в Германии?..

Мне бы не хотелось, чтобы в моем ответе была усмотрена хотя бы малейшая демонстративность, но сейчас, на закате жизни (может быть, отчасти и поэтому), я как никогда ощущаю себя самим собой.

Обстоятельства жизни в России слишком часто вынуждали меня ощущать себя евреем. Здесь, вне этих обстоятельств, мое еврейское самоощущение обрело другой характер. Не вынуждаемое извне, а рождаемое изнутри, оно утратило напряженность, навязчивость, стало естественным, свободным.

После долгих лет обитания в стране «пятого пункта» эта естественность национальной идентификации является для многих приехавших существенной духовной опорой. Смешно, правда, когда кто-либо из них со страстью неопита, подчас показной, подчеркивает свое запоздалое обращение. Человек, не знающий языка молитв, основ иудейской религии, еврейской духовной истории, ведет себя эдаким рабби, наставником, чуть ли не пророком.

Совсем нелепо – поскольку невозможно по определению, – когда приехавший ощущает себя в Германии «немцем» или старается таковым себя выказать.

Имея в виду Германию, я не могу сказать, что живу *в своей стране*, уже потому хотя бы, что во многом живу в «другой реальности», как я называю пространство прошлого. В Германии у меня нет прошлого, и она не становится и никогда не станет моим прошлым. Вместе с тем я сравнительно легко усвоил правила жизни в этой стране, живу в ней без большого напряжения, без постоянного чувства опасности, ожидания агрессии. Конечно же, я воспринимаюсь окружающими как пришелец, и сам непременно сознаю это, но сказать, что я чувствую себя *в чужой стране*, было бы тоже неверно. Тут, наверно, нужно какое-то уточнение понятий. Жить *во враждебной стране* я бы попросту не смог.

О еврейской Катастрофе я помню все время, но не потому, что мне напоминают об этом, а потому, что эта память – важнейшая часть моего духовного «я».



В ПОИСКАХ СЕРЕДИНЫ

За эфемерным поиском середины и застали меня два года назад почти что идентичные звонки из России и из Израиля с просьбой написать что-либо о нашей жизни там... Заканчивался фестиваль искусств «Auf der Suche nach der Mitte» («В поисках середины»), к которому автор этих сумбурных заметок, как инициатор художественных и не вполне художественных фестивальных сюжетов, имел самое непосредственное отношение. Суматошное это празднество обрушилось на ленивый баварский городок-курорт Тегернзее. Примерно около часа езды на юг от Мюнхена в сторону Австрии. Летний фестиваль, каких много в Европе. Из окон выставочных и концертных залов, где кюнстлеры из разных стран пытались в меру своих талантов приблизиться к разгадке феномена *середины*, можно было безмятежно любоваться живописным видом озера и альпийских гор вокруг. Но уже ничто не могло меня отвлечь от неожиданной просьбы – написать *что-то о жизни там, то есть – здесь*. Словно опровергая правомерность фестивального девиза. Поиски середины? *Здесь или – там*. Легко сказать... Мешала профессия музыканта. Страсть организовывать звуковое пространство не позволяла мне довериться хаосу возникших мыслей. Вроде бы спасительно возникла идея обратиться к упорядоченному языку алфавита, но... незаметно пробежало почти два года. И вот абсурдная тема возникла неожиданно вновь.

АБСУРД окружает нас повсюду. Стремление к истине абсурдно само по себе. Абсурдна ли жизнь русских евреев в Германии? Настолько же, насколько и прежняя в Советском Союзе. И мои теперешние попытки найти в размышлениях доверительные интонации абсурдны, ведь, по сути, я не знаю, что интересует моих воображаемых читателей.

АЛЬТЕРНАТИВА, разумеется, была: Израиль или Америка. Тем более в советском вакууме Германия и Мюнхен звучали враждебно. Здесь с «пивного путча» начинал Гитлер. К тому же продажное Мюнхенское соглашение, поделившее Европу. В журнале «Крокодил» танцевали карикатуры уродливого толстяка, баварского премьера, которого именовали не иначе, как «жирная собака Штраус»... Однако с детства звучала в моём сознании и другая Германия: более того, музыкально я родом из менуэтов Баха, сонатин Бетховена, «Музыкальных моментов» Шуберта, пьес Шумана...

БИОГРАФИЯ и, так сказать, происхождение, впрочем, совсем не располагали к «немецкому варианту». Моя бабушка и двенадцать ближайших родственников погибли в фашистском гетто. Оставшиеся в живых не нашли в себе сил вернуться на пепелища Белоруссии и Украины и разъехались по всему Союзу. Моих родителей, фронтовиков-офицеров, судьба занесла в Латвию, где я и появился на свет. Интересно, что моя музыкальная судьба была как бы предопределена ещё до рождения: первое, что родите-

ли приобрели после войны в Риге, это... рояль. Благо и стоил он тогда – мешок картошки. Покупка в наши дни не для бедных.

БЕДНОСТЬ всегда и везде – понятие относительное. Всё зависит от жизненных приоритетов. В современной Германии средний класс составляет больше половины населения. Хотя «средние» немцы часто жалуются на отсутствие средств. Если некий господин купил виллу, естественно, у него нет свободных денег. Гости из России часто возмущаются, что в магазинах теперь у них есть почти *всё*, а купить нельзя. Немцы посещают магазины «*по карману*» довольно безропотно. В Германии есть, правда, слегка презируемая категория людей «*шики-мики*». Они ездят на сильно подержанных, но престижных автомашинах, посещают самые дорогие рестораны, где могут позволить себе лишь чашечку капучино или кружку пива. Тем не менее, восседая в удобном кресле в единственном модном костюме, они изображают из себя победителей жизни. Прямо-таки почти что «совковая» ментальность.

Жизнь насильно приучает к равнодушию. Мир равнодушен к тебе. Ты, к счастью, равнодушен к богатству. Да и что такое это пресловутое богатство, если блаженная жизнь, как говорили древние, не что иное, как безопасность и постоянное спокойствие.

Впрочем, к настоящей бедности равнодушным быть нельзя. Отправляя гуманитарные посылки на Украину и в Россию, невольно вспоминаешь свой первый год в Германии. Мы не голодали, но на жизнь, мягко говоря, не хватало. Подрабатывали чем попало, не гнушались и самой чёрной работы. Помню, с каким счастьем принёс в наше временное жилище в Дом беженцев подобранные на перекрёстке помидоры, выпавшие из проезжавшего на скорости грузовика. Немного воображения – и вот вам картинка «тамошней» жизни.

Ходили пешком, транспорт дорогой. Занимались по очереди (жена и дочь тоже пианистки) на шуммклави́ре, на немой складывающейся клавиатуре (ещё одна картинка). Кстати, бесполезная вещь – воспитывает внутренний слух. Хотя музыкант без инструмента – всё равно что бездомный.

БЕЗДОМНЫЕ в Мюнхене кучкуются в основном под мостами, в парках или около старинных фонтанов. Обустраиваются кроватями, кипятильниками, тёплыми одеялами. Мимо ходят сытые горожане с детьми. Бездомные держатся стороной, прохожих не задирают. Если на просьбы о милостыне получают отказ, то вежливо извиняются за беспокойство, благодарят и желают хорошего дня. Как ни странно, большинство бездомных – немцы. Лично я ни одного иностранца среди них не встречал. В принципе, бездомные получают социальную помощь и могли бы поселиться в соответствующих общежитиях. Естественно, что они имеют и карманные деньги, на которые покупают флакончики со спиртным, или, как их здесь называют, «бомбы». Приняв «взрывной смеси», они охотно философствуют на темы социальной справедливости. Своеобразный род «тихого» протеста, хроническая болезнь общества «изобилия»?

В этом смысле мы не были бездомными. Мы имели крышу над головой – восьмиметровый апартамент, хоть и тесный на троих... Однако ощущение бездомности долго не покидало нас. Нарушились связи с привычным нам миром. Мы зависли в безвоздушном пространстве без языка, постоянного жилья, места работы и круга близких людей. Единственное наше достояние соответствовало русской пословице: «Добрый словом и бездомный богат».

БЮРОКРАТИЯ в Германии охотно поддерживается населением. Более того, она в крови, кажется, даже у детей. Люди с рождения привыкают ориентироваться в строгой сетке инструкций и предрасположений. По часам расписана даже употребляемость обыкновенных устных приветствий, не говоря уже о поздравлениях, соболезнованиях... В любом магазине продаются книги с образцами писем, речей на все случаи жизни. Шкафы простых граждан забиты папками документов, счетами, копиями переписки с государственными, страховыми, налоговыми, банковскими и прочими организациями и лицами. Практически каждый с каждым, вплоть до ближайших родственников, находится в эпистолярных отношениях. Если ты был в гостях, считается вежливым на следующий день поблагодарить хозяев письменно. Возникшие недоразумения и обиды выясняются тоже чаще всего на бумаге. Предписания обязывают, регулируют отношения иногда до тошноты. Наше советское «без бумажки ты кашкаша» с наибольшей полнотой мы ощутили именно в Германии, шаг за шагом учась ориентироваться в бюрократическом лабиринте.

ВЫБОР нами был, тем не менее, сделан добровольно. Собственно, мы приобрели то, о чём мечтали – право на выбор. Из этого добра и состоит теперь вся наша жизнь. Да, мы не вписывались в советскую систему (а кто вписывался?), но выросли в неё. Осознанно или нет, это другое дело. Привыкли, обустроились. Знали, что *система* должна ломать, подозревать (*разве можно забыть слёзы одной из моих бывших студенток, признавшейся в неожиданном порыве откровенности, что долгие годы она сообщала в соответствующие «органы» о содержании моих «речей» в классе специального фортепиано Казанской консерватории*), «пускать – не пускать», выкручивать руки, бить по физиономии, а мы – уворачиваться и при этом стараться не терять достоинства и порядочности. Иллюзия, что это удаётся, поддерживала нас долгие годы.

Но когда *система* начала обтачивать гнилые зубы на нашей дочери-подростке, мы от безысходного отчаяния и протеста готовы были на самые решительные шаги. Победа её на конкурсе лишь подтолкнула сделать этот нелёгкий для нас выбор – не возвращаться. Вероятно, внутренне созрели.

Трудно ли было поначалу самим принимать конкретные решения «за рубежом»? Как ни странно, не очень. Вероятно, от незнания имевшихся возможностей. Мы с женой трезво оценивали наши шансы в Германии. Они были минимальные в силу возраста, незнания языка и, казалось бы, отсутствия необходимого времени на адаптацию. Словом, мы были готовы оказаться в самом низу общественного и материального положения. Впро-

чем, это обыкновенная история беженцев. О душещипательных фактах нет желания рассказывать. Наша цель – не выдавливать слёзы сочувствия. Да, было тяжело. Но есть, к сожалению, судьбы куда более трагичные. Ведь мы-то выжили. Иногда мне кажется, что мир состоит из сплошных беженцев. Расспросите ваших родственников, знакомых: кто-то, когда-то, в каком-то поколении непременно спасался бегством. От сумы, так сказать, да от тюрьмы...

ГОСУДАРСТВО как институция, может, потому ещё и существует, чтобы в какой-то степени упорядочить это непрекращающееся «броуново» движение беженцев. А зачастую и целых народов. Словом, немецкое государство приняло нашу семью. Без восторженных объятий, деловито, буднично. Ещё существовали Советский Союз и Берлинская стена. По сравнению с СССР (в России я с тех пор не был), да и с другими странами, в Германии всё функционирует слаженнее. Каждый знает, что у него за гражданский статус. Чёткая регламентация, учёт и взаимобязательства сторон. Без всяких исключений – положено, не положено. Однако подобная взаимозависимость не соответствовала нашим представлениям о желанной свободе, и поэтому мы постарались как можно скорее от социальной помощи государства избавиться. И перейти на скудные, но собственные «хлеба». К слову сказать, мы знаем немало наших бывших соотечественников, с удовольствием пользующихся десятилетиями социальными «дарами» Германии и при этом... занимающихся нелегально бизнесом. Вольному воля, как говорится, где бы человек ни жил. Однако инертная позиция ожидания милостыни от государства ли, от сильных ли мира сего без малейшей попытки проявить собственную инициативу даже в изучении языка не кажется им даже унижительной. Откуда это иждивенчество? Наследство Совдепии? От воспитания?

ДЕТИ – будущие взрослые. Их мир – достоверная модель общества. Если конспективно: немецкие дети, как и взрослые (даже на похоронах), редко плачут! Их собаки почти не лают и дисциплинированно бегут без ошейников рядом с хозяевами! Дети вежливы и аккуратно одеты! Если на улице вы встретите неряшливого ребёнка, который что-то требует, клянчит, капризничает, то, скорее всего, это всё же иностранец. Далее – немецкие дети знают свои права! До 2 лет ты – бэби, потом ребёнок, с 12 лет подросток, и так далее. Прежде чем сказать безобидную и, казалось бы, поощрительную фразу «О, ты уже взрослый», надо вначале выяснить точный возраст юного собеседника. Иначе любой ребёнок тебя тут же поправит! Немецкие дети с ранних лет активно путешествуют с родителями по белу свету. Далее – школьники, за редчайшим исключением, не опаздывают и не пропускают занятия! Даже по болезни! Самый маленький ученик аккуратно отсидживает положенное время урока и, если иногда тема случайно выходит за «рамки», может укоризненно взглянуть на часы. Далее – в отличие от российских своих сверстников, немецкие дети не любят сбиваться в кучи. Группы агрессивных подростков на улицах чаще всего разговаривают на

турецком, итальянском, сербскохорватском. В маленьких городках уже появились и группировки юнцов, матерящихся по-русски. Солидарность и круговая порука в школах также не сильна. Основной движущий критерий учебы – удовольствие. Далее... далее время восклицательных знаков кончается. И ты убеждаешься, что на поверку немецкие дети похожи на детей из других стран. Есть воспитанные, нахальные, разговорчивые, молчуны, лентяи, зубрили... Вот с таких беглых наблюдений и непосредственного общения с детьми начался желанный наш ежедневный диалог со странной страной Германией, с немцами.

ДИАЛОГ – форма существования. Хотим мы этого или нет. В любые времена и эпохи. Невзирая на жизненный тематизм. На осенённость той или иной *темой*. Жизненная тема захватывает нас в силу не совсем объяснимых обстоятельств. *Теме* можно и должно сопротивляться, пытаться от неё освободиться или к ней подстраиваться, ну и так далее, вариантов не счесть. Чаще же всего она незаметно «обрастает одеждами» и присутствует в нашей судьбе до конца. Некая доминанта, определяющая каждодневные наши поступки. Вот что не прекращается никогда – это борьба за доминанту. Вне всякого нашего видимого или слышимого участия. Даже если полностью отступили и зависли в беспомощной пассивности.

Тем столько же, сколько и людей. Разумеется, и автор этих поверхностных выводов не исключение. В частности, его корявые жизненные и музыкантско-писательские опусы ограничены практически одной и той же темой – преодоление абсурдного замкнутого пространства, когда в муравейных, часто бесплодных, но непрекращающихся усилиях существо человеческое пытается выстраивать хрупкие мостки взаимопонимания. Добавьте его личное недостаточное умение устанавливать и поддерживать контакты с людьми, с всевозможными общественными институтами, коллективами... А также замкнутость, чрезмерную ранимость и некую внутреннюю зажатость. Ну и, наконец, врождённый пессимизм и отсутствие должной веры в потусторонние силы. Впрочем, как вы уже догадались, моя бесхитростная вера – диалог.

Теперь возможно объяснимо, почему форум, организованный нами почти сразу же после переселения в Германию, без долгих размышлений был назван DIALOG Neues Münchner Kunstforum e.V. Что это такое ферайн? Не-что среднее между обществом и фирмой. Довольно распространённая в Германии структура, узаконенная государством и имеющая свой устав, цели и финансовый распорядок. Для нас же это была, может быть, ещё и единственная реальная возможность творчески себя проявить. Сегодня на счету Форума более 300 всевозможных акций: *фестивалей*, концертов, мастерклассов, выставок, спектаклей, экспериментальных проектов. Один из самых интересных, состоявшийся с успехом уже пять раз, Международный конкурс пианистов (Münchner Klavierpodium der Jugend).

Почти с самого же начала была организована при ферайне и «Gourari-Klavierschule». Кто у нас учится? Первое время мы брали в школу всех под-

ряд, было не до уровня. Порой впадали в транс, общаясь с «фортепианными калекками». В последние годы, чтобы попасть в нашу школу, желающие должны выдержать конкурс. Формально результаты школы неплохие: выше двух десятков раз наши ученики были удостоены лауреатских званий на различных конкурсах в Германии и других странах.

Чем занимались мы ещё все эти годы? Голос моей жены Людмилы Диденко несколько лет звучал в передачах радио «Свобода». Вернувшись на «фортепианные круги», она добилась широкого признания как педагог. Сам я выступал с сольными программами как ансамблист с известным Endres Quartett, с легендарным певцом Михаилом Александровичем, с другими музыкантами. Пришлось мне также участвовать в премьерных исполнениях сочинений немецких, русских, еврейских композиторов, «экспериментальничать» на бумаге и в «диалогических» проектах, связанных с живописью, скульптурой, танцем, театром, видео...

Дочь Анна стала музыкантом формально во втором поколении. Но мне кажется, что несколько поколений наших предков словно бы накапливали силы, чтобы в одночасье музыкальная энергетика сфокусировалась на нашей дочери. Меня, конечно, иногда «распирает». Но не столько от гордости за её победы на международных конкурсах, за её государственные и творческие премии, за персональные приглашения выступать у президента Германии, за то, что ей посвящают свои произведения такие композиторы, как Родион Щедрин и Йорг Видманн, за её уже двенадцать СД, за теле- и радиопередачи о ней, за её дебют на Венецианском кинофестивале в главной роли как актрисы в художественном фильме легендарного Вернера Герцога... Неизмеримо важнее, что, когда я слушаю игру своей дочери, меня часто не покидает, возможно и ошибочное, но глубокое, стойкое убеждение – вот так должна звучать Музыка.

«Налаженность» нашей жизни, впрочем, иллюзорна. В этом мире нам не остаётся ничего другого, так сказать, как не останавливаться, чтобы остаться как можно дольше «на плаву», тем более пенсии мы здесь заработать вряд ли успеем. Словом, материальных выгод практически никаких, кроме права жить в долг.

ДОЛГИ имеют, к счастью, все. Это образ жизни. Долги, долги... Кто кому ещё на этом свете должен? Каждый каждому и никому. А вообще-то, первейший долг человека, как утверждали мудрецы, созерцание величия мира, а не России, Германии или Израиля. И нахождения внутренних связей с ним. В этом смысле весь мир – дом.

ДОМ же в западно-европейском значении подразумевает, прежде всего, кирху или собор, куда ты ходишь молиться. Дом своих, подобных, верных твоему Богу.

ЕВРЕИ с незапамятных времён поняли, что фактически Бог тождествен всей вселенной в целом, что мир и не мог быть создан иным. Посему иррациональное стремление к всеохватности мира, к воссозданию целостности человеческого сообщества, с одной стороны, и местечковая отгорожен-

ность от всех остальных – с другой, преследует порой каждого из нас. Впрочем, имею ли я право рассуждать о моём еврействе, ведь наверняка религиозные деятели оспорили бы не только моё невежество, но и принадлежность к народу? Для меня быть евреем вовсе не означает исповедовать иудаизм. Хотя я мог бы повторить вслед за Полем Валери: «Что касается веры, я её не ищу, но и не избегаю». Еврейство я ощущаю как некую основу не столько кровного порядка, сколько, прежде всего, моего сознания. От него не откажешься, как от гражданства или религии. Моё еврейство – это некая вневременная сила, обладающая властью надо мной и освещающая, как мне кажется, мутные потоки моих же заблуждений. Это немало во времена, когда на подмостках каждодневного хаоса с маниакальным упорством ищут чужих, неверных, регламентируют, выворачивают наизнанку старые шовинистические догмы. Евреи? Такой национальности нет, мягко убеждают тебя в Германии. Есть израильтяне. А ты – латыш, ведь ты родился в Латвии... Что значит не хочешь? А будешь! То есть практически евреям отказывают в праве на еврейство. Единственной национальности среди прочих. Нет национальности, нет и проблемы. Новая изощрённая форма антисемитизма? Или врождённый комплекс окончательного решения еврейской проблемы?

Между тем евреи часть общечеловеческого пейзажа, часть природы. Осознание еврейства как необходимой части сообщества, делает нас свободными от набивших оскомину вечных вопросов: как жить – вместе со всеми, отдельно, идти особым путём?... «Живите в доме, и не рухнет дом», – писал Арсений Тарковский. И в самом деле, нет другого пути, как жить внутри страны. Тогда германское или российское становится не просто понятным, а в какой-то степени частью тебя. И ты обретаешь шанс стать частью целого, частью сообщества. Выйдя за рамки самоидентификации, мы – парадокс, но это так – только тогда и ощущаем себя самими собой. Ощущая свои границы, мы хоть отчасти приобщаемся к бесконечности и соглашаемся с необходимостью всего сущего.

Срабатывает эффект алфавита: буквы сами по себе ничего не означают. И тем более очерёдность их появления. Смысл возникает в результате словообразований. Природа также не нивелирует кустарник, даже если он обитает в соседстве с могучим деревом, не лишает цветения, зелени, аромата и причудливости очертаний. Словом, осознание неделимости мира и себя как части этого мира необходимо для эмигранта и в странах Нового и, тем более, Старого Света, в Европе.

ЕВРОПА вовсе не старушка, а прекрасная, загадочная дама с тысячью обликов: динамичная, деловая, слегка капризная, элегантная, рафинированная аристократка, простушка... Выбирайте на вкус. Страны? Города? Где вы любите бывать? Где лучше жить? Какую кухню вы предпочитаете? Ах, еда бывает или вкусной или невкусной. Как и женщины – женственные или...

ЖЕНЩИНЫ в Западной Европе часто похожи на мужчин. А мужчины на женщин. Особенно в Германии. Увлекательно порой угадывать половую

принадлежность движущегося навстречу существа. Соответственно, немецкая женская мода практична и усреднённо мужеподобна. Днём спортивно и почти без макияжа и украшений. Цвета неброские, преобладают чёрно-бело-серые. Представительницы прекрасного пола эмансипированы не по необходимости, а по убеждению. Выражается это не только в стремлении работать и получать зарплату наравне с мужчинами. Священное и признаваемое всеми завоевание немецких женщин – время для себя. Это означает – занятия музыкой, живописью, спортом, театром, медитациями и т. д. В магазинах женщины не суетливы. Домашними заботами себя обременяют «в охотку», для тяжёлой работы существуют приходящие домработницы. Немки ярые противницы всего массового, так сказать, американизированного. Доминируют среди них блондинки, натуральные и крашенные. В основном худые и высокие. Причёски короткие, «под мальчика». Физические свои недостатки не скрывают, а подчёркивают. Жизненный принцип в быту – что естественно, то прилично. В меру религиозны. Много курящих. Ещё больше маниакально следящих за своим здоровьем.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ в Германии вроде бы постоянно совершенствуется. Дорогостоящая аппаратура и прекрасно оборудованные больничные палаты. Высочайший уровень диагностики и хирургии. Впечатление, тем не менее, от здравоохранения в целом удручающее. Медицинская государственная страховка обязательна. По желанию можешь страховаться и в частном порядке или в различных комбинациях. Но берегись – всё решают не связи (о, утерянное советское – «по знакомству»!), а деньги! Чтобы получить высокие прибыли, больницы и врачи готовы без надобности держать больных в стационарах, удалять у пациентов все органы и повытаскивать зубы вместе с протезами. Что касается фармацевтической индустрии, в правительствах и парламентах Запада они имеют самое мощное лобби. Вот и глотают доверчивые пациенты тонны химии. Альтернативная медицина, впрочем, цветёт не менее бойко. Выбирай на любой вкус. Ситуация же объективная (в сравнении с другими странами, даже с США), несмотря на обличительные статьи в прессе, почти что идиллическая.

ИДИЛЛИЯ преследует вас в мирной Германии. Баварский городок Дахау. С балкона старинного замка открывается на юг идиллическая картина туманного – вдаль – мирного Мюнхена. С северной стороны мирного замка – бывший фашистский концлагерь. Звучит классическая музыка. Концертный зал мирного замка Дахау переполнен мирными детьми идиллической земли немецкой.

дитя идиллии –
кладбищенская пряжа,
прими подснежники на завтрак
по недосмотру декабря
и величальным стилем вайнахтским
воспой температуру милой суеты...

дитя идиллии –
каштановый подросток,
прими в подарок изморози страх,
и, про себя молитву говоря,
станцуй апрельскую туманную надежду
среди свистков, допросов, темноты...

дитя идиллии –
шестиконечная звезда,
прими побои за избавленье
от чести тошнотворной, фимиам курия,
дыханием своим из газовых печей
рассвету придавать идиллии черты...

ИЛЛЮЗИИ, как известно, с удовольствием лопаются. Особенно идиллические. Но не исчезают. Появляются новые. Ты зависишь в их плену. Бредишь в ностальгических снах: *...ах, слово «иностранец» исчезло и больше не звучит оскорблением в великом немецком языке...* Наяву же рассерженные немцы частенько для усиления добавляют ещё к «выражению» *иностранец* (Ausländer) один весьма излюбленный эпитет Scheiße – привычное сочетание этих двух слов в переводе означает *говнянный иностранец*. Как правило, этими лестными приветствиями награждаются представители так называемых малых народов. Перед «равновеликими» нациями (американцами, англичанами, французами, русскими) срабатывает веками врождённый пиетет. Или воспоминания о поучительных исторических уроках.

ИСТОРИЯ и её уроки в Германии выставляются напоказ. Своих ошибок официально стыдятся. Извлекают выводы. Скажем, в том же великом немецком языке исчезли из обихода слова *вождь, вождизм*. Никакой идеализации и обожествления лидеров в любом виде деятельности. Элитарность – признак дурного тона. Все должны, как гласит конституция, быть равны в реализации своих возможностей. Между тем жизнь – это непрекращающаяся конкуренция, конкурс.

КОНКУРС, удручающая гонка случайных обстоятельств, успехов, поражений. Мы друг друга всё время расставляем по полочкам. Эдакое азартное казино: тот проиграл, этот выиграл... Хотя никому не дано отличать «поражения от победы». Невозможно защититься и от постоянных оценок некоего жюри – людского мнения. И Германия в этом смысле не исключение.

ЛОЖЬ, как гласит народная мудрость, на тараканьих ножках, того гляди, подломится. Иногда приходится ждать этого, к сожалению, нескольким поколениям обманутых. Как утверждают почти во всех странах Запада, обман государства хуже любого другого преступления. Не берусь спорить. Могу лишь засвидетельствовать, что хорошо лгать умеют во всех частях света. «Цивилизованный» мир торгует всем и вся. Что остаётся простым

гражданам? Потихоньку сходить с ума от обилия лжи вокруг или... ловчить самим. Наши эмигранты, естественно, не отстают от прочих – это уникальный народ сплошных начальников, докторов наук, известных артистов... Они приехали с благими намерениями, а Германия недостаточно подготавилась, вот казус-то! Воистину, правдивые слова некрасивы, красивые слова неправдивы.

МУЗЫКА могла бы спасти от приблизительности, опасной словесной эквилибристики. Открытая точность языка музыки связана, по всей видимости, с текучестью и взаимопроникаемостью так называемых составляющих компонентов. Эстетические же границы, если они художественны, всегда преодолимы. Вероятно, из-за постоянной их готовности к метаморфозам.

Российское в музыке лежит *между*. Как бы открытое всем сторонам, ветрам, течениям, краям-крайностям. Отсюда спонтанная готовность, искренность в желании душевно приобщить собеседника к своим тайнам, а потом в откровенье этом взлететь вместе с ним в воображаемую высоту. И, затянув, как в воронку, в полётные дебри, задержать, растянуть высший чувственный пик, создать полную иллюзию остановки времени и эмоционального прозрения, завоевания некоей истины, которая, по сути, окрашена почти всегда в ностальгические тона. Естественно, что открывающаяся истина просто не может быть обыденной, а непременно – лишь вечной. Ну, и как здесь обойтись без преувеличений? Ими устлана вся эта дорога интуитивных, сиюминутных озарений, признаний, мелодической доверительности...

Запад – отсутствие случайностей, выверенность конструктивных начал и заключений. Интеллектуальное, медитативное постижение феномена соразмерности, гармоничности бытия. Оптимизм существования. Закруглённость, реверансность мышления. Неизбывное, неутолимое возведение здания системного постижения жизни. Любые компоненты, чувства, могут сосуществовать лишь в рамках системного охвата цивилизации, знания, исторических аналогий, культурных напластований. Стремление к внеличной позиции, объективности, дистанцированности. И это при всей страстности высказывания.

НЕМЦЫ, по утверждению Томаса Манна, народ мыслителей и музыкантов. Можно сослаться и на Бальзака: «Если немцы и не умеют играть на великих инструментах свободы, зато они от природы умеют играть на всех музыкальных инструментах». И в самом деле, если бы можно было посчитать, сколько приходится классической музыки на душу населения, то Германия, без сомнения, опередила бы все страны. Количество же талантов одинаково везде – и в Лаосе, и в Норвегии. Талант – товар штучный. Уровень же определяют традиции, востребованность обществом и система образования.

ОБРАЗОВАНИЕ, в принципе, от слова «образ». Что за ценности общество вкладывает в немецкие головы? Образ мира многомерности и толе-

рантности? Или образ мира одной экстремальной идеи? Важно, что немцы имеют возможность выбирать.

ОТДОХНОВЕНИЕ – кто из нас не мечтает о покое от «трудов праведных»? Покой... Искристый, плещущийся напиток в бокале. Он постепенно застывает, превращается в вязкую массу, высыхает, трескается. А затем рассыпается и исчезает вместе с бокалом... Отдыхать, впрочем, лучше всего на велосипеде. Велосипед в Германии не просто уважаем. Это как бы часть национального самосознания. Иллюзия непрекращающегося плавного движения вперёд. Нация велосипедистов. Нацеленность на длинные штрихи. Возможность ехать по дорожкам друг за другом. Ездят семьями, на тандемах... Велосипедный азарт заразителен и для эмигрантов. Даже Ленин когда-то приобщился. Несмотря на разветвлённую сеть метро и автобусно-трамвайных линий, многие предпочитают велосипед. Особенно в центре, где припарковаться в дневные часы практически невозможно. Гаражи для автомобилей, разумеется, имеются. В основном же паркуются на улицах. Угоняют машины в Мюнхене реже, чем на севере страны. Хотя лично у меня «раздели» колёса прямо у перекрёстка в центре города.

ПЕРЕКРЁСТОК – место для человека без возрастных ограничений. Мы всегда стоим «на семи ветрах». Мимо несутся толпы, одержимые всевозможными «спасительными» идеями. От желания примкнуть, присоединиться, стать, как все, частью массы, сдавливая дыхание, учащается пульс, кружится в сладостной истоме воображение. И вот уже ты несешься в неистовой массовой пляске куда-то по ухабам, падаешь, спотыкаешься, вновь подымаешься – ах, только бы не отстать от других. Куда? Зачем? Думать потом, сейчас главное – не отстать! К коммунизму? Вперёд. К фашизму? К свободному рынку? Вперёд. Служить государству, во имя государства? Согласны. Только для себя трудиться? Истина. Продавать-покупать? Все учатся на программистов? Все на химиков? Говорить вместо «избиратели» – «электорат»? Бегать трусцой? Вперёд. Питаться вегетариански? Не иначе. Обвинять во всём иностранцев? А кто же ещё виноват, кроме них! Не стесняться своего тела и ходить нагишом? Что за прелесть рожать под водой? Естественно. Сексуально расковаться? Смысл жизни... Устоять перед искушением и не присоединяться к массовым забегам? Чем эта спасительная идея хуже других?

РОДИНА – место рождения? «Что считать родиной, если из-за всеобщих странствий почти нигде не найти аборигенов. Пусть мы проедем из конца в конец любые земли – нигде мы в мире не найдём чужой страны: отовсюду одинаково можно поднять глаза к небу...» (Гельвеций)

СВОБОДА – слоеный пирог исчезнувшего. Вы свободны. Попробуйте посмотреть вокруг с младенческой наивностью и нежностью. Попробуйте, ведь вы свободны.

СЕРЕДИНА сродни музыке. Возникает из ничего и постоянно движется в обновляющем потоке к, казалось бы, туманной запредельности. А на самом деле от середины к середине. Постоянная, никогда не исчезающая

серединность. Вероятно, от нашего неумения ощутить сиюминутность. Обрыв, край, граница, предел – все эти понятия враждебны человеку. Кто хочет быть крайним? Мы существуем в середине. Серединностью, впрочем, и тяготимся... Как в некоем временном корабле из прошлого в будущее. Или наоборот. Кому как нравится.

СКУКА пользоваться одними и теми же словами, маячащими всегда наготове. Или смотреть телевизионную рекламу.

ТЕАТР саморекламы родился задолго до телевидения. Судя по российской прессе и телерекламе, в нашем отечестве продолжают по инерции сотрясать воздух всевозможными титулами: народный, заслуженный, самый-самый, единственный, крупнейший и пр. В других частях света для привлечения внимания к собственной персоне действуют более изощрённо.

УСПЕХ, как иногда кажется, единственная болезнь, которой все хотят хотя бы разок переболеть. И любой ценой не выздороветь. Скажем, одна пианистка не столько хорошо играет на рояле, сколько разводит... волков. Тем и популярна. Журналы захлёбываются, рассказывая о необычной сострадательной любви смазливой пианистки к хищникам. Что по этому поводу сказал бы Рахманинов, произведения которого пианистка с особой охотой насилует жесткими, пахнущими волчиной пальцами? Что скажут впоследствии её ученики?

УЧЕНИК не способен уклониться от подражания. Всё начинается с корявой копии. Однако, далее... Тот, кто воспитал хотя бы единственного ученика, поражается, что ученик превратился в личность, которую учитель вовсе не желал. Вдобавок и сам учитель вскоре с невольным удивлением замечает, что становится зеркальным порождением своего ученика. Страны тоже переживают периоды ученичества.

ФЕТИШИЗМ совкового мышления ориентирован даже не на Москву, а на Лондон, Париж, Нью-Йорк, на сверхразмеры, сверхшироту. На самое-самое. «Как в лучших домах». А если среднее, срединное, то уж лучше тогда... ничего. Впечатление важнее сути. Оно как бы определяет содержание. Немцы вроде бы переболели этим. Вроде бы... Человек вообще существо изначально камерное, непохожее, индивидуальное. Теряя камерность, человек попадает в сети кошмарных сновидений о сверхдержавах, сверхнациях, сверхчеловеке.

ХУДОЖНИК не сверхчеловек. Он рождается в нас тогда, когда сознание отказывается объяснить пережитое. На свет появляется некое произведение, всегда соразмерное творцу. Наша тяга к обычному, усреднённому, стандартному настолько порой сильна, что мы мучаемся нашим внутренним несоответствием и невозможностью обрести эту срединность. Чтобы, впрочем, потом в панике вновь её преодолевать, возвращаться к своей корявой индивидуальности. Словом, метаться без устали на одном и том же пятакке.

ЦЕЛЬ, казалось бы, достигнута, чем дальше живёшь – тем меньше понимаешь. Для полнокровного бытования в этом мире вовсе не обязательно

задумываться о своей роли, значении или эфемерном миссионерстве. Нет ничего бесперспективнее, чем постоянно себя соизмерять с эпохой и современниками, выстраивать некую собственную шеренгу по ранжиру. И уж тем более считать да выкрикивать на весь мир свои обиды или задыхаться в бесконечных вопросах на тему – кто первый?

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – это череда сомнений. Протопоп Аввакум не родился пророком. Чадолюбивый семьянин, вовсе не склонный к монашескому аскетизму и поучительству. «...Аввакум скорбел и колебался, проповедовать ли ему слово божье». Он сомневался. И этим всё сказано.

ЧУВСТВА наши, к сожалению, редуцированы. Человеку не столь важно, из чего сотворён мир, сколько – акцептирует ли мир его самого. Удача, между тем, сопутствовала нам, когда мы родились, научились различать день и ночь, запахи съестного, ощущать чужую боль, просыпаться с надеждой, любить живое. Мы бродим всю жизнь по детству, постигая устройство мира. Заглядываем в подозрную трубу будущего.

ШКОЛА, к счастью, продолжается. Кто нас окружает? Волею случая – страны, города, дома, люди. Кто наши ученики? Также почти все – волею случая. Учителей мы вроде бы выбирали сами. Или, во всяком случае, должны были выбирать.

ЩЕЛЬ всякая питит. Прислушаемся к разноречию их хору. К космосу голосов вне времени.

ЭСТАФЕТА времени невидима. Всю жизнь мы пробуем её пограничность – ощутить, увидеть, понять, связать уносящиеся мгновенья воедино. Между тем время и без наших неимоверных усилий всё соединяет.

ЮМОР в том, что я перестал понимать так называемый новый российский юмор. А немецкий так и не научился.

ЯЗЫК и речь адекватны повседневной жизни. Не может быть жизнь одного цвета, а речь другого. Звучащее рождается из молчания и заканчивается безмолвием. Всё, по сути, в этом мире лишь диалог молчания и речи. Границы между ними размыты – серединны. Если всё возникает из молчания, не значит ли, что речь – это и есть жизнь? Как много, в сущности, вокруг тишины. Мы её ищем и не замечаем, что мир словно бы укутан в неё. Нам не остаётся ничего другого, как без усталости продираться сквозь безмолвие к звуковому хаосу, к взаимопониманию, к речи.

В ГЕРМАНИИ Я, БЕЗУСЛОВНО, ЕВРЕЙ

Мы с женой эмигрировали в Германию в 1997 г. Дочка с семьей позже – из-за неразберихи с документами.

Причины эмиграции вообще три:

1. Ощущение вины перед семьей, что из-за меня (ранее я не хотел эмигрировать) дети живут в этой прекрасной, но Богом проклятой стране. Повторение истории моих родителей – умница дед увез всех еще до моего рождения, а отец с матерью остались.

2. Страх (новое ощущение!) – «а если заболею?». Пока я на ногах, есть еда и немножко денег для жизни. Если заболею, жить не на что и умереть нельзя – дорого.

3. Может быть, решающим фактором была украинизация – *я почувствовал себя эмигрантом в городе, который считал своим и который люблю*. Пожалуйста, поймите меня правильно, я говорю и пишу по-украински, с моими друзьями-украинцами переписываюсь до сих пор. Но идиотизм происходящего был очень тягостен.

Почему именно в Германию? Легче объяснить, почему не в Израиль: в семье только я один «настоящий еврей» (в кавычках потому, что в культурном и религиозном отношении не могу этим похвастать). Мы с женой уезжали одни, и было много легче то, что мы оставались на этом континенте.

Что для меня Германия?

Вначале – страна, куда можно уехать, не теряя гражданства. То есть я был одержим мыслью, что жизнь на Украине (с трудом заставляю себя писать «на Украине». Что это за государство такое? И какое отношение к этому имеет мой родной город – Одесса?) нормализуется, и я еще вернусь. Глупо, но это правда.

Но я решил здесь жить, выучился читать и говорить (не слишком хорошо) по-немецки, читаю немецкие газеты (немецкая литература в оригинале – отдельная тема, раньше мне была доступна только английская, и удивительно, как перевод нивелирует прозу). Не перестаю удивляться отношению немцев к настоящей музыке и обилию возможностей такую музыку послушать.

В Германии мне жить интересно. Впервые исчезло ощущение глубокой провинции. Возможно, это связано с легкостью перемещения по стране и по Европе в целом.

События в России могут кого угодно ужаснуть, но интересоваться ими – нет. Все, как в диком африканском (или коммунистическом) клане.

Израиль и события там – ну, конечно же, очень волнуют. Кроме всего прочего, там мои лучшие друзья и родственники. Писать на эту тему много не могу – я здесь в безопасности, а там...

Кем я ощущаю себя в Германии? Здесь я, безусловно, еврей, а вот «там» был человеком без нации. Кем ощущают меня окружающие, сказать не могу. С теми немцами, с которыми случается общаться, отношения хорошие, с соседями (они коренные немцы) очень хорошие – взаимопомощь (а говорили, немцы не помогают друг другу!) и предупредительность.

Что касается немецкой бюрократии... Многократно получал от нее помощь, никогда – преднамеренный вред.

Возможно, мой случай специфический – муж моей внучки шутит насчет меня: «Опять он безуспешно ищет злого бератора (т. е. бюрократа)».

Здесь бюрократы высокопрофессиональны, а значит, прежде всего, вежливы. Чем сильно отличаются от наших родных бюрократов.

Однозначного ответа на вопрос, чувствую ли я себя своим или чужим в Германии, нет. Эта страна не моя – ни я, ни мои прямые предки не дали ничего этой земле. Эта страна приютила меня и мою семью – и в этом контексте неважно, по *какой* причине. И *ВСЕ*, здесь происходящее, касается нас очень близко.

О Катастрофе немцы напоминают чаще, чем я об этом вспоминаю сам. Кроме того, я приехал с Украины – помнили ли мы там, что это страна еврейской катастрофы времен Богдана Хмельницкого (которая, к счастью, отличалась от немецкой плохой организацией и слабым использованием «технических средств»). Помнил ли я там об этом постоянно? Нет.

Катастрофа в Германии была – тут нечего добавить. Но интеллигентных немцев это, по-видимому, мучает. А вот украинских интеллигентов – если это понятие не пусто – вряд ли.

Я плохо ориентируюсь в мировой истории, но ощущение такое, что Катастрофы бывали повсюду. Я понимаю разницу масштабов, но ведь это вопрос техники!



КАТАСТРОФ БЫЛО МНОГО

Прежде всего, необходимо выяснить, верна ли сама постановка вопроса об исключительности событий Катастрофы и об исключительной роли немцев. Сам я ни в коей мере не числю себя среди специалистов по антисемитизму, но некоторыми сведениями из прежней и современной истории располагаю, которыми и воспользуюсь.

В истории еврейского народа насчитывается не одна недавняя Катастрофа, а, по меньшей мере, три, четыре или пять. Это – не рассматривая Вавилонского плена и восстания Маккавеев – знаменитая Иудейская война I века нашей эры, которую подробно описал участвовавший в ней Иосиф Флавий, затем изгнание евреев из Испании в конце XV – начале XVI веков, следом – события на Украине при Богдане Хмельницком и, наконец, недавняя Катастрофа. Весьма характерно, что во время каждой из этих катастроф действовали широкие народные массы. Именно по этой причине я отношусь ко всем народам, без исключения, с безразличным недоверием.

Нужно помнить, что Иудейская война, вызванная безответственными действиями римской администрации, сопровождалась и проходила на фоне внутренней революции в Иудее и Галилее. Крайние революционеры того времени, партия zelотов, заняли Иерусалим, истребили партию саддукеев (целиком) и фарисеев (частично, только в осажденном городе) и героически оборонялись в Иерусалиме, а затем в Масаде. Восхищаясь их героизмом, не следует забывать о том, что они истребили, по большей части физически уничтожили, всех своих противников, а затем сами были истреблены римлянами.

В Испании в XIII–XV веках евреи достигли не менее (а в области литературы и более высокого уровня), чем в Германии в XX веке. Изгнание из Испании было для того времени такой же трагедией, как Катастрофа для нас. Осуществил эти действия опять-таки народ, испанский народ, который завершил к тому времени Реконкисту, изгнал с территории Испании мавров и вознамерился изгнать евреев, что и произошло. Нужно понять, что дело тут не в решении короля Испании, а в энтузиазме народной стихии.

Восстание Богдана Хмельницкого тоже происходило как широкое народное движение против власти поляков. Говорят, что тогда было истреблено несколько сотен тысяч евреев.

Если обратиться к современной истории, то нужно помнить, что в итоге Первой мировой войны в четырех империях – Османской, Российской, Германской и Австро-Венгерской – произошла революция в течение каких-нибудь семи лет. Четверем империям соответствуют четыре геноцида: армян (полтора миллиона жертв), всеобщий (в СССР, от тридцати до шестидесяти миллионов жертв), евреев (шесть миллионов жертв) и цыган (миллион жертв). Народы – все народы – и лица, проживавшие на территории бывшей

Российской империи, в течение двадцати лет истребляли друг друга и один другого и еще пятьдесят лет медленно душили, чему мы все свидетели.

Если учитывать такой контекст, события Катастрофы займут свое должное место среди народных злодеяний. Поэтому, хотя вопрос в целом в вашем журнале стоит неверно, я попытаюсь ответить и на более специальные положения.

Как я отношусь к немецкому народу? К немецкому народу я отношусь плохо. Но плохо я также отношусь и к русскому, и к еврейскому народу, хотя и принадлежу к нему. Личности из всех этих народов – другое дело. С немцами я, когда нужно, общаюсь. Среди них есть самые разные люди, и это естественно. Потребности в общении у меня нет вообще. По моим наблюдениям, у многих немцев там, где у других людей располагаются разные чувства: патриотизм, любовь к родине, антисемитизм и прочее подобное, – у них там большой черный пустой квадрат. Сейчас это, быть может, и неплохо, но к чему это может привести, право, не знаю. Природа, видите ли, не терпит пустоты.

Отвечу еще на вопрос о европейском антисемитизме. Конечно, он существует в самых разных формах – в нынешней Франции, например, как явная неприязнь к Израилю. В Германии антисемитизм сейчас менее проявляется, но и то – осуждается, например, «крайне правая политика Шарона» и прочее. Но я не специалист, повторяю. Не думаю, что нужно так уж опасаться антисемитизма – это нормальный модус межобщинных отношений. Евреи жили в Европе полторы тысячи лет, и всё было более или менее спокойно. Они были единственной иноверческой общиной в течение тысячи лет христианства, пока их не выгнали из Испании. Опасаться нужно не антисемитизма как такового, а народных движений, когда они побеждают.

И в заключение – небольшая анкета.

В Германию я эмигрировал из Израиля в 1985 г. Причина? Мне вдвое сократили жалованье в Израиле, я стал искать работу и нашел ее в Германии. Сейчас я живу в селе Рексинген, под городом Хорб. Мое основное занятие – это разного рода сочинительство, которое, я надеюсь, ни с какими странами не связано.

Что для меня Германия? Я думаю, что правильнее всего назвать ее «удобной страной проживания» – для меня, по крайней мере. Но, вообще говоря, это вопрос сложный и не совсем точно поставлен.

Интересно ли мне жить в Германии? Интересней ли и ближе мне события в России, в Израиле? Жить тут мне весьма интересно. Что мне, где и когда ближе, сказать не могу.

Кем я себя ощущаю в Германии – человеком без нации, русским эмигрантом, евреем, немцем, израильтянином? Если выбирать из предложенного списка, то, наверное, евреем с израильским паспортом, кем я и являюсь.

Кем бы я хотел себя ощущать? Летучей птицей.

Кем ощущают меня окружающие? Точно сказать не способен по отсутствию интереса к данной проблеме.



NON FICTION

Владимир Прибыловский, Юрий Фельштинский

ОПЕРАЦИЯ «НАСЛЕДНИК»

Штрихи к политическому портрету В. В. Путина

Глава 7*

ПОДАВЛЕНИЕ СМИ

Люди, пришедшие к власти исключительно с помощью телевидения, обречены смотреть на телевидение ровно так, как Иван-дурак на волшебную палочку. Есть палочка – все будет хорошо, упрут палочку – все кончится.

Юлия Латынина, «Новая газета»

«Построение во фрунт» средств массовой информации было приоритетной темой политики президента Путина на протяжении всего первого срока его правления, опередив по значимости и «наведение конституцион-

* Журнальный вариант главы из книги, которая готовится к печати. 1, 3 и 5-ю главы см. в № 1, 2 и 4 «NB».

Владимир Прибыловский – историк-медиевист, автор ряда статей по истории Византии и десяти книг. Президент информационно-исследовательского центра «Панорама». Живет в России.

Юрий Фельштинский – историк, доктор философии, редактор-составитель и комментатор десятков томов архивных документов, автор четырех книг и соавтор книги «ФСБ взрывает Россию». Живет в США.

ного порядка» в Чечне, и ремонт федеративных отношений, и налоговую реформу, и преобразования в судебной сфере, и разговоры о военной реформе. Ни в какой другой области администрация Путина не проявляла такой последовательности, как в этой. И почти ни в какой другой области (разве что еще в борьбе с чеченскими сепаратистами) Путин не проявлял такой живейшей личной заинтересованности.

Наиболее значимые и заметные эпизоды борьбы администрации Путина с журналистами и свободой слова: «дело Бабицкого» (февраль–март 2000), «дело Гусинского» (май–декабрь 2000), отъем ОРТ у Березовского (август 2000 – январь 2001), разгром «старого» НТВ (апрель–май 2001), осуждение Григория Пасько (декабрь 2001), «дело ТВ-6» (2002), чистка на «новом» НТВ (февраль 2003), поправки к закону о СМИ (май–июнь 2003), закрытие ТВС (июнь 2003).

По возможности каждая такая операция оформлялась либо как неполитический «спор хозяйствующих субъектов», либо как борьба с экономическими преступлениями. Предпринимались попытки закамуфлировать личное участие Путина, но скрыть его интерес к этим делам практически не удавалось.

Были и менее громкие акции и эпизоды, к которым Путин, видимо, напрямую не был причастен, но которые весьма характерны для созданного при нем режима «управляемой демократии»: «дело Хинштейна» (февраль 2000), арест по подстроенному ФСБ делу о покупке оружия Эдуардом Лимоновым (апрель 2001), попытка закрытия «Новой газеты» (май 2002), закрытие «Общей газеты» (июнь 2002), обыск в издательстве «Ad Marginem» (сентябрь 2002), обыск в редакции газета «Версия» (ноябрь 2002), закрытие «старых» «Новых Известий» (февраль 2003), отъем помещения у журнала «Новое время» (сентябрь 2003), предвыборные цензурные репрессии против печатных СМИ (сентябрь–декабрь 2003), предвыборное усиление цензуры на телевидении (сентябрь–декабрь 2003).

Параллельно шло усиление контроля над региональными СМИ и преследования журналистов в провинции. Наибольший резонанс имели такие образцы репрессий против журналистов со стороны региональных властей как «дело Юлии Шеламыдовой» (Ульяновск, август 2002) и «дело Галкина» (Челябинск, август 2003). Десятки таких эпизодов фигурируют в мониторингах Фонда защиты гласности (ФЗГ) Алексея Симонова и Центра экстремальной журналистики (ЦЭЖ) Олега Панфилова.

Количество уголовных дел, возбужденных против журналистов и редакций СМИ в 2001–2003 гг., выросло в несколько раз по сравнению с 90-ми годами. «В 90-х годах возбуждение уголовного дела против журналиста сопровождалось большим скандалом и было достаточно редким явлением, – констатирует директор ЦЭЖ Панфилов. – В 2000 году конфликтов, связанных с обвинениями журналистов в уголовных преступлениях, ЦЭЖ насчитал 19, в 2001 году – уже 31, в 2002 году – 49, а в первой половине 2003 года – более 20»¹.

На фоне общего ухудшения атмосферы и условий работы журналистов участились – особенно в провинции – чисто криминальные действия против СМИ: убийства журналистов (до двух-трех в месяц осенью 2003 года), нападения на журналистов и редакции, незаконные конфискации помещений – в общей сложности несколько сотен эпизодов, отмеченных в мониторингах ФЗГ.

Дело Бабицкого

Война Путина против СМИ началась с «дела Бабицкого», когда ВВП был еще только и. о. президента. В середине января 2000 года корреспондент радиостанции «Свобода» Андрей Бабицкий, известный крайне неприятными для властей репортажами из Чечни, пропал без вести в Грозном. Факт ареста Бабицкого категорически отрицался властями вплоть до появления в московской прессе неоспоримых свидетельств очевидцев, которые видели, как он был задержан федералами на выходе из Грозного. После этого и. о. генерального прокурора Владимир Устинов был вынужден признать, что 27 января 2000 года Бабицкий был арестован по статье 90 УК РФ за нарушение «правил поведения журналистов, действующих в зоне проведения контртеррористической операции». Убалтывая обеспокоенную западную общественность, помощник и. о. президента Сергей Ястржембский неосторожно проговорился, что инцидент с журналистом находится «под личным контролем» Путина. Вскоре была распространена официальная информация, что 2 февраля Бабицкий освобожден под подписку о невыезде, а затем якобы с его добровольного согласия передан «полевому командиру Саиду Усаходжаеву» в обмен на группу попавших в плен к боевикам российских солдат. По телевидению была показана сделанная ФСБ съемка «обмена», на которой Бабицкий отнюдь не похож на человека, действующего добровольно. Напротив, видно и слышно, что съемка производится вопреки его протестам и что его передача неизвестным людям в масках происходит под конвоем автоматчиков-федералов. Демонстрируемая властями бумага, на которой зафиксировано согласие Бабицкого на передачу его боевикам, была датирована 31 января – т. е. ДО даты постановления о его освобождении под подписку о невыезде.

И президент Чеченской республики Аслан Масхадов, и его представитель за рубежом сообщают «Свободе», что ни о каком обмене они знать не знают, что полевого командира с узбекской фамилией Усаходжаев не существует и о судьбе Бабицкого после его ареста им ничего неизвестно. Все российские спецслужбы и силовые ведомства отрекаются от своей причастности к обмену – включая министерство обороны, хотя одновременно министр Игорь Сергеев заявляет по ОРТ, что ему «и десять Бабицких не жалко» отдать за одного из своих солдат. В средствах массовой информации, не подконтрольных государству, появляются предположения, что об-

мена вообще не было: просто «кто-то проводит операцию по упрятыванию концов в воду, причем проводит бездарно»².

Вероятность того, что Бабицкого уже нет в живых – или вскоре не будет, – была отнюдь не нулевой. Во время первой чеченской войны была похищена и после пыток расстреляна журналистка «Общей газеты» Надежда Чайкова, ненавидимая федералами за то, что в своих публикациях рассказывала о военных преступлениях в Чечне и не скрывавшая своего сочувствия идее независимости Ичкерии. Отрицание всех федеральных служб своей причастности к «обмену» заставляло подозревать самое худшее.

На защиту Путина от обвинений в ответственности за судьбу Бабицкого выступил журналист «Известий» Максим Соколов: «Лазят фанатики "горячих точек", которые без этих точек и без получаемого ими там адреналина существовать уже не могут. ...Между тем гарантированное государством право на освежение крови адреналином ни в одной конституции пока не записано. За свой счет, пожалуйста»³.

7 февраля Бабицкий, официально переданный «боевикам», столь же официально был «вызван на допрос» Генеральной прокуратурой. Представители прокуратуры заявили, что, если журналист не придет добровольно, он будет объявлен в розыск и после обнаружения арестован⁴.

Весь февраль о местонахождении Бабицкого циркулировала самая противоречивая информация. Официальные лица время от времени называли чеченские села, в которых он находится, и полевых командиров, у которых он якобы гостит, а сепаратисты опровергали эти сведения и продолжали утверждать, что Бабицкого им не передавали. Наконец, 25 февраля было объявлено, что журналист арестован в Дагестане с поддельным паспортом на чужое имя.

В махачкалинскую гостиницу Бабицкого доставили в багажнике автомашины – неизвестные, которые удерживали его в каком-то чеченском селении после «обмена». В Махачкале Бабицкий не стал спешить с явкой в милицию, а снял в гостинице номер и сделал несколько звонков – в том числе жене в Прагу и на радио «Свобода» в Москву, после чего сразу же и был арестован за фальшивый паспорт.

Боевики в масках, которым его сдали федералы, были, по его мнению, действительно чеченцами, но не сепаратистами-масхадовцами, а наоборот – боевиками «федеральной ориентации», сторонниками какого-нибудь полевого командира-коллорабациониста. Они пытались изображать из себя масхадовцев, и Бабицкий делал вид, что им верит. Позже выяснилось, что они, действительно, были не сепаратистами, а бойцами из вооруженного формирования партии «Адамалла», возглавляемой Адамом Дениевым. Младший брат А. Дениева, Гази Дениев, являлся действующим подполковником ФСБ, а партия «Адамалла» выступала за сохранение Чечни в составе России.

Боевики Дениева изъяли у Бабицкого оба паспорта – внутренний и заграничный, а взамен выдали паспорт с его фотографией, но на имя азербайджанца Алиева.

В махачкалинском СИЗО журналист объявил голодовку. И 28 февраля лично и. о. президента заявил, что не видит необходимости в непременном содержании Бабицкого под стражей в Махачкале, после чего 29 февраля журналиста посадили в самолет министра внутренних дел Владимира Рушайло и доставили в Москву, где отпустили на все четыре стороны, изменив меру пресечения на подписку о невыезде. В октябре того же года Бабицкий был присужден к штрафу за использование поддельного паспорта, но амнистирован в зале суда.

Подполковник ФСБ Г. Дениев примерно тогда же, в октябре 2000 года, был застрелен в Москве бизнесменом, у которого он вымогал миллион долларов, а лидера партии «Адамалла» А. Дениева в апреле 2001 года взорвали в Чечне сепаратисты. Была ли какая-то связь между участием братьев Дениевых в «деле Бабицкого» и их гибелью, осталось неизвестным.

До своего «обмена» Бабицкий находился в фильтрационном лагере «Чернокозово», содержание заключенных в котором, по его словам, было копией того, что он читал о гитлеровских лагерях смерти. Согласие на «обмен» Бабицкий подписал, еще не зная, что о его аресте уже известно. Почти наверняка Бабицкому – с его личными впечатлениями о «Чернокозово» – не дали бы уйти из Чечни живым, если б от его судьбы не зависела напрямую репутация Путина на Западе.

Дело Хинштейна

Параллельно с получившим мировой резонанс «делом Бабицкого» в январе–феврале 2000 года в Москве завершилось менее громкое «дело Хинштейна». Популярного журналиста газеты «Московский комсомолец» Александра Хинштейна, публиковавшего разоблачительные материалы о чинах МВД во главе с Владимиром Рушайло, милиция пыталась посадить в психушку или хотя бы отдать под суд по обвинению в фальсификации документов на право вождения автомобиля (несмотря на истекший срок давности по этому преступлению).

В предшествующий предвыборный год А. Хинштейн в качестве «золотого пера» принимал самое активное участие в «войне компроматов» на стороне блока «Отечество – Вся Россия» (ОВР) Евгения Примакова и Юрия Лужкова, причем неоднократно неслестно высказывался не только о «семье» и «семейном» блоке «Единство», но и о директоре ФСБ (а затем премьер-министре) Владимире Путине.

Хотя нападки на Путина Хинштейн уже прекратил, руководство МВД действовало без стеснений, полагая, что расправа с назойливым «компроматчиком» пройдет безнаказанно. Затем, однако, министру внутренних дел пришлось отступить – по всей видимости, из-за соответствующей рекомендации сверху.

«Дело Хинштейна» было типичным для нового царствования конфлик-

том между чиновным вельможей и журналистом – «разгребателем грязи» (при Ельцине откровенное преследование столь известного журналиста, как Хинштейн, было бы, пожалуй, невозможно). В то же время разоблачения Хинштейна вполне вписывались в рамки очередного раунда борьбы придворно-олигархических группировок, в которой у вельможи в столичной мэрии и ФСБ оказались очень влиятельные враги, а у журналиста – там же – серьезные покровители. (Примерно тогда же подчиненные Рушайло «наехали» на интернет-сайт «Compromat.Ru» Сергея Горшкова, но и эта попытка не завершилась для них удачей.)

Путин и программа «Куклы»

«Дело НТВ» фактически началось 8 февраля 2000 года, когда в газете «Санкт-Петербургские ведомости» было опубликовано Заявление членов инициативной группы Санкт-Петербургского университета по выдвижению и. о. президента Путина кандидатом в президенты России. Авторы Заявления во главе с ректором Людмилой Вербицкой и деканом юридического факультета Николаем Кропачевым выступили с обвинениями против двух последних передач программы «Куклы» на канале НТВ, которые у них вызвали «чувство глубокого возмущения и негодования и могут служить красноречивым примером злоупотребления свободой слова».

По мнению профессоров alma mater Путина, их ученика пытались «ошельмовать с особым озлоблением и остервенением, не считаясь с его честью и достоинством». Поскольку это происходит при исполнении им (и. о. президента) своих служебных обязанностей, действия создателей «Кукол» «...подлежат квалификации по ст. 319 УК РФ», причем, как подчеркнуто в заявлении, уголовные дела по этой статье «возбуждаются независимо от воли и желания того лица, которое они затрагивают».

Таким образом, услужливые университетские профессора-юристы заранее ограждали и. о. президента от необходимости личного участия в уголовном преследовании НТВ и выводили его из-под возможной критики за это преследование. Но, как пишет Виктор Шендерович, «насчет авторства есть некоторые сомнения (злые языки утверждают, что факс с текстом письма пришел из Москвы)»⁵.

В особенности Вербицкую и К^о возмутила остроумная сказка Виктора Шендеровича «Крошка Цахес» (по мотивам Гофмана), главным героем которой является Путин–Циннобер – и. о. президента, причесанный «волшебным телевизионным гребнем». Возмущение ленинградских профессоров отражало реакцию на сказку их ученика в Кремле. «После "Крошки Цахес", – писала Алла Боссарт в "Новой газете", – прототип героя якобы заявил: "Я его посажу". Ну не автора, конечно, – у нас ведь свобода слова. А хозяина лавки»⁶. Под «хозяином лавки» имелся в виду владелец «Медиа–Моста» Владимир Гусинский.

Сходные сведения дошли и до В. Шендеровича:

«...Там (взгляд наверх) особенно обиделись на то, что герой программы оказался существом весьма небольшого роста»⁷.

Помимо «Кукол», у Путина и его окружения к этому времени сложился целый ряд претензий к СМИ Гусинского, и в первую очередь к НТВ:

1) неапологетическая позиция в освещении «контртеррористической операции» в Чечне;

2) неподдержка во время думской и президентской избирательных кампаний блока «Медведь» и Путина;

3) попытки доискаться правды в деле о взрывах жилых домов в Москве и так называемом «учебном минировании» дома в Рязани, проведенного ФСБ в сентябре 1999 года;

4) «копание» в коррупционных делах, в которых фигурировали имена управделами Кремля Павла Бородина, и. о. генпрокурора Владимира Устинова, руководителя администрации президента Александра Волошина, главы правительства Михаила Касьянова, замдиректора ФСБ Юрия Заостровцева и других сподвижников президента.

Судебных последствий, однако, демарш питерских профессоров-юристов не имел. Их бывший студент пошел другим путем.

Первая атака на «Медиа–Мост»

В апреле–мае 2000 года редакция газеты «Сегодня», входящая в холдинг «Медиа–Мост» Гусинского, сочинила и направила три очень опасных, как оказалось, письма. Одно, от 28 апреля, было на адрес заместителя генпрокурора Сабира Кехлерова, другое – от 3 мая – на имя замдиректора ФСБ Юрия Заостровцева, а третье, от 27 апреля, – на имя самого Владимира Путина, уже избранного президентом, но еще не прошедшего инаугурацию.

Каждому из силовых чиновников газета задала по несколько каверзных вопросов. Например, у замгенпрокурора спросили:

– составлял ли в 1994 году помощник генерального прокурора РФ Николай Емельянов справку об использовании Вами служебного положения в интересах СП «Балкар–Трейдинг»?

– имеете ли Вы или Ваши ближайшие родственники отношение к КБ Мосстройэкономбанк?

– на чьи средства в феврале 1997 года Вашему сыну Артуру была приобретена квартира по такому-то адресу?

У замдиректора ФСБ поинтересовались:

– по какой причине Вы уволились из ФСБ в 1993 году?

– что побудило Вас уйти из Тверьуниверсалбанка?

– что произошло с охранными и торгово-закупочными фирмами, которые Вы учредили за годы своей коммерческой деятельности?

– помогаете ли Вы в работе Вашему отцу – учредителю ООО ЧОП «Форт–Профессионал»?

В письме же на имя Путина главный редактор газеты «Сегодня» Михаил Бергер жаловался на то, что после того как газета «Сегодня» заинтересовалась коммерческим прошлым генерала Ю. Заостровцева и напечатала об этом статью, генерал Заостровцев «развернул интенсивную деятельность по сбору компромата на группу "Медиа–Мост"». При этом, по утверждению Бергера, «всякий раз пытаюсь организовать давление на подразделения группы, Заостровцев ссылается на то, что в отношении "Моста" есть Ваши (то есть Путина) личные указания".

Прямая атака прокуратуры и силовых структур на «хозяина лавки» началась сразу после инаугурации Путина, состоявшейся 7 мая 2000 года. Уже 11 мая были проведены обыски в офисах компании «Медиа–Мост» В. Гусинского. Сначала люди в масках утверждали, что они всего лишь «налоговая полиция», а Генпрокуратура заявила, что обыски производились в рамках уголовного дела, возбужденного еще два года тому назад против неназванного сотрудника министерства финансов. Но один из офицеров, руководивших обыском, признался в телекамеру, что он из ФСБ, а не из налоговой полиции. К вечеру изменилась и официальная мотивировка обысков: уже не уголовное дело минфиновского чиновника, а «незаконное вторжение в частную жизнь граждан при помощи специальных технических средств». Под «незаконным вторжением в частную жизнь», очевидно, имелось в виду журналистское расследование коммерческого прошлого генерала Заостровцева.

Секретариат Союза журналистов России заявил, что расценивает эту операцию «как антиконституционный акт государственного произвола с целью запугать независимые средства массовой информации». Что же касается президента Путина, на четвертый день официального правления которого начались репрессии против оппозиционного ему лично медиа-холдинга, то он категорически отрицал политическую подоплеку операции. Он заверил общественность в своей приверженности принципам свободы слова и дал понять, что не собирается вмешиваться, так как закон един для всех – в том числе и для Гусинского.

В интернете, однако, сразу же распространился такой анекдот:

«Почему люди, делавшие обыск в "Мосте", были в масках?

– Потому что новый президент все любит делать сам».

В воскресных «Итогах» Евгения Киселева, непосредственно последовавших за четверговым «наездом», вновь досталось всем врагам «Медиа–Моста»: и С. Кехлерову, и генералу ФСБ Ю. Заостровцеву, и вообще руководству ФСБ (за «учебное» минирование гексогеном жилого дома в Рязани), и А. Волошину (как причастному к афере с «АВВой»), и М. Касьянову («мистер два процента»), и самому Путину (за «дело Бабицкого»). К месту пришелся и печальный монолог Александра Солженицына, записанный энтеведниками еще 4 мая, но показанный только теперь. А завершили этот двухчасовой «артобстрел» очередные убийственные «Куклы» В. Шендеровича.

Как можно предположить, в выборе методов ведения «дела НТВ» в Кремле не было полного единства. «Чекисты» полагались прежде всего на силовые методы и хотели задушить Гусинского раз и навсегда руками прокуратуры. Более гибкая «семья» готова была сочетать с кнутом пряник.

Как пишет В. Шендерович, в мае 2000 года на прямой контакт с одним из руководителей «Медиа-Моста» вышел «немаленький кремлевский чиновник» и при личной встрече передал листок с условиями, при выполнении которых, по словам одного чиновника, «наезд» на НТВ будет прекращен. Условий было несколько: изменение информационной политики по Чечне, прекращение атаки на так называемую «семью». Но первым пунктом числилось изъятие из «Кукол» «первого лица», т. е. Путина⁸.

В ближайших после этого «Куклах» Шендерович выполнил условие гонителей – хулигански: вместо Первого Лица в новелле «Десять заповедей» были облако на горе и куст в пламени, трактуемые «Моисеем–Волошиным как "просто Господь Бог. Сокращенно – ГБ"». 13 июня Гусинский был арестован – ему инкриминировалось уже не «вторжение в частную жизнь граждан», а «хищение чужого имущества в крупном размере группой лиц путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения» (ст. 159 УК, ч. 3). Уже третья за месяц «редакция» претензий выдавала факт неподготовленности органов – команда «фас» поступила слишком внезапно.

Мера пресечения Гусинскому была, однако, изменена на подписку о невыезде. Как рассказывает В. Кара-Мурза, «мы его на третьи сутки освободили. Я позвонил Горбачеву, он позвонил королю Хуану Карлосу. И тот сказал Путину, что если ты, мол, сейчас не выпустишь Гусинского, то тебе же хуже будет. И Путин был вынужден послать министра Лесина в тюрьму, наказав ему: "Только ты поторгуйся, чтоб он акции эти отдал, все равно придется выпускать"»⁹.

Месть Савонаролы

Масштабы давления на НТВ заставили журналистов телекомпании вести себя по принципу «на миру и смерть красна». Все критические стрелы «команды Киселева» метили теперь непосредственно в Путина.

15 июля в программе «Куклы» был показан очередной спектакль по сценарию В. Шендеровича – на этот раз про Джироламо Савонаролу, похожего на президента Путина. Смешная и обидная сатира завершается у Шендеровича прозрачным намеком. Похожие на россиян флорентийцы разочаровываются в том, что борьба похожего на Путина проповедника против пороков и роскоши имущих классов никак не сказалась на их жизни. Разве что дым костров, на которых сжигают баронов, ест глаза, что трудно назвать положительным изменением. «Сделай хоть что-нибудь!» – кричат Савонароле флорентийцы. А один из них переворачивает песочные часы и го-

ворит: «Время пошло». Савонаролу, как известно, в 1498 году самого сожгли на костре под радостные клики его недавних сторонников.

19 июля следователи генпрокуратуры Леонид Челенко и Зигмунд Ложис в сопровождении автомобиля с охраной от ФСБ посетили дом хозяина НТВ Гусинского в подмосковном поселке Чигасово. Там они провели обыск, официально названный «описью имущества», и наложили на внесенные в опись предметы арест – в рамках уголовного дела о «хищении чужого имущества в крупном размере группой лиц путем обмана и злоупотребления доверием» (имелось в виду приобретение холдингом Гусинского петербургской компании «Русское видео»).

Это выглядело как прямой ответ «Савонаролы» на брошенный ему «Куклами» вызов – и, возможно, таковым и являлось.

Шестой протокол

Но был в этой акции и прагматический смысл. Опасаясь нового заключения в СИЗО, В. Гусинский уже на следующий день подписал соглашение с «Газпром–Медиа» о передаче ему за долги в сумму 300 млн долларов всех СМИ, входящих в холдинг «Медиа–Мост». В отличие от мифических «вторжений в частную жизнь» и «хищений путем обмана и злоупотребления доверием», долги «Газпрому» формально, действительно, имели место. В переговорах принимал участие министр печати Михаил Лесин, который по настоянию Гусинского подписал «приложение № 6» к соглашению, в котором указывалось, что гарантией договоренностей о возмещении долгов медиа-активами является прекращение уголовного дела в отношении Гусинского.

26 июля с имущества медиа-магната был снят арест, а уголовное дело в отношении его было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Журналисты НТВ между тем ожидали разгона со дня на день и считали, что терять им более нечего. Даже непонятно, как «Известия» осмелились напечатать краткое интервью с Шендеровичем, в котором сатирик, сравнивая президента Ельцина с Путиным, сказал: «Прежний хозяин был большой, пьющий и блаженный, а этот маленький, трезвый и злобный. Уж лучше б пил»¹⁰. Столь же безоглядно НТВ комментировал трагедию подводной лодки «Курск», брошенной на произвол судьбы и командованием ВМС, и президентом, даже не прервавшим свой черноморский отдых.

Но Кремль торжествовал победу над «Медиа–Мостом» несколько преждевременно: выехав за рубеж, Гусинский немедленно дезавуировал соглашение с «Газпром–Медиа», поскольку оно было подписано под прямым давлением со стороны правоохранительных органов и имело поэтому не большую юридическую силу, чем обещания, данные рэкетирам под угрозой проглаживания раскаленным утюгом. В качестве доказательства Гусинский предъявил то самое «приложение № 6», или «шестой протокол»,

подписанный министром печати. Платить долги Гусинский не отказывался – но не медиа-активами.

Выгораживая Путина от соучастия в рэке, Лесин заявил, что «не докладывал» президенту о подписании соглашения с Гусинским, хотя и поставил о нем в известность председателя правительства Касьянова. 26 сентября президент через своего пресс-секретаря политкорректно заявил, что не намерен вмешиваться в скандал с «Медиа–Мостом» и считает, что впредь стороны должны решать все вопросы в судебном порядке.

Отъём ОРТ у Березовского

В сюжете, касающемся катастрофы с атомной подводной лодкой «Курск», у НТВ оказался неожиданный союзник: подконтрольный Березовскому первый канал – ОРТ, до тех пор «мочивший» всех врагов Путина. «Телекиллер» Сергей Доренко обрушился на власть в другой стилистике, нежели Шендерович, но с тех же позиций. Первый канал, в отличие от НТВ, смотрела вся страна. И если Шендеровича любила интеллигенция, то Доренко был популярен в народе. Рейтинг Путина впервые дрогнул.

По версии Березовского, первые «серьезные сомнения» в Путине у него появились «в декабре 1999, уже после парламентских выборов. Это когда Путин в Чечне не остановился, подойдя к Тереку. <...> Но это были еще не серьезные расхождения. <...> Ключевой точкой, конечно, стала трагедия с подлодкой "Курск". Первый канал, которым я тогда еще владел, очень жестко комментировал происходившее, показал отчаяние вдов, трусость и лицемерие властей»¹¹.

В ответ в августе 2000 года бывший протеже Березовского руководитель администрации президента Александр Волошин сказал Березовскому, что если тот не расстанется с акциями ОРТ, то «пойдет вслед за Гусинским»¹². Тогда Березовский попытался если не уберечь ОРТ от Путина, то хотя бы затянуть процесс, демонстрируя всему миру, как именно новый российский президент лишает страну главного независимого (от правительства) телеканала. С этой целью была предпринята попытка передать акции ОРТ не государству или его доверенным лицам, а группе творческой интеллигенции, включая ряд журналистов НТВ (ЗАО «Телетраст»).

Идея «Телетраста» вряд ли была осуществима – в том числе из-за того, что без спонсорского финансирования творческая интеллигенция содержать телеканал не смогла бы. Однако Березовскому, действительно, удалось несколько отодвинуть сроки перехода ОРТ под контроль чекистского окружения президента. Кроме того, своим «вторым фронтом» он отвлек внимание Кремля от полного уничтожения НТВ, которое из-за этого затянулось.

Тогда, в декабре 2000 года, Кремль взял у Березовского «заложника»: был арестован близкий друг и соратник медиа-магната Николай Глушков. Глушков был серьезно болен. Арестом создавалась реальная угроза его

жизни. В январе 2001 года Березовский в обмен на обещание освободить Глушкова согласился продать (или передать) акции ОРТ тому, кого ему назвал Волошин, — лояльному к власти олигарху Роману Абрамовичу. Абрамович получил акции. А Глушкова оставили в тюрьме. Путин попросту обманул Березовского.

Продолжение атаки на НТВ

Хотя соглашение о сдаче «Газпрому» медиа-активов было Гусинским дезавуировано, а уголовные дела фактически лопнули, непогашенные обязательства «Медиа–Моста» перед «Газпромом» по кредитам никуда не делись. Кроме того, любой коммерческой фирме в России всегда можно было предъявить претензии по налогам. Поэтому рычаги для борьбы за овладение НТВ в рамках «спора хозяйствующих субъектов» у Кремля оставались. От несправившихся ФСБ и генпрокуратуры задача покорения НТВ была передана гендиректору холдинга «Газпром–Медиа» Альфреду Коху.

Но поскольку этот путь был долгий, для ускорения дела властям приходилось постоянно прибегать к нарушению юридической процедуры, шантажу Гусинского возобновленным уголовным делом о мошенничестве, подключению к борьбе налоговых инстанций.

9 декабря 2000 года налоговые органы возбудили судебный иск о ликвидации НТВ – на основании пункта 4 статьи 99 Гражданского кодекса, согласно которому, «если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше уставного капитала... общество подлежит ликвидации».

Ранее статья 99 ГК ни разу не применялась и вообще готовилась к исключению из кодекса. Обычно, если возникали проблемы с несоответствием уставного капитала фирмы и ее «чистых активов», налоговая инспекция на это просто не обращала внимания либо делала фирме замечание, чтоб она этот формальный недостаток устранила. И хотя советник налоговой службы I ранга Лужина утверждала на пресс-конференции, что никакой политической подоплеки в ее иске не было, мало кто ей поверил.

12 декабря 2000 года Гусинский, вновь обвиненный в мошенническом присвоении чужого имущества, был задержан в Испании в связи с просьбой Генеральной прокуратуры РФ о его выдаче (вскоре он был освобожден, а в выдаче его было официально отказано, поскольку российская Генпрокуратура не смогла представить убедительных доводов, что Гусинский преследуется как уголовный, а не политический преступник). Стремясь возбудить против НТВ неприязнь у населения, Генпрокуратура стала оглашать сведения о стоимости квартир тележурналистов НТВ. Формально квартиры покупались журналистами на взятые у «Медиа–Моста» в кредит деньги. Кредиты до сих пор были не выплачены, и квартиры легко можно было отобрать. (Квартира генпрокурора В. Устинова, безвозмездно переданная ему в

собственность Управлением делами президента, была много дороже журнальных. Она стоила более 400 тыс. долларов, но была Устинову подарена.)

Поскольку опыт «взятия заложника» у Березовского оказался успешным, у Гусинского тоже взяли «заложника»: 16 января 2001 был арестован бывший начальник финансового управления холдинга «Медиа–Мост» Антон Титов, которого обвинили в мошенничестве в крупных размерах, хищениях и отмывании денежных средств в сообщничестве с Гусинским. Начались регулярные ночные допросы Титова.

В конце января 2001 «команда Киселева» предприняла попытку урегулировать конфликт с Путиным. По просьбе, высказанной в открытом эфире Светланой Сорокиной, Путин принял 29 января в Кремле большую группу журналистов НТВ во главе с Киселевым. Встреча оказалась безрезультатной: журналисты не проявили признаков раскаяния, а президент заверил их в своей полной непричастности к давлению «Газпрома», прокуратуры и ФСБ на «Медиа–Мост». На просьбу освободить Титова Путин ответил, что он, как демократ, не хочет прибегать к «телефонному праву». (Титов так и просидел до декабря 2002 года, когда его, наконец, судили, дали 3 года и освободили по амнистии, причем большая часть обвинений была с него снята.)

Конец «старого» НТВ

Весной 2001 года ряд журналистов покинули тонущий корабль НТВ. Как вспоминает Виктор Шендерович, «в случае согласия на уход с НТВ, долги по журналистским кредитам гасились, а зарплаты, наоборот, прибавлялись»¹³. 3 апреля «Газпром–Медиа» провел собрание акционеров НТВ, которое приняло решение сместить Киселева с постов гендиректора и главного редактора и назначить новое руководство телекомпании во главе с Альфредом Кохом (гендиректор «Газпром–Медиа») и американским бизнесменом Борисом Йорданом (гендиректор НТВ).

И само собрание акционеров было не вполне законным образом созвано, и его решения были юридически уязвимыми. В произошедшем Киселев обвинил лично президента: «Фирменный стиль Путина – развязать войну и отойти в сторону» (НТВ, 4 апреля 2001 года). Однако в журналистском коллективе налицо был раскол. Одна часть журналистов (в частности, Леонид Парфенов, Татьяна Миткова) согласилась принять новое руководство, другая (Е. Киселев, С. Сорокина, В. Шендерович, В. Карамурза, Д. Дибров) отказалась признать переворот законным.

В ночь на 14 апреля 2001 года оккупация НТВ была осуществлена: сотрудники охрannого предприятия «Инвест-секьюрити», приведенные А. Кохом и Б. Йорданом, захватили телекомпанию вместе с ее «уникальным коллективом».

В том же месяце международная организация «Репортеры без границ»,

ежегодно составляющая список «30 врагов прессы», включила Путина в свой список под 22-м номером (первые четыре места получили Фидель Кастро, Саддам Хусейн, Ким Чен Ир и Александр Лукашенко). А 3 мая международный Комитет защиты журналистов (СРЖ), ежегодно составляющий список «10 худших врагов прессы», предоставил Путину место под номером 5 – вслед за иранским аятоллой Али Хаманеи, президентом Либерии Чарльзом Тейлором, президентом Китая Цзян Цзэминем и президентом Зимбабве Робертом Мугабе.

По мнению СРЖ, Путин «возглавил кампанию по уничтожению свободы прессы в России. Кремль ввел цензуру в Чечне, начал судебные преследования против владельцев средств массовой информации в регионах России и наделил службу безопасности обширными полномочиями по надзору за информацией. <...> Контролируемая Кремлем компания "Газпром" захватила НТВ, единственную независимую телекомпанию с аудиторией по всей стране. Это явилось очевидным подтверждением того, что режим Путина совершенно не собирается терпеть критику его политики со стороны общественности».

Побочным результатом победы Кремля над «Медиа–Мостом» стало прекращение выхода газеты «Сегодня». Кроме того, сменилось на лояльное к Кремлю руководство журнала «Итоги».

В 2002 году руководство НТВ частично сменилось: Кох был отправлен в отставку, а Йордан, оставаясь гендиректором НТВ, стал также и гендиректором «Газпром–Медиа». «Йордан – идеальный выбор, – объяснял Кох журналистке Евгении Альбац. – Правнук белого офицера, бежавшего от большевиков вскоре после революции, православный, американский паспорт в кармане и к тому же не еврей, антисемит – только такого человека чекисты и могли принять в качестве начальника НТВ»¹⁴. «Гауляйтер Кох» (как его называли на митингах в защиту НТВ) был не точен: белым офицером был не прадед, а дед Бориса Йордана, полковник Борис Йордан-старший. А еще полковник Борис Йордан-старший и его сын лейтенант Алексей Йордан, отец Б. Йордана-младшего, – были офицерами гитлеровского вермахта, воевавшими против югославских партизан под командованием группенфюрера СС Нойхгаузена¹⁵. Сын за отца и деда, конечно, не отвечает. Но, с другой стороны, и яблоко от яблони далеко не падает.

Дело Пасько

Дело корреспондента газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта» Григория Пасько началось в 1997 году, до того как Путин стал директором ФСБ. Но дальнейшие злоключения Пасько происходили уже при нем – главном чекисте Путине – премьер-министре Путине – и. о. президента Путине – президенте Путине.

Пасько предал гласности факты нанесения военными ущерба окружа-

ющей среде и 20 июля 1999 был осужден по статье 285 часть 1-я УК РФ («злоупотребление служебным положением»), попав, правда, по этой статье под амнистию, благодаря чему был освобожден из-под стражи в зале суда.

Обе стороны – и Пасько, и ФСБ – были недовольны приговором: амнистированный направил апелляцию в военную коллегия Верховного суда, а руководство управления ФСБ по Тихоокеанскому флоту направило в военную коллегия протест на «неоправданно мягкий» приговор.

Накануне осуждения Пасько директор ФСБ В. В. Путин заявил по поводу другого журналиста-эколога, Александра Никитина, дело которого, заведенное по инициативе давнего путинского друга Виктора Черкесова (тогдашнего начальника питерского ФСБ), тянулось аж с 1995 года: «Наше ведомство поступает, исходя из государственных интересов. Остановлюсь на Никитине. Ведь что там на самом деле произошло? Он проник в библиотеку и взял сведения, которые являются секретными. Кстати, за свою "общественную деятельность" он получил денежное вознаграждение. Конечно, есть другой вопрос: насколько эти сведения актуальны сегодня? И с точки зрения политеса, в том числе международно-экологического, наверное, можно подумать о смягчении наказания. Но это должен решать суд. К сожалению, зарубежные спецслужбы, помимо дипломатического прикрытия, очень активно используют в своей работе различные экологические и общественные организации, коммерческие фирмы и благотворительные фонды. Вот почему и эти структуры, как бы на нас ни давили СМИ и общественность, всегда будут под нашим пристальным вниманием»¹⁶.

Но в 1999 году Путин еще не был президентом, и А. Никитин был вчистую оправдан, поскольку те сведения, которые ФСБ и лично Путин считали «на самом деле секретными», по мнению суда такими не оказались. Дело же Пасько продолжилось и дожило до воцарения Путина.

25 декабря 2001 года новый суд признал Пасько виновным в шпионаже и приговорил его к 4 годам лишения свободы. 15 января 2002 года президент Путин, выступая на пресс-конференции в Париже, сказал, что не считает возможным вмешиваться в действия судебной системы, но готов рассмотреть прошение Пасько о помиловании, если тот к нему с таким прошением обратится. При этом Путин – как когда-то по поводу Никитина – подчеркнул, что Пасько передал иностранным гражданам за вознаграждение документы с грифом «секретно», что этот эпизод доказан и ни у кого не вызывает сомнений. Правда, 13 февраля 2002 года Верховный суд России по жалобе адвокатов Пасько признал несоответствующим закону тот самый приказ Минобороны о секретных сведениях, из-за которого Пасько попал под статью. Но ни на мнении президента о виновности Пасько, ни на положении Пасько это не сказалось. Пасько, так и не подавший Путину прошение о помиловании, был условно-досрочно освобожден только через год, отбыв в тюрьме в общей сложности два с половиной года.

Изгнанное с НТВ ядро «команды Киселева» в июне 2001 года нашло убежище на ранее аполитичном канале ТВ-6, принадлежавшем компании МНБК, которая все еще оставалась под контролем Березовского. В это время начатая Путиным операция по отъему у Березовского ТВ-6 была в самом разгаре. В качестве рычага для выталкивания Березовского из медиа-бизнеса использовался все тот же «заложник» Глушков, получивший к тому времени в тюрьме инвалидность первой группы и из-за болезни крови находившийся буквально при смерти.

2 и 13 марта 2001 года тогдашний секретарь Совбеза (а ныне министр обороны) Сергей Иванов дважды встречался в правительственной резиденции на улице Косыгина, 34 с другом и партнером Березовского Бадри Патаркацишвили. Предметом переговоров были условия освобождения Глушкова. По утверждению Патаркацишвили, действовавший «по поручению Путина» Иванов поставил условием освобождения Глушкова отказ Березовского от политической деятельности и продажу всего медиа-бизнеса.

В апреле 2001 года нефтяной концерн «Лукойл» через свой дочерний фонд «Лукойл–Гарант» инициировал судебный процесс о ликвидации ТВ-6 под предлогом ущемления в нем прав миноритарных акционеров. Осенью 2001 года по этому иску было принято судебное решение о ликвидации ТВ-6. В начале января 2002 года кассационная жалоба ТВ-6 на решение суда была отвергнута президиумом Арбитражного суда, несмотря на то, что закон, на основании которого было вынесено решение о ликвидации, с 1 января 2002 года утратил силу.

22 января теле вещание ТВ-6 было прекращено приказом министра М. Лесина в связи с решением суда.

Ликвидация ТВ-6 с одобрением была встречена прессой национал-патриотической ориентации. Популярный в националистических кругах священник Дмитрий Дудко приветствовал этот шаг властей:

«Я сейчас очень надеюсь на Владимира Путина. <...> Мне он многим напоминает Иосифа Сталина. <...> Путин, надеюсь, пойдет таким же путем. Его трудно понять, много еще плохого делается в стране. Но Сталин тоже не сразу стал решительным. Борьба идет за телевидение, борьба идет с олигархами, борьба идет за здоровье нации, за детей»¹⁷.

В Кремле, однако, о дальнейшей судьбе освободившейся «шестой кнопки» еще не было принято окончательное решение. «Семейная» часть кремлевской администрации не теряла надежды приручить бывших журналистов НТВ. На освободившуюся «шестую кнопку» был объявлен конкурс, в котором дважды изгнанная команда Е. Киселева смогла принять участие в составе некоммерческого партнерства «Медиасоциум» во главе с Евгением Примаковым и Аркадием Вольским. 27 марта 2002 года «Медиасоциум» выиграл конкурс.

17 мая 2002 года Химкинский городской суд Московской области признал

«незаконными, нарушающими конституционное право телезрителей на свободное получение информации» действия МНБК по прекращению вещания ТВ-6 и обязал МНБК возобновить вещание ТВ-6. Ситуация абсурда вокруг 6-го телеканала, таким образом, восстановилась. На одну и ту же частоту оказались две «законные» лицензии – старая МНБК Березовского (уже без Киселева) и новая «Медиасоциума» Примакова–Вольского (с Киселевым). Начавший с июня 2002 года вещание новый телеканал ТВС оказался «подвешен». Власти всегда могли дать в случае необходимости ход этому судебному решению. В конечном счете, через год именно так и было сделано.

Дело «Новой газеты»

В апреле 2002 г. по иску Межпромбанка к «Новой газете» суд присудил банку 15 млн руб. (около 500 тыс. долларов) «упущенной выгоды». Это судебное решение поставило под вопрос дальнейшее существование газеты. Иску предшествовала публикация в ноябре 2001 г. в «Новой газете» статьи, в которой утверждалось, что руководство Межпромбанка во главе с Сергеем Пугачевым (близким к Путину и группировке «чекистов» в его окружении) причастно к отмыванию денег русской мафии в Bank of New York.

Для иска о защите чести и достоинства у Пугачева, казалось, были все основания. Никаких доказательств преступления Пугачева в «Новой газете» не приводилось. Но Пугачев не стал защищать личные честь и достоинство. Вместо этого Межпромбанк подал иск о защите деловой репутации и возмещении банку нанесенного этой публикацией материального ущерба. По версии Межпромбанка, один из его клиентов, ООО «Вестстройсервис», обеспокоившись возможными последствиями публикации для устойчивости банка, в тот же день изменил условия содержания своего счета в банке, что якобы нанесло банку убытки – реальный ущерб в сумме 15 млн руб. и упущенную выгоду в размере еще 15 млн руб. (т. е. в целом около 1 млн долларов).

Беспрецедентно высокая сумма штрафа выдавала желание организаторов иска не просто наказать журналистов, а вообще прекратить существование газеты. «За проблемой выживания "Новой газеты" стоял заказ, – высказывал уверенность президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. – Если суды выносят подряд решения о компенсации... в размерах, не поддающихся воображению: миллион долларов, затем полмиллиона долларов <...> иск здесь не цель, а средство». Симонов назвал возможных «заказчиков», обиженных публикациями «Новой газеты» – Минобороны (из-за статей Анны Политковской и Вячеслава Измайлова), ФСБ (из-за статей Георгия Рожнова), Совет Безопасности и Мосгорсуд¹⁸.

«Новую газету» спасло только то, что в представленной суду аргументации Межпромбанка об «ущербе» оказался «незамеченный» судом изъян, который блестяще продемонстрировала обозревателю «Новой газеты» Юлия Латынина: фирмы, «из-за договоров и писем которых Межпромбанк

понес убытки, контролируются либо самим ООО "Межпромбанк", либо менеджерами и учредителями Межпромбанка». Среди названных Латыниной менеджеров и учредителей был сам Пугачев, его супруга Галина Пугачева и другие руководители того же Межпромбанка¹⁹.

«Такой элемент российского бизнеса, как ложное банкротство, хорошо известен публике, – писала об этом казусе газета "Новые Известия". – Теперь можно говорить о том, что правящая олигархическая группировка изобрела новую технологию "легитимной" ликвидации политически неудобного СМИ: через ложный ущерб»²⁰.

В конце мая 2002 г. сама Ю. Латынина и редакция «Новой газеты» обратились в прокуратуру и ГУВД Москвы с просьбой «расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО "Межпромбанк" и рядом связанных с банком фирм против "Новой газеты"». В данном случае в «споре хозяйствующих субъектов» победили журналисты: Межпромбанк испугался громкого скандала и в июне 2002 года отказался от выигранных по суду денег.

Заккрытие «Общей газеты»

«Новая газета» избежала банкротства и закрытия. Но примерно в те же дни окончательно решилась судьба другого неподконтрольного государству СМИ – «Общей газеты», последнего рупора «шестидесятников». Ее учредитель и главный редактор Егор Яковлев, отчаявшись найти финансирование для продолжения издания, продал газету петербургскому бизнесмену Вячеславу Лейбману. Лейбман же «Общую» сразу же закрыл и вместо нее стал издавать газету «Консерватор», совсем другой, пропутинской, направленности.

Зачем и по чьему указанию Лейбман купил «Общую газету», чтобы ее закрыть, так и осталось неизвестно. Возможно, он потратил на покупку чужие деньги с единственной целью – предотвратить приобретение «Общей» кем-то из недругов Путина, например, Березовским. Что касается основанной Лейбманом газеты «Консерватор», то она просуществовала недолго – всего полгода.

Дело Сорокина и обыск в издательстве «Ad Marginem»

Само «дело Сорокина», раскрытое функционерами молодежной организации путинопоклонников «Идущие вместе», прямого отношения к теме свободы печати не имеет. Самым кровавым эпизодом преследования литератора Владимира Сорокина было торжественное «замачивание» его «Голубого сала» в символическом унитазе, установленном напротив Большого театра. Однако по доносу 49-летнего Артема Магунянца, «идущего вместе» с путинолюбимой молодежью, вскоре было заведено уголовное

дело против выпустившего «Голубое сало» издательства «Ad Marginem» по статье 242 УК РФ (распространение порнографии).

На самом деле основная тема «творчества» В. Сорокина – не секс, а процессы дефекации, а также некрофилические фантазии в духе маньяка Чикатило (существует, кстати, медицинская версия, хотя и спорная, что если бы Чикатило читал Сорокина, то он, может быть, чтением бы и ограничился). Читателю традиционной ориентации чрезмерно близкое знакомство с сочинениями Сорокина скорее угрожает утратой половых инстинктов (в этом смысле книги Сорокина скорее «антипорнография»).

Но дело не в этом: телеканалы за демонстрацию порнографии не подвергаются репрессиям, а на издателя печатной продукции было заведено уголовное дело.

Не исключено, правда, что директора издательства «Ad Marginem» Александра Иванова – под предлогом дела о порнографии – наказали (точнее – «серьезно предупредили») за издание совсем другой книги: политического боевика Александра Проханова «Господин Гексоген»²¹. «Господин Гексоген» целиком посвящен весьма болезненной для путинского режима теме – взрывам домов в Москве в сентябре 1999 года как чекистской избирательной технологии. Даже старое НТВ лишь поднимало этот вопрос, но не отвечало на него столь однозначно, как Проханов. Без обложки «Ad Marginem» «Господин Гексоген» был обречен на прозябание в коммуно-националистическом гетто. Но, издав его у себя, Иванов вывел Проханова из гетто и довел до состояния «национального бестселлера» – то есть нанес серьезный ущерб путинскому режиму. Поэтому обыск у Иванова есть все основания считать политическим событием и покушением на свободу печати.

«Норд-Ост» и обыск в газете «Версия»

После гибели в марте 2000 года Артема Боровика печатные издания холдинга «Совершенно секретно» – ежемесячная газета «Совершенно секретно» и еженедельная «Версия» – почти сразу прекратили нападки на Путина лично и сильно поумерили остроту своих публикаций о его окружении.

Тем не менее под руководством шеф-редактора Рустама Арифджанова «Версия» и «Совершенно секретно» сохраняли значительную независимость суждений. Эти газеты можно было бы упрекнуть в некоторой «желтизне», в участии в междоусобице олигархических группировок (компроматные тексты о представителях «семейной» группы, инспирированные, видимо, столичной мэрией), заказном (предположительно) характере некоторых публикаций, но не в лизоблюдстве.

В сентябре 2000 года «Версия» даже подверглась налету ФСБ и обыску с изъятием редакционных материалов, когда газета готовила публикацию эксклюзивных материалов о гибели подводной лодки «Курск».

В конце октября 2002 года случился, пожалуй, самый значительный

кризис третьего года путинского правления – захват чеченскими террористами более чем 800 заложников в театральном центре на Дубровке, а затем гибель 129 из них от примененного при уничтожении террористов отравляющего газа. Руководители силовых структур не понесли наказаний за проникновение террористов в Москву; основные претензии власти предъявили тележурналистам, чьи комментарии о теракте могли якобы сыграть на руку террористам.

Раньше других неприятности, связанные с «Норд-Остом», обрушились именно на газету «Версия», сотрудники которой предприняли собственное расследование трагедии. 1 ноября оперативные работники ФСБ явились в офис «Версии», где изъяли редакционные компьютер и сервер, на несколько дней парализовав работу издания. Причиной изъятия было названо уголовное дело, возбужденное 18 октября 2002 года по факту публикации еще в мае того же года статьи под названием «Маскировка» – о незаконном строительстве на секретных объектах. Истинной же причиной, как сразу предположил Р. Арифджанов, была не забытая уже всеми «Маскировка», а желание ФСБ предотвратить появление в «Версии» отчета об операции по истреблению террористов вместе с заложниками в театральном центре на Дубровке. 26 октября 2002 года заместитель главного редактора «Версии» Андрей Солдатов был свидетелем операции по «освобождению» заложников, и его данные о погибших и пострадавших сильно отличались от официальных: многих заложников выносили из здания театрального центра уже мертвыми и, тем не менее, их везли в больницу – видимо, для того, чтобы создать впечатление, будто они погибли не во время «освобождения», а позже – в больнице или по пути к ней.

Копии файлов А. Солдатова остались на другом компьютере, и статья все-таки вышла. У тех, кто инициировал налет на газету «Версия», были, видимо, причины опасаться правды, но их опасения были преувеличенными. В статье не оказалось убийственных для чиновников и силовиков фактов (чего именно опасалась власть, мы, наверное, никогда не узнаем).

После этого уголовное дело по «Маскировке» было закрыто, а редакционная техника вместе с файлами о «Норд-Осте» была журналистам возвращена.

Непосредственно после «Норд-Оста» администрация президента инициировала принятие в Думе сразу в трех чтениях поправок к закону о СМИ, вводивших многочисленные ограничения на деятельность журналистов в чрезвычайных ситуациях. Фактически вводился запрет даже на критику «контртеррористической операции». Правда, 25 ноября 2002 года на встрече с руководителями пропрезидентских СМИ Путин объявил, что наложил вето на уже принятые обеими палатами парламента поправки, вызвавшие критику в прессе и призывы к президенту не подписывать их. Журналисты, однако, рано радовались: 27 ноября президент направил письмо председателям обеих палат парламента с рекомендацией доработать закон о СМИ, предложив ввести «дополнительную регламентацию деятельности СМИ в условиях режима чрезвычайного положения, режима

военного положения, а также при освещении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Первая чистка на «новом» НТВ

Катастрофа на Дубровке имела еще одно прямое последствие. Она привела к новой смене руководства на НТВ. Сын и внук гитлеровских офицеров Борис Йордан, назначенный гауляйтером отнятых у еврея Гусинского телевизионных территорий, оказался оккупантом сравнительно либеральным. Фирменной маркой «нового» НТВ стал культивируемый Леонидом Парфеновым и его школой «стиль "Намедни"»: эстетизм, интеллектуализм, ироничность, как бы политическая нейтральность, но не без кукиша в кармане. Йордан относился к вверенному ему телевидению, как к бизнесу, который, рано или поздно, должен начать приносить прибыль. Телевидение, зажатое мелочной цензурой, – плохой бизнес (чему пример двух первых, чисто государственных каналов). От мелочной опеки Йордан журналистов избавил, что позволило им сохранить хотя бы стилистическую независимость. В течение какого-то времени это не вызывало прямых нареканий Кремля. Но после «Норд-Оста» ситуация резко переменялась.

В освещении этой катастрофы журналисты НТВ в полной мере проявили свойственный им профессионализм, при этом не слишком оглядываясь на возможное недовольство сверху. То, как подопечные Йордана освещали кризис, возмутило самого Путина. О предстоящем увольнении Йордана стали говорить как о «личном решении президента, взбешенного тем, что НТВ в прямом эфире показало штурм на Дубровке»²².

До изгнания знаковых фигур из числа журналистов дело тогда все-таки не дошло, однако Йордан в январе 2003 года был уволен – сначала с одного гендиректорского поста (в «Газпром–Медиа»), а затем и с другого (на НТВ). И. о. гендиректора НТВ был назначен Николай Сенкевич, врач по образованию, его заместителем – телепродюсер Алексей Земсков.

При Сенкевиче общественно-политическое вещание на НТВ стало уходить на второй план, уступив место развлекательным ток-шоу. Типичной для «новейшего» НТВ стала, например, еженедельная телепрограмма «Фактор страха». Под видом борьбы с фобиями и брезгливостью в «Факторе страха» пропагандируются садизм и некрофилия (участники телепередачи убивают, мучают и пожирают живьем мелких животных), а также копрофагия (экскременты они тоже пожирают).

Заккрытие «Новых Известий»

«Новые Известия» с самого начала относились к президенту Путину без всякого пиетета. Спонсором «Новых Известий» был Борис Березовский.

Формальным владельцем являлся бизнесмен Олег Митволь (консервная промышленность). За Митводем было записано 74% акций ОАО «Информационно-издательская группа (ИИГ) "Новых Известий"» (переданных ему при отъезде за границу Березовским), а за журналистским коллективом – остальной пакет акций.

Переводя свои акции на Митволя, Березовский из-за спешки не сумел юридически обезопасить себя от – говоря новорусским сленгом – «кидка».

В редакционную политику «Новых Известий» ее формальный владелец Митволь не вмешивался и, тем более, не финансировал газету. Это продолжал делать лондонский изгнанник. Но оформлялось все, видимо, через коммерческие структуры Митволя. И вот 20 февраля 2003 года Митволь предъявил руководству газеты претензии по поводу неправильного распоряжения его финансовыми вливаниями, уволил с поста генерального директора ОАО «ИИГ "Новые Известия"» Игоря Голембиовского и приостановил издание.

«То, что Олег Митволь говорит о финансовых махинациях, смешно, – заявил заместитель главного редактора «Новых Известий» Валерий Яков. – Ведь именно Митволь у нас за финансы отвечал. Мы считаем, что события в газете связаны с тем, что в последнее время на ее страницах выходили резкие статьи о Путине»²³.

Сходное мнение высказал Березовский в интервью сетевому изданию «Газета.ру»: «...Вчера, например, вышел материал о возрождении культа личности Путина, который, видимо, в Кремле не понравился. Я думаю, что Митволь получил отмашку от Кремля, потому что сам он человек трусоватый»²⁴. Автором статьи о культе личности Путина в «Новых Известиях» был Владимир Прибыловский²⁵.

Увольнением Голембиовского Митволь не ограничился, обратившись с заявлением в прокуратуру о том, что Голембиовский и его заместитель Сергей Агафонов в течение нескольких лет занимались криминальным выводением активов из «Новых Известий». Через два месяца часть бывших сотрудников «Новых Известий» во главе с Голембиовским и Агафоновым основала газету «Русский курьер», которая стала куда более осторожной, чем прежние «Новые Известия». Другая группа, во главе с Валерием Яковым, возобновила выпуск теперь уже политически нейтральных «Новых Известий».

Видимых репрессий против руководителей «Русского курьера» за их политическую позицию и прежнее сотрудничество с Березовским не последовало, но уголовное дело в отношении Голембиовского и Агафопова постепенно раскручивалось. Голембиовский и Агафонов на допросах заявляли, что считают себя полностью невиновными, а все инкриминируемые им сделки с редакционным имуществом объясняли рабочей необходимостью. 16 августа 2004 года прокуратура передала дело в суд, после чего, правда, оно было возвращено на доследование.

Дело Голембиовского–Агафопова – классический образец «выборочно-го правосудия». Все коммерческие структуры, в том числе редакционно-издательские, используют лазейки и противоречия в российском законода-

тельстве, чтобы минимизировать свои расходы. Но наказывали за это только тех, кто чем-то разгневал Путина, какой-нибудь из властных кланов или конкретного всесильного чиновника. Дело Михаила Ходорковского отличается от дела Голембиовского–Агафонова только масштабом и арестами обвиняемых. Но и оно – результат применения «выборочного правосудия», отпетированного на «Новых Известиях».

Примечания

1. *Панфилов О.* «Священные коровы» российской вертикали // Независимая газета. 2003. 22 сент.
2. Сегодня. 2000. 5 февр.
3. Известия. 2000. 5 февр.
4. Независимая газета. 2000. 8 февр.
5. *Шендерович В.* «Здесь было НТВ» и другие истории. М.: Захаров, 2000. С. 14.
6. *Боссарт А.* Защита Буратино // Новая газета. 2001. № 26 (669), 12–15 апр.
7. *Шендерович В.* «Здесь было НТВ» и другие истории. С. 16.
8. Там же. С. 26.
9. Stringer. 2003. № 7 (май).
10. Известия. 2000. 2 авг.
11. *Рыклин А.* Беседа с Борисом Березовским // Еженедельный журнал. 2003. № 48 (99). 8–14 дек.
12. Там же.
13. *Шендерович В.* «Здесь было НТВ» и другие истории. С. 51.
14. *Альбац Е.* Кому продали НТВ. Чекисты подминают под себя СМИ // Новая газета. 2002. № 72 (810). 30 сент. – 2 окт.
15. Материалы по истории Русского освободительного движения. Вып. 2. М.: Изд-во имени Святителя Игнатия Ставропольского, 1998. С. 456–457; *Цурганов Ю.* Неудавшийся реванш. Белая эмиграция во Второй мировой войне. М.: Интрада, 2001. С. 116–118.
16. Комсомольская правда. 1999. 8 июля.
17. Завтра. 2002. № 8 (431), февр.
18. *Симонов А.* Браконьерский удар картечью // Независимая газета. 2002. 26 июня.
19. *Латынина Ю.* Можно ли сделать из стиральной машины автомат Калашникова? // Новая газета. 2002. 27–30 мая.
20. *Комаров Е.* Ущерб ради «свободы слова» // Новые Известия. 2002. № 95 (1101). 7 июня.
21. *Тарасов А.* Господа Гексоген, Иванов, Сорокин, на выход! Почему «Идущие вместе» «наехали» на Сорокина // Новая газета. 2002. № 47.
22. *Латынина Ю.* Я сам буду вашим цензором. Телевидение – единственная отрасль экономики, которую контролирует лично президент России // Новая газета. 2003. № 4 (837). 20–22 янв.
23. Коммерсант. 2003. 21 февр.
24. Газета.Ру. 2003. 20 февр.
25. В более полном виде ее текст опубликован в издании: *Верховский А. М., Михайловская Е. В., Прибыловский В. В.* Россия Путина. Пристрастный взгляд. М.: РОО «Центр "Панорама"», 2003. С. 193–204. Глава «Путинское славие: Хроника прославлений Путина Владимира Владимировича».

Окончание в следующем номере



Антеро Киуру

И НА ОБЛОМКАХ ПРАВОСЛАВЬЯ...

В России вновь обострение хронической болезни «поиск национальной идеи». Связано это не только с «кремлевским заказом», хотя многим «заразившимся» понимание того, что во второй срок президентства Путина сей товар будет востребован, далеко не безразлично. Заинтересованным лицам понятно, что власть судорожно ищет новый язык, новую знаковую систему, которая могла бы объединить все страты общества, как когда-то советский дискурс объединил социальные и национальные группы в Советском Союзе.

Сегодня духовный разброд ощущается на бессознательном уровне всеми – от президента до обывателя. И социальные структуры, обкатанные в предельно идеологизированном обществе, рассыпаются в аморфную массу, где все против всех и никаких правил в войне с чужими не существует. «Своих» судорожно ищут в разных группах, но, как правило, ограниченных ближайшим окружением.

И вот кто-то уже, перекладывая на российский Бьюкенена (см. № 3 «NB»), услужливо предоставляет «неопровержимые доказательства» жизненной необходимости идеологии на Руси. Например, по мнению директора Российского государственного центра профилактической медицины Игоря Гундарова, бедность, поощряемый государством алкоголизм и ухудшение системы здравоохранения лишь на 20% виновны в сокращении продолжительности жизни в России. Оставшиеся 80% – результат духовного кризиса общества и отсутствия идеалов. Он пишет: *«У многих отсутствуют идеалы, ради которых следует меняться. Для многих россиян, которым*

Антеро Киуру (литературный псевдоним) – бывший политзаключенный, картограф, публицист, соиздатель журнала «Гласность». Живет в Израиле.

нужно для чего-то жить, происшедшая в обществе перемена была непеносима, и они потеряли волю к жизни, потому что она больше не имела никакого смысла... Влияние духовных факторов на уровень смертности не является чем-то новым для России: после 2-й мировой войны уровень смертности сократился вдвое, несмотря на экономический беспорядок. У людей было приподнятое настроение, благодаря надеждам на новую жизнь... В 1970-е годы, когда положение было довольно благоприятным, но не было надежды на перспективные изменения, смертность стала расти... Когда Горбачев начал свою политику гласности и перестройки, уровень смертности упал на 40%».

Подобные теоретические обоснования заполнили различные «аналитические записки», газетные и журнальные страницы и уже воспринимаются как общее место, как нечто само собой разумеющееся.

Тем не менее, даже если отвлечься от вопроса, является ли идеология, вернее ее отсутствие, причиной вымирания русского народа, абсолютно ясно, что какая-то национальная идея по-настоящему необходима в первую очередь властным структурам. Без единого для всех социальных слоев и всех регионов языка даже убогое российское управление невозможно.



В торговлю идеологическим товаром включились как откровенные авантюристы, вроде вдруг ставшего популярным Станислава Белковского, недавно оставившего некий «Совет по национальной стратегии» для основанного им Института национальной стратегии же (его почти единогласно именуют автором покаянного письма Ходорковского), так и некогда серьезные академические учреждения. Несмотря на такую разногласицу, процесс идеотворчества не столь уж хаотичен, как кажется на первый взгляд. По крайней мере, он вполне хорошо локализован во времени. Почти одновременно публикуется целый набор «пособий по спасению России». Вернувшийся из эмиграции А. Зиновьев выдвигает ультрапатриотическую «Идеологию будущей партии». Он, поддерживая свою репутацию enfant terrible и эпатанта, рекомендует российским коммунистам отказаться от марксизма: «Нужно заняться всерьёз разработкой теории, новой идеологии, соответствующей условиям XXI века. С марксизмом два века спустя уже ничего не сделаешь, и нынешним коммунистам сегодня брать на себя ответственность ещё и за Маркса, который жил в XIX веке, не стоит. ...Нужно всё внимание отдать тому, чтобы изучать реальный опыт реального советского коммунизма, а не догматического. И нужно пропагандировать этот опыт. Что нужно России? Принципиально другая социальная система. С другой системой власти, другой системой управления экономикой, другой идеологией» – естественно, речь идет о патриотической идеологии, некоем «неопатриотизме». И Н. Нарочницкая, идеолог партийного блока «Родина», выступает с апологетикой патриотизма в работе

«О России и русских». Примерно в это же время появляются полные столь же патриотического духа разработки Института социологии РАН (*Янитский О.* Социология рисков), Института философии РАН (*Озерман Т.* Марксизм и утопизм), Института социально-политических исследований РАН. Директор ИСПИ РАН – член-корреспондент РАН В. Кузнецов организует всероссийскую научную дискуссию по идеологии (в обсуждении участвовали 540 человек, среди которых – 6 академиков; 4 члена-корреспондента; 140 докторов наук – философов, правоведов, социологов, психологов и политологов; 94 кандидата...), на материале которой издается в срочном порядке монография «Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования российской идеологии 21-го века». В монографии вводится основополагающее понятие «русская мечта» (видимо, по аналогии с «американской мечтой») и делается попытка раскрыть ее содержание: *«Анализ содержания российской мечты показывает, что в ее основе – взаимодействие цели, идеала, ценностей и смысла жизни как целостности»*. И «русская мечта» оказывается мечтой патриота. Естественно, это не последнее слово академических кругов России в формировании идеологической корзины нынешней президентской власти, тем более что речь уже идет не о выборах, а об очень серьезных ставках в идеологической войне, которая во многом определит будущее страны.

Впрочем, перечислить всех игроков на этом поле сегодня невозможно. Но достаточно ясно, что столь активная конкуренция на идеологическом рынке однозначно предполагает пусть не прямой, но достаточно явный заказ сверху.



Из анализа российской прессы можно составить себе представление о тех направлениях, в которых может в ближайшее время развиваться поиск национальной идеи. Попробуем выделить наиболее явные из просчитываемых на сегодняшний день путей формирования такой объединяющей, по мнению заказчика и апологетов, Россию идеи. Пока довольно четко просматриваются три наиболее яркие, но неравнозначные тенденции. Условно их можно обозначить «православная», «исламская» и «языческая».

Бесспорно, что, по крайней мере, за двумя из них стоят достаточно серьезные «группы влияния», которые лоббируют в СМИ и коридорах власти то или иное направление развития. Вполне достоверную реконструкцию приемов такой борьбы влияний предложил Кургинян в статье, опубликованной в № 1 «NB». Правда, там он противопоставил, в терминах геополитики, «атлантическую», либеральную идею континентальной почвеннической, по странному капризу олицетворяемой исламскими кругами... Впрочем, к этой странности мы еще вернемся.

Что касается третьего направления – «неоязычников», – до недавнего времени казавшегося просто маргинальным изыском, подобно движению

хиппи или «рерихнутых», то наличие у него серьезной группы поддержки, явное усиление влияния на умы, достаточно серьезные деньги – позволяют предположить, что и языческий вариант формирования национальной идеи не отвергается властью с порога. По предположениям, высказанным газетой «Версия» (А. Солдатов), неоязыческие идеи оказались привлекательными для спецслужб и силовых ведомств.

Кстати, в экспертных кругах уже неоднократно высказывалось мнение о том, что так называемые «патриотические» группы и движения, составной частью которых до недавнего времени являлась идеология неоязычества, в основном зародились в недрах российских спецслужб или были теми активно поддержаны и использованы в период становления. По крайней мере, это почти бесспорно в отношении некоторых подразделений «Памяти», Союза русских предпринимателей, Русского национального собора и др. Только два, но достаточно ярких примера: председателем Русского национального собора (и движения «Офицеры за возрождение России») является А. Н. Стерлигов, генерал КГБ, бывший сотрудник аппарата Совета министров СССР; одним из идеологов и закулисных руководителей движения «Идущие вместе» (и движения за восстановление в законных правах Великой княжны Анастасии Романовой) является полковник КГБ, журналист-международник Л. П. Замойский, в начале 80-х годов прославившийся разоблачением масонства, связей его с римско-католической церковью и «сионистской закулисой». Впрочем, нежная любовь спецслужб к дешевой эзотерике давно не является какой-то страшной тайной. Невозможно также отрицать и связь многочисленных молодежных «военно-патриотических» формирований, вроде «Школы славяно-горицкой борьбы», «Витязей» и пр., с наиболее консервативными кругами Советской Армии.



Попробуем рассмотреть все три направления, но, поскольку базовые составляющие православия и ислама достаточно широко известны, основное внимание в статье будет уделено «языческому» проекту. Не в последнюю очередь из-за того, что, будучи даже частично осуществлен, этот проект представляет огромную опасность как для России, так и окружающих ее народов. Православный и исламский варианты будут лишь упомянуты.

1

Традиционная для России православная составляющая сегодня обладает безусловной властной поддержкой. Тем не менее в роли «объединяющей и направляющей», как некогда называли КПСС, православие заметно пробуксовывает. Несмотря на все усилия Кремля, заложить православие в основу новой идеологии России не удастся.

Из множества тому причин главными кажутся внутренняя ригидность, «замшелость» русского православия, его неготовность к диалогу с обществом. Не последнюю роль играет и скомпрометированность иерархов МП РПЦ не только их недавней безусловной поддержкой коммунистического режима, но и более близкими по времени «бизнес-проектами» с поставкой беспошлинного алкоголя и табака, громкими скандалами с нетрадиционной сексуальной ориентацией иереев, с недавними попытками ФСБ использовать тайну исповеди в «интересах следствия» (дело ЮКОСа), а главное все же – неспособностью церкви понять изменившийся за 70 лет советской власти внутренний мир паствы, неготовностью ее к саморазвитию и служению. Именно поэтому РПЦ и ищет помощи у государства, не находя иных методов работы с паствой и «духовными конкурентами», кроме административных, принудительных. Но новообретенный «государственный» статус и новые возможности эксплуатировать властные структуры в своих целях лишь ослабляют социальные позиции Церкви как духовной опоры. Церковь молится цезарю. Именно за государством признается сегодняшней Церковью законное и чуть ли не божественное право уделять жаждущим от источника благ. Из централизованного распределителя Государство становится воплощением Абсолютного Духа. Если внимательно изучить требования «православных», то в большинстве своем они сводятся к предоставлению им определенных привилегий: или каких-нибудь налоговых льгот (налог на имущество религиозных организаций, на беспошлинный ввоз товаров), или монопольных прав на распределение какого-нибудь ресурса (земля в Москве, академические часы в школах).

В то же время нужно учитывать, что наиболее политически ангажированное крыло РПЦ – оно же и наиболее консервативное – опирается лишь на небольшую прослойку «активных верующих», которых в целом в стране насчитывается не более 10% от всех верующих. По мнению исследователей современной церкви, этот показатель, по крайней мере применительно к РПЦ, не растет уже несколько лет и едва ли вырастет в будущем. И хотя, по данным Аналитического центра Юрия Левады (март 2004 г.), православной церкви доверяет 41% россиян, это не связано с готовностью следовать наставлениям ее иерархов. За церковной оградой Церковь не играет роли нравственного авторитета, не создает системы нормативности. Попытки власти исправить положение путем вливания «нового вина» в лице РПЦ (явные попытки слияния церквей) пока не срабатывают и только множат расколы в рядах православных.

И поэтому, несмотря на внутри- и внешнеполитические плюсы «православного» варианта национальной идеи (традиционность православия для России, готовый и послушный идеологический аппарат, отсутствие необходимости крутых идеологических перемен, постулируемое православием отталкивание от западной цивилизации, сиюминутное приобретение большого количества недвижимости за рубежом в результате осуществления проекта слияния церквей), власть всё больше разочаровывается в тради-

ционном пути и начинает исподволь разрабатывать возможности каких-то альтернативных вариантов формирования «русской идеи».

2

Главным конкурентом православия на российском идеологическом рынке является ислам. Непривычный на первый взгляд, казалось бы, противоречащий всей исторической традиции российской государственности и сложившемуся бытовому укладу, исламский вариант, тем не менее, уже активно отрабатывается Кремлем (см. статью Кургиняна в № 1 «NB»).

Выступая на форуме народов Кавказа 26 марта этого года, президент Путин заявил: «Государство должно найти формы поддержки духовных лидеров традиционных конфессий», явно понимая под ними в первую очередь православие и ислам (буддизм позиционируется в России как «внешний проект» и реального влияния на российскую политическую ситуацию не оказывает).

Достаточно приглядеться повнимательнее к российским СМИ и русскоязычной части интернета, чтобы увидеть вполне явные приглашающие знаки в сторону ислама: выступление Путина на съезде Организации Исламская Конференция (ОИК), в котором он позиционировал Россию как величайшую мусульманскую державу с 20 миллионами мусульман, интернет-проекты «Ислам.ру» и «Коран.ру», «Истинный ислам».

Как пробный камень можно рассматривать и широко разрекламированный в 2003 году скандальный проект «Русский ислам» группы советников Сергея Кириенко – С. Градиловского, П. Щедровицкого – при поддержке бывшего главы администрации Путина А. Волошина, осуществленный такими известными личностями, как глава Фонда эффективной политики Г. Павловский и М. Гельман. «Русский ислам» подается как проект государственного патронажа по отношению к российским мусульманам (в первую очередь – в сфере образования), с целью развития лояльного ислама в противовес радикальному.

Кроме того, в Госдуме создано межфракционное объединение «Россия и исламский мир: стратегический диалог». В него вошли 45 депутатов всех четырех фракций. Одной из главных целей заявлено *«развитие курса на сближение России с ОИК и развитие двусторонних связей России со странами исламской традиции»*.

Очень показателен в этом отношении роман фантаста С. Никитина, известного как «идеолога русского язычества», «Ярость», в котором рассказывается о принятии Россией ислама в результате победы на президентских выборах честного офицера, болеющего за страну, генерала Кречета. Или вот вполне правоверная «Комсомольская правда» помещает в трех номерах репортаж своего специального корреспондента Румии Ахмировой «Как я совершила хадж», талантливо исполненный в стиле салонной бол-

товни: «Мой мобильник сходит с ума. На родине телик уже вовсю бубнит о "беспрецедентном количестве жертв" среди паломников. А я нахожусь на месте и ничего не знаю...

Звонок из редакции – как с другой планеты.

– Заметку в номер про погибших передашь?

Заставляю себя вспомнить, что означают слова "заметка" и "номер". Все это так далеко.

Но часа через два отдиктовалась.

...Поправились примерно на два кило. Подружка Тагира шутит, что мои округлившиеся щеки скоро будет не втиснуть в хиджаб. 2 кг для меня, щепки, это личный рекорд. Журналист "Комсомолки" Николай Варсегов ходил в христианское паломничество – Крестный ход – и похудел там на 13 кг!..

Затем последовало растянувшееся на месяцы обсуждение читательских откликов под заголовком «Почему мы боимся мусульман?», в котором Е. Примаков, В. Иман-Прохорова и другие известные и не очень личности вполне доступно объясняли читателям, что ислама бояться не нужно даже после взрывов в Мадриде: «На Руси мирное сожительство ислама с православием исчисляется веками. Удивительно, что именно здесь, где уживаются сотни этносов, их теперь упорно пытаются развести как несовместимые в силу религиозной разнополюсности. ...О мирном характере учения пророка Мухаммада уже говорено-переговорено. ...Исконный ислам не менее человеколюбив и веротерпим, чем христианство или буддизм. Но поздние вкрапления в его ткань элементов непримиримости к инакомыслию создали идейную основу, которая позволяет вербовать наемников для "джихада" и готовить смертниц с бомбой на поясе. Когда ислам преодолет "фундаменталистскую лихорадку", не придется и доказывать, что "жизнь по Корану" не так страшна, как ее малюют».

И кокетливо: «Женские половины домов, куда не допускаются гости мужского пола, может, и станут модными по всей России, но пока выглядят пережитком средневековья, как и многоженство», – пишет «Комсомольская правда» о перспективах распространения ислама в России.

В первую очередь для власти привлекательны внешнеполитические плюсы «исламского варианта»: перенаправление инвестиционного потока арабского мира из Америки в Россию, превращение России в мозговой придаток исламского мира вместо сегодняшней роли сырьевого придатка мира западного, появление гарантированного рынка продажи военной техники и пр.

Внутриполитические плюсы исламизации страны для властей не менее очевидны. Исламский психотип делает население страны гораздо более управляемым. Проблема свободы воли в исламе вынуждена примирять строгий фатализм с представлением об ответственности за грехи. В исламе невозможны отношения завета с Богом – только отношения приказа и беспрекословного его исполнения. Грубо говоря, «естественное право» в христианстве – это гражданское, договорное право, «естественное право» для мусульманина – директивно-дисциплинарное и уголовное право. Нормы

шариата не имеют аскетического или педагогического смысла; основная их задача – механическое избавление от загробных мук путем здешнего наказания, так как «за одно и то же преступление Аллах дважды не наказывает». Такой подход не только очень удобен, так как исключает дискуссию между властью и подданными, но и вполне адекватен «восточной», деспотической традиции русской государственности.

К внутриполитическим минусам можно отнести необходимость гораздо более тонкой обработки населения страны. Во-первых, в массовом, народном сознании ислам воспринимается как религия чуждая, «татарская», для «чужок», что вызывает, при некоторой врожденной национальной ксенофобии, резкое отторжение. (Для тех, кто с русским народом встречался не в книгах Достоевского, а наяву, пассаж о врожденной ксенофобии не является шокирующим.) С другой стороны, «антитеррористическая война», в которой отождествление, сочувствие отдается «своим», «нам» (а обыденное сознание отождествляет «русскость» в первую очередь с «христианским» или, по меньшей мере, с «европейским миром»), эта война воспринимается как «антимусульманская». Это хорошо видно по популистским кампаниям московского правительства, погромам кавказцев и жителей Средней Азии в средней полосе. Внедряемое СМИ различие между «хорошим» и «плохим» исламом, в основе своей мифологичным (т. е. признающим только черное и белое), результатов не дает. На этом фоне попытка вербализовать «плохой» ислам как «ваххабизм» (а не «исламский экстремизм», т. е. убрать из определения «ислам») вполне может сработать, и «ваххабизм» в массовом сознании будет не только оторван от мусульманства, но и противопоставлен ему. Достаточно характерно в этом плане выдвинутое заместителем Генпрокурора РФ Владимиром Колесниковым предложение ввести в России уголовную ответственность за ваххабизм.

Как промежуточный или альтернативный вариант исламизации России возможна попытка сделать ислам модным среди части политической и культурной элиты страны, формирование благоприятного имиджа мусульманства среди традиционно христианской или а-религиозной части населения, когда принадлежность к вере Пророка будет восприниматься как принадлежность к некому избранному кругу.

3

Третий вариант, как уже говорилось, – наименее известный, меньше других привлекающий внимание серьезных политологов именно в силу своего устоявшегося образа «маргинальности». В основе этого проекта лежит «русский миф», активно внедряемый в массовое сознание через серию так называемой «русской фантастики» (изд-во «Олма-пресс», имеющее, кстати, почти эксклюзивное право на издание творений Путина, и др.) и «русской истории» (изд-ва «Равлик», «Метагалактика»).

С недавнего времени активная пропаганда этого направления заметна не только в группах «Духовного наследия» и издательстве «Общественная инициатива», действующими под крылышком питерского ФСБ. А. Солда-тов приводит цитату из рабочего проекта доклада Научно-исследовательского института системного анализа при Счетной палате РФ (руководитель НИИ Сергей Шахрай). Полтора года НИИ готовит объемный доклад «Глобальные процессы: тенденции развития в мире и России до 2020 года». В этом научном труде есть главка «Новый тип биобезопасности и биообороны Отечества», в котором утверждается следующее:

«Для предотвращения нового раунда "холодной войны" требуется уникальное в земной истории глобальное мирное наступление всех праведников и всех праведных сил нашей планеты под знаменем Вселенского Богодержавного Предиктора...<...> реалистически учитывая нынешнюю, по сути планетарную, экспансию Глобального Сатанинского Предиктора и его социальной агентуры, нельзя исключать, что путь к будущему Планетарному Биооборонному Союзу лежит через форсированное создание Паневразийского Оборонного Союза как геополитической альтернативы нынешней экспансии США и НАТО».

В приведенном отрывке используется терминология группы Концепции Общественной Безопасности «Мертвая вода» – одной из многочисленных групп «русского неоязычества». От прочих она отличается только тем, что их лекции, как правило, проходят в конференц-зале ФСБ Ленинградской области, да довольно большим удельным весом военных в их рядах.

В политическом плане к «неоязычникам» довольно близко примыкают российские «геополитики» во главе с А. Дугиным, но политический просчет последних в том, что они проявились слишком рано и несут на себе слишком явную печать доморощенности, маргинальности. Впрочем, при достаточном финансировании этот недостаток легко исправляется, и дугинская «Арктогея», будучи правильно пропиарена, вполне еще может получить некую респектабельность.

С точки зрения миропонимания «неоязычников» и «геополитиков», основная беда сегодняшнего мира в том, что он забыл об особой роли России. С. Алексеев, яркий представитель «русского язычества» в фантастике, так сформулировал данный постулат в своей многотомной эпопее о поиске древней арийской мудрости «Сокровище валькирии»:

«Мир давным-давно оказался разделенным на две цивилизации – Западную и Восточную, прямо противоположные друг другу. И эта дуалистическая концепция поддерживалась всеми силами и средствами, хотя изначально не могла существовать в мире Троиединства. Между Западом и Востоком были славянские народы во главе с Россией, которые унаследовали арийскую цивилизацию, поскольку никогда не покидали ее ареала рассеивания и оставались в ее космическом Пространстве. Она, Россия, была не похожа ни на Запад, ни на Восток, хотя в разные времена тот или иной полюс стремился притянуть ее к себе, захватить в свою орбиту.

У Великой, Белой и Малой Руси было свое, Северное, притяжение, и потому она оставалась непонятной ни для Запада, ни для Востока. Напротив, она сама притягивала к себе множество других народов, блуждающих между магнитными полями цивилизаций, и постоянно оказывала значительное влияние на соседей.

И теперь, чтобы уравновесить взаимодействие сил в мире, следовало пересмотреть существующую концепцию и восстановить гармонию Триединства. А это значит признать весь славянский мир как Третью, Северную цивилизацию. Только в этом случае можно было остановить дисбаланс, грозящий мировой катастрофой».

Во всех построениях «неоязычников» и российских «геополитиков» постулируется особое место России в картине цивилизаций: *«Россия – это не страна, это – цивилизация, включающая в себя несколько типов сознания».* (В. Минин.) Кстати, в большинстве популярных сегодня «посконно-славянских штудий» язычество, будучи противопоставляемо христианству (как еврейской вере), не является враждебным исламу и всячески ищет путей сближения с ним.

Расхожим местом, и уже не только в «патриотической» прессе, стало сравнение нынешней России с веймарской Германией. Всячески муссируются такие черты, как комплекс национальной ущемленности, психология нации, потерпевшей поражение (в случае с СССР – в ходе «холодной войны»), экономическая ситуация, политический экстремизм, бессилие демократии, не имеющей корней в обществе, «крах либерализма» и пр. Но одно, очень характерное для обеих стран явление пока осталось вне серьезного исследования. Имеется в виду непомерно большой удельный вес в общественном сознании «исторического романтизма», к которому и апеллируют «неоязычники».

Это явление, пока малоописанное, в иные моменты истории оказывает значительное влияние на национальные ценности и устремления. Оно выделяется не только и не столько полным игнорированием исторических фактов, что вообще характерно для массового сознания, а скорее мифологизацией собственной истории. «Исторические» построения, апеллирующие к национальной гордости, становятся необыкновенно популярными в обществе и принимаются на веру независимо от элементарной логики. Героизация прошлого и поиск корней «во тьме тысячелетий» в глазах массового потребителя, до тех пор имевшего лишь смутное представление о школьном курсе истории, приобретают актуальность и злободневность.



Несмотря на то, что о мистическом культе нацизма в России известно очень мало, сегодняшний «русский миф» во многом повторяет его. Конечно, имперские мифы структурно близки друг другу, независимо от народа, среди которого они бытуют. Сказались, по всей видимости, и общие тео-

софские корни (без теософской теории «смены рас» нацистская расовая теория просто не смогла бы возникнуть...). Безусловно, интересно было бы проследить влияние теософии на базовый национальный миф как в нацистской Германии, так и на складывающийся на наших глазах российский, но боюсь, что это несколько уведет нас в сторону. Замечу лишь, что один из виднейших идеологов и создателей нацистского мифа Карл Хаусхофер недаром многие годы провел на Востоке, в основном в Японии, и посещал также Китай и Монголию. Он общался с известным российским мистиком Георгием Гурджиевым и, естественно, был знаком, как минимум, с ближайшим окружением барона фон Унгерна.

И для тогдашней Германии, и для сегодняшней России характерны в первую очередь ориентация на Восток (отзвук розенкрейцеровского «Свет с Востока»; правда, под «Востоком» тогда понимали Иерусалим...), поиск эха своей древней мудрости в популярных, написанных европейцами для европейцев (и отнюдь не для ученых) брошюрах по восточной мистике, мессианизм, попытка возврата к язычеству, в том виде, как его представляли романтики XIX века, а в последнее время сопровождаемый и активным «богостроительством», когда из дебрей необузданной фантазии неоязычников выплывают и вовсе странные химеры, культ очистительной, освободительной силы своего народа, чувство национального превосходства и комплекс ущемленности. Эта гремучая смесь заставляет заниматься поисками неведомого врага, ввергшего великий народ учителей человечества в нищету и бесправие.

Правда, о культе расовой чистоты, «чистоты крови» в России пока что всерьез говорить трудно, слишком недавно закончился генезис современной русской нации. Он подменяется некой трудно определимой субстанцией – «русская душа», или «чувство принадлежности к великому русскому народу». Как пишет А. Дугин («Континент Россия»): «Русскими сами русские называют... всех, кто солидаризуется с ними в их глубинной интуиции о святости земель, на которых они живут». (Автор имеет в виду мистическую «русскую землю» с астральным центром в северном Приуралье, включающую в себя, по его представлению, все земли, входившие в состав Российской империи в период ее максимального расцвета). Впрочем, кое-кто уже всерьез поговаривает об «арийских» предках.

Спекуляции на истории русского народа приобрели поистине массовый характер. «Строительный материал» для мифотворчества очень распространен в Сети: «Неизвестные страницы русской истории», «Мифы и реальность», «Арктогея», «Gumilevica» – предлагают огромный выбор соответствующих идей. Их адреса, видимо по устоявшейся привычке, еще довольно часто меняются, но все меньше сайтов этой направленности остаются на бесплатных хостингах, они приобретают свои домены, строят вполне профессиональные не дешевые сайты и прочно укореняются на просторах русского интернета.

«Параисторическая наука», как ее когда-то определил А. Носик в «Ве-

чернем Интернете», как на трех китах базируется на трудах акад. Бориса Рыбакова («Язычество древних славян» и «Язычество древней Руси»), акад. Григория Бонгард-Левина («От Инда до Урала») и историка Льва Гумилева.

Правда, с учеными опусами академиков массовый читатель знаком мало, хотя книги Рыбакова и Гумилева изданы огромными тиражами и на лотках вольных московских книготорговцев конкурируют в цене с самыми популярными «бестселлерами» российского книжного рынка – бесчисленными Донцовыми и Мариниными. Наукообразный язык и насыщенность псевдонаучной аргументацией трудов Рыбакова (археология, этнография) и Бонгард-Левина (лингвоархеология, индоевропейская лингвистика) препятствуют широкой популярности их книг. Но не идей – ученики и последователи популяризуют их на всех уровнях, от Московского областного пединститута, готовящего учителей для всей страны, до массовой серии «Русская фантастика», расходящейся миллионными тиражами.



Предельно упрощенно базовый миф в его наименее скандальной и более или менее наукообразной форме можно изложить следующим образом: русские (россы, прароссы, бореалы) – один из древнейших народов мира, от которого произошло большинство (или все) индоевропейских народов. Корни его теряются в глубине тысячелетий, прародина же находится в т. н. «циркумпонтийском» ареале (по акад. Рыбакову, который связывает неолитическую трипольскую культуру – примерно 3000 лет до н. э. – с предками славян), в Приуралье (по акад. Бонгард-Левину, который основывается на собственном лингвистическом анализе лексики Ригведы и Яджурведы) или же в совсем мистической «Арктогее» (аналог Гипербореи Ницше).

Здесь можно видеть, как характерный для архаического мифа космогенез (проблема происхождения мира) подменяется этногенезом (проблемой происхождения народа). Акцент переносится на наиболее актуальный для данной страты аспект бытия. Фрустрация, вызванная крушением привычных стереотипов сознания, разложение устоявшихся социальных и экономических связей, неизбежно вызывает вопрос о причинах. Для человека не слишком развитого вполне обычно, во-первых, бессознательно, а следовательно, и остро и неоспоримо чувствовать, что «кирпич просто так не падает», т. е. если «какая-то сволочь» толкнула тебя в толпе, то это не просто так, не потому, что тебя не заметили (как это, меня – и не заметили! Я – вот он!), а потому, что специально толкнуть хотели. Или потому что я плохой (а ведь так не бывает), или потому что – сволочь, «в мучительстве отраду находит». А во-вторых, этому человеку свойственно искать «виновников» среди «чужих». И вот тут-то становится актуальным вопрос, а кто «мы» и кто «они», т. е. социо- или этногенез.

Хозяйственная сторона жизни прароссов, будучи в данном контексте не столь актуальна, ускользает от взгляда «исследователей»: по умолчанию предполагается, что они уже в III тысячелетии до н. э. занимались оседлым земледелием (что при тогдашнем уровне технологии было затруднительно в Причерноморье и невозможно в Приуралье, где и полукочевое скотоводство – что неявно предполагается в трудах Бонгард-Левина – было малопродуктивно из-за природных условий).

Так же априорно предполагается и сложная социальная организация древних праславян: экстраполируя трехстратную социальную структуру, прослеживающуюся в индоевропейских культурах, «исследователи»-мифотворцы оперируют четко выраженной полукастовой социальной организацией древних русичей с духовным руководством жрецов-волхвов, политическим – правителей-воинов и основной массой производителей-земледельцев (т. е. производительность общества предполагается столь же высокой, как в эпоху раннего железа).

По мере нарастания демографического давления от праславянской общности откалывались военизированные группы молодежи и отправлялись на освоение новых земель. Так как почти все авторы постулируют исключительное миролюбие, изначально присущее русскому народу, то, видимо, предполагается, что до прихода русских земли эти были «пусты и безвидны». Эти группы еще долгое время сохраняли связь с прародиной, язык и веру отцов, основывая новые общности – ариев, этрусков, ахейцев и пр. Долго еще в святилище Аполлона в Дельфах (славянского Купавона – Купалы) звучала русская речь (*Ю. Петухов*. Дорогами богов. Подлинная история русского народа. 12 тысячелетий).

До предела мифологизируется пространство: понятия Центр, Периферия, Запад, Восток и даже Континент и Побережье становятся этически заряженными, что характерно для архаического мифа с его делением на сакральное и бытовое, наше и враждебное...

Отсутствие разработанного языческого пантеона древних славян (или, по крайней мере, его хорошо сохранившихся следов) позволяет «реконструировать» все, что угодно данному автору – от высокого монотеизма древних русичей до греко-скандинавско-индуистского коктейля богов. Для подавляющего большинства пишущих на эту тему основным источником информации, кроме собственной фантазии, служат школьные комментарии к «Слову о полке Игореве» и «Песнь о вещем Олеге» Александра Пушкина. Вот и бродят по бесчисленным страницам волхвы, которые «не боятся могучих владык» и поклоняются солнечному Сварогу, украшенному свастикой, или получившему недавно огромную популярность Велесу.

А сиволапого сермяжника, рыскающего по лесам в поисках немудреной добычи, еще недавно характерного для массового представления о древних славянах, сменяют мудрый вещун, вооруженный ведической мудростью Шамбалы, и неистовый Ахилл, бросающийся на штурм Трои с криком: «Дашь!»

Очень популярны и «лингвистические подтверждения» вышеприведенной схемы вроде «этруски – это русские» и «галлы – это русские из рода галки», сопоставление названия одного из праславянских племен, венедов, с ванами – группой богов скандинавской мифологии. Или вполне анекдотические байки о русской стране «Палый стан» – Палестине со столицей «Русска Оселия» – Иерусалим, где протекает исконно русская река «Ярый Дон» – Иордан.

Будучи древним народом, русские, конечно, являлись и обладателями древней мудрости, сохранявшейся на протяжении веков волхвами и дошедшей до наших дней в «Влесовой книге», первоначально записанной исконно русским письмом (т. н. «черты и резы», упоминания о которых сохранились в древнерусских памятниках. Скорее всего, они представляли собой мнемонические значки, вырезаемые на деревянных брусках), которое было уничтожено в результате введения братьями Кириллом и Мефодием иудайзированной «кириллицы». Тогда же, с введением, а вернее – навязыванием Руси христианства, был взят курс на истребление древней русской культуры. Князь Владимир – побочный сын Святослава и внук киевского раввина (русские «патриоты» возводят имя матери кн. Владимира, рабыни Малки, Малуши – от «маленькая», «незначительная» – к древнееврейскому «малха» – «царица», а презрительное прозвище князя «рабичич», т. е. «сын рабыни», трактуют, как производное от «ребенка») – уничтожал древние святилища и хранителей древней мудрости (волхвов), выкорчевывая всякую память о древнем и героическом прошлом народа.

Именно принятие христианства является для большинства авторов тем поворотным моментом, когда в мифологизированной истории русского народа появляется его антипод, мистический противник, та злая сила, которая и привела Россию к нынешнему бедственному состоянию. Появление ее неизбежно, потому что объяснить иначе противоречие между постулируемым духовным и моральным потенциалом народа, богатством природных ресурсов и сегодняшним трагическим положением просто невозможно.

Иногда страшный враг появляется на арене истории раньше. Чуть ли не первое, что учат русские школьники: *«Как ныне собирается вещий Олег // Отмстить неразумным хазарам...»* А когда они вырастают, то узнают, что главным врагом Руси всегда был иудайзированный Хазарский каганат на восточной границе.

Здесь интересно «разделение ролей» – солидные авторы, как правило, вопросами вражеского противостояния не занимаются совершенно. Разве что в предисловии где-нибудь промелькнет туманный намек на какие-то силы, которым выгодно замалчивание подлинной русской истории в понимании автора, – не более того. Зато чем проще автор, чем неприхотливее, чем более массовой аудитории адресован его труд, тем сильнее звучит у него мотив «нас предали» и тем в более явном, не замаскированном виде выступает у него «вечный враг» – еврей.

Спорить с «параисторией» невозможно: несмотря на вполне научную

внешность, подобные построения мифологичны по самой сути. Отношение историков было четко сформулировано на обсуждении «трудов» Фоменко на семинаре в Курчатовском институте: *«...у нас нет основы для спора. Дело в том, что Фоменко отменяет не только хронологию, он отменяет всю древнюю традицию, считая ее домыслами. Вместо принятой во всем мире методики работы с историческими источниками он пытается создать свою собственную историю. Когда он имеет дело только с хронологией, астрономы могут оценить, верна ли его логика. Но как, спрашивается, должны реагировать историки на утверждение Фоменко, что древние Рим, Константинополь, Троя и Иерусалим были одним и тем же городом? Мы должны были бы противопоставить Фоменко все то огромное количество источников, которые происходят из этих городов и которыми оперирует история. Спорить с Фоменко на уровне научных доказательств немыслимо, мировая историческая наука всерьез его реконструкции не воспринимает»* (из выступления И. С. Свенцицкой).

Подводя итоги, можно сказать, что, по всей видимости, сегодня «языческий проект» рассматривается как некий запасной вариант, который держат на положении своеобразного бедного родственника. Но при вливании в него достаточно большого финансового потока он быстро наберет силу. Складывается впечатление, что от полноценной поддержки этого варианта власть удерживает лишь меньшая управляемость и потенциальная агрессивность «язычников».

С другой стороны, его могут рассматривать как некую альтернативу для народа, вполне совместимую с принятием российской элитой некоего варианта «русского ислама». Недаром так упорно и даже навязчиво подчеркивается во всех этих «славянских трудах» близость и дружелюбность русского язычества и ислама и противопоставление их христианству.

При подобном исходе Россия получает внешне «исламизированную» элиту с экономическими, духовными и социальными связями с арабским миром и снисходительно глядящий на «чудящих начальников» практически а-религиозный охлос, по-прежнему привычно верящий в сглаз, вампиров и ведьм, лечащийся у знахарей, да поминающий вместо Христа-Спасителя и Пресвятой Богородицы ожившего Рода и какую-нибудь вновь изобретенную Ладу...

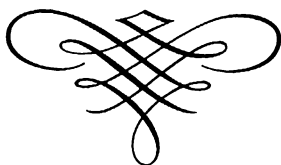
Впрочем, православные храмы могут и оставить – для эпатирующей интеллигенции. Тем более что без государственной поддержки большинство из них быстро захиреет.

Трудно сказать сегодня с определенностью, какая судьба ожидает Россию. Но ни один из рассмотренных мной вариантов не сулит ей ничего хорошего. Наиболее мягкий из них – принятие православного фундаментализма в качестве государственной идеологии. Мягкий, потому что при всей замшелости наиболее «упертых» ортодоксов они, попав в обойму государственной иерархии, быстро обростут чиновничьим жирком и оставят народ

в покое. Ну, будут очередные съезды называться «Соборами», но зевать-то на них будут, как на съездах.

«Исламский» вариант может привести к различным, в том числе и кровавым, эксцессам, но главное – надолго оторвет страну от мировой цивилизации и еще безнадежнее подсадит на нефтяную иглу.

Самый страшный для России и ее соседей вариант – «языческий». Не дай Бог, выпестуют его спецслужбы. Ведь они и в самом деле – плоть от плоти народной. Причем не лучшая его часть. И когда в гуще народной зреет вера в «заряженную воду», когда народ жадно прилипает к экранам в ожидании «установки», так же жаждут чуда и они. Только вот возможностей, в том числе и финансовых, у них неизмеримо больше, чем у простого обывателя. И снаряжают они рерихов на поиски Шамбалы, создают секретные лаборатории и лекционные клубы, выращивая то, природу чего и сами-то не совсем понимают. Замечательно написал об «исканиях» первых пламенных чекистов Евгений Мороз (см. № 2 «NB»). И такую вспышку кровавого утверждения вечных истин святорусского жречества можно получить в итоге, по сравнению с которой даже выпестованный адептами «Аненэрге» нацизм покажется детским лепетом. Тем более что сегодня, когда «птенец Большого Дома» прижился на второй срок, возможности их возросли многократно – и финансовые, и в сфере манипулирования массовым сознанием. Не так уж много сил понадобится им теперь для того, чтобы заставить страну захлебнуться в истерике «избранности».



Евгений Мороз

«ИСЛАМ – НАШЕ БУДУЩЕЕ»!

«... у России единственный выбор – ислам!»
Из декларации Национального союза русских мусульман

Название этой статьи я позаимствовал у французского писателя Роже Гароди, который так назвал одну из своих книг¹. Не могу обойти вниманием опыт кумира моей юности, свободолюбивого еврокоммуниста, чей полный изысканных сентенций труд «Реализм без берегов» был после Пражской весны заключен в спецхраны советских библиотек. Однако позднее Гароди разочаровался не только в советской идеологии, но и во всем пути западной цивилизации. В 1982 году он объявил о своем обращении в ислам: «Да, сегодня я мусульманин!.. Своим выбором я опередил эпоху». С предельной краткостью посткоммунистические убеждения Гароди можно было бы обозначить названиями его работ: «Ислам – наше будущее», потому что «Запад это случайность»².

Пример поучительный, тем более что, говоря о «нашем будущем», Гароди имеет в виду не только Францию, но и весь западный мир. История этого французского интеллектуала имеет самое непосредственное отношение к России. Подобные представления разделяют многие российские мусульмане, с восторгом описывающие биографию Гароди в публикациях,

Евгений Мороз – историк, автор ряда исследований русского эпоса и традиционной культуры, а также идеологии современного русского национализма. Публиковался в изданиях Института этнологии и этнографии, Института социологии, в журналах «Барьер», «Звезда», «Russian History» и др. Живет в России.

которые размещены на самом популярном сайте нашего мусульманского интернета – «Ислам.ру». Как видно уже из эпиграфа, вполне идентичные по смыслу высказывания можно найти и в программных документах исламских организаций. Моя статья о них, однако прежде несколько слов о нынешних отношениях между мусульманской общиной и прочим населением России.

После бесланской трагедии и взрыва двух самолетов антимусульманские настроения резко обострились. Экспресс-опрос, проведенный 8 октября с. г. на канале «Эхо Москвы», показал, что 79% респондентов видят в распространении ислама угрозу российскому государству. Общественная реакция такова, что заместитель председателя Духовного управления мусульман Нижегородской области Дамир Мухетдинов официально разрешил мусульманкам не носить хиджаб, поскольку для них это стало создавать множество проблем, включая повышенное внимание со стороны милиции и отказы в приеме на работу. То же и в столице – лишь немногие из прихожанок московской Соборной мечети отваживаются появляться в хиджабах, большинство повязывают платки только перед входом в мечеть. Пассажиры метро в каждой женщине, носящей мусульманский платок, видят террористку-смертницу, немедленно зовут милицию или просто выходят из вагона. Жертвами подобных настроений оказываются иногда совершенно случайные люди. Так, возвращавшиеся из Кипра в Россию туристы отказались лететь в одном самолете с армянином, вынудив его поменять рейс, причем ту же судьбу должен был разделить и русский человек, осмелившийся вступить за изгоя.

Эта истерика, конечно, пройдет – по крайней мере, до следующего теракта, – однако настороженное отношение к исламу наверняка останется. И причина не только в терроре. Российская общественность живет с постоянным ощущением того, что в стране нарушается традиционный статус-кво, и влияние ислама неуклонно возрастает. Мусульмане проявляют заметную активность в специфически «православных» районах страны, что шокирует старожилов. Процесс мусульманской экспансии можно проследить по кампаниям протеста против строительства мечетей – в последние два года они происходили в Петрозаводске, Вологде, Калининграде, Кисловодске, Ростове-на-Дону, Пензе, Нижневартовске, Тюмени. Так что, когда в октябре 2004 года администрация старинного русского города Владимир предписала закрыть незарегистрированный мусульманский молельный дом, это решение было вызвано реакцией на теракты, но в то же время соответствовало общей тенденции, сложившейся задолго до Беслана. В июне 2003 года всероссийский опрос ВЦИОМ показал, что 25% респондентов не верят в возможность мирного сосуществования православных с приверженцами ислама. После Беслана это число увеличилось почти втрое, однако позволю себе предположить, что речь идет не о радикальном изменении убеждений. Просто в кризисной ситуации люди высказали вслух то, о чем раньше они предпочитали не говорить – во всяком случае, публично.

В долгосрочном плане очень многих российских граждан пугает перспектива мирной мусульманизации, обусловленной демографическими факторами и ростом эмиграции из исламских стран, входивших ранее в состав СССР. Публично, в прессе (исключая откровенно «желтую») антиисламские мотивы представлены лишь в смягченной форме; впрочем, участники «круглого стола» «Исламофобия в российских СМИ», который проходил в Москве 21 октября 2003 года, приняли заявление, согласно которому *«Особую... тревогу вызывает огромное количество публикаций, высказываний и телепередач, в которых из многомиллионной общины мусульман страны формируется образ врага»*. О реакции мусульман свидетельствуют иски, предъявленные в 2004 году исламскими организациями таким популярным российским газетам, как «Известия» и «Комсомолка». На мой взгляд, не все тут бесспорно – такое впечатление, что многие мусульманские общественные деятели (и не только они) просто не хотят ничего слышать о реально существующей проблеме, пытаются табуировать, закрыть тему, словно надеясь, что вместе с публичными обсуждениями исчезнет и конфликтная ситуация. Однако существуют люди, не связанные обязательствами политкорректности, и они-то выражаются предельно резко. Так, в ходе выступления на концерте группы «Алиса» (в июле 2004 г.), которую возглавляет известный своими национал-патриотическими убеждениями певец Константин Кинчев, видный православный публицист Андрей Кураев призвал молодежную аудиторию к социальной ответственности и активному деторождению, пригрозив поклонникам «Алисы», что в противном случае им придется слушать призывы муэдзина с минарета морской мечети Кронштадта. Даже скинхеды начинают восприниматься обществом не без сочувствия. По данным ВЦИОМ, 21% россиян полагают, что скинхеды защищают интересы русских, 17% вполне поддерживают лозунг «Россия для русских», а 38% считают, что этот лозунг неплохо было бы осуществить «в разумных пределах»³. Создается такое впечатление, что подобных принципов придерживаются и многие представители правоохранительных органов, объектом повышенного и часто пристрастного внимания которых оказываются обычные обыватели, виновные лишь в принадлежности к «лицам кавказской национальности».

Авторы «Ислам.ру» уверяют, что во всем виноват коварный сионистский капитал, развязавший злобную исламофобскую кампанию в российской прессе. Таким образом, в число агентов сионизма попадает множество самых разных людей – от дьякона Кураева и представителей «Союза православных граждан» до автора недавно вышедшей книги «Геополитика ислама» С. А. Модестова, который заявил во вступлении к своему труду: *«Книга призвана предостеречь, предупредить об угрозе исламской экспансии»*⁴. Стоит особо отметить, что рецензентами данного сочинения являлись заведующий кафедрой национальной безопасности Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации профессор А. А. Прохожев и вице-президент Академии военных наук доктор

военных наук профессор Н. Н. Турко. Похоже, что проблема исламской экспансии занимает в наши дни и людей этого круга.

По предварительным данным последней всероссийской переписи, в России обитают 14,5 миллиона мусульман, что составляет около 10% населения, – имеются в виду, конечно, не посетители мечетей, а представители народов, традиционно принадлежащих миру ислама. Очень показательно, как редакция «Ислам.ру» отреагировала на эту информацию – она заявила, что эти данные расходятся с цифрами, которые приводил ранее в одной из своих речей Владимир Путин, сказавший, что в России проживают порядка 20 миллионов мусульман. Журналисты «Ислам.ру» не хотят смириться с тем, что после проведения подсчетов эта цифра оказалась преувеличенной. За их претензией – вполне откровенно обозначенное желание людей, которые хотели бы максимального увеличения количества мусульман в России. И 20 миллионов не предел – председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль уверенно говорит о тридцати. Как писал по этому поводу М. Тульский, чем радикальнее исламский деятель, тем более неадекватную цифру он называет⁵.

Действительность не соответствует надеждам представителей исламской общины России. Однако вопрос лишь во времени. Демографическая тенденция такова, что удельный вес народов мусульманской зоны в составе населения России увеличивается, причем не так уж медленно.

Опасения основываются не только на демографических факторах. Как отмечает Руслан Курбанов в статье «Исламизация России» (25.10.2003 – сайт «Yaseen.ru»): *«Русские принимают ислам в таком количестве, что православная церковь бьет тревогу, а Союз православных граждан призывает к бойкоту бывших единоверцев, избравших религию Аллаха. Русские мусульмане на удивление активны, даже более чем их единоверцы из северокавказских и поволжских республик»*. О том же с восторгом пишут мусульманские журналисты России. В октябре 2004 религиозный портал «Credo.ru» сообщил данные о новообращенных. Только в Москве с января по октябрь 2004 года около 20 000 человек приняли ислам. Число новообращенных мусульман в Москве за тот же период в 2003 и 2002 годах составило, соответственно, 15 300 и 12 450 человек. Согласно тому же источнику, 60% новообращенных – этнические русские, ранее не исповедовавшие никакой религии. Из них 75% – девушки 17–21 года.

Авторы «Ислам.ру» посвятили новообращенным особый раздел – «Новые мусульмане». Здесь с торжеством описывается победное шествие ислама по всей планете, сообщается о том, что англичане и французы тысячами принимают учение Мухаммеда, что уже с давних пор поклонниками ислама были многие выдающиеся европейские мыслители, которые только по неосведомленности считаются христианами. Список имен обширен – от Эдварда Гиббона до капитана Кусто, в него входит даже Гёте. Согласно одной из публикаций: *«В 1995 году в г. Веймаре группа исследователей во главе с шейхом Абдулкадыром аль-Мурабитом изучила многочисленные произ-*

ведения и письма Гёте, что дало шейху А. аль-Мурабиту достаточные основания вынести фетву, в которой поэт признается мусульманином».

Однако в первую очередь авторы «Ислам.ру» озабочены ситуацией в России. По их информации, приверженцами ислама были даже Александр Пушкин и Лев Толстой. Любое проявление симпатии, вызванное модой или же соображениями нравственного характера, с полной однозначностью интерпретируется как свидетельство предпочтения ислама христианству. Даже древнее русское язычество объявлено стихийным монотеизмом, предельно близким исламу, а возможным, и сложившимся под исламским влиянием – об этом повествует Вячеслав (Али) Полосин, бывший православный священник, ставший после своего обращения в 1999 году руководителем департамента государственно-исламских отношений Совета муфтиев России. Особо следует отметить, что в описании дохристианской веры русского народа Полосин, являющийся, помимо всего прочего, доктором философских и кандидатом политических наук, без каких-либо колебаний цитирует известную фальсификацию, легшую в основание современного русского неоязычества – так называемую «Влесову книгу», чей подлинный автор Юрий Миролюбов ввел в оборот связанную с этим псевдопамятником концепцию русского, так называемого «ведического» монотеизма⁶. Соединив исламскую проповедь с неоязыческими фантазиями, Полосин утверждает, что, в отличие от благородного ведического монотеизма, христианство, навязанное коварными византийцами русскому народу, представляет собой чужую, еврейскую, религию, а по сути является своего рода язычеством, омрачающим души верующих внутренней раздвоенностью и мазохистским комплексом вины. Чтобы спастись от христианского наваждения, священник-рenegат призывает русских последовать его примеру и обратиться к исламу. Учитывая, что Али Полосин является преподавателем курса «Сравнительное религиоведение» в Московском исламском колледже, можно предвидеть, с какими представлениями выйдут в жизнь выпускники данного учебного заведения. Не уготована ли им судьба исламских миссионеров?

Особое внимание уделяется обращению в ислам женщин. Согласно заметке «Русских мусульманок становится все больше», за последние два года их количество увеличилось втрое. Обычно такие обращения связаны с замужеством, однако автор публикации уверяет, что мусульманские мужья никогда не склоняют жен к принятию своей веры, и женщины сами по себе ощущают ниспосланное свыше озарение, после которого они всем сердцем принимают учение Пророка. Среди прочих, мне показался особо любопытным следующий сюжет: *«Приведу вам еще один пример принятия Ислама русской женщиной. Ее муж – араб. Он никогда не настаивал на принятии ею Ислама. Прожив в браке 9 лет, женщина как-то увидела телепередачу с Иман Валерией Пороховой по телеканалу "Культура", где рассказывалось о том, что Лев Толстой принял Ислам. Это произвело на зрительницу такое неизгладимое впечатление, что она начала активно читать книги по Исламу, хотя раньше они ее совершенно не интересова-*

ли! В общем, после месяца такого чтения эта женщина совершила полное омовение, дождалась ни о чем не подозревающего мужа и впервые сказала ему шахаду».

Отдельная страница сайта объясняет процедуру обращения, здесь помещено даже специальное окошко с гипертекстовой ссылкой, которое позволяет посетителям сайта заявить о своем принятии ислама прямо в интернете. Авторы «Ислам.ру» уверяют, что к ним обратились таким образом 876 человек (данные на начало октября 2004 г.), и приводят некоторые послания. Тексты, авторы которых сообщают свое прежнее имя и новое – мусульманское, немногословны, но некоторые из них очень выразительны. Привожу наиболее характерные примеры:

[03–10–2004] Дмитрий Коровель / Салах-ад-Дин / русский / Рига / христианство
*Встаньте под знамена ИСЛАМА. Слава АЛЛАХУ, я уже мусульманин!
Слава АЛЛАХУ, я уже мусульманин! АЛЛАХ АКБАР!*

[17–10–1998] Андрей Л. / Абдуллах Абу Хамза / белорус / Киев / христианство
Я больше не боюсь смерти.

[05–10–2004] Наташа / Сальва / русская-татарка / Астрахань / христианство
Я обожаю всё восточное, обожаю Ислам и безумно хочу в мечеть.

[27–09–2004] Анна / Амина / русская / Владивосток / христианство
*Я счастлива тем, что совершила этот шаг в своей жизни. Я надеюсь
сохранять свою веру и верю в помощь Аллаха.*

[26–09–2004] Лариса / Милана / русская / Новосибирск / христианство
*Несмотря ни на какие войны и гонения, ислам – лучшая религия. Аллаху
акбар! Я счастлива, что я и многие мои соотечественники поверили в ислам.
Благословит вас Аллах – мы ведь теперь братья...*

В последнем случае я хотел бы особо отметить русификацию известного исламского лозунга, который приобрел теперь звучание «Аллаху акбар!». Это не изобретение пылкой неофитки. Лариса-Милана из Новосибирска лишь повторила уже достаточно распространенную формулировку, которая свидетельствует об адаптации ислама на русской почве.

Согласно «Ислам.ру», новыми мусульманами становятся представители самых разных национальностей, проживающих в России, в их числе оказался даже прежний раввин махачкалинской синагоги. Тем не менее большинство являются русскими. Это движение приняло столь массовый характер, что в некоторых городах русские мусульмане сплотились в особые группы. 12–13 июня 2004 года в Омске состоялся объединительный и учредительный съезд, на котором было объявлено о создании всеобщей Национальной организации российских мусульман

(НОРМ). На съезде были избраны председатель – Анатолий (он же Абу Талиб) Степченко из Омска и вице-председатель – Тарас (Абдуль Карим) Черниенко из Москвы.

Известный своими жестко «фундаменталистскими» притязаниями Союз православных граждан отреагировал на данную инициативу крайне болезненно⁷, в ответ на что публицисты НОРМ объявили выступление православных активистов «сионистской провокацией». Столь откровенная экспансия на православном поле вызвала некоторую растерянность у представителей властных структур и даже у ряда исламских лидеров.

Как утверждает руководство НОРМ, они представляют несколько тысяч обращенных, обитающих в разных российских городах – от Владивостока до Калининграда. Главной задачей новых мусульман провозглашен призыв к исламу русских по национальности и организация для них полноценной общинной жизни на основе шариата. Через две недели после учредительного съезда на сайте НОРМ появилось торжественное сообщение, что к русским мусульманам присоединился руководитель кафедры иностранных языков Российского Университета дружбы народов, кандидат филологических наук Андрей Подгуренко, который произнес шахаду на собрании мусульманской молодежи. В тот же день было объявлено и о создании двух русских мусульманских семей.



Активисты НОРМ видят себя в русле общего мусульманского движения, размывающего изнутри традиционный христианский потенциал Запада. С большой симпатией и несомненной осведомленностью пишут они о рождении и позднейшей эволюции в направлении к мусульманской ортодоксии организации американских чернокожих «Нация ислама», о создании так называемого «мусульманского парламента» в Англии. Что касается ситуации в России, то наиболее любопытным идейным положением нового движения является, на мой взгляд, сочетание мусульманской догмы с претензией на русский патриотизм, даже национализм. Уже на первой московской пресс-конференции, посвященной созданию НОРМ, Т. Черниенко заявил: *«Как русские люди мы связаны со своим народом узами языка и культуры, а как мусульмане мы осознаем себя частью мировой уммы»*. Чтобы успокоить общественное мнение, взволнованное массовой эмиграцией из среднеазиатских республик и Азербайджана, русские мусульмане заявляют, что являются противниками подобной практики. При всем уважении к зарубежным единоверцам, они не ставят своей целью увеличение их присутствия на территории России. Задачи русских мусульман совсем иные – они мечтают о переходе в ислам русского народа. С несомненной симпатией отмечается склонность к «брачному миссионерству» – на сайте опубликована статья одной из новых мусульманок Нур-Айшат Фроловой под названием *«Зачем вы, девушки, чеченцев любите»*. Однако главная

ставка делается не на браки, а на массовое всенародное обращение. Как гласит заявление, вынесенное на сайте в качестве заголовка программного текста: *«У России единственный выбор – ислам!»* Речь идет не только о том, чтобы русские вместо церквей посещали бы мечети. По заявлению Тараса (Абдуль Карима) Черниенко: *«...в мусульманской религии, как в универсальном образе жизни, содержится очень много положений, отвечающих на насущные вопросы современности, стоящие сегодня как перед российским Государством, так и перед русским Народом. В частности, Ислам отвечает на очень важные вопросы семьи, вопросы личности, вопросы человека как гражданина своего государства, вопросы экономики».* Русские мусульмане убеждены в том, что Россия переживает сейчас национальный кризис, обусловленный физической и духовной деградацией русского народа, страдающего от пьянства и бедности. Об этом говорят многие. Однако если либералы видят в упомянутых бедствиях, прежде всего, наследие советского режима, истребившего наиболее инициативную часть крестьянства и культивировавшего пассивность и иждивенчество, коммунисты обвиняют в этом же ниспровергателей советской власти, а националисты твердят об интригах «жидо-масонской» закулисы, то новые мусульмане, не снимая обвинений в адрес евреев, коммунистов и демократов, главным или, по крайней мере, изначальным источником русских бед объявляют христианскую веру. Как заявляет один из представителей НОРМ, руководитель Культурного центра русских мусульман Казахстана «Ихлас» (Алма-Ата) Махди Сенчинов (в статье на «Ислам.ру»): *«С русскими-православными мы собираемся вести конструктивный диалог. У нас есть общие темы и проблемы: к примеру, возрождение русского народа. Но нам кажется непродуктивным делать это посредством христианства. Ведь по истечении тысячи лет, которые русские исповедовали православие, мы оказались на грани исчезновения. То, чего не может добиться православие тысячу лет, возможно в Исламе. Становясь мусульманами, русские обретают все утраченное за это время. Люди возрождаются, как говорится, и душой, и телом за год, месяц, неделю, бывает даже за один день».* Еще более откровенно говорится о планах мусульманизации в общем обращении НОРМ: *«Нашей первоочередной задачей является призыв к Исламу <...> Мы, русские, обязаны подхватить знамя Пророка (мир ему!), и только в этом спасение России и всех народов, которые связали с ней свою судьбу!»*

Идеология НОРМ полностью соответствует тому, что говорилось об обращениях в уже упоминавшейся статье Курбанова: *«...основная тема, которую они старательно продвигают в обществе, – это все чаще звучащие заявления о том, что Владимир Красное Солнышко ошибся в выборе религии для Руси. Русские мусульмане старательно внедряют в общественное сознание мысль о том, что русский человек должен следовать не выбору любившего подвыпить князя, а делать собственный выбор».* Обличения пристрастного к алкоголю князя Владимира дополняются в публикациях

НОРМ рассуждениями о монахах, привезших на Русь технику возгонки крепких алкогольных напитков.

Что касается идеи о близости к исламу русского ведизма и почитания «Влесовой книги», осведомленность идеологов НОРМ в этих вопросах столь основательна, что, полагаю, не ошибусь, предположив, что кое-кто из новых мусульман участвовал ранее в неоязыческом движении. Новые мусульмане утверждают, что до рокового решения князя Владимира русские были инстинктивными монотеистами, предельно близкими исламу. Дмитрий Махров («Единобожие в русском ведизме» и «Русский народный хиджаб») убежден, что об этом свидетельствует даже сходство в женском одеянии, которое, как у русских людей, так и в исламе поощряло скромность и закрывало от жадного мужского взгляда женские прелести: *«Если приглядеться повнимательнее, то обнаружится удивительный факт полного сходства одеяний мусульманки и русской женщины. Вместо хиджаба – платок, косынка или кокошник, полностью закрывающие волосы. Сарафан закрывает фигуру женщины до пят... Факты – вещь упрямая. В глаза сразу бросаются единые корни у верований славян и последнего всеобъемлющего Руководства для мусульман»*. У наивного читателя может создаться впечатление, что, помимо русских и мусульман, все прочие народы обряжали своих женщин в мини-юбки.

Враждебность к христианству сближает мусульман и язычников-ведистов, представляющих наиболее радикальный фланг русского националистического движения, не только в общих культурологических представлениях, но и в политической сфере. Новые мусульмане разделяют основные идеи русской националистической оппозиции, включая представление о сионистском владычестве в России. Однако новые мусульмане убеждены в том, что христианство не может выполнить миссию борьбы с сионизмом, так как учение Христа уже изначально заражено сионистской скверной. Как говорил об этом представитель организации русских мусульман «Бану Зулькарнайн» Харун Иванов: *«Один из ключевых идеологов и лидеров русского национализма Севастьянов совершенно правильно ставит на повестку дня вопрос о Русской Интифаде. Но Интифада... требует тотальной и всесторонней эмансипации от сионизма. Нельзя бороться против политического и экономического господства сионизма, находясь от него в духовной зависимости. Меж тем наши православные антисемиты, в одно и то же время протестующие против сионизма и исповедующие религию, которая признает богоизбранность еврейского народа, именно так и поступают. Но это тупиковая стратегия. Что касается язычников, то они, к сожалению, хотя и понимают всю пагубность этой линии, не могут предложить ей никакой достойной альтернативы. За ними не стоит ни живой религиозной традиции, ни мировой солидарности верующих, как это есть у иудеев. Единственным реальным противником мирового сионизма в современном мире является только Ислам. Выбор русских сегодня и завтра, таким образом, это выбор между сионизмом, под властью ко-*

того мы можем быть только рабами, и Исламом, мировой религией Единобожия, на базе которого мы сможем выжить как этнос и строить свое национальное бытие и будущность». Добавим к этому откровенно пронацистские симпатии. В своей публикации «Правый выбор» новый мусульманин Артур Ястребов расточает комплименты СС, чьим символом были *«честь и верность»*, и указывает на разные аспекты, сближающие ислам и европейских ультраправых. Ястребов упоминает о влиянии идеологов нацизма на исламских радикалов, но в то же время описывает биографии западных интеллектуалов, которые перешли от убеждений фашистского типа к мусульманству. Таким был путь и самого Ястребова, который до своего обращения был лидером молодежной нацистской группы – «Русско-го солидаристского движения»⁸.

НОРМ декларирует непримиримо антилиберальную позицию, бескомпромиссно отвергая возможность какого-либо сближения с Западом вне принятия им ислама. После бесланской трагедии прежний «солидарист» Ястребов с презрением отозвался об *«умеренных и трусливых муфтиях»*, которые после каждого теракта твердят, будто бы ислам это миролюбивая религия, *«но кто же им поверит в условиях, когда всюду в мире, где слышны выстрелы, они сопровождаются криками "Аллаху акбар!"»*. Однако *«прозорливые аналитики понимают, что этим процессом управлять бы могла Россия, а не быть его жертвой...»*. В общем, чтобы спастись от угрозы исламского терроризма, России предлагается возглавить движение исламского радикализма, т. е. стать лидером террористов. В качестве социального идеала видится при этом что-то вроде всемирного исламского халифата, столица которого могла бы оказаться и в Москве. Один из сайтов, солидаризирующихся с позицией «Руси правоверной», так и называется – «Халифат.ру». В общем, если перевести тезис «Ислам – наше будущее» на язык политических реалий, будущее это оказывается версией нового средневековья. Ближайший аналог – устройство Ирана периода правления Хомейни, к которому новые мусульмане относятся с особой симпатией.



Необходимо отметить, что, несмотря на свои претензии, идеологи НОРМ не выражают убеждений всех российских мусульман, в том числе и русских по национальности. Так, исламский журналист Валерий Емельянов в статье «Христиане и мусульмане за Израиль» с подзаголовком «Может ли мусульманин признавать государство Израиль?»⁹ ответил на этот принципиальный вопрос положительно, чем сильно разгневал идеологов НОРМ. Это не случайный сюжет. Стоит отметить и принципиальные разногласия НОРМ с одним из двух крупнейших российских мусульманских объединений – Советом муфтиев России, лидер которого Равиль Гайнутдин в 2004 году встречался с главным раввином Израиля и даже с дипломатическим представителем этой страны (29.06.2004). Лидер ассоциации

«Казанский муфтият» Гусман Исхаков вообще заявил о нежелательности перехода русского народа в ислам, что вызвало гневное возмущение идеологов НОРМ. Похоже, что в Татарстане миссионерство не пользуется покровительством исламского духовенства. В уже упоминавшейся статье об обращении в ислам русских женщин («Ислам.ру») приводится замечание одной из новых мусульманок, которая с горечью вспоминала, что не встретила должного понимания в родной Казани, зато нашла участие и духовную поддержку, переехав в Москву.

Создание НОРМ выглядит как реализация уже давно декларируемых планов одного из самых известных исламских идеологов России – Гейдара Джемали. С 1992 года Джемаль вел на Первом канале российского ТВ исламский раздел религиозной программы «Ныне», где он вдохновенно пропагандировал достижения иранского режима и соблазнял рассказами о распространении ислама в среде интеллектуалов Италии и Франции. В июне 1990 года Джемаль принял активное участие в организации Исламской партии возрождения, которая заявляла, что ее задача – реформация СССР, превращение его в государство вернувшихся к возрожденному исламу тюрок, кавказцев и исламизированных славян. Предполагалось, что этот союз мусульманских республик вместе с арабским миром будет противостоять растленному Западу. Крах СССР похоронил эти планы, однако теперь Джемаль возрождает их в масштабах России.

Чтобы понять смысл миссии последователей Джемали, необходимо определить особенности их убеждений, понять место данного движения в мире российского ислама, прошедшего после распада СССР весьма непростой путь. Претендующий на положение верховного муфтия России Талгат Таджуддин является всего лишь одним из влиятельных исламских лидеров. Рядом с этими большими объединениями действуют и несколько меньших групп. Полностью независимыми и не имеющими четкой ориентации остаются 70 мусульманских приходов. Многообразны и партийные объединения, в числе которых уже в 1995 году проявили себя Союз мусульман России, а также общероссийское мусульманское общественное движение «Нур» и Исламский комитет Джемали. Позднее от Союза мусульман отпочковались «Мусульмане России», Всероссийский исламский конгресс, «Рефах» («Благоденствие»), а «Нур» породил Исламскую партию России, переименованную (по турецкому образцу) в Партию справедливости и развития России. На выборах 2003 года эта организация выступила под именем партии «Истинные патриоты России», чье сокращенное обозначение ИПР должно было напоминать о генетической связи с Исламской партией России. Существуют также несколько малозначительных карликовых исламских партий. Впрочем, официальные исламские политики проявляют активность, главным образом, во время выборов, неизменно оканчивающихся для их партий полным провалом. Так, на выборах 1995 года, когда лидеры «Нура» утверждали, что в России якобы 18 млн мусульман и все они проголосуют за единственный исламский список, эта организация со-

брала только 0,57% голосов, уступив даже Партии любителей пива. Нечто подобное повторилось и на парламентских выборах 2003 года, когда «Истинные патриоты России», уверявшие, что их должно поддерживать не менее трети избирателей, получили около 0,25% и замкнули общий список. Большой внутренней устойчивостью обладают организации политических противников российского государства – от объединившей татарских националистов Партии национальной независимости «Иттифак» Фаузии Байрамовой до радикалов-ваххабитов.

Гейдару Джахидовичу Джемалю принадлежит особое место в мире российского ислама. С одной стороны, он придерживается самых радикальных убеждений, является страстным поклонником аятоллы Хомейни и, пока это было возможно, принимал активное участие в деятельности так называемой Хартумской конференции, объединявшей наиболее воинственных и непримиримых по отношению к Западу исламских лидеров. В то же время этот наследник старинного рода сарджалинских ханов принят в самых разных столичных кругах, очень часто его приглашают для участия в телебеседах и «круглых столах», посвященных политической тематике. К мнению Джемалья прислушиваются не только журналисты, но и многие политические деятели, причем самой разной ориентации. Ни один другой исламский лидер России не может похвастаться чем-то подобным. Будучи недоучившимся студентом – в 1967 году он был отчислен со второго курса московского Института восточных языков «за буржуазный национализм», – Джемаль пользуется репутацией незаурядного мыслителя, считается серьезным философом, посвятившим свои труды проблеме Абсолюта, историком и культурологом. На мой взгляд, все это свидетельствует, скорее, об уровне образования пресловутого московского бомонда, нежели о достоинствах Джемалья. Достаточно упомянуть, что, полемизируя с Максом Вебером, который утверждал, что в основе капиталистического строя лежит протестантская этика, Джемаль возводит философию капитализма к... митраизму. Доказывая превосходство ислама над другими ветвями авраамической традиции, наш герой с полной серьезностью уверяет, что *«чистое христианство и чистый иудаизм – это ислам»*. Джемалю точно известно, что Моисей *«ту традицию, которая получила название иудаизм... называл ислам. И Авраам называл свою традицию, когда он ушел из страны Ур, тоже ислам»*¹⁰. Оказывается, что только палестинские арабы являются единственными потомками древних евреев, что дает им исключительное право претендовать на ветхозаветное наследие. По сведениям Джемалья, все настоящие евреи после взятия халифом Омаром Иерусалима приняли ислам, а иудаистскую традицию сохранили только потомки вавилонян. Что касается обитающих в Европе евреев-ашкеназов, то, как утверждает Джемаль, они и вовсе являются немцами и славянами.

Перечисление подобного вздора можно было бы продолжать долго, однако само по себе данное обстоятельство не определяет рассматриваемый феномен. Речь идет не о невежестве, во всяком случае, не просто о невеже-

стве. Это своего рода интеллектуальное зазеркалье, в котором не работают общепринятые представления о реальности, а действительность – как события наших дней, так и историческое прошлое – послушно подчиняется самым причудливым схемам. Старинный друг Джемалю Александр Дугин – оба они в 70-х принадлежали к кругу известного писателя Юрия Мавлеева, а после эмиграции мэтра перешли под крыло известного поклонника оккультных знаний Евгения Головина¹¹ – подвел под такое принципиальное размежевание с миром науки теоретическую базу. С восторгом описывая рассуждения Рене Генона об универсальных истоках традиционного мышления, восходящего якобы к некой «примордиальной» культуре, существовавшей в древней северной прародине ариев – Гиперборее, его рассказы о вечной войне сил света и тьмы, о разбросанных по всему миру башнях Сатаны, дополняя это измышлениями Сент-Ив д'Альвейдра об определяющей всю историю человечества борьбе наследников солнечного Рамы с последователями мятежного принца Иршу, идеями Грасе д'Орсе, который уверял, что вся человеческая история определяется соперничеством орден-ов Кварты и Квинты, и другими столь же достоверными теориями, Дугин называет своих любимцев представителями особого творческого метода – *«исторического безумия»*. Дугин утверждает, что *«в сравнении с профанами и "нормальными историками" они являют собой подлинных "гениев" и сверхнормальных исследователей, и их концепции безмерно превосходят по своей истинности и методологической ценности весь жалкий, чисто фактологический и бессмысленный, сизифов труд "позитивистов" и "критиков" от истории»*¹².

Похоже, что «позитивисты» и «критики от истории» и в самом деле не выдерживают соперничества со *«сверхнормальными исследователями»*, предающимися историческому безумию. По крайней мере, в мире российской политики. Как показывает пример того же Дугина, истории вечной борьбы носителей принципов Инициации и Контринициации, равно как геополитические фантазии о столкновении цивилизаций Моря и Суши, прекрасно усваиваются на самом высоком уровне. Дугин, который отшлифовал свое мастерство Сирены-обольстительницы на фанатах Национал-большевистской партии (Лимонов до сих пор не может простить ему измены), читает теперь лекции офицерам Генштаба и сотрудникам ФСБ. Учитывая, что российские министерства обороны, чрезвычайных ситуаций и внутренних дел пользуются услугами астрологов¹³, это не кажется удивительным.

И хотя в настоящее время пути Дугина и Джемалю несколько разошлись – если последний трудится над усилением НОРМ, то Дугин возглавил Евразийскую партию, в составе которой причудливо смешались отставники спецслужб и мусульманские священнослужители под руководством явно враждебного Джемалю лидера ЦДУМ Таджуддина, – все же идут они параллельными курсами. Просто, растолковывая своим слушателям, что все происходящее в мире, вплоть до событий 11 сентября, объясняется вечной

борьбой Элиты и Контрэлиты, Джемаль несколько смещает акценты – называется приверженность идее исламской революции. Добавлю, что все идеологические расхождения не мешают старым друзьям самым мирным образом сотрудничать в рамках Московского Нового университета, профессорами которого являются и Дугин, и Джемаль, и Мавлеев, и Головин.

Обозревая политическую биографию Джемалья, можно только поразиться, сколь разнообразны и причудливы те политические союзы, которые в разное время он заключал. На выборах 1995 года Джемаль присоединился к блоку «Профсоюзы и промышленники» Михаила Шмакова и Аркадия Вольского, потом покинул их ради Партии конституционных демократов Виктора Золотарева, а на выборах 1999 года он оказался в одном строю с прокоммунистическим «Движением в поддержку армии» Виктора Илюхина и Альберта Макашова. Исламский комитет входил в Союз национальных и патриотических сил, поддерживавший на президентских выборах Лебеда, у которого Джемаль был советником по мусульманским вопросам. Кажется невероятным, но этот пылкий поклонник аятоллы Хомейни, проклиная «растленный Запад», сумел наладить хорошие отношения даже с главным имиджмейкером «Союза правых сил» Маратом Гельманом. Перед выборами 2003 года серьезно обсуждался вопрос о союзе Джемалья с СПС, и хотя этот альянс не состоялся, в ходе иракской войны Гельман организовал вместе с Джемалем общий сайт «Ирак.ру». Джемалю прощают его псевдоисторический бред, заявления о безусловном превосходстве ислама над православием, симпатию к террористам, взорвавшим египетское посольство в Пакистане, даже декларированное сочувствие к чеченским радикалам. По словам Джемалья: *«Басеев действовал адекватно, захватывая заложников в Буденновске»*¹⁴. Впрочем, в отличие от чеченских боевиков, стремящихся отторгнуть от России Северный Кавказ или часть этого региона, наш герой хотел бы обратить в ислам всю страну – от Калининграда до Приморья. К этой великой мусульманской державе он с удовольствием присоединил бы славянские республики и непокорную Прибалтику.

В политических маневрах Джемалья много случайного, однако его принципиальной идеей является формирование *«единой идеологии контрглобализма»*, что означает сотрудничество со всеми противниками западной демократии. Джемаль обращается с призывами о совместных действиях к самым разным политическим силам – к фашистам и коммунистам, националистам православного и языческого толков. Надо сказать, что это близко программной идеологии главной газеты непримиримой оппозиции «Завтра», охотно предоставляющей слово радикалам всех мастей. Как писал главный редактор «Завтра» Александр Проханов: *«Я хочу бросить в этот котел скинхедов, лимоновцев, кондратенковцев, протестующий ислам, мы должны взять Думу на следующих выборах, протолкнуть свою президентскую команду, чтобы этот олигархический строй исчез навсегда!»*¹⁵. Особенность позиции Джемалья состоит лишь в том, что он не забывает потянуть одеяло на свою – исламскую – сторону. В одном из интервью в про-

шлом году Джемаль предсказал, что уже через десять–пятнадцать лет произойдет тотальная мусульманизация Европы, и, по примеру константинопольской Софии, Собор Парижской богородицы превратится в мечеть¹⁶. О храмах московского Кремля наш герой умалчивает, понятно почему.

В общем, единой идеологии контрглобализма явно не получается. Если выступление Джемаль в 1999 году на конгрессе «Православие и ислам – духовная основа единства и патриотизма народов России» вызвало самый восторженный отзыв в стане православных «патриотов»¹⁷, то теперь – после появления НОРМ – ситуация меняется. Добавлю, что радикалы, утверждающие торжество великой Белой расы, уже давно обличали Джемаль в качестве врага русского народа – троцкиста и тайного еврея¹⁸.

Оценивая общую ситуацию, стоит вспомнить истоки политической карьеры Джемаль, которая начиналась не просто эзотерическими мудрствованиями, но игрой в фашизм. Факт этот не нашел отражения в биографиях Джемаль, публикующихся на исламских сайтах, однако духовное становление нынешнего страстного мусульманина происходило в рамках так называемого «Черного Ордена СС». Эта организация была создана в 70-х годах Евгением Головиным, который столь вдохновился идеалами «Оккультного Рейха», что, по примеру Гиммлера, объявил себя рейхсфюрером. Со временем идеалы Джемаль сместились в сторону иранской исламской революции, однако он и поныне поддерживает самые близкие отношения с бывшими соратниками по «Черному Ордену». И хотя в публикациях, обращенных к «обычным» читателям, Джемаль использует традиционно негативные коннотации термина «фашизм», обвиняя в этом грехе президента Буша и всю нынешнюю Америку, в более узком кругу он с одобрением вспоминает об увлечениях юности. В статье, опубликованной в одном из первых русскоязычных изданий, объединивших поклонников «Оккультного Рейха» (журнал «Гиперборея»), Джемаль указывает на глубокое духовное родство нацизма и ислама и призывает к их интеграции. По его словам, правый радикализм и ислам это *«две стороны сверхчеловеческой любви к Ноумену. Что мешает им стать одним, если не считать технических помех в виде исторических счетов, интеллектуальных разночтений и исторических недоразумений? Ведь это, в сущности, – параллели одной геометрии, сходящиеся в бесконечной перспективе»*¹⁹. Подобные убеждения разделяют и идеологи НОРМ. Понятно, что, говоря об исламе, наши герои считают истинным исламом только то, что прочие обычно называют исламским экстремизмом. Джемаль и его последователи с глубочайшим презрением отзываются об умеренных исламских лидерах, которые готовы вступить в переговоры с США или Израилем. Это отношение распространяется и на таких руководителей российского ислама, как Таджуддин и Гайнутдин, которые соотносят свою деятельность с внешнеполитическим курсом России. Джемаль и лидеры НОРМ относятся к этому курсу с предельным неодобрением. Однако если Артур Ястребов всего лишь сожалеет о том, что в Кремле не желают ответить на его предложение о присоедине-

нии к радикальному исламу в борьбе против Запада, то более решительный Джемаль после того, как Россия поддержала войну США против талибов, публично объявил президента Путина предателем родины²⁰. В одном из интервью того времени он уверял, что «...скоро у Путина будет репутация панамского премьера Норвеги. И с ним поступят точно так же: пошлют американский спецназ, арестуют и отдадут под суд какого-нибудь мелкого штата»²¹. Стоит добавить, что корреспондент, записавший предсказание Джемалья, сообщает: «некоторые... журналисты считают этого человека чуть ли не тайным руководителем будущей российской исламской революции»²². В общем, если Дугин, стремящийся к тому, чтобы придать российской политике антизападную направленность, пытается войти во власть, изменить ее изнутри, то Джемаль добивается той же цели путем внешнего давления.

Можно констатировать, что оба воспитанника «Черного Ордена СС» не преуспели в своих попытках повлиять на позицию российского руководства. Однако, судя по российскому сайту «Ислам.ру», у Джемалья и идеологов НОРМ немало единомышленников. Как и во всем исламской мире, политизированная интеллигенция существенно более воинственна, нежели прагматичные государственные деятели, которые в отношениях с Западом хотели бы найти взаимовыгодный баланс интересов, но периодически оказываются вынужденными уступать давлению непримиримых. Даже ослабленный соперниками как «советский муфтий» Таджуддин (он начал свою карьеру еще при Брежневe) в ходе второй иракской войны сгоряча объявил США джихад, после чего впал в немилость у президентской команды. Этой ситуацией немедленно воспользовался Гайнутдин, чьи встречи с представителями Израиля выглядят в этой ситуации как демонстрация лояльности к внешнеполитическому курсу Кремля. Позиция Совета муфтиев России укрепились настолько, что в октябре 2004 г. его представители провели семинар по вопросу взаимодействия мусульманских организаций с военно-силовыми структурами, в работе которого приняла участие группа высокопоставленных офицеров разных родов войск – от сухопутных до ФСБ. Однако Гайнутдин сохраняет тесные связи с лидерами «Рефаха» Ашировым и Ниязовым, чьи политические декларации отличаются непримиримым антиамериканизмом и антиссионизмом. Когда по приглашению последних 28 января 1998 г. в Москву приехал известный своими антисемитскими заявлениями лидер американской «Нации ислама» Луис Фаррахан, он принял участие в праздновании Уразы-байрам в Московской соборной мечети вместе с Равилем Гайнутдином. Умеренность отдельных российских лидеров ислама выглядит не столько как следствие убеждений, сколько как результат политических маневров. Во многих случаях грань между умеренными и радикалами малоощутима. Например, после событий 11 сентября не нашлось ни одного лидера российского ислама, кто выразил бы сочувствие Америке и возложил вину за теракт на мусульманские экстремистские организации.

Де-факто российские политики уже сейчас признают подобную специфику исламского политического мышления. Других мусульман у нас нет, а голоса избирателей нужны. Если Проханов и его единомышленники являются своего рода аутсайдерами российской политической сцены, на союз с которыми могут пойти только коммунисты, то мусульманские авторы газеты «Завтра» приняты центристскими и – как показывает пример Джемалы – даже праволиберальными партиями. Достаточно вспомнить историю лидеров «Рефаха» – это поистине детективный клубок авантюры, среди которых не только попытка захвата исторической мечети Москвы и создание альтернативного духовного управления мусульман Сибири, но, как утверждают, также посредничество в финансировании саудовскими спонсорами Джохара Дудаева и его режима в Чечне и сотрудничество с криминальной «уралмашевской» группировкой в Екатеринбурге²³. Однако успешная «торговля» голосами мусульманских избирателей России обеспечила данному движению благосклонность сначала Виктора Черномырдина в бытность его премьером, а потом Сергея Шойги и курировавших «Единство» представителей кремлевской администрации. Успех «Единства» на выборах привел создателя и сопредседателя «Рефаха» Абдулу Вахеда Ниязова²⁴ в Госдуму. После выхода из «Единства» Ниязов организовал «Евразийскую партию России» и выступил с инициативой образования *«всемирного фронта по борьбе с атлантистами и их израильскими приспешниками»*. Выступая на пресс-конференции, посвященной событиям 11 сентября в США, он пригрозил Америке Божьим судом за преступления против мусульман, сообщив, кстати, что теракт, приведший к гибели тысяч американцев, был организован сионистами. Позднее Ниязов выступил в поддержку афганского режима талибов. Все это мало отличается от позиции Джемалы, хотя тот утверждал, будто, по его информации, теракт 11 сентября был организован некими международными заговорщиками, использовавшими агентов, которые ранее работали на восточно-германскую Штази.

На фоне таких исламских политиков позиция ведущих мусульманских духовных лидеров России кажется умеренной. Приближаясь к Кремлю, они соотносят свои высказывания с общей политической линией руководства страны, и даже «согрешивший» призывом к джихаду Таджуддин старается сейчас доказать, что это был случайный жест. Но сохранится ли такое положение вещей, когда исламской население России станет более многочисленным и более влиятельным? Сейчас НОРМ может показаться изолированной группой радикалов, словно специально созданной, чтобы спровоцировать конфликт между христианской и мусульманской общинами страны. Однако еще лет десять тому назад немыслимо было даже представить возникновение особой организации русских мусульман. Темпы обращения в ислам пугающе стремительны. Что будет еще через десять лет? А через двадцать? Динамика развития такова, что со временем самые безумные идеи Джемалы могут оказаться куда более близкими к российской реальности, нежели это представляется в настоящий момент.

1. *Garaudy R.* L'Islam habit notre avenir. Paris, 1980.

2. *Garaudy R.* Pour une dialogue des civilisations: l'Occident est un accident. Paris, 1977.

3. Данные опросов приведены на сайте «Полит.ру»:

<http://www.polit.ru/documents/485773.html>;

<http://www.polit.ru/documents/498990.html>

4. *Модестов С. А.* Геополитика ислама. М.: Мол. гвардия, 2003. С. 8.

5. *Тулеский М.* Ислам в не исламском мире: В большинстве стран численность и влияние мусульман выросли в последнее десятилетие // Независ. газ. 2001. 29 сент.

6. *Творогов О. В.* Что же такое «Влесова книга» // Рус. лит. 1988. № 2; *Алексеев А. А.* Опять о «Влесовой книге» // Там же. 1995. № 2; и др.

7. *Сергеев П.* Маски сброшены: В Омске создается организация «русских мусульман», а министр иностранных дел России обещает превратить Москву в плацдарм «Организации исламская конференция» // Единое Отечество (сайт Союза православных граждан). 2004. 17 июня; Кто и куда идет под «зеленым знаменем» // Там же. 22 июня.

8. Приношу свою благодарность Владимиру Прибыловскому, указавшему мне на этот факт.

9. Опубликована на сайте «Портал-кредо», посвященном религиозным вопросам.

10. См. статью «Авраамизм против "естественной религии"» в интернет-издании правых эзотериков «Полярная звезда», а также на личном сайте Джемала (kontrudar.ru).

11. Эта история подробно описана в статье: *Челноков А.* Мелкие бесы из шизоидного подполья // Лица. 1997. № 8.

12. *Дугин А.* Конспирология (Наука о заго-

ворах, тайных обществах и оккультной войне) / Историко-религиозное общество «Арктогея». М., 1992.

13. *Михайличенко Б.* Прорицатель в погонах // Моск. новости. 2002. 8–21 янв. (№ 1–2). С. 42; *Смирнова М.* Лженаука // Версия. 2003. 14–20 апр. С. 29; *Б. п.* Весна тревоги нашей: Астрология проникла уже и в Министерство обороны // Известия. 2003. 15 марта.

14. *Челноков А.* Указ. соч. С. 26.

15. Комс. правда. 2002. 24 апр.

16. Известия. 2001. 13 сент. (№ 168).

17. *Косниченко В.* Вторая родина // За православие и самодержавие. (СПб.) 2001. № 8 (12; авг.).

18. В ультрарадикальной газете нации «Эра России» (2002. № 8 – статья «Троцкист под маской мусульманина») сообщается, что Джемаль, являющийся троцкистом и евреем по матери, пытается внести в мир ислама еврейскую идею избранничества, а его план обращения русского народа в ислам объявлен мусульманской версией «Протоколов сионских мудрецов» – заговором против великой Белой расы.

19. *Джемаль Г.* Ислам и правая (третья позиция) // Гиперборея. 1991. № 1. (Вильнюс).

20. Особо показательна в этом отношении статья Джемала «Путин – могильщик российского суверенитета», опубликованная в «Завтра» (2001. № 46, ноябрь).

21. Версия. 2001. 4–10 дек.

22. Там же.

23. *Челноков А.* Как «Медведь» ислам принимал // Моск. новости. 2001. № 39. (26 сент.–1 окт.).

24. Прежде был Вадимом Валерьяновичем Медведевым, но в 1996 году взял фамилию жены. Подобно Джемалу и Дугину, недоучившийся студент.



Игорь Ефимов

«ОНА НАШ СВЕТ ЖИВОТВОРИЛА»

Памяти Руфи Александровны Зерновой

В ноябре 2004 года в Иерусалиме умерла писательница Руфь Зернова. Ей было 85 лет – возраст для российского писателя в XX веке почти рекордный. Особенно для писателя, пережившего две войны и сталинский ГУЛаг.

На гражданскую войну в Испанию Руфь Александровна попала совсем девочкой – их сняли с третьего курса Ленинградского университета, наспех, за три месяца, накачали основами испанского и послали служить переводчицами при штабах советских «советников». О том, что она видела там, рассказывать не любила. Лишь много лет спустя опубликовала два очерка о тех годах. В одном есть такая сцена: полковник республиканской армии допрашивает пленного франкиста; тот вдруг начинает поносить допрашивающего последними словами; полковник достает пистолет и пристреливает пленного; русская переводчица, оказавшаяся свидетельницей этой сцены, теряет сознание.

Годы войны с немцами тоже были спрятаны у Зерновой в некий «спецхран» памяти – не всякого допускала. Зато о пяти тюремно-лагерных годах вспоминала легко, без гнева. Написала про это чудесные рассказы, среди которых: «Кузькина мать», «Искусство», «Я влюблён в Генриетту Давыдовну». Название последнего – строчка из шуточного стихотворения Николая Олейникова, посвященного – обращенного – к Г. Д. Левитиной-Домбровской, редактору ленинградского Детгиза в 1930-е годы. С нею Руфь Зернова встретилась в лагере в начале 1950-х. Расспрашивала её о друзьях и поклонниках тех лет, ставших впоследствии знаменитыми: Евгении Шварце, Заболоцком, Маршаке, Шостаковиче. Их обеих бросили в лагерь, оторвав от детей. Где-то далеко позади остались библиотеки, музеи, концерты, театры. Теперь их уделом был надрывный труд,

Игорь Ефимов – писатель, философ, издатель, автор множества романов («Зрелища», «Архивы Страшного суда», «Седьмая жена», «Суд да дело» и др.) и философских трудов. Живет в США.

холод, вечное недоедание. Кусок сахара передавали друг другу как бесценный подарок. Каждый раз по приезду в новый лагерь женщинам устраивали «проверку»: они должны были отвечать на вопросы офицеров, сидевших в мундирах за столом, стоя перед ними голыми, с выбритыми лобками.

Руфь Зернова и её муж, профессор русской литературы Илья Захарович Серман, вернулись к нормальной жизни после смерти Сталина. Я познакомился с ними в начале 1960-х. Они любили собирать в своей квартире молодых литераторов. Бывали у них Александр Кушнер, Евгений Рейн, Валерий Попов, Александр Городницкий со своей гитарой и множество других поэтов и прозаиков, пробовавших тогда свой голос под ветерком хрущёвской «оттепели».

В Ленинграде мы ездили в гости к Серманам на трамвае. В эмиграции пришлось пересесть на самолёт. Писали друг другу часто, искали возможности встретиться, подстраивали расписание поездок так, чтобы пересечься. Мы к ним, они к нам. В альбоме остались фотографии: Ефимовы с Серманами в Вене и в Нью-Йорке, в Иллинойсе и Иерусалиме, в Катскильских горах и в Вермонтских.

Как Руфь Александровна умела радоваться друзьям! И как люди тянулись к ней, летели на этот вспыхивающий им навстречу огонёк. В её повести «Немые звонки» героиня говорит: «Я больше всего люблю эти первые приближения, первое ожидание радости, когда на всё смотришь, как доверчивый гость. И хоть ты и знаешь, старея, что тут и обман, и мишура, и показуха, но и в этом ведь есть своя правда, в радости этой, в надежде, в ожидании, в самой даже показухе. В праздниках – правда, и в буднях – правда, и, в общем, как же всё-таки хорошо, что я не отучилась радоваться! Я могла бы сказать о себе: радуюсь – значит, живу!».

Это свойство помогало ей и в лагере. Из рассказа «Я влюблён в Генриетту Давыдовну»: «В те годы у меня сложилась привычка: перед сном вспоминать, что сегодня было хорошего. Оказывается, каждый день хоть что-нибудь хорошее да происходило: письмо пришло, или кто-то сказал доброе слово, или на работу не выгнали...».

Сердиться Руфь Александровна тоже умела. Очень сердилась на Достоевского. «Это из его книг, из его подполья вышли все революционные бесы и устроили революцию».

Я: Руня, а что, по-вашему, каждый человек вышел из какой-нибудь книги?

Она: Конечно!

Я: Ну, а вы из какой?

Она (с тенью насмешки над собой, с покаянием, но и с вызовом): Я? Из Лидии Чарской!

Арест в 1949 году, следствие по обвинению в антисоветской пропаганде, судебную процедуру Зернова описала в рассказе «Суды». Но в самом начале этого рассказа она вспоминает, как её – одиннадцатилетнюю – судили ещё в школе, свои же одноклассники (недолгая эпоха школьного самоуправления). Обвинение: вела дневник. Потому что дневник, который ведётся для одной себя, – это отрыв от коллектива. Это путь к индивидуализму. А что может быть страшнее?

Именно этой – преступной в советских условиях – деятельностью Руфь Зернова продолжала заниматься всю жизнь. «Женщине дано сохранить и доне-

сти память», – написал Борис Эйхенбаум в статье об Анне Ахматовой. В лагерных условиях вести дневник не было возможности, но Зернова часто ловила себя на мысли: «Когда-нибудь я напишу об этом». И проза её так тесно переплеталась с воспоминаниями, что часто нелегко отделить одно от другого.

Писательница Зернова не любила выдумывать. Одна из её героинь говорит: «Мне всё время не доставало того, что уходило из моей жизни, мне не доставало мужчин и женщин, слов и жестов, книг и спектаклей. Я хотела бы всё сохранить. Но человек не вмещает и теряет, теряет...»

Про зыбкость границы между мемуарами и литературой Руфь Зернова размышляет в послесловии к роману И. Грековой (с ней она очень дружила) «Свежо предание»: «Я не уверена, что в мемуарах "процент правды" больше, чем в художественной литературе... Художник видит шире, чем мемуарист. И слышит некую, ему только внятную, странную музыку времени. Или безобразный шум, который тоже вроде как музыка. И заставит вас тоже его услышать и пережить и эмоционально откликнуться».

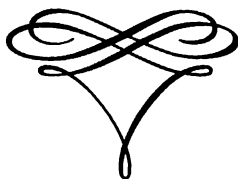
Конечно, в 1990-е годы поток документальной – ранее запрещённой – литературы обрушился на российского читателя в таком изобилии, что началась некоторая усталость от неё. «Зачем всё это ворошить? Хватит уже, начитались! Всё это устарело, новым поколениям неинтересно». Но в предисловии к своей десятой книге – «Израиль и окрестности» – Руфь Зернова отвечает на этот протест с тем чудным соединением иронии и достоинства, которое было столь свойственно её душевному строю:

«Ход событий ускользает с каждым днём. Кажется, что не только статьи, претендующие на анализ и прогнозирование (раньше это нескромно называлось "пророчество"!), но даже ни на что не претендующие воспоминания (то бишь мемуары) устаревают раньше, чем автор успевает поставить точку. Но то, что сегодня устарело, завтра станет старинным, а послезавтра – самым последним новым словом. В этом всех нас убеждает ход истории, который мы наблюдаем каждый день...»

И сколько бы ни появилось новых книг о советской поре российской истории, без повестей и рассказов Руфи Зерновой картина эпохи останется в чём-то неполной, обеднённой. Именно об этом написала в своё время американская славистка Барбара Хелдт в журнале *World Literature Today* («Мировая литература сегодня», 1983), рецензируя сборник Зерновой «Женские рассказы»: «Зернова сумела сплести свою личную судьбу с судьбой страны... Простота её рассказов обманчива... Руфь Зернова, Надежда Мандельштам, Евгения Гинзбург – из их книг перед нами вырастает совершенно новая картина российской жизни, русской истории».

Нам же, тем, кто лично знал и любил Руфь Александровну Зернову, остаётся проститься с ней словами поэта Жуковского:

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их *нет*,
Но с благодарностью: *были*.



Александр Борин

ПЕССИМИСТОМ БЫТЬ ПОШЛО*

Две тонны цемента

Случилось так, что в 1948 году я оказался в компании бывших учеников знаменитой в Москве 110-й школы. К тому времени все мы уже были студентами. Я учился на втором курсе юридического института, Валя Смилга – на физтехе, Юлик Крелин – в медицинском, а Натан Эйдельман – на историческом факультете МГУ.

Ребята как ребята, дулись в подкидного дурака, и проигравший должен был громко блять барашком. Устраивали небогатые, но очень веселые и шумные застолья, во время которых Смилга и Эйдельман затевали буйные словесные баталии, один из них называл какое-нибудь историческое имя, скажем, Навуходоносор, а другой тут же обязан был отчеканить: «605–562 до нашей эры». Юлик Крелин находился в состоянии постоянной влюбленности, и нас, еще заставших раздельное обучение и окончивших мужские школы, это очень занимало.

В школьных и студенческих застольях я участвовал и прежде, и девочки давно уже меня интересовали. Однако компания Натана чем-то существенно отличалась от всех, где я бывал раньше. Мы были ровесниками и росли примерно в одинаковых семьях, но что-то в этих ребятах было такое, чего не было в других моих сверстниках. Может быть, раскованность, легкость в общении друг с другом, этого мне лично всегда не хватало. Может

* «Вопросы литературы». 2002. № 3.

Александр Борин – обозреватель «Литературной газеты» (1960–1990), автор нескольких книг рассказов и очерков, киносценарист. Живет в России.

быть, начитанность не по годам, чем они даже чуть-чуть кичились. От них впервые и услышал я запомнившуюся мне фразу о том, что всегда надо уметь «сохранять лицо». Я в ту пору об этом еще не задумывался.

Скоро в семью Эйдельманов пришла беда. Его отец, фронтовик и известный журналист, был обвинен в сионизме и посажен. Освободился он уже после смерти Сталина. Рассказывал, как в бараке сосед, старый еврей, однажды спросил его, сколько писем разрешено ему писать домой. Яков Наумович ответил: одно в полгода. Сосед вздохнул: «А если бы победил Лев Давыдович, вам бы разрешали писать целых два письма».

Эйдельман-старший отличался энциклопедической образованностью и взрывным темпераментом. Этим в полной мере наградил он и сына.

Когда через много лет отец умирал от рака, Натан от него не отходил. Умирал Яков Наумович тяжело, мучительно и при полном сознании. Накануне смерти, с трудом произнося слова, он спросил, когда играет бразильская команда – в те дни шло первенство мира по футболу. «Послезавтра», – сказал Натан. «Жаль, – прошептал Яков Наумович, – я уже не узнаю результат».

МГУ Натан закончил в 1952 году, диплом защитил о банковском капитале, очень тогда увлекался экономикой.

Отец еще сидел, и Натана никуда не брали на работу. Помогли... две тонны цемента. В одном из подмосковных городов – устроиться в самой Москве Натан и не рассчитывал – директор заводской школы рабочей молодежи, с которым Натан вел переговоры, спросил, чем он может им помочь. «В каком смысле?» – не понял Натан. «Ну, скажем, нашему заводу очень нужен цемент». Цемент? Откуда у Натана цемент? Но случайно оказалось, что дальний родственник Эйдельманов как раз занимается строительными материалами. Цемент был отправлен, и Натана взяли преподавать историю.

Слава о его уроках очень скоро обошла всю Москву. То не были уроки в обычном смысле, Натан устраивал увлекательные исторические игры. Персонажи из далекого прошлого здесь оживали, вели между собой дискуссии, потомки судили предков, опровергалось известное изречение о том, что история не имеет сослагательного наклонения, здесь она его имела: а если бы Петр не казнил сына, а если бы Самозванец взял столицу?.. Впрочем, учителей тогда катастрофически не хватало, и, кроме истории, Натану приходилось преподавать еще и географию, немецкий язык и даже астрономию. Когда через несколько лет он оставил эту школу и перебрался в Москву, у учеников был траур.

В Москве, однако, осесть ему не удалось. В ту пору разразилось громкое политическое дело так называемой «группы Краснопевцева». Уж не помню, как она точно формулировала свои задачи, но провозглашалось возвращение к подлинному марксизму и объявлялась борьба с его искривлениями. То, что позже получит название «За социализм с человеческим лицом». Бывший студент истфака МГУ Краснопевцев и его единомышлен-

ники писали теоретические работы, живо их обсуждали, кажется, даже готовили прокламации. Натан в саму группу не входил, но в ней были его товарищи, и работы их он, конечно, читал. А дальше уж, как водится: ночной обыск в квартире Натана, многочасовые допросы в КГБ, волчий билет. Его не арестовали, по делу он не проходил, но из комсомола тут же исключили и из московской школы, где он уже преподавал, немедленно выгнали. Директор школы, очень хорошо к нему относившаяся, сказала: «Натан, сейчас начнется собрание, я буду выступать, говорить про тебя, но ты не слушай».

Делались потом и другие попытки устроиться в Москве. Его согласилась было взять директор Исторического музея, старая большевичка, человек влиятельный, но КГБ наложил запрет: учреждение режимное, находится на Красной площади, подозрительным лицам здесь не место.

Пришлось опять искать работу вне Москвы. Приняли его в краеведческом музее в городе Истре. И, как оказалось, то был его счастливый билет. Приводя в порядок архивы, к которым никто никогда не прикасался, он обнаружил документы, связанные с Герценом, и они дали толчок к серьезной исследовательской работе Натана. Но произойдет это позже. А тогда он очень смешно рассказывал об атмосфере, царящей в краеведческом музее. Коллектив был женский, не случалось дня, чтобы по самым разным, чаще всего ерундовым поводам не вспыхивали склоки, не возникали два люто враждующих между собой лагеря. Каждый из них всячески пытался привлечь Натана на свою сторону. Его затаскивали в какую-то комнату и горячо, перебивая друг дружку, объясняли, какое исчадие ада их недруги. Натан слушал, кивал и говорил, вздыхая: «Да, бывает...» А за дверью его уже поджидали представительницы другой стороны. Зазывали к себе и не менее жарко доказывали, что мир еще не видел таких страшных людей, как их противницы. И Натан снова слушал, и снова говорил, вздыхая: «Да, бывает...»

Космическая куртизанка

В компаниях, в застольях Тоник всегда держал площадку, лучшего рассказчика среди нас не было. Ему говорили: «Хватит болтать, бери перо и пиши». Но до пера и бумаги руки все время как-то не доходили.

Однажды он зашел в редакцию «Литературной газеты» к своему товарищу Юре Ханютину. (Впоследствии Ханютин с Майей Туровской напишут сценарий к кинофильму «Обыкновенный фашизм»). В кабинете, кроме Ханютина, за маленьким столиком сидела незнакомая пожилая дама. Ханютин неожиданно спросил: «Тоник, а сейчас, в наше время, можно найти клад?» Натан возмутился: «Какой клад? Если ты имеешь в виду археологию...» И стал рассказывать. Ханютин слушал, кивал головой, а минут через пять неожиданно встал и вышел из комнаты. Натан растерянно замолчал. «Продолжайте», – строго сказала пожилая дама: это была стенографистка. И Тоник прочел ей великолепную лекцию про археологию.

Через несколько дней Ханютин взял стенограмму, сказал, что все годится, надо только начало поставить в конец, а конец в начало, и статья Натана о проблемах археологии была напечатана в «Литературной газете».

Так, почти анекдотически, появилась первая, насколько я помню, публикация замечательного писателя и историка Натана Яковлевича Эйдельмана.

Впрочем, в Союз писателей Натан вступил тоже довольно весело.

У него уже вышла книжка о Герцене, появилось «Путешествие в страну летописей», другие книги, они имели успех, ими зачитывались, но на приемной комиссии Союза писателей кандидатуру его каждый раз упорно отклоняли: да, конечно, все это очень интересно и лихо написано, но где же тут литература? Это скорее наука, история.

Не знаю, чем бы борьба с приемной комиссией закончилась, если бы не очередной забавный случай. Как-то в ресторане Дома литераторов (в просторечии мы его называли «гадюшником») кто-то из сидящих за столиком пожаловался: он, мол, взялся составить сборник фантастических повестей и рассказов, сроки поджимают, а материалов нет. Тут же возник спор: можно ли за неделю написать фантастическую повесть. Натан сказал: да, можно. Поспорили на бутылку коньяка и четыре порции шашлыка-бастурмы.

Натан написал в срок. О чем там шла речь, уже не помню, помню только, что главной героиней была... космическая куртизанка. В том самом сборнике повесть эта была напечатана.

И когда в очередной раз Эйдельмана представили на приемной комиссии, докладчик сказал: «Вы говорите – наука, наука, но космическая куртизанка – это же настоящая литература, прекрасный художественный образ». И Натана Эйдельмана, наконец, приняли в Союз писателей.

«Не можешь помочь – страдай!»

Понимали ли мы, какого масштаба этот человек, как глубоки и блестящи его книги, какую роль начал играть он в нашем, взбудораженном оттепелью шестидесятых обществе? Вероятно, понимали. Но в житейской суете, в повседневных контактах, в шумных застольях, в вываливании друг другу всего, что накопилось на душе, в яростных спорах и в веселых стычках – этого, наверное, не ощущали. Или ощущали не в полной мере. Для нас он был Натан, Тоник, который, проиграв в пинг-понг любимой дочери Тамаре, мог в ярости швырнуть наземь ракетку, а через минуту уже смущенно улыбаться. Который отказывался ехать смотреть свою новую квартиру (тогда расселяли обреченные на снос арбатские переулки), говоря, что ему достаточно увидеть ее план, на Сенатской площади в декабре 1825 года он тоже не был, но по схемам знает, что там происходило, лучше, чем сами декабристы. Который, отличаясь драгоценнейшим умением жить вкусно, увлеченно, даже азартно, часто в сердцах пенял мне: «От твоего заnudства скисает молоко». А в конце восьмидесятых, в письмах из Москвы

в Пицунду, где я каждый год отдыхал, писал: «Сейчас твое время, смотри, не упusti». Он говорил мне: «Вот такой-то (и называл одного из наших близких друзей) – суетный, а ты суетливый». «Почему я суетливый?» – не понимал я. «А потому, что уже сегодня ты нервно соображаешь, что тебя ждет послезавтра».

Можно было не видeться с ним неделями, но при встрече оказывалось, что он в курсе самых мельчайших подробностей твоей жизни. Он обладал редчайшим, почти не встречающимся сегодня качеством: каждый, кто с ним общался, чувствовал, как он Натану интересен. И это не было вежливой маской, это было действительно так. Иной раз я даже отказывался его понимать, спрашивал: «Ну, о чем ты два часа болтал с этим тупым партийным функционером?» «Ты ничего не понимаешь, – возражал он, – это такой кладeзь информации!»

Бывало, услышав, что с кем-то поступают несправедливо, Тоник просил меня, чтобы вмешалась «Литературная газета», где я работал, и помогла человеку. Говорил он это даже чуть-чуть стесняясь: вот, мол, наваливаю на тебя лишние хлопоты, но что делать!

Нередко действительно удавалось заступиться за невинного. Но случилось и так: Тоник просил за кого-то, не очень даже будучи в курсе той ситуации. Ему кто-то что-то рассказывал, и он тут же обращался ко мне. А иногда речь шла о человеке, которого неправильно исключили из партии, что по тем временам означало крушение всей карьеры.

Я объяснял: «Есть категорическое указание Чаковского в партийные дела "Литературной газете" не вмешиваться. На то существует партийная пресса. Даже если статья и будет написана, ее у нас никогда не опубликуют».

И тут Тоник взрывался: «Ненавижу твой советский тон, – кричал он мне. – Не можeшь помочь – страдай! Страдай, если не можeшь помочь! Слышишь?»

До сих пор звучат у меня в ушах эти его слова.

Ордер на арест Пушкина

Натан очень любил выступать перед слушателями, делал он это блестяще и никогда не отказывался от приглашения.

Помню, в Коктебеле, собираясь на какую-то встречу с читателями, писатель Зиновий Паперный (шутки его передавались из уст в уста) сказал: «Тоник, смотри, какая хорошая погода. Море, солнце. Люди приехали сюда отдыхать. Пожалуйста, не огорчай их, не порть им настроение. Не говори, что Дантес убил Пушкина».

Но одна лекция Натана, если ее можно так назвать, навсегда останется в моей памяти. И если мне бывает худо, тоскливо, на душе скребут кошки и хочется всех и все послать подальше, я вспоминаю тот необыкновенный день.

Я тяжело заболел гриппом. Пять дней температура держалась под сорок. Через день приезжал Юлик Крелин и, кажется, впервые смотрел на меня с явным профессиональным интересом.

Когда жена выходила в магазин или в аптеку, входную дверь она не заперла: подняться и отворить ее у меня не было сил.

И вот слышу, кто-то вошел в переднюю. «Кто там?» – хриплю я. «Ну чего разлегся?» – раздается бас Тоника, и со своим всегда туго набитым, выдавшим виды портфелем он появляется у меня в комнате. «Тоничка, – прошу я, – пожалуйста, не подходи ко мне, я очень заразный». «Да плевал я на твою заразу, – говорит он, употребляя слово куда покруче, берет стул и садится у постели. – Я еду сейчас из архива, – сообщает он. – Час назад я нашел ордер на арест Пушкина».

Какой ордер, какой арест? У меня разламывается голова, меня тошнит, я не очень даже соображаю, о чем идет речь.

Но Тоник рассказывает. Он возбужден и взволнован. Давно уже было известно, что в июле 1826 года некий шпион Бошняк под видом странствующего ботаника отправился в Псковскую губернию разузнать о поведении ссыльного Пушкина, о его опасных стихах и разговорах. Только что закончилось следствие над декабристами, и Пушкин был у властей на большом подозрении.

Я слушаю с трудом. В голове полный туман. Но о поездке Бошняка ведь много уже сказано, написано, пытаюсь возразить я, какая тут новость?

«Да, – соглашается Тоник. – Тут новости нет. Известно и то, что, сидя за крепкой наливкой с игуменом Ионой, Бошняк не узнал о Пушкине ничего его порочащего. Самым опасным с точки зрения правительства было свидетельство, что Пушкин иногда ездит верхом, а приехав, приказывает отпустить лошадь одну, говоря, что "всякое животное имеет право на свободу"».

Это смешно. Я пытаюсь рассмеяться, но меня тут же бьет дикий кашель.

Тоник ждет, пока кашель утихнет.

«Ты слушаешь?» – спрашивает он. «Да, да, – говорю я. – Я слушаю». Мне трудно, я задыхаюсь, но я слушаю. Мне становится интересно.

«Известно, – продолжает Тоник, – что, вернувшись, Бошняк подал генералу Витту рапорт. При нем он возвратил полученный им при отъезде из канцелярии царя "оставшийся без употребления открытый лист за № 1273". До сих пор этот "открытый лист" никто не видел. Ни в одном архиве обнаружен он не был». Тоник придвигает стул поближе к моей кровати и сообщает: «Сегодня я его нашел. Час назад».

«Сегодня?» – «Да, в Центральном военно-историческом архиве».

Голова у меня продолжает раскалываться, но мне уже не до того. «Почему в военном?» – спрашиваю я. «В том-то и дело», – смеется Тоник. Пушкинские архивы искали где угодно, но только не здесь. Какое отношение, казалось бы, имел Пушкин к военному ведомству? Но Российская империя – государство военное, в фонде бывшего главного штаба или канцелярии военного министра вдруг находятся документы о разливе Невы или

о пьяной драке. Да и шпион Бошняк связан с военным ведомством. И Натан отправляется в военный архив. Здесь ему попадает в руки папка, названная «Дело о разных сведениях, собранных коллежским советником Бошняком в С.-Петербургской, Псковской, Витебской, Смоленской губерниях на 25 листах. Начато 8 августа 1826 г., кончено 15 декабря 1826 г.».

«Соблазнительное название, не находишь?» – спрашивает Тоник. Еще бы! Те самые места и то же самое время. Я уже не лежу пластом, я пытаюсь сидеть, опершись на подушку. Его увлечение передается и мне.

Первый же документ в папке назван «Открытое предписание № 1273...» «Тот самый номер, помнишь?» – Тоник открывает свою тетрадь и читает только что переписанный в архиве текст: «Предъявитель сего... отправлен по высочайшему повелению Государя императора для взятия и доставления по назначению, в случае надобности при опечатании и zabrании бумаг одного чиновника, в Псковской губернии находящегося, о коем имеет объявить при самом его арестовании...»

«Ты понимаешь, – говорит он. – Это же ордер на арест Пушкина. Если бы Бошняк счел поведение его предосудительным, поэта бы скрутили и тут же взяли под стражу. Вот повеление самого императора. Пушкин был, можно сказать, на волоске от крепости».

Я понимаю. Я понимаю, что до сегодняшнего дня это можно было предполагать, имелось множество косвенных подтверждений, но документ, прямо на это указывающий, стал известен нам только сегодня, час назад. Тоник узнал о нем и по дороге из архива заехал мне рассказать. Ему не терпелось поделиться.

Он смеется, и я смеюсь. Документ найден совсем невеселый, но нам весело оттого, что в руках Натана оказалась редчайшая находка. Чудо!

«Тоник, – говорю я, – по-моему, мне здорово полегчало. Дай-ка я поставлю градусник».

Температура – 36,6. Впервые за несколько дней.

История эта у нас называлась: «Как доктор Крелин не смог меня вылечить от тяжелого гриппа, а историк Эйдельман взялся и вылечил».

Унизительно!

Недавно, в апреле 2003 года, в газете «День литературы» была напечатана переписка двух литераторов – Андрея Мальгина и Сергея Есина. Оба они печалились о том, что стоит лишь проявить некоторое инакомыслие, как тут же тебя без всякого повода окрестят антисемитом. А какие они антисемиты? Мальгин даже уверял, что, не будучи евреем, «животных антисемитов» он «не переваривает с детства». Правда, тут же огорчился: «разгромив НТВ и еще кого-то в еврейском лагере, Путин не создал никакого идеологического бастиона для подлинных государственников, для настоящих патриотов». Убежденный же неантисемит Есин, которому «до черти-

ков надоело говорить о евреях» и который «с удовольствием не знал бы о них», ему вторил: «процентное соотношение евреев-литераторов... чудовищно по отношению к русским. Мы что, хуже пишем?» И с тоской вспоминал, что когда-то в журнале «Юность» он «стоял всегда во вторую очередь и проходил только тогда, когда проходили все свои». Ну, словом, обыкновенные инакомыслящие – что с них взять.

Так вот, среди прочего Мальгин рассказывает, как в свое время он сильно пострадал из-за Эйдельмана. Вспоминает редакционную летучку в «Литературной газете», где обсуждалась его статья об Эйдельмане. В ней он «доказательно», по его словам, назвал Эйдельмана «плагиатором». «Зная, что по поводу Эйдельмана меня будут бить, – продолжает он, – я взял с собой на летучку целую папку дополнительных материалов. Меня втоптали в грязь шестьдесят эйдельманов, сидевших в зале... я понял, что никому не интересна суть вопроса. И я им сказал с трибуны фразу, из-за которой меня выгнали с работы... Я сказал в сердцах: "Вот вы всегда так, слышите только одно: "Наших бьют)".

Мальгин врет. Врет беспардонно. Дело в том, что, работая в «Литературной газете», я был на той самой летучке и отлично помню всю позорную историю с его статьей, громившей книгу Натана «Большой Жанно».

Статью эту я увидел еще в верстке. Прочел ее. Злобный разнос. Создавалось впечатление, что Мальгин, готовя свой материал, выполнял чей-то влиятельный заказ. Позже стало ясно: действительно, статья эта, как и некоторые другие публикации в «Литгазете», должна была помешать выдвижению Натана Эйдельмана на Государственную премию.

Впрочем, квалифицированно справиться с поставленной задачей Мальгин не сумел. Статья его была вопиюще безграмотна. Имена исторических персонажей, даты, фактические обстоятельства – все было перевернуто, перепутано.

Прочтя полосу, я позвонил Натану. «Любопытно, – сказал он, – захвати полоску, вечером я приеду».

Проглядев текст, Натан возмутился. Нет, не руганью в свой адрес, она его не тронула, он возмутился фантастическим количеством ошибок. «Ну, какой неуч!» – вздохнул он и... стал править материал. Весь вечер он приводил поносящую его статью в божеский вид.

Удивительно, но мне это показалось тогда совершенно нормальным. Уж не знаю, что на меня повлияло, может быть, ввевшаяся профессиональная привычка при виде ляпов тут же хвататься за карандаш.

Однако когда Натан уехал, я подумал: идиоты, что мы делаем? Почему мы помогаем злопыхателю, исправляем его огрехи, прячем его безграмотность? Пусть читатель видит, как он дремуч.

Я позвонил Натану. Но он не согласился. «Понимаешь, – сказал, – тогда я не смогу публично ему возразить. Ловить его на незнании, тыкать носом в его ошибки – мелко и унизительно. Если я решу с ним спорить, то разговор надо вести по сути, принципиально и без дураков. Нельзя терять лицо».

Слова, которые я от Натана слышал с ранней юности.

Я попытался было отговорить заместителя главного редактора «Литгазеты» Изюмова печатать безграмотный материал, но Изюмов возразил: «Я видел полосу, ошибки, кажется, уже исправлены?» Что я мог ответить? Видно, начальство имело на этот счет твердую установку.

А на той летучке я, конечно, рассказал, как Эйдельман приводил в порядок носящую его статью, выгребал из нее все нелепицы. Очень смеялись. И выгнали из редакции Мальгина, разумеется, отнюдь не «шестьдесят эйдельманов» (что они могли тогда, в начале восьмидесятых?) и не за мнимую его смелость на летучке. Просто в какой-то момент в нем разочаровалось редакционное начальство, делавшее на него свою ставку. Как говорилось тогда, не оправдал оказанного ему доверия. Однако виноватыми оказались, естественно, евреи.

Впоследствии, когда, рассказывая об Эйдельмане, я приводил этот случай, люди недоуменно пожимали плечами: «Помочь злопыхателю тебя же и поносить, улучшить направленную против тебя статью – это, знаете ли, уже слишком. Такого не требует даже христианское непротивление злу». Но Эйдельман так поступил отнюдь не ради христианского милосердия. Когда чьи-нибудь слова или поступки вызывали у него гнев, резкое неприятие (речь в таких случаях не шла о причиненной лично ему обиде, дело касалось всегда вещей общих, принципиальных), то выступал он смело и яростно, не щадя ни оппонента, ни самого себя. Его резкие отповеди, бывало, причиняли ему немало неприятностей. Однако мелочные придирки, мелочное сведение счетов, ловля блох – ему претили. Самоуважение, чувство собственного достоинства, которые были в нем очень сильно развиты, не позволяли ему вместо спора опускаться до мелких разборок. «Унижительно!» – сказал он мне.

Об отце

Месяца за два до смерти Натан позвонил мне, сказал, что находится рядом и сейчас зайдет. Придя, рассказал, что художник Борис Жутовский составляет альбом рисунков, сделанных в лагерях осужденными. Отца Тоника там тоже нарисовали, и Жутовский берет этот рисунок в альбом. Но должен быть какой-то текст, и Тоник написал о своем отце. Если хотим, он нам с женой сейчас прочтет.

Те несколько страниц, что он нам тогда читал, вызвали у меня какое-то особое, щемящее чувство. Он не просто рассказывал другим о своем отце, казалось, он торопился сказать ему самому все, что не успел и, может быть, уже не успеет сказать в этой жизни.

Мы сели ужинать. И вдруг, уж не знаю почему, я стал говорить Тонику, как я его люблю.

Жена моя очень удивилась. Такой тон у нас не был принят. В ходу бы-

ла, скорее, мальчишеская грубоватость. От Тоника так и не отлипло до конца дней его старинное, школьное прозвище Гусь.

Но в тот вечер он сказал мне: «Нет, ты говори, говори...»

Чокнувшись, мы выпили в память об его отце. Тоник настаивал, что за мертвых нужно пить, чокаясь, как за живых. «Может, они там сейчас тоже пьют за нас?»

В эту пору Натан с женой Юлей собирались в Швейцарию, уже были куплены билеты. Но чувствовал он себя отвратительно, скакало давление, все время ему было жарко, постоянно просил открыть окно. Однако к врачам не шел. В поликлинику Юля его залучила обманом, сказала, что болит сердце и ей надо сделать кардиограмму. Анатолий Исаевич Бурштейн, прекрасный врач и наш большой приятель, предложил Тонику: «Может, и вам заодно сделаем?» А поглядев его кардиограмму, велел: «Срочно, срочно в больницу, никаких отговорок» – и созвонился с приемным покоем.

Но в больнице произошла какая-то неразбериха. Эйдельмана долго не брали. Потом он длинным подземным коридором шел из одного помещения в другое...

Уже вечером мне позвонил Крелин. Спросил, на каком этаже в той больнице лежит моя жена, – ей тогда предстояло удаление желчного пузыря. «Понимаешь, – сказал он, – Тоника туда положили. Не знаю, может быть, разовьется инфаркт».

Особой опасности я почему-то не почувствовал. Мелькнула даже мысль: если Тоника признают ходячим, жене до операции будет с ним веселей.

А ранним утром меня разбудил телефонный звонок. Я посмотрел на часы: жена? почему так рано? В трубке, однако, слышалось какое-то всхлипывание, я не сразу и разобрал, чей голос. Потом понял: звонит Юля. Услышал: «Умер Тоник».

Через час мы с Крелиным были у нее. Что Тоника нет, по-настоящему еще до меня не доходило. Надо было срочно что-то делать, решать... Где организовать прощание, в Большом или Малом зале Дома литераторов? Если в Большом и он будет полупуст, это ужасно. Значит, решили мы, в Малом. (Потом окажется, что и Большой не вместил бы всех, пришедших проститься с Эйдельманом. А радио «Свобода» передаст, что власти намеренно выделили для панихиды Малый зал, мстили покойному.) Кто будет вести панихиду? Положено, чтобы то был какой-нибудь литературный начальник. Но кто из них достоин стоять у гроба Тоника? Мы сошлись на том, что попросить надо члена правления ЦДЛ, киносценариста Якова Ароновича Костюковского. Его участие не оскорбит памяти Натана.

Потом там же, в ЦДЛ, были поминки. Опять говорили речи. Я никого и ничего не запомнил. Помню только чьи-то слова: «Надо привыкать жить без Натана».

Привыкнуть к этому я не могу до сих пор.

В самых непростых ситуациях Натан Эйдельман любил повторять, что пессимистом быть пошло. А когда кто-нибудь из нас доказывал, что даже сейчас, в благословенные перестроечные времена, жизнь полна ситуаций, которые удручают, порождают разочарования, он говорил: «А что вы хотите? Будут и откаты, и отступления, и возвращения назад. История развивается по спирали».

Умер Натан в ноябре 1989-го, когда появлялись уже первые признаки будущих трагедий. В последнюю его осень мы собрались вместе поехать в Абхазию, в Пицунду. Но перед самым нашим отъездом он сказал, что нет, не поедет, не может. Там уже взялись за оружие, вот-вот прольется большая кровь. Я возразил: «Какое это имеет к нам отношение? В Пицунде все тихо и спокойно». Он рассердился: «Ты ничего не понял. Разве дело в том, что там опасно? Я не могу расслабленно греться на пляже, когда где-то неподалеку гибнут люди».

Проживи он еще несколько лет, и сердце его не раз бы еще сжималось от боли. И причины для того были бы уж куда крупнее, глобальнее.

Только убеждению своему, что пессимистом быть пошло, я уверен, он не изменил бы никогда. Ни при каких обстоятельствах.

Как бы научиться всегда следовать этому мудрому эйдельмановскому правилу?





Грета Ионкис

«СПОР О ЕВРЕЙСКИХ КНИГАХ» КАК ПРОЛОГ К РЕФОРМАЦИИ

Тот, кто бывал в Кёльне, наверняка знает маленькую улочку, притаившуюся под сенью его «дымных громад», то бишь Собора. Её выразительное название «У жирной курочки» заставляет сердца чревоугодников биться сильнее. Между тем жирная курочка, заботливая наседка, прячущая цыплят под крыльями, – это эмблема вовсе не ресторанчика, а старейшей в городе печатной мастерской, которая возникла здесь на исходе XV века, на заре гуттенберговой эры.

В типографии печатались не только церковные, но и светские книги. Неудобные, заподозренные в ереси сжигались на кострах, которые раскладывали по соседству, на соборной площади. Это были настоящие действия, организуемые инквизицией. Память об этих аутодафе была жива ещё в XVIII веке, и юный Фридрих Шиллер, сочиняя в Карлсшуле по ночам «Разбойников», заверял доверенных друзей, что пишет такую книгу, которая непременно будет сожжена палачом.

Перенесёмся на пятьсот лет назад в Кёльн. Предположительно, именно «У жирной курочки» печатались сочинения, положившие начало яростному длительному спору между церковниками и первыми немецкими гуманистами, спору, который получил название «спора о еврейских книгах». В

Грета Ионкис – филолог, профессор, доктор хабилитат, специалист по истории мировой литературы, автор десятков книг, научных и научно-популярных статей, эссе и комментариев, лауреат конкурса сетевой литературы «Art-Lito 2000» в номинации non-fiction. Живет в Германии.

1507 году крестившийся еврей Пфефферкорн, человек с темным прошлым, но претендующий на ученость, выступил с обличениями своих бывших единоверцев. Ох уж эти неопиты-отступники, желающие быть святее папы римского! За три года он опубликовал в Нюрнберге и Кёльне пять антиеврейских памфлетов, латинские переводы которых, выполненные доминиканцами, злейшими врагами евреев, распространялись в католическом мире. Пфефферкорн требовал запрета «позорного» ростовщичества и ...еврейских религиозных книг. Он ссылаясь на прецедент: в Париже в XIII веке Талмуд был объявлен вредной для христиан книгой и повсеместно сжигался. Поддержанный монашеским орденом доминиканцев Кёльна, он добился в 1509 году от императора Максимилиана мандата на повсеместное изъятие талмудической и каббалистской литературы якобы с целью проверки, не содержит ли она чего антихристианского. В случае обнаружения крамолы, изъятые книги подлежали сожжению. Судьба их была предreshена.

Книгоборец начал с Франкфурта. Евреи города, которых именем императора принудили выдать бесценные древние свитки и манускрипты, а также печатные книги, стоившие больших денег, обратились к архиепископу Майнца Уриэлю Гиммингену с жалобой. Уриэль Гимминген был человеком просвещённым. Ещё в бытность свою деканом-настоятелем собора в Вормсе он подружился с тамошним епископом Иоганном фон Дальбергом, которого называли немецким Лоренцо Медичи. Оба были истинными людьми Возрождения, заря которого занялась намного раньше в Италии, оба поддерживали гуманистов. К тому же по традиции именно архиепископу Майнца, имперскому канцлеру, надлежало опекать евреев Священной Римской империи германской нации, заниматься их жалобами. Гимминген доверял иудеям, судя по тому, что лечил его немолодой еврей доктор Липпман. Он-то и представил своему господину ходатая по делу франкфуртских евреев Йосельмана из Росхайма, который поведал архиепископу обо всём, что творил с еврейскими книгами недоучка Пфефферкорн. Однако недоучка вооружен императорским мандатом, потому даже человеку с таким положением, как Гимминген, следует действовать осмотрительно. Он не станет просить императора аннулировать мандат, он попросит привлечь в качестве эксперта самого сведущего в гебраистике человека – имперского советника Ройхлина.

Доктор Иоганн Ройхлин – известный правовед (он был имперским судьёй Швабской лиги), но прежде всего выдающийся филолог и теолог, получивший блестящее образование в Париже и Базеле. Он – гебраист высокого класса, самый значительный авторитет в этой области. В те времена даже древнегреческий язык изучали лишь немногие, а обращение к древнееврейскому было чем-то из ряда вон выходящим. Пример Ройхлина едва ли не уникален для Германии.

Архиепископ Майнца воззвал к императору, отметив недостаточную подготовленность Пфефферкорна как эксперта. Последовал высочайший указ об учреждении комиссии, которая должна была решить судьбу еврейс-

ких книг. В комиссию вошли богословы Майнцского, Кёльнского, Эрфуртского и Гейдельбергского университетов. Иоганн Ройхлин был профессором в Гейдельберге.

Рабби Йосельману удалось встретиться с Ройхлином и заручиться его согласием выступить в споре экспертом прежде, чем к нему явился Пфефферкорн. Что услышал рабби в ответ на свои жалобы? «Я не друг евреев, но я друг ваших писаний, поклонник замечательного каббалистического учения, но выше всего я почитаю божественный язык, именуемый ивритом. Язык евреев прост, чист, свят, краток и прям. Им говорил Бог с Моисеем с глазу на глаз; на нём говорил Бог с пророками без посредников; на нём беседуют со смертными ангелы. На этом языке всемогущий Бог беседовал с Моисеем, не с помощью шепчущих деревьев, не звуками пещеры Тифона, не знаменьями додонского священного дуба или дельфийского оракула, но как друг беседует с другом».

Йосельман покидал дом Ройхлина успокоенным: если император назначит этого мудрого учёного экспертом, священные книги евреев будут спасены. Он не ошибся в своих ожиданиях. Ройхлин категорически восстал против сожжения еврейских книг. Автор грамматики и словаря древнееврейского языка, он энергично защищал почитаемые им писания, указывал на значение еврейских книг для развития человеческой мысли и самого христианства, ссылаясь на то, что даже языческие авторы не уничтожаются, их книги переводятся и изучаются. Его отзыв содержал и такое положение: «Иудаизм как религия не представляет никакой опасности или угрозы христианству. То, что они не признают Христа, так это их вера, и никто не вправе поносить их за это».

Пфефферкорн обрушился на него в памфлете «Ручное зеркало» (1511), обвинил в невежестве и договорился до того, что ученый муж якобы подкуплен евреями. Против Ройхлина, «этого старого грешника и поклонника этих лживых евреев», активно выступили магистры теологии Кёльнского университета Арнольд Торнгский, Ортуин Граций и инквизитор города Кёльна Якоб фон Хохстратен. Ройхлин ответил на их нападки резкой брошюрой «Зеркало глаз» (1511), в которой перечислил 34 ошибочных или заведомо ложных суждения, а то и просто подтасовок своих оппонентов. Кёльнские церковники приговорили брошюру к сожжению. Он отвечает обскурантам новой брошюрой «Защита против кёльнских клеветников» (1513), где называет их не только архиклеветниками, но и фальсификаторами. Ройхлина потребовали к суду как еретика.

Известие о предстоящем суде над Ройхлином взволновало гуманистов Европы. Многочисленные сочувственные письма, полученные от культурных и государственных деятелей, мыслящих по-новому, Ройхлин напечатал в виде сборника «Письма знаменитых людей» (1514). А следом появилась настоящая боевая сатира против кёльнских схоластов и обскурантов — «Письма тёмных людей». Они были написаны в виде пародии: Ройхлину адресовались известные интеллектуалы, а Ортуину Грацию якобы писали

«тёмные» (*obscuri viri*), т. е. неизвестные и невежественные авторы. В сатире использовался прием саморазоблачения, а главным предметом критики стали алчность и продажность католического духовенства, его бытовое разложение. «Письма тёмных людей» вышли в двух частях анонимно. Предполагается, что первая книга (1515) была написана Кротом Рубеаном, магистром из Эрфурта, а вторая (1517) – его учеником, молодым гуманистом, известным поэтом-рыцарем Ульрихом фон Гуттенем. В защиту Ройхлина выступил и Эразм Роттердамский, уроженец Нидерландов, преподававший в ту пору в Базеле и тесно связанный с культурным миром Германии. К тому времени уже увидела свет его знаменитая сатира «Похвала глупости» (1511). Вся образованная Европа внимала ему с почтением. Но и противников у Ройхлина было много, в том числе и богословы факультетов в Левене, Кёльне, Майнце, Эрфурте и Париже. Однако на стороне Ройхлина оказались архиепископ Майнца, император и даже сам папа. Еврейские книги были спасены.

В диспут о еврейских книгах оказались втянутыми все образованные люди Европы. «Теперь весь мир разделился на две партии – одни за глупцов, другие за Ройхлина», – писал немецкий гуманист Муциан Руф. Не напоминает ли это тебе, мой читатель, ситуацию более близкую нам по времени? Разумеется, конец XIX века, дело Дрейфуса... Оно тоже поделило Францию и Европу на два лагеря. И опять еврей подал повод к противостоянию. Вот уж правда, не дают евреи другим народам застояться!

Всеобщая дискуссия, начавшаяся в Кёльне в 1507 году, продолжалась десять лет. Дело разбиралось Латеранским собором в 1516 году и решено было в пользу Ройхлина. Хотя спор вёлся вокруг еврейских книг, это не был спор антисемитов и филосемитов. Это был спор внутри католической церкви, можно сказать, перефразируя Пушкина, «домашний, старый спор», «семейная вражда», кончившаяся в XVI веке расколом, отпадением протестантизма. Во время спора о еврейских книгах остро встал вопрос о свободе мнений и свободе исследований, а это уже предвещало всякие реформы. В этом смысле роль Ройхлина невозможно переоценить, тем более что он практически выиграл дело. После победы Ройхлина Лютер смог начать Реформацию. Лютер, который в 1507 году только был посвящен в сан священника, а в 1512 году уже стал доктором теологии в Виттенбергском университете, понимал значение этой победы, хотя сам к кругу гуманистов не примыкал.

Казалось, можно ставить точку. Однако нечто важное осталось недоговоренным. Почему судьба священных еврейских книг вызвала такой яростный спор в Германии? Позиция гуманиста Ройхлина понятна: в нем говорил учёный-гебраист. Все эти годы он не только полемизировал с Пфедеркорном и иже с ним, но продолжал свои изыскания. Его «*Rudimenta Hebraica*» (1506) служила ключом к пониманию Библии. Кто хочет основательно постичь основы христианского вероучения, просто обязан, по его мнению, знать древнееврейский. Не случайно Лютер не расставался с кни-

гой Ройхлина, когда работал над переводом Библии. Но Ройхлина влекла не только Библия. Он был знатоком и приверженцем Каббалы. Познакомившись в 1485 году с графом Пико делла Мирандола, который, будучи моложе его на семь лет, слыл настоящим полиглотом, блестящим эрудитом, искателем новых путей в философии и теологии, Ройхлин через него приобщился к еврейской каббалистике.

Во Флоренции при покровительстве правителя Лоренцо Медичи, или Лоренцо Великолепного, расцвела Платоновская академия – вольное общество, нечто среднее между поэтическим клубом, научным семинаром и религиозной сектой. Платона здесь почитали наряду с Христом. Члены академии, среди них Пико, стремились к более чистой, внутренней религии как всеобщей основе человечества, что предвещает некоторые аспекты Реформации. Пико до бесконечности расширял горизонты философии и религии. Он почитал священные книги евреев. А в Каббале он «находил не только учение о числах, магию и астрологию, но и доказательство христианского вероучения, включая учение о троичности божества, о боговоплощении и о самом Христе» (А. Лосев). Пико отмечал сходство многих идей неоплатоников и Каббалы. На Пико делла Мирандола станет ссылаться эксперт Ройхлин в своём ответе императору, когда решалась судьба еврейских книг на Рейне. Пико познакомил Ройхлина с тремя важнейшими книгами: Йецир, Зогар и Бахир. Немецкий гебраист погружается в их изучение. В 1498 году он вновь едет в Рим, где старается каждую свободную минуту посвятить изучению древнееврейского языка и литературы. Его учителем был известный толкователь Пятикнижия рабби Овадий Сфорно, и платил он ему за урок золотой гульден, баснословные деньги по тем временам. Спустя двадцать лет Ройхлин выпускает в 1517 году труд «Искусство каббалистики», который посвящает папе Льву X, желая склонить его на свою сторону. Ройхлин способствовал распространению каббалистики, справедливо усматривая её близость мистическим учениям, развившимся в эту пору в Германии. Он полагал, что христианство найдёт в каббалистике надёжного союзника. Ройхлин первым ввел изучение древнееврейского языка в университете. Но поддержавшие его гуманисты не занимались гебраистикой. Чем руководствовались они? Почему судьба еврейских книг была им безразлична? И что двигало их противниками – вышеназванными церковниками и стоящими за ними прелатами Ватикана, только ли примитивный антисемитизм? Вот и подошли мы к сути дела.

Всем известно, что Библию немцам дал Лютер (время работы над переводом: 1522–1534). Неужели до него никто не пытался перевести Ветхий и Новый завет на немецкий? В курсе лекций по литературе эпохи Возрождения моего учителя, профессора Б. И. Пуришева, изданном в 1996 году, нахожу нужные сведения: между 1466 и 1518 гг. вышло 14 переводов Библии на верхненемецком языке, с 1480 по 1522 г. – 4 издания на нижненемецком. Итак, переводили и до Лютера. А задумывались ли вы, с какого языка переводил Лютер Библию? Все его предшественники пользовались Вульга-

той, переводом Нового завета на латинский, выполненным св. Иеронимом, переводом, который считался в церковных кругах непогрешимым. Ветхий завет существовал в переводе на греческий, он был выполнен в III–II вв. до н. э., это знаменитая Септуагинта. Первым нарушил традицию Эразм Роттердамский, который в 1517 году предпринял издание греческого текста Евангелия с его новым латинским переводом, указав в комментариях на многочисленные ошибки и произвольные добавления в Вульгате. Филологическая критика «священной книги» подрывала доверие к её многовековому официальному истолкованию.

Лютер пошёл дальше: он обратился к древнееврейскому оригиналу, помогая себе греческими и латинскими переводами. Его познания в древнееврейском были не очень глубоки, а потому в работе ему помогал его друг, ученик и сподвижник Филипп Меланхтон, любимый племянник Ройхлина, воспитывавшийся в доме основателя немецкой гебраистики. Рим не простил Лютеру обращения к древнееврейскому тексту. Не прощали ему, видимо, этого, но совершенно по иной причине и ревнители советской идеологии. В прекрасном учебнике М. П. Алексеева и В. М. Жирмунского по литературе западно-европейского средневековья и Возрождения, изданном в 1947 году и четырежды переиздававшемся (последний раз в 1987), сведений о том, с какого языка переводил Лютер Библию, вы не найдёте. Не потому что авторы этого не знали, просто само слово «еврей» стало у нас на родине табуированным. Дм. Мережковский, писавший свою книгу о Лютере в 1937–39 гг. на Западе, не упоминает о древнееврейском источнике лютеровской Библии, поскольку там с победой нацистов подобные упоминания оказались неуместными и даже опасными.

Вопрос, с какого языка переводил Библию Лютер, который может кому-то показаться частным, был, тем не менее, принципиальным. Потому-то с такой страстью нападали на Ройхлина сторонники сожжения еврейских книг. Ведь одновременно с их уничтожением было бы покончено с еврейским языком, а затем, глядишь, и «еврейский вопрос» был бы снят вообще. Ведь само существование «божьего народа», хранящего уже столько веков свою святыню, являлось своего рода вызовом церкви св. Петра, глава которой, объявленный наместником Бога на земле, не имел никакой власти над этими жестоковейными иудеями.

Взглянем на существо дела глазами Генриха Гейне, для чего откроем его известный очерк «К истории религии и философии в Германии» (1834): «Знание еврейского языка было совершенно утрачено в христианском мире. Только евреи, втихомолку гнездившиеся там и сям в уголках этого мира, сохранили ещё знание этого языка. Подобно призраку, охраняющему доверенное ему некогда при жизни сокровище, этот умерщвляемый народ, этот народ-призрак сидел по своим мрачным гетто и хранил там еврейскую библию; и в эти проклятые трущобы тайком спускались немецкие ученые, чтобы извлечь сокровище, чтобы овладеть знанием еврейского языка. (Таким ученым был и доктор Ройхлин. – Г. И.) Когда католическое духовенст-

во почувало, что ему с этой стороны грозит опасность, что этим окольным путём народ может добраться до истинного слова Божьего и разоблачить подлоги Рима, — то оно оказалось не прочь вытравить всё еврейское наследие; предположено было уничтожить все еврейские книги, и на Рейне началось преследование книг».

Таким образом, уже на заре эпохи Возрождения в Германии пересеклись судьбы еврейства и германского народа. Благодаря еврейской Книге стала возможна Лютерова Библия. Спасение же еврейских книг, которым мы обязаны бесстрашному немцу Иоганну Ройхлину, означало сохранение еврейского языка, языка Книги. Лютер и Реформация в свою очередь дали Книге новую жизнь. Генрих Гейне указывает на заслуги протестантизма в деле «открытия» и распространения Библии, и с ним нельзя не согласиться.

Меланхтон, имя которого носит ныне теологическая академия Кёльна, сподвижник великого реформатора, что не помешало ему осудить крайности позднего Лютера и «изменить» учителю с Эразмом Роттердамским, унаследовал от своего дяди и воспитателя Ройхлина приверженность Каббале. Последователем Ройхлина был Хайнрих Корнелиус Агриппа фон Неттесхайм из Кёльна, автор сочинения «О тайной философии», которое он посвятил памяти создателя «христианской Каббалы», Ройхлина. Влияние каббалистики испытал на себе и великий мистик XVII столетия Якоб Бёме, которого Гегель назвал первым немецким философом. Таким образом, еврейская мудрость явилась одним из источников немецкой философии, в том числе и религиозной.

Правозащитник из Росхайма: рабби Йосельман

Время на сломе веков, порубежье, обычно чревато всякого рода потрясениями. Период, на который пришёлся «спор о еврейских книгах», не исключение. Для евреев наступили лихие времена. Судите сами. Вот документ, сохранившийся в архиве эльзасского города Кольмар (ныне во Франции), подписанный императором Максимилианом 25 апреля 1510 года, и в нём значится следующее: «Предупреждаем всех евреев и евреек, проживающих ныне в Кольмаре, что настоящим мы разрешаем любезному нам бургомистру изгнать всех евреев, которые до сих пор проживали здесь, в самый короткий срок и не разрешаем им когда-либо вернуться. Ежели когда-либо вам доведётся посетить Кольмар по торговым делам, ваша верхняя одежда должна быть помечена жёлтым кругом, а тот, кто не подчинится приказу, понесёт наказание». Обычно маркграфы и бургомистры не согласовывали с императором своих действий по отношению к презренным иудеям, судьба этих париев была полностью в их власти. Курфюрст Бранденбурга Иоахим I из рода Гогенцоллернов сжег на рыночной площади Берлина 38 евреев, а остальных изгнал из своих владений. Случилось это в то самое время, когда евреи Кольмара с детьми, стариками и нехитрым

скарбом тащились по просёлочным дорогам в поисках пристанища. Медленно движется колесо истории по германской земле, приближаясь к 1933 году. Проходят столетия, а отношение к евреям мало меняется...

А ведь было время – период раннего средневековья, – относительно благополучное для евреев. Карл Великий и его преемники, как и первые саксонские короли благоволили к ним. При Каролингах (X–XI вв.) возникли крупные еврейские поселения в «епископских» городах Меце, Трире, Кёльне, Вормсе, Майнце, Шпеере, Регенсбурге, Магдебурге и Мерзебурге со своим общинным самоуправлением. К епископам, своим непосредственным хозяевам (епископы в то время совмещали религиозную и светскую власть, а нередко были и военачальниками), и к императорам евреи относились с признательностью. Враждебность к евреям проявляли народные низы, возбуждаемые чаще всего низшим духовенством, в то время как князья, епископы, короли, императоры и папы обычно покровительствовали евреям и защищали их, поскольку нуждались в них. Грамота Генриха IV о привилегиях евреям Шпеера составила основу средневекового европейского законодательства о евреях. Однако эти грамоты не смогли оградить их от бесчинств крестоносцев, которые до завоевания Гроба Господня не прочь были истребить неверных в Европе.

«Как испуганное стадо овец, ожидая нападения хищника, сбивается в кучу, так и еврейство, видя себя среди врагов и ежедневно опасаясь взрыва народных страстей, всё более отдалялось от враждебной среды и замыкалось в сфере своих национальных интересов», – так объясняет ситуацию видный историк Дубнов. Евреи стали искать защиты у императоров за соответствующее вознаграждение. То, что давалось остальным гражданам по закону, евреи получали в виде «привилегии» (своего рода охранной грамоты) императора.

Последние Гогенштауфены, Генрих VI и Фридрих II, и впрямь защищали евреев, но в период «междоусобицы» (середина XIII в.) начались погромы и гонения, повторялись обвинения в ритуальных убийствах. В XIV веке положение не изменилось к лучшему. «Чёрная смерть», чума, виновниками которой были объявлены евреи, вызвала неслыханные зверства. Но если в этом веке травля исходила снизу, то в XV веке её организовывали власть предержащие. Евреи были изгнаны из Кёльна, Аугсбурга, Саксонии, Баварии, Бранденбурга, Бамберга, Шпеера, Майнца, Ульма, Бреславля. Всё это были крупные центры еврейской жизни. Но всех превзошли размахом гонений «католические короли» Испании, Фердинанд и Изабелла, ополчившиеся против евреев в 1492 году. И в XVI веке в Германии евреев убивают, но чаще изгоняют из многих городов. Императорские эдикты об изгнании появились и в Нюрнберге, и в Вюртемберге, и в Регенсбурге...

Это довольно-таки длинное историческое отступление понадобилось, чтобы показать, в какое время и при каких обстоятельствах Йосельман из Росхайма принял на себя нелёгкое бремя быть ходатаем перед властями по делам гонимых и преследуемых евреев, быть их защитником, а то и спаси-

телем. Да и нам, шагнувшим в XXI век, полезно знать, как непросто складывалась жизнь евреев в Германии в далёкие от нас времена. Ох, уж эти уроки истории...

Наречённый именем Иосифа, Йосель бен Гершон Лоанц стал как бы восприемником своего библейского тёзки. Служение еврейству Йосельман начал с участия в «споре о еврейских книгах». В эту пору ему было тридцать, и занимался он финансовой деятельностью, имея активную помощницу в лице жены, которой чем дальше, тем больше приходилось заниматься делами мужа, поскольку его общественное служение поглощало все его силы и время. Рабби Йосельман принадлежал к семье известных талмудистов и каббалистов, из недр которой (по материнской линии) вышел когда-то Раши, великий комментатор Торы и Талмуда. Отец Йосельмана осел в Эльзасе, и его первенец родился в Росхайме. Их родственник был личным врачом императора Фридриха III, ему доверял и Максимилиан I. Очевидно, это облегчило рабби доступ ко двору.

Рабби Йосельман оказался по своим делам в имперском городе Франкфурт как раз в тот момент, когда прозелит Пфефферкорн начал там своё чёрное дело: стал реквизиловать еврейские свитки и книги. Евреи Франкфурта растерялись, не зная, как быть: то ли попытаться откупиться от злодея (тот потребовал неслыханную сумму – 100 тысяч талеров), то ли обратиться с жалобой к императору в Зальцбург. Это ныне на экспрессе «Иоганн Штраус» от Франкфурта до австрийского Зальцбурга рукой подать. А тогда путь был не близкий. Пока доберётся ходатай до места, пока добьётся приёма (и примут ли?), глядишь – книги окажутся в костре. И тут рабби Йосельман подаёт соплеменникам спасительную идею – обратиться к архиепископу Майнца, тем более что Пфефферкорн в своём рвении уже добрался до его владений, реквизиловал еврейские книги в местечке Визенау. Это хороший предлог осадить ретивого наглеца. Задача состояла ещё и в том, чтобы опередить противника и предстать пред архиепископом до того, как Пфефферкорн успеет оболгать евреев.

Удача сопутствовала Йосельману. Его визиты к архиепископу Майнца и к известному гебраисту Ройхлину, включенному в экспертную комиссию императора по решению вопроса о еврейских книгах, оказались успешными. Добровольный ходатай по делам евреев радовался, узнав, что Ройхлин не обманул его ожиданий. И в самом деле, отзыв Ройхлина был написан со страстью. В дневнике рабби Йосельман запишет, что стал свидетелем настоящего чуда: нееврей отстаивал еврейские книги и притом столь вдохновенно и убедительно!

Но кроме Ройхлина высказались ещё семеро. Неважно, что они повторяли лживые измышления Пфефферкорна, неважно, что они были невеждами в гебраистике. Их было семеро! К тому же на их стороне оказалась любимая сестра императора Кунигунда Баварская. И рабби Йосельман собирается в путь-дорогу, он решает ехать в Зальцбург добиваться аудиенции у императора.

Император Максимилиан I почитался одним из величайших правителей из дома Габсбургов. Он был настоящим рыцарем, своевольным, амбициозным, склонным к рискованным приключениям и фантастическим прожектам. Рассказывают, что в Мюнхене он вошел в клетку ко льву и открыл ему пасть, а в Ульме забрался на самую высокую башню собора и балансировал на железной перекладине, стоя на одной ноге. При этом он был человеком живого ума и огромного честолюбия. Он никогда не забывал о своей главной миссии римского императора германской нации. Он мечтал о лаврах Цезаря, хотел быть достойным потомком Карла Великого. Он жаждал выкинуть турок из Европы и под своей эгидой восстановить старую Византийскую империю. Он первым заключил союз с Россией, рассчитывая на её мощь в своих далеко идущих планах. В своих мечтах он видел себя папой римским. Письмо своей единственной дочери Маргарет, регентше Нидерландов, от 18.09.1511 он подписывает: «Твой отец Максимилиан, будущий папа». Стань он папой, Максимилиан реформировал бы церковь. Идеи коренной, радикальной Реформации носились в воздухе, и он не был глух к ним. Вот каков был человек, перед которым предстал рабби Йосельман, ибо он сумел добиться аудиенции.

Выслушав еврея, его императорское величество повелело канцлеру огласить результаты «экспертизы». Увы! Большинство высказалось за сожжение книг, а воле большинства надлежит подчиняться. И тут Йосельман испросил разрешения рассказать одну историю. Это была притча о короле, сын которого очень опасно заболел. Король собрал сотню старейших и уважаемых людей города, среди которых были купцы, законники, художники, ремесленники и один-единственный доктор. Девяносто девять из собравшихся сочли нужным пустить кровь больному, лишь доктор посоветовал довериться природе, которая поможет больному организму исцелиться. Король не принял сторону большинства, а последовал совету того, кто остался в одиночестве, но зато был специалистом. И королевский сын выздоровел.

Выдержав небольшую паузу, ходатай продолжил: «Имперский советник Иоганн Ройхлин, единственный человек во всей Германии, кроме евреев, сведущ в иврите. Лишь его мнение заслуживает доверия».

— А мнение Ройхлина сводится к тому, — подхватывает канцлер, — что отцы церкви многое почерпнули из еврейских книг при толковании священного Писания. Глупцы полагают, что сейчас еврейские книги без надобности, поскольку всю премудрость из них уже якобы извлекли. Тот, кто заявляет, что прекрасно обойдётся и так, напоминает человека, который готов обойтись летним нарядом зимой лишь потому, что у него попросту нет тёплой одежды.

— Прекрасно! Узнаю своего храброго умницу Ройхлина!

Прежде чем отпустить просителя, император пожелал узнать, действительно ли Талмуд содержит такие ужасные вещи, о которых твердят доминиканцы и Пфэфферкорн. Его интересовало, как Талмуд толкует вечное спасение, только ли евреи его достигнут или...

Ответ о том, что, по Талмуду, вечное спасение ждёт всех добродетельных людей, кто верует в единого Бога, творит добро и не делает зла своим собратьям, обескуражил, но и удовлетворил императора: «Клянусь Богом, наша церковь утверждает то же самое! Как подумаешь, что большинство ждёт впереди вечное проклятие...»

Последний вопрос к Йосельману прозвучал еретически: «Скажи мне, почему маги и чародеи имеют власть над злыми духами, в то время как честный человек не может ничего добиться от ангелов?»

Йосельман напомнил императору о том, что тот ведь был однажды спасён ангелом от смерти на скалистом уступе в Тироле. Максимилиан рассмеялся и ответил, что спас его не ангел, а охотник, которому он за то пожаловал дворянство.

– Ваше величество, у евреев ангела называют *малах*, или посланец. Это была милость Божия послать охотника, чтобы спасти Вас, так что охотник был ангелом Бога, посланником Божественного провидения.

Мысль о том, что на нём почиет милость Божия, произвела впечатление на императора, но ещё более поразило то, что этот пришлый еврей так просто и ясно объяснил случившееся и говорил так уверенно, будто ему была ведома воля Божия.

«Не будь он евреем, сделал бы я его канцлером», – подумал Максимилиан и распорядился подготовить указ о возвращении священных книг евреям. На следующий день вместе с указом Йосельман получил мандат, удостоверявший, что он назначается попечителем и руководителем всего немецкого еврейства.

Облечённый властью, Йосельман попытался создать сплоченную организацию германских евреев. Он разделил их на десять групп согласно десяти округам империи. Руководство организации находилось во Франкфурте. Так что не стоит удивляться, что и сегодня Совет еврейских общин Германии заседает именно в этом городе: традиция! Дважды в год округа должны были посылать во Франкфурт своих представителей для обсуждения общих дел. В 1530 году рабби Йосельман представит рейхстагу в Аугсбурге свои «Уложение и правила», регулирующие жизнь евреев Германии, но это время – впереди.

Сокрушительное поражение разъярило не только Пффефферкорна, но и тех, кто стоял за ним, – кёльнских доминиканцев. Они обрушились на Ройхлина как на спасителя Талмуда. Вот тогда и появился их памфлет «Ручное зеркало», ответ на него Ройхлина, а затем подоспели и «Письма». Ройхлин отважно сражался с обскурантами. Но и рабби Йосельман не сидел сложа руки. Книги были спасены, но вместе с императорским мандатом он принял на себя бремя ответственности за свой народ. В его помощи и защите нуждались многие евреи. Вступаясь за них, он наживал могущественных врагов. К тому же щупальца Пффефферкорна тянулись не только к Ройхлину, но и к нему.

Бургомистр Оберенхайма Якоб Брант, затаивший злобу на Йосельмана

из-за его успешного заступничества за незаконно брошенных в темницу евреев, а фактически за вмешательство в его епархию, охотно пошёл на союз с Пффефферкорном и, арестовав рабби Йосельмана, посадил его на хлеб и воду, лишив воздуха и света. В ту пору не только князья и маркграфы, но и бургомистры вели себя достаточно вольно и независимо. Якоб Брант повёл себя так, будто императорский мандат ему не указ. А между тем слух об аресте рабби Йосельмана ширился и не достиг слуха императора лишь потому, что двор в ту пору не находился в каком-то постоянном месте, а то и дело переезжал, и лишь немногие знали, где находится Максимилиан в данный момент. Двоюродный брат бургомистра, прославленный автор «Корабля дураков» Себастьян Брант, поспешил из Страсбурга в Оберенхайм, чтобы предостеречь родственника, перегнувшего палку. Рабби Йосельман был освобождён, а Пффефферкорн вернулся в Кёльн ни с чем, а точнее – с носом.

Но в январе 1514 года внезапно умирает сорокапятилетний архиепископ Майнца, и евреи лишаются друга и заступника. Претендентов на вакантное место было немало, но далеко не все способны были выполнить два условия: выплатить Риму из своего кармана 20 000 золотых гульденов и изгнать евреев из Майнца и всех соседних земель (это требование было выдвинуто доминиканцами Кёльна). В марте 1514 года архиепископом стал молодой маркграф Альберт Бранденбургский из рода Гогенцоллернов. Братья Гогенцоллерны были верными сынами церкви: один из них был деканом Бамберга, другой – каноником Вюрцбурга, да и сам Альберт, несмотря на молодость, уже был архиепископом Магдебурга.

Вступив в должность, архиепископ Альберт должен был выполнить взятые на себя обязательства. Не испытывая ненависти или личной неприязни к евреям, он, тем не менее, рассылает письма соседям, призывая их начать повсеместное изгнание. Уже в январе 1516 года во Франкфурте-на-Майне собрался съезд князей, где было принято решение о высылке. Лишь Фулда и Хессе-Хану, к их чести, отказались изгонять своих евреев, даром что в Фулде в XIII в. состоялся первый в Германии процесс по обвинению евреев в использовании христианской крови в ритуальных целях. Чтобы компенсировать утрату денег (изгнанные евреи ведь не станут платить налоги, которые существенно подпитывали казну), было решено активизировать торговлю индульгенциями, которой занимались доминиканцы.

Вот тут-то не стерпел Лютер и прибил на двери собора в Виттенберге свои знаменитые Тезисы, положившие начало Реформации. На дворе стоял октябрь 1517 года. К этому времени «спор о еврейских книгах» закончился. Усилия немецкого гуманиста Иоганна Ройхлина, рабби Йосельмана из Росхайма и иже с ними увенчались победой. Можно и точку поставить. Дальше начинается Реформация, породившая Крестьянскую войну. Для евреев это было трудное время. Не успели они порадоваться тому, что удалось отбить у врагов священные книги, как само их существование в Германии оказалось под угрозой.

Что же рабби Йосельман? Его миссия не закончилась. Мы коснёмся лишь самых важных его деяний. Он понимал, что жаловаться императору бесполезно: хотя Максимилиан и изменил своё отношение к евреям, он не станет ради них ссориться с князьями, тем более сейчас, когда он постарел и более всего озабочен, в чьи руки попадёт его империя. Он хотел бы передать корону внуку Карлу, недавно унаследовавшему испанский престол, однако необходимо одобрение князей. Пожалованный званием «имперского ходатая по делам евреев», Йосельман знает: есть лишь один выход — ехать в Майнц. И вновь Йосельман в пути. На этот раз Пффефферкорн успел его опередить, но это не помогло интригану. Он вручил новому архиепископу свой очередной памфлет «Позорное зеркало», где вновь атаковал Ройхлина и евреев. Он требовал максимально унижить последних: не убивать, но отнять всё имущество и заставить выполнять самые грязные работы — чистить улицы и отхожие места, детей их следует у родителей забирать и насильственно крестить. Прочитав памфлет, архиепископ бросил его в огонь камина и передал Пффефферкорну свой приказ: немедленно покинуть город и его владения, в противном случае автора постигнет судьба его клеветнического сочинения.

Йосельману стало известно, чем закончилась аудиенция его врага, и в сердце его затеплился огонёк надежды. Однако его слёзные просьбы снизить к несчастным евреям, не лишать их убежища, не превращать достойных благочестивых людей в нищих бродяг, не поколебали решения князя церкви, поскольку он связан словом: принимая свой сан, он обязался выполнить два условия, одно из них — изгнание евреев. Проницательный Йосельман понял, что ответ властителя не уловка, к тому же он не почувствовал ненависти к евреям в душе молодого архиепископа. А потому он решился рассказать о том, как принимал его император, как обещал он своё покровительство евреям. Эти слова заставили Альберта задуматься.

— Ты умный человек, Йосельман, я вижу, что дела твоих собратьев в надёжных руках. Поезжай к императору! Если Максимилиан запретит мне и моим соседям изгонять евреев, я повинуюсь ему. Пойми, мне нужен приказ, не рекомендации, не совет, только приказ императора может освободить меня от данного слова. Успеха тебе!

В империи не было постоянной императорской резиденции, и, находясь в пределах империи, Максимилиан вместе со своим двором переезжал с места на место. В тот момент император находился в Регенсбурге.

Бог не покинул рабби Йосельмана, и спустя десять дней он предстал пред светлые очи государя. Максимилиан вспомнил их беседу шестилетней давности. Император знал, что привело к нему этого еврея из Росхайма, который ничего не просил для себя, а только для своих единоверцев. Этот благородный душой и мудрый человек ему симпатичен, но сейчас не время поддаваться эмоциям, не время ссориться с князьями. Йосельман тоже понимал, о чём думает Максимилиан, что его заботит. И он, как бы отвечая на мысль, гложущую собеседника, рассказывает ему библейскую

историю сыновей Исаака, близнецов Эсава и Иакова. Хотя Эсав считался первенцем, хоть отец предпочитал его Иакову, всемогущий Бог распорядился так, что благословение Авраама и отца своего Исаака получил Иаков. «И не от расположения князей, а лишь от воли всемогущего Бога зависит, будет ли корона германской империи возложена на голову Вашего внука или нет».

Поскольку император хранил молчание, Йосельман продолжил: «Ваше величество, я бы не беспокоил Вас, если бы архиепископ Майнца, милостиво выслушавший меня, не обещал прекратить изгнание евреев при условии, что он получит от Вас соответствующий приказ».

Когда рабби Йосельман появился во Франкфурте с письмом-приказом за подписью императора, евреи города целовали ему руки. Помимо письма архиепископу Майнца, он получил ещё один документ. Это было письмо императора внуку Карлу, королю Испании, в котором император Максимилиан подтверждал, что еврей Йосель из Росхайма был назначен им попечителем и патроном евреев Германии, характеризовал его как человека умного, честного, благородного и благочестивого и просил внука, если он станет императором, утвердить это назначение и быть милостивым господином и защитником евреев в немецких землях.

Ещё в 1514 году император написал письмо о защите евреев, проживающих в Германии, но оно не получало огласки вплоть до 1518 года, потому известие о письме, которое привёз рабби Йосельман за подписью императора, наполнило сердца эльзасских евреев ликованием. Однако радость была недолгой: в январе 1519 года Максимилиан умер, и в июне во Франкфурте князья избрали его внука Карла V. Евреи не знали, чего им ждать от юного монарха. Он родился в Генте, его матерью была единственная дочь «католических королей» Испании, Фердинанда и Изабеллы, которые в 1492 году обрушились на евреев. Карл рано лишился отца, но и материнской ласки не знал – его мать Хуана была душевнобольной. Он рос в Нидерландах, тётка Маргарита, дочь Максимилиана, воспитывала Карла и его сестёр в духе бургундской культуры. Наставником и учителем его был Адриан Флорент, будущий папа Адриан VI, первый немец на папском престоле. Карлу было шестнадцать, когда умер его дед с материнской стороны Фердинанд Арагонский и он унаследовал испанскую корону. К этому времени он уже свободно знал семь языков. Ему предстояло стать «католическим королём».

После смерти Максимилиана и до прибытия Карла страной управлял в качестве регента Хименес, кардинал-архиепископ Толедо и великий инквизитор. Он был широко известен как преследователь марранов, крестившихся евреев, но втайне сохранявших верность вере предков. Великие инквизиторы ежегодно сжигали тысячи людей. Евреи обратились с петицией к юному королю, обещая выплатить 800 000 дукатов, если прекратятся преследования, но он оставил её без внимания. Зато разрешил инквизиции начать свою «деятельность» в Нидерландах. Воодушевлённые доминиканцы отправили депутацию к новому императору, требуя следовать примеру его предков Фердинанда и Изабеллы, – сжигать еретиков (они имели в виду

прежде всего Мартина Лютера, чьи сочинения уже пылали перед Кёльнским собором) и изгнать евреев из Германии.

Не дожидаясь высочайшего повеления, власти Регенсбурга, еврейская община которого была одной из старейших и известных в Германии, отдали приказ об изгнании евреев. Несчастных погрузили в лодки, и они двинулись вниз по Дунаю. Судьба их была печальна. (Лишь семейству Ауэрбах, пользовавшемуся покровительством короля Баварии, дозволено было остаться.) Эта страшная новость наполнила еврейские сердца трепетом и отчаянием, зато Пффефферкорн ликовал.

Что делать? Ехать в Испанию? Но там с 1499 года действует закон: еврей, осмелившийся ступить на испанскую землю, будет предан смерти. С риском для жизни Йосельман и раввин Мозес Коэн из Франкфурта, переодевшись в платье богатых немецких горожан, весной 1520 года появляются на улицах Мадрида. Они смогли добиться высочайшей аудиенции и вручили императору Карлу V письмо его покойного царственного деда. Император намеревается прибыть в Германию в начале следующего года и обещает на месте во всём разобраться. Такой же ответ получили и доминиканцы, которые жаждали к прибытию императора очистить Германию от евреев. Их зловещие планы будут реализованы спустя четыре столетия: при Гитлере Германия станет judenfrei.

На исходе 1520 года Карл V въехал в Аахен, где и был коронован. В январе 1521 года открылся всегерманский рейхстаг в Вормсе под председательством молодого императора. Сейчас его помнят потому, что туда в марте был приглашён Лютер, от которого требовали отречения от «еретических» идей. Он предстал перед собранием в апреле, его речи произвели огромное впечатление на императора и князей, особенно последние слова: «Нет, я не могу и не хочу отречься ни от чего, потому что небезопасно и нехорошо делать что-либо против совести. Вот здесь я стою; я не могу иначе. Мне нечего добавить. Бог да поможет мне! Аминь».

Рейхстаг осудил Лютера как еретика. Но Йосельман, присутствовавший в рейхстаге (ведь он был не простой еврей, а облечённый по воле двух императоров особыми полномочиями), внимал ему с некоторой надеждой. И действительно, этот монах-августинец, а затем доктор теологии и профессор Виттенбергского университета, сражавшийся с папистами-доминиканцами, поднимет голос в защиту евреев. Сразу после посещения Вормса он засядет за брошюру «Иисус Христос родился евреем». Он опубликует её в 1523 году. Лютер надеется привлечь евреев к своей вере, но, убедившись в тщетности ожиданий, он спустя двадцать лет обрушится на них с яростью, превосходящей всё, что они претерпели ранее, станет их хулителем и гонителем. И Йосельману придётся защищать евреев от Лютера, но прежде ему надо защитить их от восставших крестьян во время кровавой вахханалии Крестьянской войны. Время это не за горами.

А пока что Йосельман получил новую грамоту, подтверждающую его полномочия, и присягнул императору в присутствии вице-канцлера Цигле-

ра и архиепископа Альберта Майнцского. Император гарантировал спокойную жизнь евреям Оберенхайма, сместив губернатора-самодура Бранта. Здесь же, в Вормсе, во время сейма окончательно рухнула карьера интригана Пфефферкорна. Эти победы могли бы тешить самолюбие любого, кто столько от них претерпел, но рабби Йосельман был выше сведения счётов. Да и жизнь то и дело подбрасывала ему и его народу такие испытания, что проделки Пфефферкорна начинали казаться безделицей. Рабби Йосельман не отступал.

Среди множества его многотрудных деяний на благо немецких евреев участие в Аугсбургском рейхстаге 1530 года по значимости заслуживает особого разговора. Император Карл V после девятилетнего отсутствия явился в Германию как триумфатор: его короновал папа как императора Священной Римской империи германской нации, в битве при Павии он победил французского короля Франциска I, принудив его заключить мир с папой, он подавил волнения в Испании, его конквистадоры завоевали Перу и Мексику. Ныне перед ним стояли две главные задачи: определиться с лютеранством и готовиться к крестовому походу против турок, которые чувствуют себя хозяевами на Дунае и чуть ли не штурмуют Вену.

Между тем недруги евреев распространили клеветнические слухи в народе о сотрудничестве евреев с турками. Понимая всю опасность этого навета, рабби Йосельман отправился к императору в Инсбрук для объяснения. В его дневнике имеется скупая запись о том, что Карл V подтвердил все прежние привилегии евреев. А в мае 1530 года появился эдикт, в котором говорилось, что все свободы и права, дарованные им евреям при короновании в Аахене, он подтверждает ныне как римский кайзер. Но этим дело не кончилось.

За три месяца до открытия рейхстага в Аугсбурге появилось антиеврейское по замыслу сочинение выкреста Антония Маргариты, в котором он толковал и комментировал еврейские молитвы и обряды. Оно вызвало такой интерес, что через месяц вышло второе издание. Автор оказался врагом куда опаснее невежественного Пфефферкорна. Он происходил из семьи талмудистов, его отец был раввином Регенсбурга, и его познания в иудаике были основательны. Однако в своих трактовках Маргарита повторял христианских теологов, пользовался их оружием и, переведя на немецкий язык еврейские молитвы, стал доказывать, что евреи изо дня в день, поутру, вечером и в полдень молят своего Бога, чтобы он искоренил Священную Римскую империю германской нации, уничтожил христианских пастырей и императорский дом, чтобы «кровь христианская обагрила стены». Маргарита предлагал евреям опровергнуть его обвинения, вызывал их на спор.

Когда императору стало известно о книге, он решил, что спор поведёт имперский еврей Йосельман из Росхайма. В Испании публичные диспуты между еврейскими раввинами и пастырями церкви стали делом привычным, но в Германии это было нечто новое. Йосельман попал в щекотливое положение. Он не получил философского образования, не был профессио-

нальным раввином, тем не менее отступить было невозможно, и он принял вызов. Йосельман поставил условие: если он выиграет спор, его оппонент должен навсегда покинуть Аугсбург.

25 июня 1530 года в присутствии кайзера, множества князей и знати Йосельман убедительно и доказательно оспорил три положения своего оппонента: что евреи поносили Христа и христианство, что они «искали и завлекали прозелитов» и побуждали их уничтожать правителей, которым они прежде служили.

Убедительная победа рабби Йосельмана письменно зафиксирована свидетелями – вице-канцлером Маттиасом Хельдом и д-ром Брандтом – и отмечена в записях аугсбургского магистрата. Косвенное тому доказательство – отъезд Маргариты в Майсен, а затем в Лейпциг. Главное же – Йосельману удалось провалить проект выселения евреев из Богемии и Венгрии.

Чтобы устранить упреки в адрес евреев в том, что они нечестно ведут дела, обманывая «простодушных немцев», Йосельман вызвал в Аугсбург еврейских представителей от округов и принял совместное постановление-регламент, состоящее из десяти пунктов, относительно принципов еврейской коммерческой морали. Это постановление было внесено в официальные документы рейхстага. Его копия до сих пор хранится в архивах Страсбурга. За десятью пунктами «Уложения» следовало заключение: «Я и мои единоверцы, уполномоченные евреями, обещаем и обязуемся исполнять эти правила, если только правители, князья и бургомистры будут делать со своей стороны всё возможное, чтобы мы жили спокойно в местах проживания, чтобы нам не грозили изгнанием и предоставили свободу переезда с места на место, беспрепятственную торговлю и не измышляли бы против нас обвинений в убийствах и пролитии крови. Ибо и мы люди, созданные всемогущим Богом, чтобы жить на земле рядом с вами».

В результате 12 августа 1530 года Карл подтвердил привилегии, дарованные евреям столетием ранее императором Сигизмундом, которые гарантировали им личную неприкосновенность, свободу вероисповедания, занятие кредитными операциями и свободу передвижения. Если бы эти гарантии соблюдались! Жизненные реалии оказывались иными, и Йосельману приходилось метаться из Брабанта в Инсбрук, из Праги в Аугсбург, из Регенсбурга в Ансбах, где судьба еврейских общин каждый раз висела на волоске. Как пишет Л. Поляков, «он виртуозно владел двумя основными аргументами, к которым с тех пор всегда прибегали его последователи: защитительные речи морального и богословского характера и умело раздаваемые дары».

Реформация и её последствия негативно сказались на положении евреев Германии. Подчас трудно было предположить, откуда придёт беда. В 1534 году в Мюнстере захватила власть воинственная апокалиптическая секта. Анабаптисты (или «перекрещенцы») объявили, что Христос возвращается на землю, чтобы установить царство справедливости. Лидер восставших Иоанн Лейденский объявил себя Мессией и царем Нового Израи-

ля. Мюнстер переименовали в Новый Иерусалим. Переименовали все улицы. Население обязано было принять новое крещение, сопротивлявшихся убивали. Выжившие стали называть друг друга «братья» и «сестры». Все имущество и съестные припасы были обобщены, деньги отменены. Все книги, кроме Ветхого завета, были сожжены перед кафедральным собором. После краткого периода аскетизма установилась полигамия, многоженство. Город выдерживал осаду почти полтора года, живя по законам «военного коммунизма». За это время его обитатели прошли ускоренно весь исторический цикл – от всеобщего равенства до тоталитарного режима. Это был настоящий Апокалипсис. Евреи были в нём неповинны, но восставшие продемонстрировали «близость» Ветхому завету, потому тень их иступлённых бесчинств легла на евреев.

Одновременно в Богемии реформаторы проявили настолько глубокую приверженность Ветхому завету, что некоторые стали даже переходить в иудаизм, праздновать субботу (саббатянцы, или субботники – не путать их с движением сторонников лже-Мессии Саббата Цеви, которое имело место в XVII в.), а кое-кто сделал обрезание. Слухи о том дошли до Лютера и привели его в негодование, он разразился «Посланием против саббатянцев». Накануне этих событий рабби Йосельман пытался искать у Лютера защиты и обратился к нему с просьбой воспрепятствовать изгнанию евреев из Саксонии. В 1536 году Йосельман не знал, что позиции Лютера по отношению к евреям кардинально изменились. В своём ответном письме Лютер писал, что его сердце по-прежнему открыто евреям, но он всё больше в них разочаровывается, поскольку они упорствуют в своих заблуждениях и не хотят принять его учение. А в 1539 году он признал своё поражение: обратить евреев не удалось даже Иисусу Христу, не то что ему, Мартину Лютеру. В 1542 году Лютер публикует исполненный ярости и гнева памфлет «Против евреев и их лжи», а спустя несколько месяцев – издательский «Шем Гамфораш». Несдержанный на язык, Лютер здесь презошёл самого себя в нападках на евреев.

«Поистине он сделал нашу жизнь крайне опасной», – записал рабби Йосельман в своём дневнике. Он был проницателен, этот мудрый имперский еврей, но ему и в страшном сне не могло привидеться, чем обернутся антиеврейские писания Лютера в XX веке, как страшно они аукнутся, какую зловещую роль сыграют в судьбе европейского еврейства при нацистском режиме.

Отпущенные ему годы рабби Йосельман истово служил своим единоверцам. Он не ждал ни от кого благодарности. Он жил в согласии со своей совестью и деятельной натурой. Людская память недолговечна: могила его затерялась. Но имя этого народного заступника время сохранило и донесло до нас.



Юрий Колкер

ДИССИДЕНТ ПО-БРИТАНСКИ

Стоит произнести: Грэм Грин, и мы оказываемся перед вопросом. Этот вопрос возник сразу, как только к Грину пришел успех, сопутствовал писателю всю жизнь, разрастаясь вместе с успехом, и по сей день остается первым, что приходит на ум в связи с Грином. Этот вопрос не только Грина касается, а вводит нас в сердцевину важнейшего литературоведческого спора современности. В самом упрощенном виде он звучит так: может ли в наше время высокая проза быть занимательной, а большой писатель – популярным, то есть коммерческим? Отчетливо помню, как после смерти Грина (он умер третьего апреля в 1991 года, в городе Веве – швейцарском курорте на берегу Женевского озера) все опять кинулись спорить – и столько всего наговорили!

Если от упрощения отказаться и вопрос развернуть, то придется еще и вот что спросить: нужен ли (и возможен ли) реалистический психологический роман в эпоху психологии и психоанализа? Не исчерпал ли себя этот жанр с его пиком в XIX веке, после Толстого и Достоевского?

ГДЕ И КОГДА

Грэм Генри Грин родился третьего октября 1904 года в городке Баркемстэд, графство Хардфордшир, в семье директора местной школы. В этой школе он и учился. Приходилось ему несладко. Положение вынуждало его к двойной лояльности – к шпионажу и в пользу дирекции, и в пользу однокашников. (Потом он убедится: писательство соприродно предательству.

Юрий Колкер – кандидат физ.-мат. наук, поэт, критик и публицист. Автор множества статей и книг стихов («Послесловие», «Антивенок», «Завет и тяжба», «Ветилуя»). Живет в Англии.

И скажет: «В сердце писателя упрятан кусок льда».) Не удивительно, что из школы он, в конце концов, сбежал. Его отловили с признаками психического расстройства, с самоубийственными настроениями (позже он признавался, что играл в «русскую рулетку»: приставлял к виску револьвер, в барабане которого был один патрон) и отправили в Лондон – к психоаналитику, у которого будущий писатель жил во время лечения. Затем Грин учился на историка в Оксфорде, в Бэллиольском колледже, курса не окончил, в 1925 году напечатал сборник стихов под названием «Лопочущий апрель», а в 1926 году перешел в католицизм – под влиянием Вивьен Дэйрел-Браунинг, на которой женился через год, то есть в возрасте 23 лет.

С 1926-го по 1930-й год Грин работал помощником редактора лондонской газеты «Таймс». Первый роман «Внутренний человек» вышел в 1929-м и был отмечен знатоками. Грин уходит из «Таймса», в основном – на вольные журналистские хлеба. Какое-то время работал литературным редактором журнала «Спектейтор», главным же образом писал рецензии, преимущественно – на кинофильмы. Следующие три десятилетия он разъезжает по планете в качестве журналиста-внештатника.

Первый экранизированный роман – «Поезд идет в Стамбул» – появляется в 1932-м. Его, и последующие три романа, сам писатель определяет как вещи развлекательные – и этим словно бы отгораживается от большой литературы. Ставка на успех у читателя оправдалась: Грин делается популярен.

Дальше идут романы уже просто знаменитые: «Третий», «Брайтонский леденец» (поначалу переведенный в России как «Брайтонский утес»), «Власть и слава» (название тоже переведено на русский неверно – как «Сила и слава»; заметим, что знаменитая цитата из Фрэнсиса Бэкона, давшая название московскому журналу «Знание – сила», переведена с тем же характерным искажением; правильный перевод – «Знание – власть»), «Суть дела», «Тихий американец», «Наш человек в Гаване», «Комедианты»... Всего Грин написал 26 романов (десять из которых экранизированы), десять пьес, множество рассказов и очерков.

Жил Грин в последние годы на юге Франции, в Антибе, между Ниццей и Каннами, – можно сказать, в добровольном изгнании, почти в эмиграции, ибо не ладил с британским истеблишментом. Но была и другая причина. Он рано расстался с женой – и, будучи католиком, не мог жениться вторично. В Антибе его удерживала многолетняя привязанность к Ивон Клоэта, во всем – если забыть о церковном благословении – подобная супружеству. «Только любовь, – говорил Грин, выворачивая наизнанку расхожую мудрость, – сообщает близости полноту...»

РОМАНЫ

Грина прочли во всем мире, и запомнился он именно романами. Действие первых происходит на родине, в Англии. Действие последующих Грин

переносит в страны третьего мира, находящиеся на пороге политических катастроф. Возникает так называемая Гринландия – совокупность горячих, неблагополучных точек планеты, воссозданных писательским воображением. Особенность этих романов в том, что мировое зло присутствует в них как ясно ощутимая деятельная сила, а герои, сломленные жизнью люди, находятся в тяжелейших нравственных тупиках. Неизбывная греховность мира и человека, человек в непрекращающейся борьбе с собою, святость грешника, плут, умирающий как герой, – вот тема Грина. Его всегда и везде и в первую очередь интересует «внутренний человек» в трагических пограничных ситуациях и – на авансцене истории. Недаром своей эпитафией Грин хотел видеть стихи из «Апологии епископа Блаугрэма» Роберта Браунинга:

Our interest's on the dangerous edge of things.
The honest thief, the tender murderer,
The superstitious atheist, demirep
That loves and saves her soul in new French books...

«Нас интересует все пограничное, опасное: честный вор, нежный убийца, суеверный атеист, женщина новых французских романов, которая любит – и всё-таки спасает свою душу...»

Гринландия сообщает человеческим трагедиям планетарный размах, превращает прозу Грина в своего рода золотое сечение эпохи, исследуемой художественными средствами.

Святость грешника в романе «Суть дела» (который многие считают лучшим произведением Грина) навлекла на автора проскрипцию Ватикана (и гнев другого писателя-католика, Ивлиана Во). Позже отношения Грина с Ватиканом смягчились. Следующий наместник святого Петра, папа Павел IV (1963–1978), признал, что прочел книгу Грина с наслаждением, и добавил, что хотя она всегда будет оскорблять чувства некоторых католиков, автору не следует обращать на это внимания.

Любовь у Грина всегда греховна, мучительна, а грех – притягателен. «Вожделение всё неимоверно упрощает» (читай: снимает все проблемы и совести, и религии) – вот еще одно из его знаменитых и характерных высказываний. Его герои-мужчины, даже самые безнадежные, ведут себя очень по-мужски, женщины – очень по-женски. Герой и героиня не ищут мистического слияния друг с другом, как в иных романах русских классиков. Они – в жестком и очень западном противостоянии. Разрыв угадывается в контексте повествования как обещание свободы, как свет в конце туннеля...

Грин верил, что быть писателем предназначено ему свыше. Он задавал вопрос: «Как могут жить и помнить о смерти люди, которые не пишут?» Он говорил, что никогда не дожидался вдохновения – иначе просто не написал бы ни строки.

Разумеется, Грин – пессимист. Но пессимизм его – не кафкианский, он часто оставляет место надежде, согрет сознанием того, что мир велик, а бу-

дущее непредсказуемо. Как теплый живой сумрак на потемневших полотнах старых мастеров, он словно уводит нас в иное измерение.

ДИССИДЕНТ

Всю жизнь Грин был диссидентом – и на очень английский лад. Католик в Великобритании – всегда диссидент, отщепенец, подозреваемый в неблагонадежности. На протяжении десятилетий на острове всерьез обсуждался вопрос: может ли католик быть истинным британским патриотом? Ответа нет и сегодня.

В какой мере Грин был религиозен? В значительной, если судить по его романам и высказываниям. Верил в загробную жизнь, в чистилище. Не верил в ад и сатану. Сомневался во многом. Понимал, что сомнение плодотворно. О теперешнем наместнике св. Петра папе Иоанне-Павле II говорил: «Не думаю, чтобы у него были сомнения. Не думаю, чтобы он сомневался в своей непогрешимости...» В 1926-м, при крещении в католичество, он взял имя Томас – не в честь Фомы Аквинского, как можно было бы подумать, а – в память Фомы неверующего, первого диссидента в христианстве.

Диссидентство, бунтарство – было у него в крови, распространялось на всё установившееся, на всякий истеблишмент, а есть ли что-либо более установившееся, чем римская церковь? «Я – католический агностик», – твердил он. С годами агностицизм чувствовался в нем всё сильнее, а католицизм – всё слабее. Он всё больше смущался неблагими проявлениями Творца.

Был Грин диссидентом и в другом смысле: как многие европейские интеллектуалы, заигрывал с левыми, какое-то время даже состоял в коммунистической партии. В годы становления Гринландии коммунизм представляется ему такой мистической воинствующей церковью будущего. «Коммунисты виновны в тягчайших преступлениях, – говорит герой романа «Комедианты», – но они, по крайней мере, не стояли в стороне, как преуспевающие и ко всему равнодушные обыватели. Я предпочитаю видеть на своих руках кровь, а не воду, которой умыл руки Пилат...» Подход до боли знакомый, романтический и жестоко-наивный.

Та же политическая наивность подогревала антиамериканизм Грина, побуждала его брататься с Фиделем Кастро, с панамским диктатором Омаром Торрихос-Эррерой, с сандинистским правителем Никарагуа Даниэлем Ортегой.

С кремлевским большевизмом Грин тоже заигрывал – и его охотно переводили в советской России. Он дружил со знаменитым советским агентом в Британии Кимом Филби, закончившим свои дни в Москве. Сам Грин агентом Кремля не был, наоборот, в годы войны служил в британской разведке. О тайной деятельности Филби ничего не знал. Для него Филби оставался коллегой и приятелем. Зато Филби кое-что извлекал из этого приятельства. В военные годы он направлял деятельность Грина из Лондона, а

Грин передавал ему секретную информацию, между делом раздобытую им в тогдашнем английском протекторате Сьерра-Леоне (где разворачивается действие «Сути дела»). Когда Филби стал перебежчиком, Грин – под неодобренные возгласы соотечественников – написал хвалебное предисловие к его мемуарам «Моя безмолвная война» и всегда впоследствии защищал Филби. «Он сражался за идею, в которую верил. Продажен не был. Что до лжи, то кто в политике не лжет? Возьмите хоть Рейгана...»

Лишь дело Даниэля и Синявского в 1966 году приоткрыло Грину глаза на природу советского режима. Западный человек, он не понимал, как можно посадить в тюрьму за книгу, просил советские издательства отчислять причитающиеся ему гонорары женам посаженных, натолкнулся на советскую стену – и прекратил печататься в СССР.

РАЗНОГОЛОСИЦА

Что же говорили о Грине британцы в год его смерти? Оберон Во, друг Грина, сын писателя Ивлиана Во, назвал Грина «последним из гигантов недавнего прошлого». Нобелевский лауреат Уильям Голдинг сказал, что романы Грина – одно из вершинных достижений литературы. Кингсли Эмис полагал, что Грин велик не только в своих романах, но и в рассказах – сочетание не частое.

Джон Ле Карре назвал себя учеником Грина.

Но и самые щедрые похвалы сопровождались оговорками. То и дело слышалось: Грин – всё-таки отчасти газетный борзописец, проданся голливудской маммоне...

Анита Брукнер считала, что Грин – этаким британский Франсуа Мориак, что он остался в своей эпохе, весь принадлежит 1930–40-м. Очень по-советски журила его за пессимизм. Автор «Механического апельсина» Энтони Берджесс упрекал Грина в нехватке панорамного охвата современного мира. Подчеркивал: слишком уж он был популярен, слишком кинематографичен, прибегал к избитым приемам.

Среди русских (а в России Грина знали все, кто вообще читал) в хоре похвал и восторгов прозвучали слова о том, что Грин неисправимо старомоден, да и психологический роман устарел, не соответствует духу века, является пережитком.

АНТИНОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

Грин был так популярен, получил столько наград и премий, что в их списке просто бросалось в глаза отсутствие Нобелевской. Как она могла обойти такого писателя? А вот как: шведский академик, поэт и романист Артур Лундквист заявил, что «этот детективный автор» (так он определял Грина)

получит премию только через его, Лундквиста, труп. Труп не случилось. Точнее, он случился через два месяца: Лундквист умер в декабре того же 1991 года, словно бы выполнив свое земное предназначение. Смерть его прошла незамеченной. Есть опасения, что в историю литературы этот лауреат международной *Ленинской премии* (1958) войдет только в связи с Грином.

В Америке Грина ценил не только Голливуд. Непростые отношения с Вашингтоном (в 1954-м государственный департамент не позволил Грину, противнику вьетнамской войны, арендовать участок земли в американском протекторате Пуэрто-Рико) не помешали в 1961 году Американскому институту искусств и словесности назвать британца своим почетным членом. Позже Грин слагает с себя это отличие, но дорожит другими международными наградами и почестями. Гамбург присуждает ему Шекспировскую премию, университеты Эдинбурга, Оксфорда и Москвы – звание почетного доктора, Франция – Орден Почетного легиона, а Бэллиольский колледж Оксфорда (Грином не оконченный) – почетное членство.

ПОСИЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Итак: кто же перед нами? Был ли Грэм Грин велик? *Daily Telegraph* в 1991 году писала, что до Толстого и Джойса он не дотягивает.

Произнесем и мы свои посильные соображения. До Толстого – не знаем. Уж больно монументален яснополянский старец в нашем русском сознании. Что до Джойса, то тут мы опять возвращаемся к вопросу: чем должна быть художественная проза? Ответов два. Один – в духе Лундквиста и университетских филологов, в духе эстетической левизны. Нас поучают с кафедры, что в основе добротной прозы должен лежать филологический изыск, а не занимательность. Нужно что-то новенькое и душещипательное. Нужен прогресс. В других-то областях прогресс есть, значит, и в искусстве он должен быть. Так сказать, *excelsior*: всё выше и выше. Куда там до нас Шекспирам да Шиллерам! Они наивны.

Другой ответ – в духе, решусь вымолвить, здравого смысла. Изыск и новизна сами по себе никакой эстетической ценностью не обладают. Проза должна быть увлекательной, психологичной, кинематографичной. Даже детективный элемент – не беда. Первым детективным писателем был как-никак Достоевский. Подлинная и непреходящая новизна – в индивидуальности писателя, в том, что он не только увидел мир по-своему, но и создал, и нам показал это свое неевклидово пространство.

Прогресс в искусстве – вздор. Ему просто неоткуда взяться. В ходе столетий человек даже умнее не становится, не то что крупнее. Наоборот, мы мельчаем. Чем нас больше на этой планете, тем меньше неповторимого в каждом из нас, тем меньше отпущено нам земли, воздуха и души. Наш генофонд – слабый, разбавленный нуклеотидный бульон в сравнении с генофондом древних. Искусства сходят на нет, умирают (см. Хосе Ортегу-и-Га-

сета и Владимира Вейдле). Повзрослевшему человечеству они нужны всё меньше и меньше. Уже одно то, что мы ждем от искусства новизны, – свидетельство нашего душевного и духовного обнищания. В хорошие времена от него ждали истины, откровения.

Если мы примем это, мы тотчас увидим, что психологический роман не устарел. Устарела – психология. Никогда эта псевдонаука не откроет нам того знания о человеке, которое мы получаем от подлинного писателя. Давно отмечено, что все громкие открытия психоанализа преспокойно присутствуют в произведениях настоящих писателей и поэтов. Грин переживает Джойса, который – всего лишь дань моде. Джойс и сейчас уже скучен. Его не читают, им бряцают, его *изучают*. Еще немного – и его последним прибежищем станет университетская кунсткамера: печальный паноптикум несостоявшихся писателей. В России то же самое давно уже произошло с Хлебниковым и ему подобными.

Психология устарела потому, что она тоже всегда была данью моде – и ничем больше. Всю правду, сказанную нам психологами и психоаналитиками, они сказали нам как писатели и мыслители, не как ученые. Подлинная психология как отдел философии существует с древности. Едва она стала университетской дисциплиной, как начала линять. Такова же и судьба других новоизобретенных наук, в первую очередь истории. Великие историки прошлого всегда были еще и великими писателями (вспомним: вторая по счету Нобелевская премия *по литературе* была в 1902 году присуждена не писателю, а *историку* Теодору Моммзену). А где теперь Моммзены, не говоря уже о Фукидидах? Обмельчали под сенью кафедр и зарплат. Писатель и мыслитель – всегда авантюрист, всегда работает на свой страх и риск, всегда бросает вызов миру и Богу... Не говорим о других подобных же псевдонауках, среди которых по праву первенствует литературоведение, самая анекдотичная из университетских дисциплин. Афанасий Фет, помнится, проезжая мимо Московского университета, всякий раз опускал стекло кареты и смачно плевал в сторону этой цитадели знания. Кучер уже знал, что нужно остановиться. А ведь Фет не дожил до сегодняшнего срама. Сегодня он с полным правом плюнул бы и в сторону Сорбонны, Оксфорда и Гарварда.

Вернемся к Грину. Он представляется мне лучшим английским писателем двадцатого века. Лучшим – не в том смысле, что он выше всех, а в том, что никто не выше его. Рядом с Толстым карликом не кажется. Слияние автобиографичности с вымыслом у него – именно толстовское: идеальное. Он принадлежит своей эпохе не больше, чем Диккенс – своей, и эту эпоху нам возвращает, в чем и состоит одна из важных задач искусства. А тем, кто говорит, что приемы Грина избиты, придется рано или поздно признать, что *все приемы избиты*, что «это уже было под солнцем», и что прием, пусть и самый изысканный, всё-таки не более чем прием.

ДАНО МНЕ ТЕЛО. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ С НИМ? ИЛИ СВЯТОЙ ИЗ ДЖЕНКИНТАУНА

Он благотворитель. Дело не новое. В иудео-христианской традиции издавна укорененное. Он отдал практически всё, что имел; из богача стал бедняком. Тоже бывало. Задолго до Христа случалось: киник Крат Фиванский, вдохновитель Зенона, поступил так в IV веке до н. э.

Чем же поразил Америку Зел Кравинский, американец, родившийся в СССР?

Раньше человеколюбцы отдавали обездоленным свои деньги, труд и время. Кравинский пошел дальше: решил раздавать по частям свое тело. «Если у тебя две почки, а у другого – ни одной, и он умирает, то разве это не убийство: остаться при своих двух?!» Лег в больницу в родном Дженкинтауне (пригороде Филадельфии) – и отдал свою почку молодой негритянке, которую в глаза не видел. Жена, Эмили, узнала об этом из газет.

Руководствуясь той же логикой, он собирался отдать кому-то легочную долю, часть печени и костного мозга. Едва отговорили. Внушили, что он этим кое-что и у жены отнимает. Бывший миллионер уступил со вздохом. Будь он один, его бы ничто не остановило.

МИЛЛИОНЕРЫ

В Америке практически весь средний класс – миллионеры (хоть миллион да контролируют; одно жилье чего стоит). В богачах они не числятся. Обычно на этот миллион (или два-три миллиона) требуется хоть два поколения. Потомственный дантист или стряпчий – всегда миллионер (как известно, акулы их не едят из профессиональной этики). Тут база нужна; образование в приличном университете. Редко, когда 45 миллионов удастся сколотить на голом месте за десять лет. Но Кравинскому удалось.

Что он делал? Как в том анекдоте о богаче-недоучке, не принятом в школу из-за тупости: покупал и продавал. И тут уже не база, а талант нужен. Рынок в Америке жесткий; денег все хотят; многие умеют их делать.

Зел – из советских евреев; он 1955 года рождения. Скорее всего, уехал старшекласником. В начале 1970-х люди выезжали обобранными. Миллионов не везли. Приехав, кидались зарабатывать, становиться на ноги. Большинство преуспело. Многие вошли в нижний слой среднего класса. Экономии. Выгадывали на копейках. Жили с памятью о советской нищете. В благотворительности никто особенно не замечен. И вдруг – благотворитель, и какой! За всю историю человечества такого не бывало.

БЛАГОТВОРИТЕЛИ

В христианском мире до самого XIX века монополию на благотворительность держала церковь. Государство не вмешивалось. Идея пришла из иудаизма, где благотворительность – кодифицированный закон. Там ближним отдается предпочтение перед дальними. Сначала помогают родственникам, затем членам общины, затем – евреям и лишь затем – иноверцам. Больше 20% от доходов жертвовать не рекомендуется (чтобы самому не оказаться в бедняках).

Иудео-христианская традиция вскормила социализм. В нем довольно рано обозначился любопытный перекося – в сторону чужелюбства. Уже на заре туманной юности этого движения видим людей, возлюбивших малых сих во всей их совокупности, но так, что дальние оказывались милее ближних. Когда любовь отвлеченная, дальних любить легче. Человечество любить проще, чем конкретного человека. Проще и – почетнее. У человека-то, особенно если он рядом, недостатки выпирают. Совершенен только Бог. А в обществе, где вера поверяется логикой, – совершенно человечество, подменившее и заслонившее Бога.

Спустя десятилетия эта на первый взгляд безобидная нравственная асимметрия обернулась страшными последствиями.

У евреев благотворитель одалживает Богу, у христиан – жертвует во имя личного спасения. Не правда ли, это мелко? Нет простора воображению, полету абстрактной мысли. Эти цели меркнут перед благородной жаждой всеобщей справедливости, перед священной борьбой за счастье обездоленных всех стран и народов. Вот поприще для пылкой человеколюбивой натуры! И ведь дело-то нехитрое: отнять награбленное и отдать ограбленным. Тогда – и благотворительность не потребуется. Она унижает бедных – и должна быть с презрением отмечена как отвратительное сентиментальное баловство зажавшихся богачей...

Строители нового мира довели этот перекося до логической полноты. «А мы – не Корнеля с каким-то Расином – отца, – предложи на старье меняться, – мы и его обольем керосином и в улицы пустим – для иллюминаций...» Логической кульминацией чужелюбия стал ГУЛАГ.

КТО ОН ТАКОЙ?

Америка с пеной у рта спорит: кто такой Кравинский? Филантроп или помешанный? Мнения разделились почти поровну. И никто не хочет спросить, что происходит с нами, с человечеством? С одной стороны – Усама Бин-Ладен, с другой – Кравинский. Оба – наши современники. И – соперники: оба (хоть они и будут это отрицать) очень непохожими средствами сражаются за наше внимание и восхищение, за священный трепет в наших сердцах. Два пророка, две крайности. Не слишком ли стал широк спектр человеческих проявлений? Куда мы идем?

У Зела Кравинского – дом-развалюха, купленный за 141 одну тысячу долларов в 1996 году (когда двухкомнатная квартира в Манхэттене стоила вдвое дороже). У него четверо детей в возрасте до 12 лет. О детях, пускаясь во все тяжкие, он позаботился: отложил в пользу каждого примерно по 20 тысяч на нос. В приличном университете сейчас берут за обучение по 30–40 тысяч в год. Значит, за учебу детей будет платить их мать Эмили. Она врач-психиатр. Нужно полагать, свои 150–300 тысяч в год имеет. Американцы ведь не могут без психиатров и психоаналитиков, целиком переложили на них то, что в былые времена в жизни каждого человека делали друзья и близкие.

Ест благотворитель мало, одевается кое-как, тощ до того, что кажется инопланетянином среди тучных американцев. (Хотя и то сказать: худоба обманчива. Еще Бомарше объяснил нам, что она по карману скорее богатым, чем бедным.)

Ничто не указывает на то, что Кравинский религиозен. Конечно, особенностью иудаизма (из которого Кравинский, как ни поверни, всё-таки вышел) является своеобразное ханжество с философской подоплекой. Оно требует: исполняй заповеди – и можешь считать себя атеистом. Этим иудаизм ставит традицию (коллективный разум) выше любого индивидуального разума; закрепляет непознаваемость Бога в поведении человека; отрицает право на человеческую режиссуру в нечеловеческом творении.

Может, Зел славы хочет? Может быть. Но открыто на первые полосы газет не рвется. В качестве моралиста не выступает. К светлому будущему не зовет. Мямлит что-то не совсем вразумительное: «Я теперь понимаю, что по отношению к Эмили вел себя неправильно. У нее есть право на свои чувства и мнения...» Слабовато для пророка. Исступления не слышно.

Национальный момент в поведении Кравинского отсутствует. Какая национальность, если дальний – ближе ближнего? Но, может, тут подсознательно присутствует национальная психология? Уж она-то – не выдумка расистов, она такая же реальность, как цвет кожи и форма носа. «Острый галльский ум... сумрачный германский гений...» Мы произносим такие оценки. Ренан, рассуждая о Христе, говорит: уж если еврей добр, то он – воплощенная доброта. Может, Кравинский, сам того не ведая, несет нам тот самый библейский свет от Сиона, который все народы приведет к миру и счастью? Случайно ли он еврей?

Не знаем. Ignoramus et ignorabimus. Не знаем и знать не будем. Тут – простор для спекуляций. Отложим их – и перейдем к вопросу очень русскому.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Фрэнсис Бэкон говорит про деятельную доброту: она – «величайшая из всех добродетелей и достоинств, ибо природа ее божественна; без нее человек – лишь суетное, вредоносное и жалкое создание, не лучше пресмыкающегося... Милосердие не бывает чрезмерным...»

Если так, то Кравинский – на верном пути.

Но Бэкон продолжает: «Излишество в доброте невозможно; возможны лишь заблуждения... Остерегайся разбить оригинал, делая слепок; оригиналом же, согласно Писанию, является любовь к себе...»

Бэкон верно прочел Писание. Призывы возлюбить ближнего, как самого себя, – риторические приемы, к которым и божественному слову приходится прибегать, чтобы завладеть человеческим вниманием. Полное самоотречение недостижимо. Заповедь невозможно осуществить буквально: любить другого, как самого себя, значит перестать быть собою, воплотиться в другого. Это – отрицание биологического задания.

Каждое живое существо *ощущает* себя венцом творения. Существо мыслящее *знает*, что это не так, но знание расходится с чувством. Чувство же подспудно говорит каждому, что *в каком-то смысле* он – лучший. Если мы честны с собою, если умеем заглянуть в потемки своей души, то увидим: без этого подсознательного самообождения человек просто жить не может.

Евгений Боратынский сказал именно это: «В дорогу жизни снаряжая своих сынов, безумцев нас, снов золотых судьба благая дает известный нам запас. Нас быстро годы почтовые с корчмы довозят до корчмы, и снами теми – путевые прогоны жизни платим мы...»

Тут «сны золотые» – наши самообождения. С годами наше ощущение своей ценности уменьшается, стремится к некому пределу, к нашей реальной социально-биологической ценности, которая всегда ниже воображаемой нами. (Не происходит этого только с людьми совсем глупыми.) Когда разность двух величин близка к нулю, человек жить больше не может – вот в чем теорема Боратынского. Пружина самообождения распрямилась. Биологическое задание кончилось. Человеческое я растворилось в человечестве. Остается умереть. Только в смерти мы способны возлюбить ближнего, как самого себя.

Все религии учат разумному эгоизму: наслаждению в пределах нравственности, в границах общества. Ключ к наслаждению – любовь. Любить только себя жестоко и скучно; это быстро надоедает. Биология требует этого только в раннем детстве. Ребенок до пяти лет, не чувствующий себя мессией, – не выживает. Любить только других пошло и жестоко; это самообман, кончающийся ГУЛАГом. Необходим разумный компромисс: любить себя – и других; других – через себя, себя – через других. Лишь тот, кто разумно любит себя, способен распространить свою любовь на других. (Даже самая пылкая влюбленность – всегда лишь биологический всплеск разумного эгоизма.)

Кравинский традиционному правилу изменил. Он хочет раствориться в человечестве при жизни. Он грезит сверхчеловечеством, намерен превзойти в себе человека. На первый взгляд он – самый человечный из всех прошедших по земле людей; человеколюбивее Франциска Ассизского, Альберта Швейцера, Януша Корчака. Он это показал *деянием*, доселе небывалым. Но не «разбивает» ли он при этом «оригинал», по Бэкону?

Он твердит: «По временам я чувствую, что уже приблизился к нравственной жизни, почти коснулся ее...» Что этим сказано? Что все мы, кто даже не приближается к его подвигу, безнравственны. Выходит, что Кравинский – секта. Самая малочисленная на свете (пока), но в смысле отношения к непосвященным – самая типичная. Спасутся только избранные.

С некоторой степенью вероятности можно допустить, что Кравинский поведет за собою человечество, а мы окажемся фарисеями. Тогда – он и его апостолы поднимут человечество на новую нравственную ступень... а может – и на новую биологическую ступень. Ведь говорят же, что мы, люди, находимся на самой грани эволюционного скачка в новый биологический вид.

Но если мы всё еще люди, то совершенно ясно, как понимать деяние Кравинского – и *что делать*. Понимать его нужно по Фрэнсису Бэкону: как заблуждение. «Не отдавай всего, если не можешь с малыми средствами делать столько же добра, сколько с большими...» Останься Кравинский миллионером, он мог бы не свою почку отдать несчастной, а подыскать для нее орган, уже никому не служащий. Он мог бы направить свой предпринимательский дар, облагороженный идеей служения, на то, чтобы спасти десятки таких людей, на которых его, Кравинского, органов, даже раздай он их все, всё равно не хватило бы. Но, поступи он так, он остался бы одним из многих, не вписал бы свое имя в историю. Не было бы феномена Кравинского.

Вообще *делать* нам нужно только одно: *оставаться людьми* (если мы еще люди). Это и есть самое трудное. Оставаться людьми – то есть любить себя, но не только себя; любить ближнего больше, чем дальнего; не пытаться встать себе на плечи; не пытаться возвеличиться перед людьми сверх меры – даже возвышенным подвигом, если он измышлен твоим разумом, а не навязан совестью (как в случае Корчака); не выпрыгивать в сверхчеловеки, не желать прославиться любой ценой. Нести свое человеческое бремя в рамках завещанной нам традиции, развивая, но не отвергая ее. Помнить, что умнейший из нас – никто перед разумом коллективным.

Асар Эппель

NESTORIA*

Его Сиятельству графу А.К.Т.

Когда есть кривичи еще, но нет Перуна,
когда в дубовой гридне на пиру на
княжьем давит речь посол Гаруна,
Россия начинается путь в века.
Когда на раздорожьях дивы кычут,
а в деву-лебедь срам сказать, чем тычут,
и с князем князь в ладу, когда приспичит,
тогда она еще невелика.

Когда исхитит купол Брунеллески,
найдут валуй ребята в перелеске
и в честь того без помощи стамески
поставят скит из кольев и прута,
когда Иван, зовомый Калитою,
промыслит место, где ступить пятою,
и Русью потянуло вдруг Святою,
держава как-никак, а начата.

Когда Иван Великий в Новеграде
крошит людишек государства ради,
в помин зело уписисто в тетради
скребя, кого сгубил на пору сю,
когда уснет, в письмо уткнувшись, Курбский,
и соловей ему приснится курский,
и с Волгою прирезан край удмуртский,
тогда уже история вовсю.

* «Вестник Европы». Том XIII–XIV, 2004–2005.

Асар Эппель – писатель (книги рассказов «Шампиньон моей жизни», «Дробленый сатана», сборник критических эссе «In telega»), сценарист (автор либретто мюзикла «Закат» и сценария фильма «Биндюжник и Король»). Живет в России.

Когда в Кремле отпел «Veni Creator»
с попом латинским вор-полонизатор,
а до него Ермак-колонизатор
согнул Сибирь и всякий в ней язык,
глядишь, случится из мордвинов Никон,
и поругает святость древних книг он,
и – хоть геенский быша духовник он –
люди осеняться кукишем привык.

Когда царевич Петр царевну Софью,
не склонную ни к табаку, ни к кофью,
по-братски вразумит стрелецкой кровью –
к окну в Европу занавески шей.
А поелику этот Петр – антихрист
и, как считают по науке, выкрест,
Расее он такой устроит выдрист,
что та заловит сразу же мышей.

Когда кой в чем поможет глупый немец
или другой наезжий иноземец,
а с Холмогор пешком придет туземец –
готова Академия Наук.
Когда меж государынинных ляжек
хохлацкий певчий, как мортира, ляжет,
императрица только «ух ты!» скажет,
и он ей тайно станет как супруг.

Когда удавлен кесарь строгих правил,
полубезумец, полугений Павел,
который б с Бонапартом в мире правил,
и сам отцеубийца сел на трон,
вмиг началась прекрасная эпоха,
великая от выдоха до вдоха,
все хорошо в ней, но одно лишь плохо –
так и не съездил Пушкин за кордон.

Когда клянут поляков, любят чехов,
когда еще не родился Чехов,
а Герцен самиздат печет, уехав,
и предлагает новые пути,
пути другие нам торит Бакунин,
а до него – еще другие – Лунин,
но Мармеладов все-таки бездумен:
ему бы хоть куда-нибудь пойти.

Когда волнуется желтеющая нива,
и напраказничал Облонский Стива,
и в обиходе слово «особливо»,
в алмазах небо, и на стенке Бокль...
А вот когда пойдет ко дну эскадра
или с болот Мазурского театра
потянет смертью в звуках падекатра,
то это лучше не смотреть в бинокль.

Когда жида, масоны и поляки,
Распутина сыскавши в буераке,
нет чтобы дать пропасть ему, собаке, –
подучат, уезжая в Биарриц,
династии во зло чернеть брадою,
царевича морить святой водою,
Русь разорять гипнозом и елдою
и портить репутации цариц.

Когда есть Дно, но есть возможность ниже
похоронить отечество и иже,
noblesse oblige – своя ж рубашка ближе:
в Париж отправим лучший гардероб!
Когда шеломом Дону бы испити,
вы, господин поручик, всё проспите
и, вынырнув в Туретчине, вопите:
«Да как же это вышло, мать их ёб!»

Когда восхощет барм бармицвох Троцкий,
и кое-где мятеж подавлен флотский,
и грамота придет в народ ойротский,
и, наконец, ойрот разинет рот...
Когда народ, по слухам, богоносец
перекуют в народ-орденоносец,
он первым делом настрочит доносец,
а значит, не безмолвствует народ!

Когда есть кол – всего лишь! – и мочало,
и чья б корова – где они? – мычала,
не начинать же, братие, сначала
неспешную историю сию...
Когда мои исполнились сроки,
давно не подпускаемый в пророки
аз, жидовин, пишу я эти строки
и закрываю лавочку свою.



Хольм ван Зайчик

АГАРЬ, АГАРЬ!..*¹

Перевод с китайского Э. Выхристюк при участии Е. Худенькова

Ничего еще не было решено.

По дымчатому зеркалу пруда скользили, выгибая шеи и любуясь собой, лебеди; тонкие черные усы раздвинутой воды медленно плавали вслед за ними – преданно и поодаль, будто не в силах расстаться и не решаясь догнать. И пахло щемяще, прощально: стынувшей водой, опадающей листвой... Вечер. Осень.

Он любил это миниатюрное, тихое и дорогое кафе, спрятанное в маленьком парке так, как прячутся дети: «Ой, ты где? Ой, я тебя потеряла! Ах, вот ты где, маленький мой, за кленчиком!» Чуть ли не каждый день он приходил сюда вот уж несколько лет, порой дважды в день, и в завтрак, и в ужин. Пока тепло, сидел на открытой террасе у самой воды, в холода – внутри... Он был молод, но привычками уже напоминал старика. Он понимал это, понимал, что слишком рано становится рабом умильно сладких

* «Нева». 2004. № 10.

Об авторе. Сначала загадочный голландец Хольм ван Зайчик написал по-китайски о стране Ордусь. Потом одни вздыхали: «Хочу в Ордусь!»; другие обвиняли писателя во всяких грехах; третьи делали доклады «Языковые стратегии в произведениях Хольма ван Зайчика». Одни верили в китайского голландца; другие считали, что это мистифицируют Стругацкий или Макс Фрай; третьи утверждали, что Хольм ван Зайчик – это два питерских Китаеведа Вячеслав Рыбаков и Игорь Алимов.

мелочей и мучительно сладких воспоминаний; наверное, так мстил ему мировой закон равновесия, давно предощутив, что он — нарушитель в главном, и потому смолоду стараясь припечатать его к монотонности хотя бы в пустяках.

Но как не прийти сюда? Здесь так красиво...

И очень больно.

Именно там, где ему особенно нравилось бывать, он особенно остро ощущал, что все это — не его. Чужое. Чуждое. Он любил местечко, где родился, до слез; у него до сих пор щемило в груди, когда он, посещая Варшаву, случайно оказывался неподалеку от дома, в котором снимал свою первую городскую комнату, и первые городские улицы его жизни, улицы той поры, когда он с изумлением начал ощущать себя самостоятельным (прежде он и ведать не ведал, что это такое), вдруг стелились под ним теперешним; он обожал миниатюрный благодушный Плонциг, однако ничего не мог с собой поделать. Он чувствовал постоянно, что он не отсюда — и между всем, что мило сердцу, и самим сердцем разинута вечная трещина с острыми, зазубренными краями. Иногда он пытался представить, как же счастливы, сами того не понимая, бесчисленные те, кто может любить свой маленький мир без мучительной, точно зубная боль, раздвоенности, любить его, как свой, будучи с ним в единстве, словно еще не рожденный ребенок в материнском чреве. Тот ведь тоже не осознает, как ему безопасно и уютно, и понимает, чего лишился, лишь когда исторгается вовне. Ему казалось, уже от одного ощущения этой теплой нераздельности можно быть добрым и всем все прощать... Представить не получалось. Он был этого лишен.

У всех — дом, у него и таких, как он, — пристанище.

Обман чувств это или реальность? Мания или точное понимание? Он не знал. Но с каждым годом все сильнее пилил и сверлил сердце назойливый древоточец: чувство, что ничего своего у него здесь нет.

И не будет.

И если будет, то не здесь.

К соседнему столику степенно прошествовал, с чисто польской уважительностью неся перед собою живот, серьезный пожилой господин с красивой, со вкусом одетой и выверенно украшенной драгоценностями дамой; так носят бриллианты лишь те, кто к ним привык. Господин этот тоже частенько ужинал здесь; не зная, как зовут господина и его спутницу, кто они и где живут, он, тем не менее, лет уже около двух раскланивался с ними. И сейчас он приподнялся со своего стула и вежливо коснулся пальцами шляпы. Дама, не поворачивая головы, с мимолетной приветливостью улыбнулась в пространство, плавно перетекая в своем платье до пят к привычному месту; дорогая ткань вкрадчиво и ритмично шуршала, словно лебедь чистил перья. Господин чуть кивнул.

Показалось или нет, что он кивнул небрежнее, чем всегда?

Показалось или нет?

Что ж, в такое время с такими, как он, скоро совсем перестанут здороваться... На всякий случай.

А тут еще сон...

У него не получалось вспомнить, что именно снится ему вот уже несколько ночей подряд – но откуда-то он знал, что снится одно и то же. Наверное, из-за одинаковой грозной томительности сна, одинаковой беспомощности, которые душа помнила наутро... Тоска и бессилие. Нет, не так. Непонимание. Ему обязательно нужно было сделать что-то очень важное, оно могло определить всю его дальнейшую жизнь... возможно, не только его, но – многих. Однако во сне он никак не мог сообразить, что именно; а проснувшись, не мог вспомнить, что за выбор поставила перед ним ночь.

Сон Навуходоносора...

Вот только не было Даниила, который поведал бы ему его же собственный незапоминаемый сон и растолковал, что тот значит; он сам должен был стать себе Даниилом². Легко сказать...

Помнилось только смутное ощущение нараставшего раз от раза грозового напряжения, и откуда-то сверху требовательно – все более и более требовательно – нависал и всматривался ему в темя, хмурясь, Бог. Беспощадный и железный, словно зависший прямо над домом ревущий боевой «сикорс», из бомболюка которого уже вывернулась готовая обрушиться вниз, бомба...

Ордусяне, раньше всех начавшие строить и продавать всему миру «сикорсы», утверждают, будто у них до сих пор нет боевых. Только спасательные, транспортные... Но кто же им верит, ордусянам. Пусть сколько угодно повторяют, что спокон веку не встречали и впредь не намерены встречать в дела Европы... Никогда не знаешь, чего ждать от этой громады, залегшей по ту сторону границы в каких-то трехстах километрах к востоку от Варшавы – и будто в другом мире. Даже если она неподвижна – уже в самом ее нынешнем, будто из иных, то ли ушедших, то ли еще не наставших эпох, отточенном ее странной этикой покое чудится неведомая опасность, куда более грозная из-за своей непостижимости, нежели пахнущие бензином и смазкой, такие будничные, такие домашние танковые армады англичан.

И даже если и впрямь они, ордусяне эти, были до сих пор столь беспечны, то после того как первые пулеметно-бомбовозные вертолеты герра Фокке и герра Флеттнера взлетели тут, под Мюнхеном, им уж деваться некуда, начнут строить... Должны бы начать.

Ордусяне. У них свой мир, свои законы. Но ведь именно из Цветущей Средины в начале года пришло от небольшой тамошней общины предложение приобрести в складчину обширные пустующие угодья где-то к северу, чуть ли не на границе с Сибирью... Как это называлось? Би... Бири... Нет, не вспомнить. Их названия европеец может лишь по бумажке читать, да и то, как правило, по складам. Достаточно того, что это Сибирь – кровь сразу стынет в жилах... Как это они нас там называют? Ютаи. Вот это помнится. Звучит почти так же, как здешнее «юдэ», – но отчего-то приятнее для слуха. Странно...

Ничего странного. За этим нездешним словом не волочится тяжкий, весь в грязи и крови, хвост памяти поколений...

Может, там и было бы хорошо. Но опять – вчуже, за тридевять земель, на другом краю земли. Сибирь. Ничем не краше предложенной англичанами Уганды. И даже не от здешних мест на другом краю, не от милого Плонцига – но от Ерушалаима... которого он никогда не видел и, наверное, не увидит никогда.

А тогда какой смысл?

Чужое, чужое... Сколько его было, чужого, за все эти века, что умирающими динозаврами проползли по Европе?

– Ваш кофе, герр Рабинович.

Он резко обернулся. Неслышно подошедший кельнер, с лицом пожилым и морщинистым ровно в той мере, чтобы посетители сполна могли прочувствовать устойчивый уют заведения, почтительно снял со сверкающего подноса чашечку дымящегося кофе и без малейшего стука поставил на стол.

Показалось, или кельнер и впрямь сегодня произнес свое обычное «герр Рабинович» как-то издевательски? Словно хотел сказать: «Да какой ты мне герр, юдэ...» Словно хотел сказать: «Погоди, уж недолго мне осталось кланяться тебе, юдэ...» А может, даже не хотел сказать, скорее всего, не хотел; но предвкушение радости избавления от постыдной повинности так переполняло старика, что его было не скрыть?

– Спасибо, Курт, – проговорил он, стараясь, чтобы голос оставался обыденно беспечным. – И газету, будьте добры.

– Как обычно?

– Да. «Варшауэр беобахтер».

Беззвучно, точно крадущийся в безлунной ночи боец зондеркоммандо, о которых в последний год так много стали снимать в Берлине эффектных боевиков – то те громят марсиан, то ордусян, то англичан, – кельнер удалился; не скрипнула ни одна половица.

Пожилый господин и его дама сосредоточенно изучали карты блюд и вин и не поднимали глаз. Потом забил крыльями кем-то потревоженный лебедь, неторопливые волны разошлись по воде тягучими темными кругами. На том берегу пруда, из-за поворота аллеи, среди по-осеннему пылких молодых кленов и с парикмахерской точностью стриженных кустов краснотала показались люди. Взрослый в черном умело пятился, отмахивая обеими руками ритм и скандируя: «Айн-цвай-драй», а следом за ним строем по два шагали в ногу полтора десятка мальчиков с флажками, в одинаковых рубашках и шортах. После трех «айн-цвай-драй» они громко, слаженно выкрикнули хором: «Свободу узникам совести!»

Пожилый господин не отрывал взгляда от карты блюд. Его дама кинула через пруд мимолетный взгляд, чуть сморщилась брезгливо и, наклонившись через столик к своему спутнику, что-то негромко сказала. Господин еле заметно пожал плечами, потом все же поднял глаза и пренебрежитель-

но махнул в сторону демонстрантов рукой: не обращай, мол, внимания, скоро уйдут.

– Айн-цвай-драй! Айн-цвай-драй! Айн-цвай-драй!

– Под суд психиатров-карателей!

– Ваша газета, герр Рабинович.

Он вздрогнул.

– Как тихо вы ходите, Курт.

Кельнер с достоинством усмехнулся.

«Айн-цвай-драй!» – слышалось, удаляясь; и уже на излете долетело: «Антинародный режим – к ответу!»

Нет, подумал он, когда кельнер ушел. Не просто с достоинством. С превосходством.

Отчего нас нигде не любят?

Для большинства ответ очень прост. Но он не терпел, не признавал простых ответов; когда их давали другие, он с трудом подавлял раздражение, а ему самому они просто не приходили в голову. То были его дар и его проклятие.

Простые ответы даются на один день, а уже завтра они вызывают лишь новые вопросы.

Все настоящие ответы – в прошлом. Он был уверен, что даже у ордусян, загадочных и непостижимых, наверняка тоже есть какие-нибудь вопросы к жизни, их не может не быть; и наверняка ответы на них тоже даны лет за тысячу до того, как вопросы эти сформулировала злоба дня...

Может статья, все, сами того не сознавая, до сих пор видят нас так, как видели египтяне? И может, и мы, сами того не сознавая, до сих пор видим всех, как египтян?

Почему фараон вдруг ни с того ни с сего сказал: «Народ сынов Израилевых многочисленнее и сильнее нас, давай ухитримся против него, иначе он размножится, и, когда случится война, присоединится к неприятелям нашим, и будет воевать против нас, и выйдет из этой земли»?³ Почему? Только ли потому, что пища и обычаи наши были «мерзостью» для египтян? Или, может, и потому еще, что слишком уж ревностно, получив в свое время богатейшие земли страны, сыны Израилевы держали себя наособицу, вчуже и слишком бескомпромиссно ждали, когда же наконец Бог, который привел их в Египет, чтоб они спаслись, переждали лихолетье и стали из большой, в семьдесят человек, но все же одной-единственной семьи целым народом, уведет их обратно, да еще и не с пустыми руками?⁴

Может же, наверное, быть так: что для одних – предмет гордости, в глазах других – пример подлости?

Может, они видят нас так: эти, мол, саранчой летят туда, где сытно и безопасно, отхватывают все лучшее, но стоит лишь прозвенеть звоночку тревоги, галопом несутся вон, да притом благоразумно, чтобы не мучиться совестью, начинают ненавидеть тех, кто их некогда приютил? Мы, мол, живем тут, и потому все здешние права нам подавай, но, кроме них, еще од-

но, специальное – право порскнуть в любой момент куда глаза глядят, и поэтому со здешними обязанностями к нам лучше и не приставайте...

И бессмысленно спрашивать: а вы вели бы себя иначе? Не имея ни единого родного угла на целом свете, не искали бы, по крайней мере, угла поуютней? Ведь даже вы подчас покидаете родные страны в поисках лучшей доли...

Впервые мысль его пошла вкривь и вкось еще в детстве, где-то за год до бар-мицвы⁵. Дедушка Ицхак стал тогда адмором⁶, и в семье долго ликовали и смиренно гордились. Но мальчишки из соседней деревни принялись при каждом удобном случае дразнить дедушку, дразнить жестоко и глупо, как маленькие озлобленные обезьянки; самой невинной из дразнилок была: «Старый филин пёрнул в тфилин!»⁷; они выкрикивали свои пакости на расстоянии, гнусно вихляясь, приплясывая и корча рожи... «Как они все нас ненавидят», – словно бы чем-то потаенно гордясь, причитали в общине, а он тогда подумал совсем иное и, как всегда, когда приходила в голову новая мысль, не стесняясь, явился к дедушке. «Почему если одни люди кого-то очень уважают, другие обязательно начинают его унижать?»

Дедушка, и впрямь похожий на старого мудрого филина, долго смотрел на храброго внука, чуть наклонив голову набок, а потом, поцокав языком, промолвил: «Ты будешь великим ребе, Моше». Помолчал и тихо добавил: «А может, наоборот...»

Так или иначе, все эти проблемы могли быть решены одним лишь способом. Нужна своя страна! И не на краю света, а там, где только и можно будет почувствовать себя своими, а страну – своей... Но – как вклиниться в этот уже давно поделенный и заполненный мир? Как уйти от тех, кто презирает, и не нажить тех, кто ненавидит?

Он взял газету. Торопливо пролистнул первые страницы, где было выставлено напоказ самое страшное. Открыл сначала самое больное.

«Сегодня в Варшаву продолжился открывшийся вчера третий конгресс сионистов, – писал бойкий, знаменитый на все восточные земли Ян Крумпельшток; его регулярно почитывали даже в Берлине. – Конечно, наши пейсатые соотечественники опять не смогли ни до чего договориться. Отчаянные попытки молодого, но уже ставшего знаменитым варшавуского адвоката Моисея Рабиновича хоть как-то примирить крайние точки зрения вновь ни к чему не привели. Как и следовало ожидать, если до его выступления основные лидеры кричали друг на друга, то потом все они принялись в один голос кричать на примирителя...»

Он отложил газету.

Так и было. Крумпельшток на сей раз писал чистую правду. Все было так плохо, что писаке даже не пришлось ничего выдумывать, статья и без того получилась хлесткой.

«Мир не имеет права на существование, если у евреев не будет своего государства!»

«Вся вселенная не стоит одной слезинки еврейского ребенка!»

И – с той же убежденностью, с тем же безапелляционным напором:

«Ваше стремление обрести отчизну несовместимо с нашей общей природой, потому что вы пытаетесь навязать евреям ответственность за собственное государство, а это полностью противоречит нашей сущности! Мы предназначены для того, чтобы другим указывать на их ошибки, но не для того, чтобы делать их самими!»

И – «После обретения своей страны, где бы она ни располагалась, мы станем, как все, станем просто еще одним народом в ряду прочих и утратим свою особость, а вместе с нею – и избранность!»

Тупик.

А оттого, что подобные крайности, увы, обычные, когда кипят страсти, с оглядкой шептали, честно говорили, а порой даже героически выкрикивали люди одной с ним крови, ближайšie его родственники в сатанинской чересполосице племен, кишаших на земном шаре, и тем дробили в мелкий щебень, чтобы бросать им друг в друга, монолит вековой мудрости, перед которой следовало лишь смиренно склоняться, – от этого делалось особенно мерзко на душе.

Неужели они не понимали, что время, отведенное веком на витийство и любованье собой, уже почти истекло?

Для него это было так очевидно...

Он вернулся на первую страницу.

Передовица называлась «Политэмигрант обвиняет».

«Вчера внеочередная Ассамблея Лиги Наций, наконец, собралась для того, чтобы выслушать выступление известного немецкого политического эмигранта герра Генриха Гиблера, нашедшего полтора года назад убежище и приют в гостеприимной Америке. То, о чем мир уже был более или менее осведомлен благодаря неофициальным рассказам герра Гиблера и его собратьев по несчастью, прозвучало, наконец, официально, с самой высокой из мировых трибун. Нашему правительству, похоже, возмнившему себя вечным и никому не подотчетным, вроде ордулусского императора, уже невозможно будет делать вид, что ничего не происходит. В течение полуторачасовой речи герр Гиблер образно и с безукоризненной фактической точностью представил Ассамблее многочисленные доказательства гонений, которым в течение вот уже многих лет подвергаются в Германии инакомыслящие. Невозможно точно подсчитать количество людей, которые содержатся в тюрьмах единственно из-за своих оппозиционных нынешнему режиму политических убеждений. Но еще более омерзительно то, что самые выдающиеся фигуры, можно сказать, лидеры оппозиции, такие, как Адольф Штыкмахер, Герман Герник, Рудольф Гнюсс и ряд других, еще с начала тридцатых годов содержатся в Зальцбургской клинике для душевнобольных и подвергаются принудительному лечению...»

Они их выпускают, в отчаянии подумал он. Обязательно выпускают. Мир их заставит – мир, не ведающий, что творит... А может, наоборот, слишком хорошо ведающий?

Как они все нас ненавидят...

Как удобно: разделаться с нами руками бесноватых!

Он бессильно отложил газету. Хотелось скомкать ее и кинуть в пруд – но лебеди-то чем виноваты?

Он одним глотком выпил остывший кофе и не почувствовал вкуса; что-то холодное и жидкое, вроде медузы, густо скользнуло внутрь и студнем залепило желудок. Все. Он встал. Слегка поклонился пожилому господину и его даме, снова притронулся к шляпе. Те не заметили. С горящим лицом он кинул на столик деньги, повернулся и пошел прочь.

Его небесно-синий «майбах» был, пожалуй, самым дорогим и уж наверняка самым красивым автомобилем в Плонциге. Зримый символ достатка... Не он один – все его соплеменники, кто имел к тому какую-то возможность, старались хотя бы материальным достатком приглушить постоянное чувство неуверенности и уязвимости, чувство какой-то неизбывной наготы среди одетых. Пока достатка не было – вот хоть как у него, когда он приехал в Варшаву, – казалось, что твердо поставленное дело и деньги спасут от этого знобкого ощущения. Когда достаток появлялся, всегда оказывалось, что он ни от чего не спасает; все равно они все были, точно палые листья, для которых любой ветерок – катастрофа.

И все же без достатка было хуже.

Он уже сел за руль – но увидел на той стороне улочки ее.

Три дня назад она тоже вот так мелькнула среди прочих прохожих, то деловито спешащих, то скучливо фланирующих под осенним вечерним небом среди жмущихся к земле допотопных домов, по заваленным золотыми ворохами листвы тротуарам... Он уже ехал тогда в левом ряду – и не смог сразу принять вправо, чтобы затормозить... да нет, что уж там – правила дорожного движения не смогли бы остановить его столь фатально. Остановили правила движения души. Глупо же вилять на дороге из-за того, что в толпе совсем незлых, вполне обыкновенных жителей Плонцига впервые мелькнуло по-настоящему доброе женское лицо. Как жуир из-за кокетки... Как безмозглый, весь из гормонов и мышц юберменьш в тупейшем из боевиков. Глупо, стыдно!

Сегодня он мог рассмотреть ее получше. Но, собственно, можно было рассматривать ее сколько угодно – это уже ничего не добавляло; то, что у нее широкие славянские скулы, длинное платье и платок на голове, не имело никакого значения по сравнению с еще в первый день ударившим в душу, как океанская волна, чувством, что после дедушки Ицхака та незнакомая молодая женщина – первый светлый человек, повстречавшийся ему на свете.

Неужели и она тоже нас ненавидит?

Он вышел из «майбаха».

На углу Вислаштрассе и Августкенигштрассе она обернулась. Он понял, что она поняла. Но ни озадаченности, ни тревоги, ни самодовольного кокетства не проступило на ее лице; просто она на миг встретилась с ним серьезным, чуть вопросительным, а может быть, и чуть заинтересованным – он не смог бы поручиться в последнем – взглядом. И повернула на Висла-

штрассе. Сюда он никогда не заезжал, вечно проскакивая по прямой. Улочка была совсем тихой, над узким тротуаром догорали октябрьские липы. Летом здесь, наверное, упоительный запах, и пчелы гудят в кронах... Но лето прошло. Справа тянулся невеселый высокий забор из замшелого красного кирпича. Впереди нее, взявшись за руки, неторопливо шли еще две молодые женщины – тоже в длинных платьях и платках. У них лица были обычными, как у всех. Женщины заметили ее и остановились, поджидая; она заспешила, чтобы не заставлять их ждать слишком долго; тем временем они заметили его. Ну как женщины с лету понимают такие вещи? Он не мог этого уразуметь. Они оценивающе обхлопали его шустрыми взглядами, прошупали, словно на медосмотре, – и, когда она подошла к ним ближе, засмеялись в открытую, без стеснения: «Аграфена, ты кого это привела?» Тогда она снова обернулась на мгновение, и теперь ему почудилось сочувствие в ее глазах; но и в этом он не смог бы поручиться. Аграфена, отметил он. Вот как ее зовут. Не запомнить, наверное. Не европейское имя. Из какой глуши она явилась в Плонциг? «Господь водит, не я», – сказала она подругам, и они двинулись дальше уже втроем. Говорила она с осязаемым, незнакомым ему акцентом. Он продолжал идти следом. Но забор прервался чугунными воротами, одна створка их была открыта, и женщины скользнули внутрь. Он уже не мог остановиться. Мимолетно отметил узкую табличку на стене у ворот: «Подворье Свято-Пантелеймоновского православного монастыря». Ах, вот оно что... Он тоже вошел.

Поперек мощенного булыжником двора женщины шли к небольшому, крытому давно крашенным, слегка уже облупившимся железом крыльцу, по сторонам которого тихо, как смилившиеся с судьбой неизлечимо больные, угасали кусты отцветших роз – а навстречу им, метя булыжник черной рясой, требовательно выставив вперед окладистую бороду, чинно вышагивал рослый и дородный... как это у них? Не пастор, не ксендз, а... поп? Да, именно. И поп его тоже увидел. Его почему-то все сразу видели. Он еще только миновал ворота, пытаясь понять про женщин: не монахини, не послушницы, а... как это у них зовется? Труженицы? Трудницы? А поп его уже увидел. Голый среди одетых, всегда. Поп прошел мимо поклонившихся ему женщин, лишь едва кивнув им в ответ, и решительно зашагал ему навстречу. Он остановился. Он ждал, уже понимая, что его здесь не ждут. Он не ошибся. Поп остановился чуть поодаль от него, шагах в трех, словно боялся заразы. «Или это опять моя мнительность?» – успел подумать он, неловко оцепенев на краю двора.

– Ты куда это забрел, мил человек? – спросил поп. – Или заплутал? Ты бы шел лучше своей дорогой.

Глаза попа непримиримо сверкали, и ему казалось, в них плясало: нам тут Иудино семя без надобности. У него лишь зубы закрипели. Слишком много было для одного дня, слишком. Он бы, наверное, плюнул попу в лицо; он наверняка жалел бы потом об этом, такой поступок шел совершенно вразрез с его воспитанием и его принципами – однако сейчас он был уже

на грани истерического срыва. Но она порывисто обернулась со ступеней крыльца, и в ее глазах были растерянность и стыд. Ему показалось даже, что она едва не бросилась обратно... чтобы его защитить? смешно! но ему так показалось. Ей было стыдно за своего, и она хотела спасти от него чужака; далеко не все на такое способны. Подруги, с которыми она держалась за руки, ничего не заметив и не поняв, потянули ее внутрь. Он молча повернулся и пошел обратно к своему «майбаху»; в сущности, он не так уж далеко от него ушел.

Он вдруг подумал: а если бы такой вот поп без спросу забрел ни с того ни с сего в синагогу, что сказали бы там?

Лучше было даже не пытаться вообразить. Стыд и тоска...

А когда он успокоился, мысли его снова потекли не туда. Вместо того чтобы сокрушенно повторить: «Как они все нас ненавидят» – и затем как следует прополоскаться в живительном настое ответной ненависти, он затеял размышлять. И размышлял он вот о чем: всякое учение подразумевает толики духовного насилия – для воспитания молодых и неокрепших, для поддержания падших духом и отчаявшихся, для вразумления усомнившихся... Стало быть, учить обязательно тянутся люди, которым просто-напросто нравится командовать и заставлять. Именно они делаются самыми активными и авторитетными. Но без какой-либо веры человека нет, значит, этого не избежать. И, значит, единственное спасение – пусть это тоже полумера, но другой не выдумать вовсе – это чтобы в обществе (прости, душа, но даже в том обществе, которое когда-нибудь создадим мы) всегда уживалось несколько учений, тогда авторитарные личности каждого хоть как-то будут уравнивать друг друга. Если религия или вообще какая-то система взглядов окажется единственной – все властолюбцы постепенно сконцентрируются в ней, и она раздавит общество, как грузовик давит попавшую под колесо лягушку: еле слышный, короткий и мокрый лопающийся звук, и кишки брызжут далеко в стороны...

Наверное, подумал он уже неподалеку от дома, и к этому времени размышления настолько привели его в чувство, что он смог даже усмехнуться в сердце своем, все наши, узнай они, о чем я думаю, сочли бы меня предателем.

Ему без промедления представился случай убедиться, что это именно так. Им даже не понадобилось узнавать его теперешние мысли – видимо, хватило утреннего выступления. Уже совсем не обращая внимания на красовавшееся поперек входной двери крупно выведенное готическим шрифтом «Юдэ» (эта надпись впервые появилась каких-то три недели назад – сразу, как потек вскоре подтвержденный английской радиостанцией Би-Би-Си слух, будто Штыкмахера и прочих скоро велено будет счесть здоровыми и выпустить на волю; поначалу он стирал ее, но ее неизменно подновляли ночью, и он устало решил ее не замечать), он вошел и сразу увидел, что в почтовом ящике белеют письма. Судя по штемпелям, они были отправлены сегодня в первой половине дня. В одном лежала бумажка с надписью:

«Еврей-антисемит – что может быть гаже и позорней!» В другом лист побольше с текстом покороче: «Бог не простит». Он скомкал оба письма и вместе с конвертами кинул в урну у порога.

Перед ним, застилая реальность, мерцало то, как она едва не бросилась его спасать. Стыд в ее глазах, стыд и растерянность... Наверное, из-за этого отгораживающего мерцания письма полоснули его куда слабее, чем он сам ожидал. Так лечебный гель обволакивает стенки больного желудка, чтобы новая горечь не ошпарила живую страдающуюся ткань.

Он жил один. Стремительная карьера на иступленном, возможном лишь на день-два надрыве, который длился вот уже несколько лет подряд – а как иначе мог бы вознестись столь молниеносно нищий мальчонка из местечка? – выжгла всю юность дотла. Женой он не обзавелся (найти время для поисков невесты, ухаживания и всех положенных условностей брака было в его жизни столь же немыслимо, как отыскать на давно разлинованной планете место для новой страны, где смогли бы, наконец, найти приют дети Израиля); старых друзей он растерял, а новых не приобрел, вместо друзей у него были только коллеги да единомышленники, которые теперь писали анонимные письма его помойному ведру. Он любил роскошь, но не любил пустоты, поэтому ему хватало каких-то пяти комнат, а чтобы содержать их в порядке, достаточно было приходящей прислуги. Никого, кроме него, в доме не было и быть не могло.

Квартиру ему обставлял один из самых дорогих мастеров интерьера, каких только можно было найти в Варшаву; для последнего же приобретения он без труда нашел место сам – напротив любимого широкого кресла в гостиной, давно не знавшей гостей. Когда мозг, исчерпав себя, уже не отзывался ни на окрики, ни на плеть, точно загнанная, пеной исходящая кляча – еще пару лет назад он был убежден, что ему, с его-то энергией и талантом, подобные состояния не грозят, но оказался таким же, как все (наверное, всякому человеку, да и всякому народу, до поры кажется, будто он особенный, а потом жизнь с треском берет свое), – из этого кресла по вечерам было удобнее всего бездумно пялиться, дожидаясь времени сна, в маленький, как конверт, спрятанный за выпуклой водяной линзой экран. Порой, когда фильм показывали совсем уж глупый, он думал, насколько интересней было бы смотреть его, если бы в линзу, как в аквариум, пустить играть причудливых золотых рыбок...

Он сел в любимое кресло.

Ведь не может быть, думал он, чтобы со мной были не согласны все. Так не бывает. Если приходит в голову некая мысль, значит, обязательно должны где-то жить люди, которые тоже к ней пришли или пришли бы раньше или позже, просто не успели первыми... Нельзя выдумать того, что скроешь лишь на одного в целом мире.

Но те, кто за тебя, всегда молчат; подать голос рвутся, трясясь от нетерпения, лишь те, кто – против... и потому лишь они заметны, и потому кажется, что против – все...

Может статься, точно так же кажется, что нас все ненавидят?

Он подошел к массивному и угловатому, полированному дубу, ящику «ЗВНа» и повернул выключатель; тот туго щелкнул. Попылимся на фильм...

Он ухитрился купить это чудо техники одним из первых в Плонциге; меньше года назад Ордусь начала продавать зэвэны на внешнем рынке, и, хоть официально они назывались на европейских языках по-разному, в просторечии их частенько называли по заглавным буквам, красовавшимся на передней панели под экраном; кажется, это было сокращение от имени изобретателя, то ли Зворкина, то ли Зворакина... не вспомнить. Не европейская фамилия. Даже после того как умники в Берлине придумали снабжать экраны увеличивающими линзами, положение почти не изменилось. «Пошли зэвээн смотреть!» – напоминали друг другу мальчишки, заигравшиеся на улице...

Забавно, подумал он. Вот уж в который раз в Ордуси открывают и изобретают что-то прорывное, чего совсем не было раньше, – а здесь доводят до ума, выжимают максимум удобства... Он тут же опять подумал про геликоптерные бомбовозы и добавил про себя: в том числе – удобства убивать.

Случайно ли это? Или и впрямь есть какая-то принципиальная разница в мышлении?

Наверное, есть. Не зря говорят: ордусянина понять – что наизнанку вывернуться...

Лампы медлительно прогрелись, и экран по ту сторону линзы наконец замерцал; побежали косые полосы, потом остановились. Он уже ждал в кресле, положив ногу на ногу. Хорошо бы сейчас немного выпить, но не стоит: завтра трудный день, а от малых доз алкоголя расслаживается сон.

Хотя, честно говоря, он предпочел бы теперь совсем не спать – слишком уж истомил его невспоминаемый сон, оставлявший наутро такую усталость, что по сравнению с ней бессонница показалась бы отдыхом в Карлсбаде.

Не показывали никакого фильма. Были две говорящие головы: какой-то журналист и... Он не сразу, но вспомнил, кто это: североамериканский газетный магнат Херод Цорэс собственной персоной; его фото время от времени появлялись в прессе. Именно в его изданиях впервые стали появляться интервью с Гиблером, и именно в них зазвучала тема того, что мировому сообществу никак нельзя мириться с осуществляемыми под покровом глубокой тайны и тотального лицемерия гонениями на политическую оппозицию в Германии.

– ...Я очень, очень рад, что дело наконец сдвинулось с мертвой точки, и несчастного изгнанника, многие годы невинно страдающего вдали от Отчизны, выслушала Лига Наций, – веско, но без вызывающего инстинктивный протест тупого напора говорил длиннолицый человек в дорогом костюме и галстуке не меньше чем за сотню марок, то и дело показывая безупречно ровные зубы, сверкающие, как горнолыжные курорты. Его не-

мецкий был вполне сносен, только лексика казалась уж слишком сентиментальной и выспренней. – Надеюсь, человечество еще не окончательно лишилось совести, и те горячие, полные справедливого негодования слова, которые прозвучали сегодня в Ассамблее, будут услышаны.

– Однако, – осторожно пытался возражать журналист, – не смущает ли вас, что, скажем, такой человек, как Штыкмахер, действительно исповедовал в свое время несколько странные взгляды... и мы ничего не знаем о том, отказался ли он от них... э-э... в результате лечения... или нет. Он, например, полагал и, надо отметить, заразил своим убеждением немало народу, будто евреи являются недочеловеками и вообще потомками какой-то иной, априорно зловредной болотной расы, подлежащими безусловному поголовному уничтожению ради спасения человечества. Он, например, полагал, что земля является пустой, а звезды и планеты над нами выдуманы жуликами... по преимуществу – опять-таки еврейской национальности... для того, чтобы одурманивать народ Германии и вообще народы мира несбыточными мечтаниями и выманивать деньги. Не кажется ли вам, что такие представления действительно не очень вяжутся... как бы это сказать... с безупречно здоровой психикой?

– Все эти эффектные, но, скажем прямо, малосущественные детали его политической концепции являются лишь декорумом, – тотчас парировал Цорэс. – Основное же в ней – вполне обычное для общественного деятеля и, смею вас уверить, вполне здоровое убеждение в том, что прогнивший коррумпированный режим современной Германии должен быть заменен правительством более здоровым и более заботящимся о народе и соблюдении его прав. Подобные взгляды высказываются всеми оппозициями в мире, но почему-то именно в Германии власти, вместо того чтобы в открытых политических диспутах завоевывать симпатии населения и делом доказывать неправоту герра Штыкмахера, предпочли упрятать своего противника и его единомышленников в сумасшедшие дома и тюрьмы. В конце концов, множество людей верит кто в Атлантиду, кто в марсиан, кто в спиритизм... Однако такие маленькие чудачества отнюдь не служат поводом для психиатрических экспертиз. Что же касается некоторого предубеждения штыкмахеровцев к евреям... Отметьте себе: я сам еврей, и потому меня никак нельзя заподозрить в антисемитизме. Да, этот пункт их программы... я бы сказал даже – пунктик, – и Цорэс снова кинул в объектив блистательную улыбку, – никак не может вызывать у меня симпатию. Но грош была бы цена свободе, если бы ею могли пользоваться только те, кто нас полностью устраивает. Вольтер сказал когда-то: я не разделяю ваших взглядов, но не пожалею своей жизни, чтобы вы могли их открыто высказывать. Прошло более полутора веков, но эта великая, эта блистательная мысль не потускнела. Давать свободу высказываться лишь тому, с кем ты согласен, – все равно что добиваться свободы лишь для себя. Это и есть тоталитаризм. А вот дать свободу тому, с кем ты заведомо не согласен, тому, кто тебе антипатичен, как раз и есть истинная демократия. На этом оселке проверяют-

сы ее приверженцы, на этом пробном камне Господь отличает агнцев демократии от ее козлиц...

Он устало глядел на экран исподлобья и думал: чего хочет этот Цорэс?

Как это признавался дочке Полоний? «Силки для птиц! Когда играла кровь – и я на клятвы не скупился, помню...»

В политике говорится больше красивых слов, чем даже в делах амурных, но сама она проста и прагматична, как физиология. Если политику приспичило выйти по большой нужде, он обязательно скажет что-нибудь вроде: простите, господа, я вас оставляю на несколько минут, потому что забыл сделать одну очень важную и нужную вещь. И простаки гадают: что это у него на уме? Чего ждать назавтра? А на самом деле политик просто пошел в нужник.

И ведь не солгал впрямую, вещь действительно нужная – но...

Нужная кому?

Скорее всего, Америка, так до сих пор и не сумевшая толком справиться с последствиями Великой депрессии начала тридцатых, хочет притока еврейских денег и еврейских голов. А может даже, в дальней-то перспективе, заведомо справедливой войны с заведомо гнусной Германией, чтобы, ухватившись за военную промышленность, вытянуть из тухлой ямы всю свою экономику, отсыревшую, точно дрова, и никак не желающую разгораться. Значит, первым делом – пусть евреи бегут из Германии, ведь, в общем-то, понятно, куда они побегут...

А понятно? Понятно ли?!

О, если бы была своя страна!!!

От бессилия хотелось выть и биться головой о стену. Истерические припадки дают разрядку долго сдерживаемым эмоциям... Спасибо, в другой раз.

– ...Благодарю вас за исчерпывающие ответы, господин Цорэс, – сказал журналист. – В заключение позвольте еще один вопрос уже совершенно из другой области. Частного, так сказать, характера. Я от лица нашей программы и всех наших зрителей поздравляю вас с рождением сына...

– Благодарю, – на этот раз Цорэс сиял зубами секунды две, не меньше.

– Но все же позвольте поинтересоваться, отчего вы дали ему такое странное имя – Хаммер? – Журналист повернулся к камере. – Для тех наших зрителей, кто не знает английского: хаммер – это молоток.

– Потому что я так решил, – безмятежно ответил Цорэс.

Корреспондент с некоторым недоумением кивнул несколько раз, а потом кадр сменился, под линзой проявился сверкающий чайник, и новый голос, закадровый, радостно выкрикнул:

– А теперь – реклама!

Он поспешно встал, подошел к эвээнну и провернул тугой выключатель до щелчка. Экран, чуть потрескивая, погас, и погасли призрачные чешуйки бликов в толстом аквариуме линзы.

В квартире снова стало тихо, словно он и не приходил домой. Лишь

стыли в мусорном ящике у порога прихожей скомканные письма; от них словно бы тоже шел какой-то вкрадчивый ядовитый треск, не давая покоя.

С минуту он постоял посреди комнаты, размышляя, что принять: рюмку коньяку или таблетку снотворного, – и все же остановился на снотворном. Завтра тяжелый день, завершение конгресса... Как на него будут смотреть... Как он будет на них смотреть, как? Пожимать руки и думать: вот этот мне написал? или этот? А может быть, не идти? Но если не я, подумал он, то кто? Он принял таблетку, запил теплым соком из оставленного утром на кухонном столе бокала и стал медленно раздеваться – неряшливо, как одинокий старик, роняя предметы одежды там, где удавалось их снять: в гостиной, на пороге спальни, у постели... Он лег и сразу затерялся в белоснежной, как улыбка Цорэса, постельной утробе; устало вытянулся и запрокинул голову, вполне готовый к тому, что ночь будет незаметна и мгновенна, как взмах ресниц, и вот сейчас он уже откроет глаза – и на дворе будет утро, и в душе будет тоска непонимания и бессилия да вытягивающее жилы чувство снова несделанного важнейшего дела жизни.

Он открыл глаза в своей постели, в своей спальне, но почему-то он знал: это гостиничный номер. Он остановился здесь ненадолго, а скоро снова в путь. Он сразу понял, почему так: потому что мы на земле лишь гости, и даже дом, в котором мы прожили все детство, а то и всю жизнь – не более чем неудобный, истоптанный сотнями чужих ног гостиничный номер, в котором сменилось до нас Бог знает сколько постояльцев. Он сразу понял, что это тот самый сон.

Была ночь. На потолке холодно и пустынно светились прямоугольные отсветы уличных фонарей, будто простыни, на которых кто-то недавно умер. Он откинул одеяло и встал. Набросил халат. Почему-то он знал, что он не один. Вышел в библиотеку, из нее в кабинет, оттуда – в гостиную. Остановился. По сторонам смутно мерцающего полировкой овального стола неподвижно темнели два женских силуэта; поблескивали настороженные глаза. Женщинам не пришлось оборачиваться на звук открывшейся двери кабинета; их словно кто-то предупредил заранее, и постоялец сразу попал в жгучее перекрестие их одинаково неприязненных взглядов. Ни та ни другая не была рада встрече с ним после четырех тысяч лет разлуки.

Он сразу узнал обеих.

Несколько мгновений все трое молчали. Он нервно провел ладонью по голове, приглаживая всклоченные со сна волосы.

– Мы не поняли Бога, Сарра, – чуть хрипло сказал он, глядя на ту, что сидела к нему ближе. Он не мог различить ее лица, но знал, что оно смерзлось в отчужденную маску и, когда он начал говорить, не отразило никаких чувств. – И это непонимание... оно сродни тому, что мы усомнились в Его обещании. Нет тяжелее и горше греха, ведь так?

Женщины молчали.

– Ведь так, Сарра! Он сказал: сделаю твое потомство многочисленным, как песок земной. Ты была моей женою, когда Он это сказал. Значит, нам

надо было ждать, покуда Он выполнит свое обещание... Ведь Он же выполнил его в конце концов! Почему мы не поверили Ему сразу? Почему стали искать обходных путей? Виною тому твое нетерпение и моя... моя похоть! – почти выкрикнул он, и голос его сорвался. – Да! Всего лишь твое нетерпение и моя похоть!! – звонко, яростно отчеканил он, словно боясь, что от волнения в первый раз сказал это невнятно, и жена могла не понять. – А когда Он сдержал слово, она и ее сын оказались нам не нужны, и мы выкинули их, как... как... – он захлебнулся, не в силах подобрать сравнение. Язык не поворачивался сказать, потому что та, другая, сидела рядом, по другую сторону мерцающего полировкой стола.

– Она не нашей крови, и в том, что мы сделали, нет греха, – произнес ровный голос.

– Она не нашей крови, и потому ее сын не наследовал мне, но они такие же люди, как мы. Для тебя это новость? С людьми так нельзя!

– Он сказал: во всем, что ни скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее! – с наконец-то прорвавшейся яростью непримиримо ответила она. – Ибо в Исааке, Саррином сыне, наречется тебе потомство!

– А я разве против? Потомство – пусть! Конечно! Но мне их жалко! Понимаешь? Даже Ангел Господень сказал ей: услышал Превечный страдание твое. А мы почему не услышали? Почему ты даже теперь его не слышишь, ведь даже Господь услышал!

– На то Он и Господь. У нас едва хватает сил заботиться о себе. Когда нам найти время на чужих?

Он только покачал головой. Бесполезно, подумал он. Стена. Стена, как на конгрессе. Он помолчал, готовясь к главному и собирая силы; он понимал, что, когда произнесет вслух то, что хотел, пути назад уже не будет.

– Они не чужие, – сказал он.

Сарра не ответила. Наверное, это было правильно. К чему лишние слова? Все главные разговоры в жизни очень коротки. Это же не политика.

Он сделал несколько шагов вперед, обогнул стол и опустился перед второй женщиной на колени. Осторожно сглотнул, прочищая горло, чтобы голос не подвел его снова. Сейчас это было бы совсем ни к чему.

– Прости, – тихо сказал он.

Несколько мгновений он был уверен, что она не ответит. Но, в конце концов, она словно бы чуть нехотя – а может, просто стесняясь присутствия Сарры, – отозвалась:

– Бог простит.

– Агарь, Агарь... – выговорил он, а потом молча обнял ее ноги и уткнулся в них лицом. Сквозь ткань платья светилося тепло ее тела. Он помнил, как радостно она распахивалась под ним, допуская к лону, – и как ему это было сладко.

Она молчала.

Он так и не заплакал. Поднял голову, попытался поймать ее взгляд в темноте – не сумел.

– Как Измаил? – спросил он.

– Вырос, – сказала она. – Давно вырос. Он совсем не дикарь. Хотя характер у него не сахар, это правда. Иногда он заставляет меня лить слезы... Как иначе? Я тоже виновата, возомнила о себе невесту что... А получилось – мальчик пасынком при родном отце рос.

– Прости, – совсем неслышно, одними губами повторил он. Но она услышала. Он почувствовал, как на его голову легла ее маленькая рука и легко – ему показалось даже, что ласково, – пропутешествовала по его волосам.

– Что уж теперь... – сказала она.

– Еще не поздно, – сказал он. – Ты позволишь мне с ним повидаться?

И открыл глаза.

Было утро. А он все помнил. И на этот раз совсем не чувствовал усталости; он все сделал правильно, и с плеч свалился привычно непосильный груз, давивший его, как он теперь понимал, всю жизнь от века. И может быть, не только его.

А раз утро, стало быть, пора было ехать завтракать.

В этот ранний час в кафе еще никого не было. Пруд дремотно курился, дальний берег лишь темной одутловатой тенью угадывался в тумане, и даже лебеди выглядели полусонными; а ему надо было как следует подкрепиться перед тем, как на своем «майбахе» рвануться в Варшаву и выдержать последний день конгресса.

– Уже пришли утренние газеты, герр Рабинович, – сказал кельнер, ставя перед ним чашку кофе.

Показалось ему – или кельнер и впрямь сегодня говорил, как в старые добрые времена, безо всякой издевки, с обычной своей приветливостью? Показалось или нет?

– Спасибо, Курт, – сказал он. – Не хочу портить себе завтрак. Долой все газеты на свете!

Кельнер улыбнулся.

Показалось или нет, что он просто улыбнулся?

– Рискну заметить, герр Рабинович, – сказал он, смахивая салфеткой какую-то невидимую пылинку или крошку со стола, – что у вас нынче на редкость хорошее настроение.

– Не могу не восхититься вашим умением читать по лицам, Курт, – ответил он.

– Да что уж там по лицам, – усмехнулся кельнер. – У вас, извиняюсь, даже сутулость пропала. Вы же последнее время ходили, будто придавленный.

Курт улыбался всеми морщинами, и вдруг оказалось, что у него доброе лицо, почти как у Ага...

Он вздрогнул, поняв, что едва не перепутал сон с явью.

Почти как у Аграфены.

Он вновь уставился на воду, он всегда садился спиной к входу на терра-

су, лицом к пруду. Сделал первый глоток. Хорошо, что в такую рань коричневые не проводят демонстраций.

Спокойный туман над прудом жил своей медленной жизнью – тихо умирал. Дальний берег с его цветными переливами крон все отчетливей и ярче просматривался сквозь невесомую тающую плоть.

Сзади раздалися шаги. Это не Курт, успел понять он, но оборачиваться не стал; он не хотел ни с кем разговаривать, боясь растратить и расплескать на пустопорожний пинг-понг вежливых реплик тепло, наполнявшее душу.

Нет, не отвертеться, понял он, когда в поле его зрения вошел молодой человек с нездешним лицом южанина. Араб? Перс? Молодой человек держался очень прямо, вот уж кому не грозит ни малейшая сутулость. Несмотря на безукоризненно сидевший штатский светлый костюм, галстук и шляпу, чудилась в молодом прищельце военная выправка. Этого еще не хватало, подумал он. Смуглая рука южанина легла на спинку стула напротив; сейчас загородит мне лебедей, подумал он с неудовольствием.

– Вы позволите? – спросил южанин. Так и есть, акцент.

– А что, собственно, вам угодно? – вопросом на вопрос ответил он. – Вокруг столько свободных столиков...

Наверное, это прозвучало невежливо, но ему не хотелось общаться. Любопытный чужак мог смахнуть с него светлое настроение, прикрывшее его, как тонкое тюлевое покрывало, от действительности на какие-то считанные, он знал это наверняка, часы. Курт улыбнулся, как человек – и на том спасибо, и хватит... больше нельзя рисковать...

– Я отниму у вас каких-то пять минут.

– Больше у меня и нет.

– Я знаю. Вам надо торопиться на конгресс.

– Ах, вот как, – с неудовольствием и потому невольно подпуская в голос яду, произнес он. – Похоже, вы знаете обо мне больше, чем я о вас.

– Я помощник военного атташе ордусского консульства в Варшаве Измаил Кормибарсов, – сказал прищелец. – Могу показать документы, если вы хотите.

– С документами подождем, – медленно ответил он; сердце его споткнулось на имени Измаил, а потом заколотилось, словно катящийся вниз по крутым ступеням резиновый мячик. – Присаживайтесь, прошу. Что вам угодно, герр Кор... – «Не выговорить, – на миг он потерял присутствие духа, – не европейская фамилия», но язык уже справился сам, без участия рассудка, – ...мибарсов?

Ордусянин сел напротив.

– Честно говоря, у меня к вам очень странный разговор, – признался он. – Дело в том, что Ордусь, хотя и строго придерживается принципа невмешательства в дела Европы, не может позволить себе роскошь не следить за происходящими здесь событиями. В последнее время эти события нас глубоко тревожат. Я подразумеваю скорый выход на свободу вождей так называемого национал-социализма. А ведь одним из краеугольных камней их

программы, как бы сейчас ни замалчивали этот факт в здешних средствах всенародного оповещения, является окончательное решение так называемого еврейского вопроса, и никто этого не забыл. Уже сейчас ощущается оживление определенных предрассудков даже среди групп населения, формально никогда и не поддерживавших Штыкмахера и его сторонников.

Акцент акцентом, мельком отметил он, но фразы чужак строит безупречно. Даже слишком безупречно, не для живой речи. И запас слов несколько книжный... Но говорит он чистую правду. Увы, юдэ, улы.

– Положение драматизируется тем, что после того, как Германия и Австрия поделили Польшу, на территории этих двух стран оказалось сосредоточено едва ли не две трети всех ваших соплеменников. Возможно, и более. И теперь даже из-за ордусской границы видно, что им грозит явная и прямая опасность. Простите, что я говорю так прямо, но я уверен, что вы и сами все это прекрасно понимаете, и хочу поскорее перейти к делу...

– Да, понимаю, – помолчав, безжизненно сказал он. Хорошего настроения как не бывало; когда этот чужак поставил его лицом к лицу с реальной жизнью, какое уж могло остаться хорошее настроение?

Чего он хочет?

– Тогда, опять-таки вкратце, я коснусь, – сказал ордусянин, – внутреннего устройства моей страны. Она состоит из Цветущей Средины и шести улусов, причем каждый наделен предельно возможной в едином государстве самостоятельностью. Так сразу и не скажешь, чего не может улус совершить по своему почину. Ну, например, войну начать. Но Ордусь вообще уже очень давно не начинала войн... и, хвала Аллаху, на нее тоже довольно давно никто не нападал. Или вот внутренние границы перекраивать... но это тоже случай из ряда вон выходящий, обычно-то кому это надо? Люди живут себе, работают, добра наживают... что им эти границы? Так вот. Вчера, сразу после того, как у нас стало известно о выступлении Генриха Гиблера на Ассамблее Лиги Наций, состоялось срочное заседание меджлиса Тебризского улуса. Это довольно крупный улус, в него входят территории всего ордусского Переднего Востока. И, в частности, Палестины.

Сердце у него споткнулось снова. Палестина...

Лицо ордусянина было спокойным и твердым, голос звучал бесстрастно. Он говорил обо всех этих чужедальных невероятных вещах как о чем-то вполне обыденном. Улусы, меджлисы...

Палестина.

– На заседании было принято решение уведомить подвергающихся опасности лиц в Германии... не каждого в отдельности, разумеется, а через какие-либо общественные их организации... о том, что в случае, если в том возникнет необходимость и если подвергающиеся опасности лица сочтут это для себя приемлемым и желательным, Тебризский улус выделит для их постоянного проживания определенную часть своей территории. Конечно, соразмерную численности... Четыре миллиона человек – это не более чем довольно крупный город. Но, конечно, территория будет несравненно боль-

ше занимаемой самыми крупными городами, такими, как, скажем, Тебриз, Александрия Невская или даже императорский Ханбалык. Несравненно больше. Ей будет предоставлен статус полноправного улуса. Вчера же меджлис обратился с ходатайством на высочайшее имя, и было получено формальное утверждение решения. Вечером весть о том была передана сюда, а мы, со своей стороны, воспользовались тем, что как раз сейчас здесь проходит ваш конгресс... Ну, и вы показали нам человеком, наиболее подходящим для того, чтобы провести предварительные консультации.

Голова кружилась. Лебеди давно пропали из поля зрения, теперь он смотрел лишь на сидящего напротив ордусянина. Казалось, сон продолжался; вернее, нет. Сон сменился, стал совершенно иным – но оттого несколько не сделался ближе к яви. Такого просто не бывает и быть не может...

– Какие именно земли вы нам предлагаете? – спросил он обыденно, будто речь шла о покупке участка под застройку. Его самого покорило то, насколько сухо прозвучал его голос. Он слишком старался не выказать своих чувств – и, как частенько в таких случаях бывает, перестарался. Я бы на месте Измаила обиделся, с ужасом понял он.

Но сидящий напротив ордусянин и не подумал обижаться. Он чуть улыбнулся и сказал мягко:

– В общем-то, мы представляем себе, герр Рабинович, какие именно области являются для вашего народа Землей обетованной, текущей молоком и медом. Конечно, может возникнуть проблема с Иерусалимом, для нас он тоже святыня. Да и для христиан... Но, думаю, мы сумеем решить эту проблему к общему удовлетворению, ведь люди, у которых есть что-то святое, всегда сумеют понять друг друга. Если, конечно, вас вообще заинтересует наше предложение.

Некоторое время мужчины молча смотрели друг другу в глаза. Потом он понял, что у него дрожат руки, и спрятал их под стол. С силой сцепил пальцы.

– И вам не жалко своей земли? – отрывисто спросил он.

Если скажет «не жалко», я не буду верить ни единому его слову, осознал он. Это всего лишь опять какая-то политика.

– Еще бы не жалко, – сказал ордусянин. Помедлил: – Но вас жальче.

Он глубоко вздохнул. Ордусянина понять – что наизнанку вывернуться...

– Видите ли, – пояснительно проговорил тот. – В суре «Жены», в аяте со- роковом, сказано: «Поклоняйтесь Аллаху, делая добро родителям, близким родственникам, сиротам, нищим, соседям, родственникам по племени и соседям иноплеменным, ибо Аллах не любит тех, которые кичливы и тщеславны».

Это какое-то безумие, смятенно подумал он.

– Позвольте. Вы сказали, вы помощник военного атташе. Почему на совершенно мирные переговоры послали военного?

Это прозвучало уже не просто сухо, а почти враждебно. Почти оскорбительно. Словно он не только заподозрил, но и успел уличить ордусянина в провокации, и теперь осталось лишь схватить того за руку.

Ордусянин опять улыбнулся.

– Я был уверен, что вас это насторожит, – признался он. – Что ж... Честно говоря, эвакуацию такого количества людей в приемлемые сроки способна провести только армия, да и то с напряжением всех сил и средств. Но дело, конечно, не в этом. Просто среди сотрудников Варшауского консульства я на данный момент – единственный уроженец Тебризского улуса и единственный мусульманин. Кому же, как не мне?

Моше напряженно думал.

Неужели Египет, куда нас когда-то взяли благодаря уважению фараона к одному и состраданию к остальным, грозит сам собой, без насилия и навсегда совместиться с землей, которая была обещана нам на вечные времена? Этого ли ты хотел, Бог Авраама и Исаака? Это ли обещал?

Впрочем, ничего еще не было решено.

Но уже было, что решать.



Мокий Нилович Рабинович, бывший главный цензор Александрийского улуса, бывший великий муж, блюдущий добродетельность управления, а ныне просто пенсионер улусного значения, обеими руками взял свою чашку и шумно отхлебнул ароматный жасминовый чай; за время рассказа у него основательно пересохло в горле.

– Не остыло, папенька? – заботливо спросила его дочь, красавица Рива.

– Еще годится, – густым и чуть сипловатым стариковским басом буркнул Мокий Нилович. Неловко, со стуком поставил чашку. В его движениях чувствовалась легкая неуверенность: годы все ж таки брали свое. – Вот так, – подытожил он, глядя из-под облезлых, но все еще черных бровей на задумчивых гостей. – И на этом кончается семейное предание и начинается мировая история.

Богдан и Баг, боявшиеся хоть слово проронить во время его рассказа, перевели дух. Непосредственный Баг даже сморщил нос: все рассказанное казалось ему совершенно диким, но не из-за вторжения удивительного и даже необычайного в повседневную жизнь – чудесами Бага было не удивить, они для всякого бывалого ордусского человекоохранителя дело в изрядной степени своеобычное, жизнь полна чудес, надо только уметь их распознавать в толчее – сколько из-за изумляющей дикости не столь уж давних европейских нравов.

– Потом батяка женился на маме... на Аграфене той самой... потом я родился... Ну, он, конечно, православие принял. Когда его спрашивали зачем, он отвечал наотмашь, он уж ничего тогда не боялся; ежели, сказал, я вдруг заговорю про вселенную и слезинку ребенка да не укажу правильной национальности этого плаксы, обязательно, мол, найдутся люди, которые обвинят меня в том, что я изменил вере отцов. А я об этой вере вполне доброго мнения и не желаю, чтобы ее таким образом лишний раз вслух позорили... Да. И получил при крещении имя Нил. Чтобы, значит, всю жизнь с

благодарностью вспоминать Египет, где, как уж ни крути, произрос из дома Иакова ютайский народ. А когда был провозглашен Иерусалимский улус, батьку избрали его первым премьером. Потом – на второй срок... ну, вот. Все.

Богдан поправил указательным пальцем очки и тихо сказал:

– У Бога всего много...

– Амитофо, – пробормотал Баг.

– Папенька, – решительно произнесла Рива, – вам завтра в кнессете речь говорить, а вы уж нынче с вечера осипли.

Мокий Нилович некоторое время молчал, с некоторым недоумением переваривая эту совершенно лишнюю для его теперешнего умонастроения информацию, а потом спохватился:

– И то!

Богдан тут же встал. Мгновение помедлив, поднялся со своего места и Баг.

– Заказать вам повозку такси? – спросила Рива.

– Мы пешком, – ответил за себя и за друга Баг. – Тут недалеко.

Оба человекоохранителя поселились в гостинице «Галут-Полночь», в которой, как правило, останавливались наиболее именитые приезжие из полуночных, то бишь расположенных на севере улусов – Александрийского и Сибирского. До гостиницы от дома Мокия Ниловича и впрямь было лишь несколько кварталов.

– Ночной город несказанно красив, – кивнул Богдан.

– Особенно в праздник, – сказал Мокий Нилович. – Хорошо, гуляйте, дело молодое. А нам, дочка, еще авдала⁸ предстоит. Благословим винцо, зажем свечечки...

– Мокий Нилович! – не сдержал удивления Баг. – Вы же православный! Старик лишь вздернул брови.

– Конечно, православный! – ответил он и, помолчав мгновение, широко улыбнулся. – А все равно приятно...

Баг и Богдан невольно заулыбались ему в ответ. Обменявшись с отставным сановником рукопожатиями и попрощавшись с Ривой Мокиевной (Богдан на европейский манер поцеловал девушке руку, и Рива польщено зарделась), они, уж больше не мешкая, оставили старика в кругу семьи.

Так закончился для Богдана и Бага первый день празднеств, посвященных шестидесятилетию образования Иерусалимского улуса.

Примечания

1. Указанный текст был прислан Х. ван Зайчиком своим переводчикам совсем недавно вместе с довольно пространном письмом, содержащим, правда, в основном замечания чисто личного характера по поводу нерасторопности переводчиков и их консультантов. Однако, судя по нескольким содержащимся в письме обмолвкам, этот рассказ, на первый взгляд представляющий собою вполне законченное произведение, с некоторой степенью вероятности можно счесть чем-

то вроде пролога к очередной книге эпопеи великого еврокитайского гуманиста «Плохих людей нет» («Евразийская симфония»). Если это так, то приходится признать, что очередной том (или тома) эпопеи структурно (а возможно, и не только структурно) будет (будут) сильно отличаться от первых шести, с которыми в 2000–2003 годах познакомил российского читателя издательство «Азбука» («Дело жадного варвара», «Дело незалежных дервишей», «Дело о полку Игореве», «Дело лис-оборотней», «Дело победившей обезьяны» и «Дело судьи Ди»). Впрочем, пока это лишь предположение. Здесь и далее *прим. пер.*

2. Хольм ван Зайчик, человек, обладающий, как известно, широчайшей эрудицией, по своему обыкновению, щедро рассыпал в тексте различные намеки, аллюзии и косвенные цитаты. Опасаясь, что широкому читателю они покажутся непонятными, переводчики взяли на себя смелость прокомментировать некоторые наиболее существенные отсылки. В данном случае имеется в виду одна из библейских притч, согласно которой вавилонский царь Навуходоносор несколько ночей подряд видел один и тот же страшный вещий сон, но наутро, вполне осознавая огромную важность сна, был не в состоянии вспомнить его содержание. Никто из мудрецов не мог ему помочь. И лишь один из величайших пророков – Даниил – не только сумел рассказать царю содержание его сна, но и объяснил его значение. См.: Дан. 2:1–47.

3. Исх. 1:9–10. Все библейские пассажи, которые так или иначе затрагиваются в размышлениях и высказываниях героя настоящего рассказа Х. ван Зайчика, в максимально концентрированной форме приведены переводчиками в приложении.

4. Исх. 3:22.

5. Досл.: «Сын заповеди». Так называется момент религиозного совершеннолетия, наступающего у мальчиков в 13 лет. По достижении этого возраста человек становится правоспособным, обязанным исполнять все заповеди и религиозные обязанности и сам отвечает за себя и свои грехи перед Всевышним.

6. Адмор – величальный титул признанного религиозного авторитета, употреблявшийся в том числе и применительно к высшим лицам общин, преимущественно хасидских. Представляет собою аббревиатуру слов *адонейну, морейну вэ-рабэйн* – господин, учитель и наставник наш.

7. Кожаные коробочки с написанными на пергаменте отрывками Торы, которые прикреплялись во время утренней молитвы на лбу и на левой руке, напротив сердца.

8. Авдала, (хавдала, гавдала; этот термин можно перевести как «отделение от субботы», «расставание с субботой») – вечерний субботний ритуал, фиксирующий окончание субботы и наступление будней. Включает благословение вина, благовоний и огня (обычно при этом зажигаются особые свечи, например, сплетенные из трех).





Вячеслав Рыбаков

АХ, ЭТА СТРАШНАЯ ИДЕОКРАТИЯ!..*

А вот слово «патриот» до сих пор существует для него в двух ипостасях. Французская, из «Марсельезы» и Виктора Гюго – со знаком плюс. А на которой стоит клеймо «Господина Искарियोтова» и щедринского «потреотизма».

М. Л. Левин

Александр Мелихов не зря так любит цитировать полемически заостренную фразу из своей относительно ранней книги «Исповедь еврея» о том, что «любой народ... создается не общей кровью или почвой... а общим запасом воодушевляющего вранья». Вот и в статье «Состязание технологий и состязание грез» («Дружба народов». 2004. № 5) он снова не отказал себе в удовольствии ее повторить. Мелихову действительно удалось тут поймать и сформулировать очень важную вещь. В свое время я тоже уже откликнулся на высказанную им мысль, одновременно, как водится, по-своему развивая ее: «Термин "вранье" – очень эмоциональный термин. Он сразу вызывает тошноту по отношению ко всему, что им обозначают. Но есть вранье, а есть вранье. Если человеку с молодых ногтей, лишив его и толики воодушевляющего вранья, долдонить одну лишь правду, а именно: нет правды на земле,

* «Дружба народов». 2004. № 11.

Вячеслав Рыбаков – писатель, лауреат Государственной премии РСФСР (1987 г.), премии «Старт» и «Меч в зеркале» (1995 г.), четырех премий «Бронзовая улитка», премий Ассоциации русскоязычных писателей Израиля (1997 г.) и «Интерпресскон» (1997 г.); кандидат исторических наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН. Живет в России.

но правды, дружок, нет и выше – останется он человеком? Был такой фильм "Новые приключения Кота в сапогах": в нем злой интриган Кривелло изволил юную принцессу посредством постоянного чтения ей вслух произведений типа "чудовища вида ужасного схватили ребенка несчастного...". И почти извел-таки, да спасли венценосную посредством порции воодушевляющего вранья: физкультура помогает от всех болезней».

Тут я, конечно, тоже полемически заострился.

Дело в том, что польза физкультуры – не совсем вранье. Так же, как не совсем вранье – наличие чудовищ, то бишь в данном случае смертельных болезней. Правда будет заключаться в том, что хотя физкультура спасает здоровье отнюдь не всегда, без нее здоровья не будет в любом случае. Для тех, кому физкультура поможет, фраза про ее чудесные способности окажется правдой, а для тех, кому не поможет, – враньем. Но если бы фраза эта не прозвучала вовремя, померли бы и те, и другие.

Тот, кто призывает нас не верить красивым сказкам и не творить себе мифов, а жить только по так называемой правде, неявным образом приписывает себе божественные способности знать будущее и точно представлять себе, что именно окажется правдой, а что нет. Великая ли и наивная гордыня его на это подвигает или вполне осмысленное желание, так сказать, заниматься физкультурой в одиночестве, тайком, чтобы стать самым крепким и красивым в мире кашляющих хилятиков, – неважно; и то и другое неприглядно. Впрочем, второе, конечно, непригляднее – и распространеннее.

История настолько сложна и многолика, что для создания национальных мифов отнюдь не обязательно врать. На деле люди просто всматриваются лишь в те грани исторической правды, которые им по душе. Ну, например: высокодуховны, бескорыстны и храбры ли русские? Конечно! А ленивы ли они и тупы? Да, разумеется! Национальный характер – сложнейший сплав качеств, в котором недостатки есть лишь порождения достоинств, а достоинства – порождения недостатков; подчеркиваю: даже не продолжения, а именно порождения (потому что, скажем, бескорыстие зачастую порождается непрактичностью, стало быть, умственной ленью, а леность – благородным нежеланием суетиться и тратить жизнь на бесконечные пустяки). Однако же для человека восторженного первый набор будет непреложной истиной, а второй – вражьей клеветой. А для человека ненавидящего второй будет чистой правдой, а первый – гнусной брехней русоপাতов.

Беда, к сожалению, в том, что для выживания нации отнюдь не все равно, на чем делает акценты господствующий миф.

Если развить полемически заостренную мысль Мелихова, можно сказать, что «любой народ уничтожается, если начинает верить достаточно большому количеству деморализующего вранья». А как иначе? Если уж мы предположили, например, что кислород необходим для жизни, нам ничего не остается, как с той же степенью вероятности предположить, что отсутствия кислорода достаточно для смерти.

Можно сформулировать и гораздо строже. Я уже не раз ссылаясь на это

замечательное высказывание (в частности, в своем романе «На чужом пиру») и не откажу себе в удовольствии процитировать А. Боземан вновь: «Политические системы – это преходящие средства достижения целей, находящиеся на поверхности цивилизации, и судьба каждого сообщества, объединенного в языковом и духовном отношениях, в конечном счете, зависит от выживания определенных первичных структурирующих идей, вокруг которых объединяются сменяющие друг друга поколения и которые, таким образом, символизируют преемственность общества».

Для науки это азы.

Люди принимают решения, опираясь не столько на факты, сколько на мнения. Это единственный предохранительный механизм, который изобрела для нас природа, чтобы уберечь от фатального пожизненного столбняка: полной информации мы ни о чем никогда не имеем, а кроме того – мир вероятностен, и даже исчерпывающая информация о чем-то никак не страхует от того, что уже в следующую секунду это что-то непредсказуемым образом изменится. Поэтому мы принимаем решения эмоционально, как бы ни старались с рациональным видом взвесить так называемые «за» и «против»; не столько знание фактов определяет наше мнение, сколько мнение, отношение, раз сформировавшись, фильтрует и обрабатывает факты. Некоторые из нас решают поднапрячься и съездить в отпуск не на Селигер, а на Сейшелы или Багамы не потому, что их заманили сведения из географического справочника или рекламного буклета, не потому, что в интернете рассмотрели, какая там нынче температура воды и воздуха – хотя они вполне могут полагать, будто именно поэтому; но сквозь безликую цифирь метеосводок и разухабистые клики турагентов сверкают лазурь лагун, белый пламень коралловых пляжей и драгоценные стада раковин-жемчужниц из читанных в детстве пиратских романов. Конечно, многих гонит страсть не к романтике, а к престижу; но что может быть мифичней престижа?

Тем более подобная же механика принятия решений действует в сложных и обобщенных вопросах, факты относительно которых не поддаются или в очень малой степени поддаются проверке или просто крайне многолики.

Но то или иное мнение по общим вопросам прошлого или будущего и есть, как правило, коллективный миф. Ничем иным оно быть просто не может.

И ведь есть разница между воодушевляющими и деморализующими мифами.

Если народ начинает заниматься иступленным самобичеванием и повторять изо дня в день: я плохой, я гнусный, я жестокий, то, во-первых, как оно обычно бывает и среди отдельных людей, тот, кто вдруг в минуту тяжелой депрессии или страшной неудачи уверился, что все делал в жизни неправильно, и никакой пользы окружающим от него не было и быть не может, и перед всеми-то он виноват, – никогда из депрессии не выберется, никогда неудач не превозможет и будет до самой смерти идти на поводу других. Как бы мне вас не обидеть опять... Чего изволите? Поучите дурака, Христа ради! А во-вторых, со стороны окружающих он таким образом отнюдь не добьется ни уважения,

ни сострадания; напротив, как оно опять-таки обычно бывает с людьми, окружающие народы с удовольствием потрут ладошки и ответят: ну конечно, плохой, мы всегда это подозревали! Хочешь стать хорошим? Раздевайся!

Полагать же, как это сейчас частенько делается, будто любовь к Родине можно просто купить ростом благосостояния, будто веру в то, что твой народ благороден и мужествен, а твоя страна достойна лучшего будущего, которое сама изберет и сама постройт, можно заменить просто хорошей зарплатой – либо крайняя наивность, сродни очередному и чрезвычайно примитивному мифу, либо слегка замаскированная подлость. В лучшем случае это свидетельствует лишь о том, что дающий такие рецепты мечтает единственно о повышении личного денежного довольствия, но, сам, ощущая убожество своей позиции, старается и остальных привести к тому же знаменателю. Как известно, лист легче всего спрятать в лесу – а украденные доллары в проверенном банке.

Означенная вера не имеет ничего общего, скажем, с известной формулировкой американских нацистов: «Пусть моя страна неправа – но это моя страна». Практика показывает, что у нас именно те, кто с изрядной долей наивности и идеализма думает о своей стране хорошо, куда реже и неохотней мирятся с ее ошибками и недостатками, нежели те, кто махнул на все рукой и готов заниматься чем угодно, лишь бы платили как следует. Не бывает стыдной работы – бывают стыдные оклады, говорят они, и таким образом утверждают, что, скажем, работа наемного убийцы куда престижней работы ученого. Нам это надо?

А вот им, видимо, надо.

Даже у человека бывают враги. «Настоящий творец сам создает себе врагов», – с гордостью писал в свое время Станислав Ежи Ленц и был абсолютно прав. Но если у столь мелких и незначительных объектов мироздания, какими являются люди, и то есть противники, конкуренты, недоброжелатели и так далее, то тем более они неизбежно должны быть у столь мощных, неповоротливых и, что греха таить, весьма бестактных образований, как государства. Нечего стесняться признавать этот факт.

Разумеется, времена феодальные прошли; это уже не те враги, что были, например, во времена Гамлета или античных трагедий. Погибну, но отмщу... Пусть мне будет плохо, но честь моя будет восстановлена... Нет, сейчас враждебные акции отнюдь не носят столь возвышенного и немеркантильного характера. Скорее, они подобны дрызгам карьеристов в одной фирме или в одном НИИ. Сделать мелкую гадость, тайком перекупить какие-нибудь акции, обойти на повороте при получении гранта, пустить слухов о том, что такой-то – развратник, такой-то – вор, а такой-то – бывший стукач...

Обратите внимание: среди прочего и – пустить слухов. Идейку. Мифчик.

Конечно, есть еще отдельные инвалиды борьбы с коммунистической диктатурой, для которых что для России и ее народа плохо, то прогресс и торжество цивилизации, а что хорошо – то контрнаступление тоталитарной реакции и вспышка русофашизма. Но к ним, мне кажется, надо отно-

ситься с пониманием и даже состраданием. Поменьше им возражать и прятать от них спички. Однако главным-то образом в основе нынешней борьбы лежат простейшие, как амебы, материальные интересы: нефть, космические и оборонные технологии, ученые головы...

Надо помнить об этом, когда какой-нибудь юноша бледный со взором горящим или, наоборот, исстрадавшаяся от вполне реальных былых репрессий пожилая дама начинают вдруг страстно грузить: Россия в течение веков безнаказанно лила кровь окружающих народов и причиняла им одни лишь страдания... Ведь это тоже миф, тоже идеология, да еще какая.

Знаменитый в свое время психолог Леви в одной из своих замечательных популярных книжек описывал тест. Сумасшедшему показали набор различных часов: будильники, наручные, настенные... Потом спросили: «Что у этих предметов общего?» Тот ответил: «Они все круглые». И далее Леви комментирует: «Логично? Логично. Но это не наша логика».

Чуть перефразировав этот блестящий пассаж психолога, можно сказать: «Мифологично? Мифологично. Но это не наша мифология».

Не хочу быть голословным. И не хочу опускаться до разборки с людьми, память о которых их не переживет, имена которых уже два-три года спустя после шумихи мало кто помнит. А вот умный, добрый и, уж в этом-то не может быть никаких сомнений, действительно бескорыстнейший из антисоветчиков позднесоветской эпохи, медленно тонущей в ледовитом океане памяти, — академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Великий человек. Человек-легенда. Вот его «Воспоминания» в двух томах (изд-во «Права человека». М., 1996). Читать эту огромную книгу почти невыносимо. Оторопь берет прежде всего от действий наших, уже тогда довольно многочисленных начальников. Гнусность, пришибленная и безграмотная жестокость дорвавшихся до власти ничтожеств, полное непонимание происходящего в стране и в мире — и полное отсутствие воли с ним, с этим происходящим, всерьез помериться силами... Даже из совсем не политологической книги личных воспоминаний делается предельно ясно, что удержать страну наши якобы компетентные товарищи никак не могли. Все у них было «ни два, ни полтора». Все-то они хотели и на сосну залезть, и зад не оцарапать. Ни малейшей уверенности в своем деле и своей правоте не было у них, и оттого злились они куда больше, чем следовало бы; а потому они и честно спорить с диссидентами не могли, а тем более не могли адекватно реагировать на приносимую диссидентами пользу (хотя бы в деле привлечения внимания к несправедливым приговорам по уголовным делам — а кажется, чего проще!). И оставить диссидентов в покое они не решались, и обработать их, прости Господи, быстро и решительно, по-сталински кишка у них была тонка. Зато из года в год мелко их злили и делали им рекламу; да не только им, но — увы, соответствующую — и себе. Многим начальникам уже тогда начало хотеться, чтобы Запад их любил («Запад полюбила на свою беду, не могу признаться — слов я не найду...»; слова нашлись только в горбачевско-ельцинскую эпоху, когда калугины запели тексты, об-

катанные ковалевыми). Плевать, что свои не любят, свои-то все равно никуда не денутся, да и проку от своих немного, наоборот, только жить мешают, болтаются, как ядро на ноге у каторжанина, одна головная боль от их никому не важных дурацких нужд... А вот Запад! Там настоящие деньги, там настоящие шмотки, там настоящие бордели и прочая Коста-Брава... Но Запад, непонятливый, все еще любил не их, а диссидентов – и начальники, похоже, ревновали до умоисступления. Чего стоит хотя бы отключение телефона-автомата близ сахаровского дома, чтоб Боннэр было трудней вызывать «неотложку»! Или как горстку демонстрантов у памятника Пушкину (которых, не обрати на них власть внимания, никто бы и не заметил) стали засыпать комьями грязного снега из нагнанных со всей Москвы снегоочистителей! Ну, сволочи же! Просто мелкие остервенелые пакостники! Как на коммунальной кухне: в кастрюлю соседу плюнуть, ершик припрятать... И это – служба национальной безопасности великой державы!

Есть афоризм: это хуже, чем преступление, – это ошибка. Наши деятели в течение десятилетий совершали разом и то, и другое – ошибочные преступления, а стало быть, дальше уж ехать было некуда. Единственным результатом их идеологической работы была прогрессирующая радикализация и, не побоюсь этого слова, маниакализация правозащитного движения – да и вообще всех интеллектуалов внутри и вне СССР. Ничего кроме. Как будто они натаскивали людей на ненависть к себе нарочно, с целеустремленностью почти завидной; но на самом деле это была просто глупость, нескончаемая и системная оттого лишь, что один начальник был не умней другого, а тот, кто приходил им обоим на смену, был из того же инкубатора.

Уже по тому, что в своей жалкой схватке с естественными потребностями людей перемещаться, мыслить, чувствовать и не соглашаться им приходилось волей-неволей (а часто – волей, с удовольствием) апеллировать к худшим человеческим качествам: трусости, подлости, холуйству, способности предавать друзей и родственников, стремлению унижать тех, кто уважаем, – было понятно: у них нет будущего; XX век с его потрясениями убедительно продемонстрировал, что жизнеспособен лишь тот режим, который в достаточной степени опирается (и умеет ставить их себе на службу) на светлые качества сложнейшей человеческой природы.

Но вот другая сторона, так сказать, баррикады.

«...Я как-то услышал разговор о недопустимости проявить "слабость" по отношению к крымским татарам, "рвущимся в Крым".

– Крым – территория государственного и международного значения.

Разговаривая в своем кругу, чиновники откровенно указывали на истинную причину совершающегося беззакония. Я не выдержал и повернулся к говорящим с восклицанием:

– Но ведь это их родина!» (т. 1, с. 411).

«Несколько слов о том, как я отношусь к палестинской проблеме в целом. Несомненно, каждый народ имеет право на свою территорию – это относится и к палестинцам, и к израильтянам, и, скажем, к народу крымских татар.

После трагедии, разыгравшейся в 40-х годах, палестинцы стали объектом манипулирования, политической игры и спекуляции... Давно можно было бы расселить беженцев по богатейшим арабским странам...» (т. 1, с. 529).

То есть все народы – и крымские татары, и израильтяне – имеют право на свою территорию, потому что это их родина, и не давать им жить на родине – беззаконие; но палестинцев надо депортировать в богатейшие арабские страны. И это походя, между делом, как о чем-то простом и естественном, заявляет великий гуманист, чье мнение было объявлено голосом совести страны; не в пылу спора говорит, не по запальчивости, но в выверенном тексте не раз переписывавшейся и редактировавшейся книги. И даже не чувствует, что в двух соседствующих фразах высказал две прямо противоположные позиции: одну – красивый и безгрешный трюизм, и другую – конкретный рецепт решения конкретной политической проблемы, причем рецепт предельно ОДНОСТОРОННИЙ. И как с человеком, например, спорить, вообще что-то обсуждать или, наоборот, почтительно следовать его советам, если он сам в собственных высказываниях подобных противоречий ДАЖЕ НЕ ЗАМЕЧАЕТ?

Или вот.

Снова о чудовищной депортации крымских татар. «Причиной депортации было объявлено сотрудничество крымско-татарского народа с немцами во время оккупации Крыма... Несомненно, однако, что делать ответственным за индивидуальные преступления – если они имели место – целый народ недопустимо ни во время войны, ни спустя почти сорок лет!» (т. 1, с. 463). «Днем я ездил в троллейбусе и мог убедиться, как относятся литовцы к русским... Как только я садился на сиденье рядом с литовцем или литовкой, они демонстративно отворачивались или пересаживались на другое место. Несомненно, они имеют на это право» (т. 1, с. 631).

То есть возлагать ответственность на какой-то народ за индивидуальные преступления его представителей – нельзя, но возлагать ответственность на всех русских за зверства интернационального коммунистического режима можно и вполне правомерно («имеют на это право»).

А вот беседа Сахарова и Боннэр с женой Солженицына.

«[Она] сказала: как я могу... придавать большое значение проблеме эмиграции, когда... в стране так много гораздо более важных, гораздо более массовых проблем? Она говорила, в частности, о том, что миллионы колхозников, по существу, являются крепостными, лишены права выйти из колхоза и уехать жить и работать в другое место. По поводу нашей озабоченности (дать детям образование за рубежом. – В. Р.) Аля сказала, что миллионы родителей в русском народе лишены возможности дать своим детям вообще какое-либо образование. Возмущенная дидактическим тоном обращенной ко мне "нотации" Натальи Светловой, Люся (Боннэр. – В. Р.) воскликнула:

– На...ть мне на русский народ! Вы ведь тоже манную кашу своим детям варите, а не всему русскому народу.

Люсины слова о русском народе в этом доме, быть может, звучали "кошунственно" (в кавычки слово "кошунственно" поставил почему-то сам

академик. – В. Р.). Но по существу и эмоционально она имела на них право» (т. 1, с. 577).

Опять «имела право»... Причем не только эмоционально, но и ПО СУЩЕСТВУ. Причем эти слова звучат «быть может, кошунственным» только «в этом доме», стало быть, есть дома, где они звучат отнюдь не кошунственным, а вполне нормально... Причем сам Сахаров настолько с этими словами согласен, что считал своим долгом процитировать в своих мемуарах, хотя ни кто его за язык не тянул.

И это общечеловеческие ценности? Защита прав человека? Простите, какого именно человека? Любого или нет? Нет. Очевидно – нет. Стало быть, это не осознаваемая самим ее носителем, но оттого еще более безапелляционная и бескомпромиссная идеология, которую, боюсь, если бы в качестве козлов отпущения оказались избраны, скажем, те же татары, литовцы или израильтяне, всяк демократ без особых колебаний мог бы (да просто долгом своим почел бы! И был бы прав!) отнести к нацистским. Хотя сам Сахаров совершенно искренне был уверен, что ненавидит фашизм во всех его проявлениях.

Есть хоть и шутовское, но психологически очень точное определение бытового представления об эгоизме: эгоист это человек, который о себе думает больше, чем обо мне. Если вспомнить, как часто у нас в последние годы к делу и не к делу бросаются словами «фашист» и «нацист», можно сказать: в основе таких перепасовок лежит представление, согласно которому, фашист – это человек, который о своем народе думает больше, чем о моем. В данном определении больше смысла, чем в иных якобы научных дефинициях, и вдобавок оно куда лучше объясняет неприглядную нашу реальность. Во всяком случае, нельзя не признать, что думать о себе и своем народе больше, чем о других и о народе чужом, – вполне естественно, так и есть во всем мире, надо только знать меру. Даже кислородом можно отравиться и обезуметь – про кислородное опьянение, я думаю, все слышали...

Однако у нас плюс ко всему вполне нам присущему общечеловеческому (думать больше о своих, чем о чужих) есть и особенная гордость. Скрестились, с одной стороны, хоть и пресловутая, но отнюдь не придуманная славянофилами всечеловечность русских, их имеющая очень мало мировых аналогов незаинтересованность этнической принадлежностью того, к кому ощущаются сопричастность и сострадание (если, конечно, они ощущаются), а с другой – многовековая отчужденность людей просвещенных, но не служивших от собственного государства (которому именно русский народ служил главной опорой), породившая, в конце концов, априорную ненависть интеллигенции к этому государству (и ненавистниками оно ощущалось русским куда сильнее, нежели его защитниками). Результатом этого скрещивания стал уникальный, почти исключительно русский тип нацизма, который я назвал бы суицидальным русофашизмом. Его можно определить так: суицидальный русофашист – это человек, который о своем народе думает хуже и, во всяком случае, меньше, чем о любом другом.

В сущности, приверженность суицидальному русофашизму где-то полвека назад стала у нас, не без помощи прогрессивной мировой общественности, едва ли не главным признаком интеллигентности и свободомыслия.

Если кому-то кажется, что я преувеличиваю, – читайте у Андрея Дмитриевича: «...Уже из первых выступлений писателей русофильско-антиинтеллигентского крыла...» (т. 2, с. 373).

Кстати, в эпиграфе, взятом мною из записок Михаила Левина о Сахарове, тоже имеется в виду именно Андрей Дмитриевич. Да-да, перечтите, если забыли: «А вот слово "патриот" до сих пор существует для него в двух ипостасях. Французская, из "Марсельезы" и Виктора Гюго – со знаком плюс. А на русской стоит клеймо "Господина Искарриотова" и щедринского "потреотизма"».

Но почему, собственно?

И если это не нацизм, то, что тогда – нацизм?

Можно только догадываться, сколько искренней радости подобные сентенции вызывают у французских господ Искарриотовых и как от души эти господа готовы всеми средствами поддерживать их и пиарить. Мол, вот мнение единственных свободных людей в стране рабов... Особенно активизируется такая поддержка, когда какой-нибудь Бонапарт спит и видит сыграть свою правильно патриотичную «Марсельезу» в модернизируемой то ли пожаром, то ли взрывами жилых домов Москве...

А что о просто народе? Практически ничего. Просто нет такого. Я нашел лишь одно значимое упоминание: «Может, это покажется кому-то наивным и поверхностным (даже такую реплику академику показалось необходимым предварить извинением и продемонстрировать готовность признать свою неправоту. – В. Р.), но... когда я вспоминаю некоторых... людей, с которыми меня столкнула жизнь, мне начинает казаться, что этот несчастный, замордованный, развращенный и спившийся народ, который сейчас даже и не народ в прямом смысле слова, все еще не совсем пропал...» (т. 1, с. 715).

И анализировать-то эти слова неловко. Все сам сказал. Не народ – и баста.

...С каким уважением и восхищением описывает Андрей Дмитриевич Сахаров поведение Сергея Адамовича Ковалева на суде. Когда публика в зале отреагировала без сочувствия, смешками, тот крикнул: «Я не буду говорить перед стадом свиней!» (т. 1, с. 633).

Вот квинтэссенция правозащитной идеологии. Все люди имеют право на собственные убеждения, но те, кто не имеет диссидентских убеждений, людьми не являются...

Конечно, в ту пору очень многое оправдывалось тем, что инакомыслящие были НА СУДЕ, а их оппоненты, в лучшем случае, – В ЗАЛЕ СУДА. Если не по существу оправдывалось, то хотя бы эмоционально. Но теперь – мы все на суде. На суде друг у друга. На суде у истории. А поэтому ныне, ежели у кого (попробуем представить метафору знаменитого романа Достоевского буквально) что-то лишнее отросло на голове, нимб страдальца сих новообразований уже не прикроет...

Ладно, хватит. Бог с ним, с Андреем Дмитриевичем. Светлая ему память. Я ведь это все говорю отнюдь не с тем, чтобы встроиться в кильватер тупой советской пропаганды тех времен и в очередной раз гневно заклеить гения и великомученика по столь любимому у нас и при тоталитаризме, и при демократии принципу «Ай, Моська!...». Я хочу показать: именно мыслящий человек не может мыслить вне идеологии, то есть – неких мифических, априорных приоритетов, аксиоматичных восхищений, состраданий и обид, которые она неизбежно подразумевает. Если ему кажется, что он свободен от идеологических шор и просто отстаивает нечто вечное и абсолютное, – это, как правило, значит лишь то, что он свободен от идеологии, господствующей в данный момент в данном месте. Только и всего. На самом деле от идеологии более или менее свободна лишь физиология.

Непонимание этого факта может привести к объективной нечестности даже того, кто субъективно порядочен и честен в степени, максимально возможной для человеческого существа. И к тому же, искренне полагая, будто его взгляды не идеологичны, а общечеловечны, такой человек может начать их по доброте душевной навязывать и всерьез гневаться на тех недочеловеков, которые с ним не соглашаются и тем самым не хотят становиться настоящими людьми. Идеолог, понимающий, что он идеолог, осуществляет такое навязывание осознанно – и, следовательно, если он порядочный человек, может его не совершать, может знать черту, на которой надо остановиться в стремлении убедить собеседника и оппонента; он знает, что его убеждения – не более чем удел группы. Общечеловек, даже самый порядочный, такого предохранительного механизма лишен. А это – первый шаг к новому тоталитаризму, в котором просто-напросто черное и белое поменялись местами.

Что же до того, будто в многонациональной стране не может быть национальной идеи, и применительно к подобной стране надлежит говорить лишь о некоей НАДнациональной идее (с таким взглядом тоже приходится встречаться), – это пустая и, возможно, не вполне честная игра словами. Граждане того или иного государства являются политической нацией и в качестве таковой – одним-единственным субъектом международного права вне зависимости от степени сложности своего этнического состава. Национальная идея призвана обеспечивать (или, по крайней мере, способствовать ему) выживание ВСЕЙ данной политической нации как единого целого. Требование сформулировать некую наднациональную или многонациональную идею, то есть раздробить по этническому признаку смысл существования политического организма, как раз и приведет к тому, что те или иные этнические группы неизбежно будут оставаться за бортом – то есть к тому, против чего ратует на словах: к ущемлению прав национальностей.

Все это достаточно просто, и, если бы речь шла, скажем, о различных концепциях или школах внутри чистой науки, дискуссия давно бы прекратила течение свое. Ну, о чем спорить генетику с ярым лысенковцем? Тот примется утверждать, будто можно... воспитать морозоустойчивый карто-

фель или помидор размером с дыню... и ничего ты ему не докажешь, он просто не понимает доводов, на которых строятся контраргументы; что ему какие-то там наследственность, изменчивость, национальные идеи и прочая невидимая глазу белиберда. Но когда за лысенковцем политическая власть, тогда... О-о, тогда! Тогда ему тем более ничего не докажешь, но, вдобавок, прав-то обязательно окажется он, можно и рта не открывать!

Однако и это понятно.

Есть проблемы куда более сложные, действительно сложные, и что с ними делать – не вполне ясно. Они только ждут своего решения.

Ну, например.

Человек возник с началом отрицания животной простоты религиями. Человеку нельзя было оставаться животным, потому что он оказался бы тогда хуже всякого животного; животные, не размышляя, повинуются хотя бы инстинктам стаи или материнства-отцовства, а мозг сделал человека чудовищным эгоистом, высшая нервная деятельность форсирует все индивидуалистические инстинкты и подавляет все коллективистские. Этот процесс надо было чем-то парировать. Сначала – примитивные табу; потом, особенно с возникновением этических религий, система усложнилась, но суть ее осталась той же. Человек возмечтал О ЛУЧШЕМ СЕБЕ (для каждой культуры эти мечты были специфичны, но во многом и совпадали) и начал запретами формировать себя по образу и подобию мечты – так скульптор резцом отсекает все лишнее от естественной и бесформенной глыбы мрамора, чтобы получилось нечто осмысленное и прекрасное. Цивилизация начинается тогда, когда то, что физически, физиологически вполне можно сделать: убить, изнасиловать, бросить одного умирать, без спросу забрать чужое себе, не выполнить то, что велел отец, громко испортить воздух, сидя за обеденным столом, – становится совершенно нельзя по каким-то выдуманым, чисто духовным, искусственно, казалось бы, сконструированным причинам. И, с другой стороны, цивилизация кончается, когда человек перестает мечтать о лучшем себе и все это становится снова можно. Людей не труд создал. Трудятся и пчелы, и бобы. Людей создали запреты.

Сколько, скажем, сил приходится потратить, чтобы приучить ребенка не ковырять в носу. Иногда и прикрикнешь, иногда и шлепнешь, что греха таить... А, собственно, почему бы ребенку не быть свободным индивидом и не ковырять в носу, когда ему приспичит? Что в том плохого? Кто и зачем придумал на нашу голову, что ковырять в носу некультурно, какой такой тоталитарист? Ведь это так естественно... Можно сказать, ковырять в носу – это общечеловеческая ценность, ведь носы есть у всех!

Но ведь страх перед идеократией возник не на пустом месте. Всякое духовное единство на основе какой бы то ни было идеи, понимаемой как абсолютное благо и противопоставляемой совокупности всех остальных как столь же абсолютному не-благу, требует более или менее силового подавления инакомыслящих. А их не может не быть, потому что, сколь бы обоснованным ни было некое мнение по общим вопросам, сколь бы ни была бо-

гатов и прогрессивной некая идея, всегда, всегда, неизбежно найдутся люди, которым это мнение и эта идея придутся не по нраву.

Люди одинаковы лишь как животные, и лишь животное их единство не требует насилия для своего поддержания, поэтому ставшая неким фетишем современности свобода неизбежно выводит взаимодействие между людьми из духовных областей (где каждый не похож на других, уникален, неповторим и – одинок) в физиологические (где все одним миром мазаны).

Тут-то и становится понятна высокая роль основанных на идеологиях (а иначе и не бывает) ритуалов, или, в более современных обществах, норм поведения, условностей – они дают людям уникальную возможность быть едиными не только на уровне физиологии. На стриптиз именно в свободных обществах ходят массовей, чем в филармонию. И не только потому, что в закрытых обществах стриптиза просто нет. Если бы в СССР 60-х годов вдруг пооткрывали бы стриптиз-клубы, некоторое время они бы пустовали, потому что очень значительный процент населения СТЕСНЯЛСЯ бы туда пойти. Но стесняться – это же внутренняя несвобода, рабская идеология, а раба нам надо выдавливать!

А чего, действительно, стесняться-то? Что мы, не знаем, что у нас между ног? Не видали никогда? Ну совершенно непонятно, чего эти юридические стесняются...

Вслед за таким выдавливанием раба и индустриальное обслуживание человека все более ориентируется на производство обслуживающих как раз его физиологическую составляющую товаров. А поскольку всякое производство стремится к расширению, идеологическое давление якобы безыдейного, чисто технологического прогресса нечувствительным образом направляется на то, чтобы эту физиологическую составляющую усилить и сделать единственно престижной, единственно достойной раскрепощенного, так сказать, и незашоренного, лишенного, так сказать, предрассудков индивидуума. Коммерчески ставить на эту составляющую выгоднее и надежнее, ибо не иметь морщин и хорошо пахнуть хотят, в общем-то, все нормальные люди, вне зависимости от политических убеждений и даже религиозной принадлежности.

Кстати сказать, попытки подменить любовь к Родине жирной зарплатой есть зачастую не что иное, как один из элементов этого давления. Даже политика тут ни при чем, даже козни супротивников Святой Руси – просто производители презервативов хотят расширять мощности.

В пределе этот процесс утверждения истинной свободы должен привести к повальному превращению людей в скотов. Очень ухоженных скотов, очень занятых своей высокооплачиваемой работой и потому очень квалифицированных в профессиональной сфере, но вне ее – дебилов и хамов. Блистательно познавших науку потребления, матерых академиков бодибилдинга, кикбоксинга, петинга, шопинга и пирсинга – но понятия не имеющих, где река Лена и где река Лимпопо, кто такие Фома Аквинский, Лермонтов или, например, генерал Григоренко. Более того – даже

не понимающих, на кой хрен им надо это знать. Ведь для жизни это совершенно не нужно! Для жизни свободному от идеократических заморочек человеку действительно, действительно нужно знать только разве что, каким маслом лучше умасливать свой «БМВ» и как пользоваться тампаксом!

Это изменение человека – объективный и не лишенный положительных элементов процесс. Повторяю: объективный.

Ну черта ли нам лысого в Аквинском Лимпопо! Если люди сыты, если им весело... да провались пропадом вся эта эрудиция и связанные с нею бессмысленные размышления и разговоры, так похожие на толчение воды в ступе!

Увы.

Человек, знающий лишь свой быт, способен думать лишь о личном будущем и лишь не далее нынешнего вечера: с кем он пойдет в паб и с кем переспит. А общество так жить не может. Любое мало-мальски стратегическое целеполагание требует... Нет, даже не знать, кто такие эти перечисленные персоны и где они маячат. Для этого есть, в конце концов, референты. Самое главное – иметь сетку более или менее абстрактных приоритетов, иметь способную обрабатывать конкретную информацию и потому воспитанную на конкретных примерах (вот и место для эрудиции) систему ценностей, иметь идеологию, будь она неладна, при помощи которой лидер, если ему вдруг расскажут про Лену или Григоренко, сразу оценит: нужна нам Лена или нет? Хорош Григоренко или плох? Разные люди будут отвечать на эти вопросы по-разному, факт. У них разные системы ценностей. У них различные представления о коллективных целях. Но, по крайней мере, люди хоть как-то способны на них ответить. А профессионализованное постиндустриальное животное такую оценку произвести принципиально не в состоянии, потому что оценка эта всегда завязана на представления о том, помогает данное явление достижению той или иной коллективной цели или мешает, – а для свободного от коллективных мифов человека нет коллективных целей.

Грубо говоря, тот, кто исповедует миф, что русские в целом – бездарное ленивое хамье, не может не иметь каких-то предложений относительно того, что с ними делать (варианты: уничтожить, посадить в резервации, разрушить их государственность, отмыть, научить уму-разуму и т. д.). Тот, кто исповедует миф, будто русские – надежда человечества, тоже обязательно будет иметь какие-то соображения (варианты: дать русским побольше атомных бомб, укрепить их государственность, отмыть, освободить их от гнета неразумной власти, чтобы ничто им не мешало спасти духовность человечества и т. д.; полярные мифы не обязательно порождают полярные варианты действий – у людей вменяемых, даже если они исповедуют полярные мифы, рекомендуемые на их основе рецепты могут во многом совпадать, и тут возникает возможность самого плодотворного взаимодействия между ними). И только тому, кто не переживает ни единого коллективного мифа относительно каких-то там русских, на сей народ совершенно

наплевать. Для отдельного человека в быту это, может, и неплохо. Но политик сразу впадет в ступор.

Решать, как следует жить обществу и что ему следует делать через неделю, через месяц, через год или десять лет, а в особенности – как ему реагировать на некие новые факторы, так называемый незашоренный человек не может. Просто не может, как не может слепой различать цвета светофора. Чем человек свободнее от предрассудков, тем более он вынужден полагаться в небытовых вопросах на мнение своих кумиров. По принципу «он прыгнул на Олимпиаде дальше всех – стало быть, знает, воевать нам или нет...».

С другой стороны, по тому же самому закону, по какому в любом идеократическом обществе всегда возникнут инакомыслящие, то есть люди, исповедующие иную идеологию, – так в обществе людей без предрассудков обязательно возникнут люди, которым скотское существование окажется не по нутру. Скучно оно им будет, тупо, серо... Они будут яростно, неистово грезить теми или иными коллективными мифами – по объективной необходимости заполнить духовный вакуум, да к тому же просто из чувства противоречия, чтобы тем безоговорочнее ощущать себя солью земли, не чета этому быдлу. Общество естественнейшим образом начнет относиться к ним, как к неприятным придуркам, в ответ они будут еще более презирать и ненавидеть общество. Их идеология станет куда более жесткой, правила общения – куда более конспиративными. В итоге неизбежно начнут возникать некие тоталитарные секты, по сравнению с которыми вялотекущие старцы из политбюро или бравый Буш со своей Кондолизой, однажды краем уха услышавшие, что в Ираке чего-то не хватает демократии, покажутся просто-таки правозащитниками.

Парадокс, однако, в том, что только они будут обладать потенциалом социального творчества. А статья из изгоев кумирами так легко!

Будущее очень свободных обществ будет отдано тоталитарным сектам на откуп. Кроме них, этими обществами некому окажется править.

Что делать с этой диалектикой, я пока и сам не знаю и вычитать еще ни у кого не смог. Пока ответа нет. Разве что процесс лишения человека его неизбежно полной предрассудков души будет как-то приторможен или повернет вспять. Но альтернатива-то скотской свободе, елки зеленые, – опять идеократия, которой я и сам боюсь! Я ее помню! И, как говаривал Собакевич, мне лягушку хоть сахаром облепи, я ее в рот не возьму и устрицы тоже не буду: я знаю, на что устрица похожа!

Конечно, порой к власти, наоборот, могут возноситься – и возносятся – просто славные и недалекие обыватели, обуреваемые смутно-сладкими, по-семейному очень понятными идеями сделать всем хорошо. Святой Николай Кровавый, Джимми Картер, Михаил Горбачев... Однако практика показывает, что во время подобных правлений страны проигрывают все, что только могут при данных условиях проиграть, а на переломных этапах результаты потуг этих добряков по своей разрушительности оказываются вполне сопоставимы с результатами деятельности самых оголтелых фана-

тиков самых людоедских и рабовладельческих идей, вроде Гитлера, Сталина или Пол Пота.

Это значит, что тот, кто не знает, в какое будущее он хочет двигаться, а всего лишь стремится усовершенствовать уже созданное другими настоящее, преуспевает немногим лучше того, кто загоняет в прошлое.

Ох, сложен Божий мир! И с идеями худо, и без них погано... Это значит, разумеется, всего лишь, что нельзя перегибать ни в ту, ни в другую сторону; но на словах-то это просто, а на деле – кошмар болотный, слева топь, справа трясина, попробуй-ка проюли по кочечкам!

Во всяком случае, уже теперь можно сказать вот что. Национальная идея в России сейчас – это всего лишь две вещи.

Фундамент: сохранение традиции. Говоря попросту, нам надо научиться не стесняться быть собой. Не гордиться, не бить себя в грудь, не доказывать, что у нас то-то и то-то лучше и правильней и что мы из своей помойки щас вот как встанем и спасем прогнивший мир – но просто спокойно и где-то даже смиренно (прими свою судьбу) не стесняться быть собой. Перестать стыдиться своей истории и покорно, понуро верить тем, кто нам внушает, будто она самая кровавая, самая бесчеловечная и самая бестолковая. Принять, что у нас, как и у всех, есть свои положительные и отрицательные особенности и свои интересы – кого-то устраивающие (и это наши союзники), а кого-то не устраивающие (и это наши конкуренты). Принять, что совсем не обязательно, когда кто-то от нас чего-то хочет – это он нам бескорыстно добра желает, а когда мы чего-то от кого-то хотим – это мы такие жутко агрессивные.

Строительство, конструирование мира, соответствующего идеальным представлениям о нем: обращенность в будущее. Невозможно иметь какой-то идеал и не стараться претворить его в жизнь. Если так – это не идеал, а в лучшем случае, салонная болтовня. Трудно сказать, откуда в российском национальном характере взялась потребность в масштабных душеполезных для мира свершениях. И еще труднее сказать, хорошо это или плохо. Вернее, очень легко: и хорошо, и плохо – как всегда. Но говорить, что, мол, вон, например, в Люксембурге без всяких национальных идей живут прекрасно и нам так надо – это все равно что упрекать Эйнштейна или Александра Македонского: ну какого лешего тебе эта теория единого поля сдалась? Ну на фиг тебе Индия? Вон сколько народу живут без теорий и без Индий, и ничего... Действительно – много живут. А вот некоторые не могут, хоть тресни. Пытаться их вразумить – все равно что на «Руслан» поставить мотор от спортивной «Сессны», а потом похлопать по фюзеляжу и сказать: ну, а теперь иди летай, как нормальный самолет...

Однако запрограммированы в национальном характере не конкретные свершения, а лишь состояние удовлетворения, ощущение правильности жизни, которые свершениями даются. Сами свершения могут быть очень разными – они лишь знаки, признаки, демонстрирующие, работает мотор или нет. Те, кто утверждает, что национальная идея в России всегда агрес-

сивна и в ней всего-то смысла – всех завоевать, вольно или невольно совершают подмену (очень приятную, конечно, для тех, кто нашей стране не добра желает). Просто Россия, занимая крайне неудобное положение на стыке трех цивилизационных очагов, уязвимое и с запада, и с востока, и с юга, очень часто подвергалась агрессиям и вынуждена была либо от них отбиваться, либо, в периоды своего усиления, ставить под контроль (да что стесняться слов хладнокровным историкам – завоевывать) регионы, из которых исходили перманентные угрозы. Естественно, при такой жизни военные свершения мало-помалу заняли в спектре возможных свершений одно из очень почетных мест. А у какой крупной страны не так? При чем – при их куда более благополучном размещении на глобусе.

В том-то и дело, чтобы выбирать для работы мотора задачи, которые бы и давали удовлетворение, и были исторически оправданы. Скажем, завоевывать Дарданеллы уже в конце позапрошлого века было задачей архаической – и потому от попыток ее реализации ничего путного не вышло. А вот выход в космос в середине прошлого века был задачей полезной, соответствовавшей эпохе. И радость-то случилась какая! Не меньше радости, чем от победы над Гитлером, – да вдобавок и чище, светлей, потому что похоронок не было. И в то же время – как ракетное свершение наукоемкие технологии потянуло вперед! Прогресс случился вместе с великой и невоенной радостью, совершенно реальный прагматический прогресс, не то что от стремления к Дарданеллам.

Потому-то, именно из-за реально полезного стране и в то же время радостного народу прогресса, во второй половине восьмидесятых пресса так и обрушилась на космос. Зачем, мол, на ветер такие бешеные деньги кидать, не нужен он нам (вот уж было вранье так вранье!), не лучше ли направить их на повышение благосостояния людей... теперь-то мы знаем, что подразумевалось повышение благосостояния отнюдь не всех людей, а лишь тех, кого, как повелось еще с диссидентских времен, за людей держали... впрочем, и диссиденты тут были лишь прилежными учениками большевиков... Но дело сейчас даже не в этом, а в том, что, полети, скажем, швед – в Швеции такого ликования не было бы. Потому что нет в менталитете установки на общие свершения – и не приносят свершения той радости. Другой у мотора при работе звук.

Объединение усилий и вообще жизни невозможно без некоей общей цели, принятой как достойная усилий и даже самой жизни достаточно большой частью населения. Да, никакая масштабная задача для России сейчас объективно не может быть сформулирована. Пресловутый рост ВВП вдвое – это не эмоционально, нельзя мечтать о каких-то цифрах и абстракциях, люди так не умеют. Задача должна быть вещественной, образной и даже, не побоюсь этого слова, поэтичной. Для подобных задач у нас покамест – дым из трубы жидковат. Любой великий прожект будет встречен истерическим хохотом. И это хорошо. Надо очухаться, если это вообще еще возможно. И использовать время для того, чтобы избавиться от идиосинкразии на великие прожекты.

Вторая составляющая национальной идеи сейчас – это спокойная готовность к принятию масштабных задач. Это изживание уверенности (отчасти возникшей благодаря гипнозу пропаганды, отчасти реально выстраданной, ведь если слишком долго оправдывать несправедливость общественной необходимостью, все нормальные люди обязательно начнут считать всякую общественную необходимость несправедливой) в том, что любая великая, даже любая просто неиндивидуальная цель – это обязательно сразу доносы, лагерь и вертухай.

Надо бороться (я не боюсь этого скомпрометированного большевиками слова; жизнь – это борьба, а порой даже борьба за существование, и сего факта не отменяет ни тоталитаризм, ни демократия, ни повышение зарплат) за то, чтобы слово «идеалист» снова стало вызывающим пусть хоть и несколько удивленное, но уважение, а не было бы просто синонимом слова «лох». Тогда, глядишь, наши предрассудки, наша вполне идеократическая способность говорить «это хорошо, а это плохо», не глядя на ценник, спасут нас от воцарения тех, кто будет говорить нам «это плохо, а это хорошо», не глядя на нас.

Надо бороться за то, чтобы право на хотя бы какой-нибудь приемлемый для страны идеал не воспринималось как отрывка бесправия.

Сам чувствую: вот она началась – самая скользкая область. Приемлемый для страны... Что это такое? Ведь те, кто полагает, что для России лучшим выходом будет распад, превращение в протекторат, окончательное закрепление за нею роли вечного сырьевого придатка (а когда сырье кончится, то лучше, чтоб и россияне к тому времени кончились – тогда территория пригодится; впрочем, о такой коллективной цели нам напрямую не говорят, говорят только, что в придатке зарплата повысится), – они тоже в значительной степени идеалисты! В конце концов, единомышленников Бжезинского, полагающего, что «для России будет как можно лучше поскорей забыть о своем великом прошлом», у нас до сих пор пруд пруди!

Что тут скажешь...

Ситуация напоминает мне пьесу Эрдмана «Самоубийца». Персонаж ее надумал вдруг от личных невзгод покончить с собой – и мигом набежали всевозможные доброжелатели, умудренные, породистые, разнообразные. Глупо же просто так расставаться с жизнью – покончи с собой ради меня, кричали они наперебой. Нет, ради меня! Не слушай их всех – только ради меня!

А вот фиг вам всем, ответил раздумавший кончать с собой Семен Подсекальников.

И, разумеется, всех доброжелателей этим очень обидел.



Денис Драгунский

ТЕРРОРИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНСОЛИДАЦИИ

Авиадиспетчер Питер Нильсен был убит 25 февраля 2004 г. То ли он был непосредственно виновен, то ли оказался последним звеном в длинной и путаной цепи случайных обстоятельств, но именно он дал экипажу российского самолета неверную команду, в результате чего и произошла катастрофа над Боденским озером в июле 2002 г. Есть весомые подозрения, что диспетчера убил один из родственников погибших, отомстив тем самым за смерть жены и двоих детей.

Ветхозаветное мщение, осуществленное в пригороде Цюриха, вызывает плохо скрываемые симпатии общественного мнения. Однако авиадиспетчеры имеют свою точку зрения на этот вопрос. 5 марта, в день похорон Нильсена, в полдень по Гринвичу, в европейских аэропортах готовые к взлету лайнеры замерли на бетонных полосах. Пауза длилась двадцать минут. Диспетчеры не просто скорбели, они демонстрировали свою силу.

А 11 марта в Испании произошел ужасающий теракт, точнее, серия одновременных терактов на железных дорогах. Две сотни погибших, полторы тысячи раненых. Преступление привычно приписали баскским сепаратистам, но они, судя по всему, здесь ни при чем, хотя торопливые аналити-

«Космополис». 2004. № 10 (7).

Денис Драгунский – филолог, аналитик, журналист, главный редактор журнала «Космополис», основатель (2000 г.) и научный руководитель Ин-та национального проекта. Автор множества рассказов и пьес. Произведения Д. Драгунского переведены на англ., болг., нем., япон. языки. Живет в России.

ки уже связали этот теракт с прошлогодним запретом партии «Батасуна» – политического крыла группировки ЭТА. Примерно через сутки ответственность взяла на себя некая малоизвестная группа из орбиты «Аль-Каеды»: исламисты якобы мстят Испании за поддержку войны против Ирака и угрожают страшными карами всему западному сообществу. Впрочем, до полной ясности далеко, да и вряд ли она когда-нибудь появится.

На первый взгляд кажется, что эти два события – убийство диспетчера и взрывы в Испании – совершенно различного типа и ранга: личная месть одному конкретному человеку и обезличенное политическое убийство сотен людей. Тем не менее у них есть общие черты, позволяющие понять некоторые существенные свойства терроризма, его генетические механизмы и политические функции. Гнев и сострадание не должны помешать попыткам исследования.

Опасные группы

Но начнем наше рассуждение несколько издалека и как бы со стороны – с хорошо идентифицированных корпораций, которые имеют возможность оказывать давление на общество, а через него – на государство и работодателя. Обычно этим отличаются транспортники и, в частности, авиадиспетчеры, относящиеся к сравнительно небольшой корпорации, способной в одночасье парализовать грандиозную транснациональную инфраструктуру гражданской авиации и в борьбе за повышение своей зарплаты причинить посторонним людям массу неудобств.

Есть еще диспетчеры электросетей, теплотрасс, трубопроводов и железных дорог, атомных станций и систем водоснабжения, «скорой помощи» и телефонной связи. Одновременная забастовка хотя бы нескольких подобных служб может спровоцировать лавину непредсказуемых перемен в жизни любого общества и государства. Лучшим средством против таких неприятностей является то, что указанные корпорации интегрированы в общество, прежде всего, через коммунальную инфраструктуру, которой они совместно управляют. Проще говоря, железнодорожникам нужны врачи, связистам – свет и вода, и т. д. Поэтому совместное выступление всех или хотя бы большинства служб жизнеобеспечения практически невероятно. Впрочем, данная «система сдержек» тоже не обладает абсолютной прочностью: бывает, что групповая солидарность перевешивает социальную интеграцию.

Таким образом, корпорация (или вообще любая отчетливо выделенная группа) становится опасной тогда, когда она изолирована, когда рвутся связи между нею и остальным обществом, когда прекращается – или так и не начинается – диалог.

Для того чтобы изолировать профессиональную корпорацию, государство в союзе с работодателями должно хорошенько постараться. Однако существуют группы, которые изолируются чрезвычайно легко или даже уже

изолированными вступают на национальную сцену. Таковы этнические, религиозные и социальные меньшинства, иммигрантские общины, иногда – традиционные диаспоры, неожиданно получившие этнокультурную стигму.

Русский терроризм начался с изоляции разночинной интеллигенции. Словечко «чумазый», пущенное М. Салтыковым-Щедриным в адрес кабатчиков и лавочников (по сути, в адрес нарождавшейся русской буржуазии), далее было переадресовано всем, кто хотел вырваться из сословного миропорядка, шагнуть выше по лестнице социального признания. В рассказе А. Чехова «В усадьбе» (1894) помещик Рашевич рассуждает: «как только чумазый полез туда, куда его прежде не пускали, – в высший свет, в науку, в литературу, в земство, в суд <...> то стал киснуть, чахнуть, сходить с ума и вырождаться». Но констатаций мало – есть и своего рода позитивная программа: «Мы должны сплотиться и ударить дружно на нашего врага. <...> Давайте мы все сговоримся, что едва близко подойдет к нам чумазый, как мы бросим ему прямо в харю слова пренебрежения: "руки прочь! сверчок, знай свой шесток!"» (Полн. собр. соч. М.; Л., 1931. Т. VIII. С. 123–129).

Русское служилое и поместное дворянство считало разночинных интеллигентов «чумазыми»; крестьяне сдавали студентов-«народников» жандармам. Ответом на изоляцию стали бомбы.

Молчание волков

Понятие «права человека» официально вошло в правовой обиход после Второй мировой войны, а по-настоящему закрепилось в политическом дискурсе лишь с 1970-х годов (Хельсинкский акт и международная кампания американского президента Дж. Картера). Однако в террористической листовке «Смерть за смерть» (1878 г.), разъясняющей причины убийства шефа жандармов Н. Мезенцева, эти слова встречаются неоднократно: три раза «человеческие права» и один раз «права человека» (*Степняк-Кравчинский С. М. Грозовая туча России. М., 2001. С. 13–22*).

Так ли неожиданна связь прав человека с терроризмом? В конце концов, все права человека – это, по сути, единственное метаправо, то есть право на равный диалог, право быть услышанным и понятым. В цитированной листовке, как и в других сочинениях апологетов раннего русского терроризма, подробно рассказывается, насколько правительство трех последних царей было глухо ко всем словам (жалобам, требованиям, проектам и т. п.) людей, которых мы бы сейчас назвали «реформаторски настроенными интеллектуалами». Власть во всем видела посягательство на устои собственного могущества и ничего более, тем самым изолируя реформаторов и интеллектуалов, выталкивая их в революцию и терроризм.

Сам же террор представлялся актом индивидуального возмездия палачам и сатрапам: отсюда симпатии значительной части образованного общества к террористам. Вряд ли канцлер князь А. Горчаков сочувствовал революцион-

ным идеям, однако же он присутствовал на процессе по делу Веры Засулич и вместе со всеми аплодировал вердикту присяжных. Вот как в те годы виделся образ террориста (думается, не только в сознании его соратников): «Среди коленопреклоненной толпы он один высоко держит свою гордую голову <...> Он прекрасен, грозен, неотразимо обаятелен, так как соединяет в себе оба высочайшие типа человеческого величия: мученика и героя» (*Степняк-Кравчинский С. М.* Указ. соч.). Странно сегодня читать эти слова, но надо знать, что и сейчас в некоторых, скажем так, группах населения террорист воспринимается как безусловный герой-мученик. Кстати, вспомним, что предполагаемый убийца диспетчера Нильсена вызывает скорее сочувствие, чем осуждение. Очевидно, для такого сочувствия необходимо наличие точного предмета и адресата мести (другое дело, что в разных группах эти понятия могут интерпретироваться различно).

Отсутствие диалога порождает насилие. Социальная (этническая, религиозная) группа, упершись в глухую стену, пытается достучаться до своего контрагента любым способом, в том числе с помощью терактов. В данном случае теракты становятся способом заявить о своем недовольстве, о своих требованиях, о своей политической программе, о своем существовании, наконец. Но здесь есть и другие, весьма серьезные и долговременные последствия. Отказывая кому-либо в диалоге, мы тем самым довольно быстро отучаем его от внутреннего диалога. Социальное или этническое меньшинство теряет способность само себе давать отчет о своих проблемах и требованиях, рефлексировать их, рационализировать, артикулировать в виде достаточно ясных лозунгов и программ. Вдобавок ко всему, мы и сами мало-помалу отучаемся рефлексировать и выражать на вербальном уровне собственные проблемы – проблемы большинства в противовес проблемам меньшинства, проблемы власти в противовес проблемам оппозиции и т. д. Известный физиолог И. Павлов назвал бы это серьезной дисфункцией второй сигнальной системы. Общество теряет язык. Оно начинает коммуницировать внутри себя и со своими противниками как бы жестами: террористы молча взрывают, полиция молча проводит рейды. Требования террористов становятся все более расплывчатыми и невыполнимыми (иногда требований вовсе нет, а есть туманные намеки на месть – причем не за конкретное деяние, а, что называется «вообще», за все преступления, якобы совершенные против данной группы). Власть же заявляет, что в принципе не намеревается вступать с преступниками в переговоры.

Слово и смысл

Терроризм, согласно Толковому словарю Владимира Даля, это «устрашение смертными казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства». Скорее всего, здесь речь идет о якобинском терроре. Кстати, в русском языке карательно-устрашающая политика правительства чаще всего называется

ся «террором», а аналогичные действия антиправительственных групп – «терроризмом». «Государственный терроризм» в советском политическом дискурсе появлялся, когда надо было сказать что-то обидное об Израиле или США. Но это к слову. Что же касается его смысла, то здесь мы далеки от какой-нибудь ясности.

Все согласны с тем, что терроризм – это преступление, знак беды, постигшей человечество на рубеже тысячелетий, угроза стабильности, провокация напряженности. Но при этом терроризм не является преступлением, которое наказывается по международному праву (как агрессия, военные преступления, работорговля, пытки, геноцид, пиратство и преступления против человечности).

Попытки точно определить, чем же является терроризм, успеха пока не принесли. Политологические определения кажутся слишком общими – например, «мотивированное насилие с политическими целями» (Б. Крозье) или «суррогатная война» (Б. Дженкинс) (см.: Витюк В. В., Данилевич И. В. Терроризм как политический феномен и как теоретическая проблема // Актуальные теоретические проблемы терроризма. М., 2003). Первое подходит к любой войне, второе – вообще к чему угодно. Юридические определения терроризма страдают излишней дробностью. К примеру, в ст. 205 Уголовного кодекса РФ или ст. 3 Федерального закона РФ «О борьбе с терроризмом» содержится перечень преступных деяний, таких, как насилие и угроза насилия, уничтожение имущества и т. п., за каждое из которых полагается соответствующее уголовное наказание по другим статьям. Отметим, что российское законодательство различает понятия *терроризм* (ст. 205 УК РФ) и *террористический акт*, то есть посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 227 УК РФ). Взрывы и поджоги являются проявлениями терроризма, если они совершены в целях устрашения населения и оказания давления на органы власти. Если же они направлены на подрыв экономической безопасности или обороноспособности страны, то это *диверсия* (ст. 281 УК РФ). Таким образом, главной и единственной особенностью терроризма оказывается умысел, сознательное желание сеять страх и диктовать государству свою волю. Именно этот умысел и делает, например, поджигателя террористом, а не диверсантом или злостным хулиганом. Итак, терроризм – это то, что делают террористы. В свою очередь, террористы – люди, которые принадлежат к террористической организации, то есть к организации, которая сама идентифицирует себя как таковая.

Здесь пора провести границу между терроризмом как деятельностью террористических организаций и терроризмом как ментальным конструктом, как инструментом политической мобилизации.

Террористические организации – от «Народной Расправы» до «Аль-Каеды», включая террористов-одиночек, – это весьма широкая и многообразная (увы!) реальность. Но терроризм как явление мировой политики (особенно международный терроризм) – это реальность особого рода, еще более широкая и всеобъемлющая. Между этими реальностями, разумеется,

есть связь. Но она примерно такая же, как связь между базами НАТО и «мировым империализмом», между Западной группой войск и «коммунистической угрозой». Вторая реальность существует скорее в массовом политическом воображении. Когда-то восприятие политической действительности структурировалось по оси «клерикализм–просвещение». Потом – «реакция–прогресс». Далее – «тоталитаризм–демократия». Теперь настала очередь оси «терроризм–безопасность».

Заметим, что негативная составляющая предыдущих осей загружается в последующие. Реакция подразумевает клерикализм, тоталитаризм реакционен и если не клерикален впрямую, то исполнен квазирелигиозного мракобесия. Терроризм, разумеется, и тоталитарен (поскольку там действуют леваки-троцкисты), и мракобесно-клерикален (поскольку ассоциируется с религиозным фундаментализмом).

В тисках взаимности

Политическое – это рационализация столкновения безличных массовых процессов и индивидуального бессознательного. «Международный терроризм» как ментальный конструкт совершенно закономерно появился после падения Берлинской стены. Граница между «тоталитаризмом» и «демократией» – как ментальная, так и физическая – играла важнейшую роль в ценностном самоопределении наций и людей по обе ее стороны. За линию границы символически выкидывалось все дурное, что находилось «по эту сторону»: капитализм выкидывал свою рутинную размеренность, превращая ее в «коммунистическую тоталитарность», коммунизм – свою нищету, говоря о «бедственном положении трудящихся в странах капитала». Это не значит, что при коммунизме не было ущемления свободы, а при капитализме – бедняков. Это значит лишь то, что сообществу – как и отдельному человеку – нужен специальный объект, своего рода контейнер, куда он как бы складывает все, чем он недоволен в себе, чтобы приписать эти негативные содержания данному объекту. Точно так же европейцы приписывают этническим меньшинствам, иммигрантам, особенно представителям Юга, свою собственную нечистоплотность, лень, жуликоватость. Да, далеко не каждый иммигрант является образцом трудолюбия, порядочности и опрятности. Повод для приписывания реален, но масштаб этого приписывания обычно превосходит реальность, да и не в реальности дело, а в собственной идентификации как чистого, честного и трудолюбивого.

Международный терроризм в этом отношении особенно удобен. Ассоциируясь в основном с Востоком и Югом, он позволяет сконструировать образ «чужого», который не только грязен и нечестен, но и безмерно подл, жесток, бесчеловечен. Этот образ пугает и заставляет сплотиться страны, которые ранее были по разные стороны тоталитарно-демократической баррикады; он также настоятельно советует народам сплотиться вокруг своих

правительств, принять как должное жесткие меры по обеспечению безопасности.

Но в том мире, где якобы правит бал «международный терроризм», возникает зеркально схожая ситуация: все дурное проецируется на развитые демократические страны. Отношения становятся симметричными. Терроризм в равной степени мобилизует и Север, и Юг, и воинствующее меньшинство, и лояльное власти большинство в отдельных странах.

Раньше считалось, что миром правят Любовь и Голод, Добро и Зло, Эрос и Танатос. Сейчас начинает казаться, что миром правят Страх и Ужас, спутники Марса.

Конкурс проектов

В этих условиях главная задача – сохранение свободы и права, сохранение базовых демократических принципов. В годы, предшествовавшие Второй мировой войне, мировое сообщество было осведомлено не только о взаимных претензиях демократического Запада, нацистской Германии и коммунистического СССР. Были известны их, так сказать, «позитивные программы». Демократический, коммунистический и нацистский проекты существовали в тысячах книг, статей, речей, фильмов. Были досконально изучены планы политических, экономических и социальных преобразований, которые вынашивала каждая из сторон. Это знание не помогло предотвратить войну. Но оно помогло победить наследие нацизма и избавиться от него. Позднее, в эпоху «холодной войны», стороны также были осведомлены об идеалах, ценностях и конкретных планах друг друга. Диалог помог удержать противостояние на грани допустимого.

В настоящее время Европе и Америке совершенно неясно, что собой представляет «другой» проект, немим глашатаем которого выступает международный терроризм. Впрочем, об универсальном демократическом проекте тоже сказать пока нечего, если только не сводить его к борьбе с международным терроризмом. Диалог с противником необходим. Молчаливая обоюдная мобилизация исчерпала себя. Нужно знать ценности и цели тех, кого мы называем международными террористами. Это позволит нам уточнить свои собственные планы.



NOTA BENE

Литературно-публицистический журнал

Главный редактор **Эдуард Кузнецов**
Заместитель редактора **Рафаил Нудельман**
Заведующая редакцией **Елена Вайнштейн**
Корректор **Лена Драгицкая**
Полиграфические услуги **«Клик» (Иерусалим)**

Адрес редакции:

POB 45156, Har-Hotvim, Jerusalem 91450, Israel

Тел. 02-5325931. Факс 02-5324863

Электронный адрес: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE

Literary-Publicistic Magazine

Editor-in-Chief **Eduard Kuznetsov**
Deputy-editor **Rafael Nudelman**
Manager **Lena Wainstein**
Printing-house **«Click» (Jerusalem)**

The Magazine's Address:

POB 45156, Har-Hotvim, Jerusalem 91450, Israel

Tel: 02-5325931. Fax: 02-5324863

E-mail: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE

כתבת-ספרותי פובליציסטי

אדוארד קוזניצוב עורך ראשי

רפאל נודלמן סגן העורך

לנה ויינשטיין מנהלת אדמיניסטרטיבית

הדפסה סטודיו "קליק" ירושלים

כתובת:

ת.ד. 45156, הר-חוצבים, ירושלים 91450, ישראל

טל: 02-5325931

פקס: 02-5324863

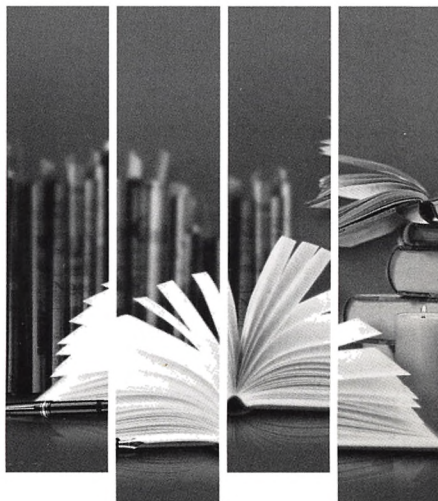
E-mail: omegag@bezeqint.net

Nota Bene (NB) © Э. Кузнецов



Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Использование материалов журнала без ведома и согласия редакции не разрешается.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с мнением редакции. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ*

В Израиле (почтой)	₪ 210
В России (авиапочтой)	\$65
В Европе (авиапочтой)	€ 55
В США (авиапочтой)	\$70

* Цена включает доставку и НДС

Телефон для справок: **02-5325931**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

В Израиле:	
в магазине	₪ 40
в редакции (вкл. доставку почтой)	₪ 35
В России (авиапочтой)	\$11
В Европе	€ 9
В США	\$12

6
номеров,
включая
доставку

Журнал
выходит раз
в два месяца

Желающие оформить подписку могут выслать чек, выписанный на имя компании «Journal Omega», по адресу редакции

**Журнал
можно приобрести
в книжных магазинах:**

- **Афула:** ● «Арбат», ул. Арлозоров, 13 ■ **Ашдод:**
● «Спутник», Мерказ Сити, ул. Ха-Клита, 3/6; Мерказ
«Йуд», ул. Ха-Невиим, 7 ● «Исрадон», Мерказ «бет» ● «Ямб»,
ул. ха-Ацмаут, 85 ■ **Бат-Ям:** ● Книжный мир, ул. Бальфур, 49
● «Исрадон», ул. Бальфур, 39 ■ **Беэр-Шева:** ● «Радость»,
ул. Гистадрут, 37 ● «Спутник», ул. Яир, 33; ул. Гистадрут, 55/4 ■ **Герцлия:**
● «Спутник», ул. Соколов, 58 ■ **Герцлия-Питуах:** ● «Меркурий», Каньон
Мерказим 2001 (напротив «Моторолы») ■ **Иерусалим:** ● «Золотая карета»,
ул. Яффо, 129; ул. Агрипас, 3 ● «Гешарим», ул. Агрипас, 10 ● «Аквариум»,
ул. Бен-Иегуда, 34 ● «Меркурий», ул. Кинг Джордж, 20 (или ул. Элиаш, 6)
● «Престиж», Тахана мерказит, 3-й этаж ● «Спутник», ул. Яффо, 91
● «Букинист», ул. Яффо, 234 ■ **Кармизль:** ● «Альтернатива», ул. Ха-Галиль, 2
■ **Кфар-Саба:** ● «Арлекин», ул. Вейцман, 72 ● «Спутник», ул. Вейцман, 148
■ **Нагария:** ● «Альтернатива», ул. Геатон, 2 ■ **Нацрат-Илит:** ● «Арбат»,
Мерказ Раско ● «Альтернатива», Мерказ Раско ■ **Петах-Тиква:** ● «Пегас»,
ул. Хаим Озер, 13 ● «Спутник», ул. Хагана, 14 ● «Буковина», ул. Орлов, 84
■ **Реховот:** ● «Рая», ул. Герцль, 175 ● «Спутник», Пассаж Фарлан, ул. Герцль, 161
● «Исрадон», ул. Ахад-ха-Ам, 9 ■ **Ришон ле-Цион:** ● «Элла», ул. Ротшильд, 82
■ **Тель-Авив:** ● «Букинист», ул. Алленби, 71 ● «Миллениум», Новая
тахана мерказит ● «Дон-Кихот», ул. Алленби, 98 ■ **Хадера:** ● «Арбат»,
Пассаж, напротив банка «Дисконт» ■ **Хайфа:** ● «Дон-Кихот», ул. Герцль, 59
● «Находка», ул. Ха-Невиим, 23 ● «Азбука», ул. Хаим, 4
● «Колизей», ул. Ха-Невиим, 24 ● «Улыбка», ул. Халуц, 55
● «Адар», ул. Герцль, 48 ● «Альтернатива», ул. Халуц, 42,
● «Спутник», ул. Ханита, 40 ● «Исрадон», Кирьят-Элиэзер,
Кикар Меерхоф ■ **Холон:** ● «Спутник», Кикар
Вейцман, 13 ● «Исрадон», ул. Соколов, 65
■ **Книжный интернет-магазин:**
www.neshima.com